



Всемирная история в романах



Михаил КАЗОВСКИЙ

ИСКУССТВО И ЕГО ЖЕРТВЫ





Михаил Григорьевич
Казовский

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2)

К14

Казовский, М.Г.

К14 **Искусство и его жертвы : повести / Михаил Казовский. — М. : Вече, 2022. — 448 с. — (Всемирная история в романах).**

ISBN 978-5-4484-3573-7

Знак информационной продукции 12+

Великие деятели искусства, чьи произведения стали классикой, это не небожители, а обычные люди, под влиянием страсти способные совершить опрометчивый поступок. Таков, к примеру, Дюма-сын, влюблённый в русскую красавицу Лидию Закревскую, а ведь она замужем, поэтому роман не может оказаться счастливым. Так же опрометчиво поступает Иван Тургенев — он, заводя интрижку со служанкой-белошвейкой, конечно, не думал о том, на что в итоге обрекает свою внебрачную дочь, которая родится от этой связи. Таков Михаил Глинка, который, будучи женат, заводит роман с юной Екатериной Керн... Эти и другие истории читатель найдёт в сборнике произведений писателя Михаила Казовского.

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2)

ISBN 978-5-4484-3573-7

© Казовский М.Г., 2022

© ООО «Издательство «Вече», 2022

ОБ АВТОРЕ

Михаил Казовский начинал свой творческий путь как сатирик — после окончания факультета журналистики МГУ 25 лет проработал редактором в журнале «Крокодил». За это время издал несколько книг в юмористическом жанре, его комедии шли во многих театрах страны, по повестям Казовского сняты два художественных фильма. В Союз писателей был принят в 1992 г. Имеет звание заслуженного работника культуры РФ.

В конце прошлого века увлекся исторической прозой. С тех пор вышли в свет восемь его романов: «Дочка императрицы» — предыстория Крещения Руси (1999, переиздан в нашем издательстве в 2013-м в двух томах — «Бич Божий» и «Храм-на-крови»), «Золотое на черном» — о знаменитом галицком князе Ярославе Осмомысле (2002), «Страсти по Феофану» — о великом иконописце Феофане Греке (2005), «Месть Адельгейды» — о судьбе внучки Ярослава Мудрого, вышедшей замуж за германского императора (2005), «Топот бронзового коня» — о византийском императоре Юстиниане (2008), «Любить нельзя расстаться» — об исканиях младшей дочери Пушкина (2011), «Лермонтов и его женщины» — о личной жизни великого поэта (2012), «Мадемуазель скульптор» — история возведения памятника Петру I в Санкт-Петербурге (2021).

Также с 2006 года регулярно публикует исторические повести в журналах «Подвиг» и «Кентавр. Исторический бестселлер» — недавно была напечатана шестнадцатая. Четыре из них — «Наследник Ломоносова», «Арестанты любви», «Строганов, сын Строганова» и «Несвятая София», сюжеты которых связаны с деятельностью и приватной жизнью Екатерины Великой, были собраны в одной книге издательства «Вече» — «Век Екатерины» (2021 г.)

В нынешний том вошли еще пять повестей — все они о малоизвестных страницах биографий классиков: поэтов, прозаиков, композиторов. Посвятив себя искусству, они зачастую оказывались несчастны в семье, дома... Образы великих людей рисуются Казовским в новом, неожиданном свете.

Что сказать о творческих предпочтениях писателя? Он традиционно работает в реалистической манере, строя сюжеты книг на основании подлинных фактов, но благодаря авторскому воображению повествование у него всегда развивается динамично, занимательно, интригующе. Собственными литературными учителями называет Александра Дюма-отца, Алексея Толстого и Мориса Дрюона.

Узнать подробности о жизни и работе Казовского, прочитать прежние и новые его произведения, а также выразить свое мнение о прочитанном можно на сайте www.kazovski.ru

Избранная библиография автора:

«Дочка императрицы» (Интерхим, 1999; переиздание в двух книгах: «Бич Божий» и «Храм-на-крови», Вече, 2013)

«Золотое на черном» (АСТ, 2002)

«Мечь Адельгейды» (АСТ, 2005)

«Страсти по Феофану» (АСТ, 2005)

«Крах каганата» (Подвиг, 2006; Вече, 2013)

«Топот бронзового коня» (АСТ, 2008)

«Любить нельзя расстаться» (Амаркорд, 2011)

«Лермонтов и его женщины» (АСТ, 2012)

«Мадемуазель скульптор» (Вече, 2021)

«Век Екатерины» (Вече, 2021)

ЛЮБОВНИЦА ДЮМА

Историческая повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1.

Дмитрий проснулся, как всегда, от звонкого голоса маленькой Гюзель:

— Доброе утро, господин. Ваш кофе.

Он открыл глаза. Перед ним стояла хозяйская дочка в шальварах, кофточке с бисером и в платке, прикрывавшем часть подбородка. Овдовев год назад, молодая женщина с ребенком возвратилась к отцу и усердно помогала ему в его небольшой гостиничке, приносила кофе постояльцам в постель. Но могла оказать и другого рода услуги. В том числе и Дмитрию. Местным жрицам любви он не доверял: в Турции (и в Константинополе, в частности) этот род занятий был формально под запретом, и к тому же вопрос антисанитарии... А домашней чистенькой Гюзель можно было довериться.

Дмитрий сел, опершись спиной на высокие подушки, а вдова водрузила на прикроватный столик небольшой серебряный поднос, где имелась чашка с блюдцем. Налила из турки обжигающий ароматный напиток. Три глотка, не больше. Но такой крепкий, что буквально сердце начинало выпрыгивать из груди.

Чуть помявшись, Гюзель спросила:

— Это правда, что господин скоро нас покинет?

Говорила она по-турецки, но за три с половиной года, проведенных Дмитрием в качестве секретаря русской миссии, он неплохо понимал их язык.

— Да, уже в ноябре. Скоро паковать чемоданы.

— И еще, я слышала, будто ваш вельможный отец подыскал вам невесту.

Молодой человек рассмеялся. И откуда они всё знают? Он ведь сообщил новость только своим друзьям по посольству. Но в восточной стране не умеют хранить секреты. И любую тайну на другой день обсуждают торгаши на базаре.

А отец Дмитрия в самом деле был заметной фигурой на чиновничьем небосклоне Российской империи: канцлер (министр иностранных дел) граф Карл Васильевич Нессельроде.

— Верно, подыскал. Очень, очень богатую невесту. За нее приданого дают много сотен тысяч рублей.

— Понимаю, — покивала турчанка грустно.

— Ты не рада за меня?

— Несказанно рада.

— Да неужто плачешь?

— Нет, вам показалось. — И закрыла глаза платком.

— Стой. Поди сюда. — Он схватил ее за руку, усадил на край постели. — Ты огорчена?

Всхлипнув, она ответила:

— Ах, какое вам до этого дело? Кто такая я, чтобы русский господин обращал на меня внимание?

— Нечужие все-таки. — Дмитрий провел ладонью по ее атласной щеке. — Ты Гюзель — правда, что Гюзель¹. Мне с тобой было превосходно. Я тебя вовек не забуду.

Разрыдавшись в голос, женщина упала ему на грудь, и ее худенькие плечи нервно содрогались. Постоялец гостиницы продолжал успокаивать несчастную, говорил нежные слова в розовое ушко. Понемногу она затихла, вытерла ладошкой лицо. И произнесла, полная печали:

— Пусть господин не сердится. Мне нельзя плакать. Мне нельзя никого любить, кто у нас живет. Если отец узнает, будет меня ругать.

— Я ему не скажу, не бойся.

— Плакать глупо, — продолжала турчанка, вставая, быстро поправляя платок. — А тем более у меня тоже есть жених. И небедный, кстати.

— Вот как? — удивился приезжий. — Кто таков, если не секрет?

— Дядюшка Камаль, что торгует на площади коврами.

¹ «Гюзель» по-турецки — «красивая».

— Он же старый!

— Не такой уж старый, сорок девять лет. Он вдовец, я вдова, почему бы нам не соединиться? У него дети выросли, а мою малышку надо еще воспитывать.

— Ты его не любишь.

— Я его уважаю. Этого достаточно.

Дмитрий сказал задумчиво:

— Без любви жениться нехорошо...

У Гюзель покривились губки:

— Ну, допустим, я вас люблю. Вы ж на мне не женитесь?

Он взглянул на нее с упреком, но промолчал.

— Видите, не женитесь. Значит, ничего не поделаешь, я должна смириться. — Забрала поднос. — Между прочим, и вам невесту тоже отыскал ваш родитель. Стало быть, и вы женитесь совсем без любви.

Дипломат вяло огрызнулся:

— Что ты понимаешь, дуреха!

— Может, и дуреха, только понимаю как надо. — Поклонившись коротко, выскользнула из номера.

— Эх, Гюзель, Гюзель... — проворчал Нессельроде-младший, опуская ноги с кровати в турецкие туфли с загнутыми носками, без пяток. — В чем-то ты, конечно, права... Мы рабы условностей... Соблюдать которые часто неприятно, но не соблюдать вовсе невозможно. — Встал, набросил халат, завязал тесемки, подошел к окну.

С неба сыпался мокрый снег и немедленно таял на карнизе. Крыши Константинополя были мокрые. Слева вдалеке возвышался купол Софийского собора, некогда построенного императором Юстинианом. Турки превратили его в мечеть, возведя рядом минареты. И называли Аль-София.

Русский государь Николай I часто говорил в интимном кругу, что конечная цель его политики на Балканах — отобрать у Турции все дунайские земли, дать свободу братьям-православным — сербам, болгарам, валахам, грекам — и установить на Софийском соборе христианский крест.

Исходя из этого и вела себя русская миссия в Константинополе, исподволь готовясь к войне, собирая нужные сведения о противнике. И война была бы уже близка, если бы не Англия

и Франция: опасаясь влияния русских на Босфоре, всячески поддерживали турок. А сражаться с Англией и Францией Николай I опасался.

— В общем, хорошо, что папенька меня отзывает, — сам себе сказал Дмитрий, продолжая смотреть в окно. — При начавшейся заварушке можно не успеть вернуться на родину. Вон как персы расправились с Грибоедовым двадцать лет назад. Турки, конечно, не персы, но все-таки... Береженого Бог бережет.

Надо было умыться, побриться и идти в присутствие. Он взглянул на свое отражение в зеркале. Стройный, симпатичный мужчина с римским профилем. Этим декабрем отметит 30-летие. Самое время завести семью.

Вытащил из бювара фотографический снимок своей невесты. Хороша, очень хороша! Темные волосы под шляпкой, умный взгляд, аппетитные губки. Пальцы тонкие, музыкальные. Перстня только два, но зато каких — каждый с бриллиантами на несколько тысяч! Да и то: будущий тесть — генерал Закревский, экс-министр внутренних дел России, ныне в отставке.

Дочка, правда, единственная и поэтому наверняка страшно избалована. Ничего, он как дипломат к ней сумеет найти подходы.

А Гюзель — что ж Гюзель? У кого из мужчин в юности не бывало гюзелей? Умные люди на гюзелях не женятся, это моветон.

2.

По дороге с юга, подъезжая к Москве, Дмитрий с умыслом завернул в Подольск, чтобы познакомиться. Жили Закревские у себя в имении Ивановское, в трех верстах от города¹. Сани Нессельроде лихо проскочили в главные ворота с башенками по бокам и, объехав фонтан (по зиме, естественно, не бивший), плавно остановились у центрального входа. Из парадного выскочил холоп в расшитой ливрее, поклонился, поприветствовал и помог барину вылезти из-под шкуры медведя, закрывавшей во время езды по морозу ноги

¹ Ныне музей-усадьба Ивановское — в черте Подольска.

и грудь. Впрочем, несмотря на такие предосторожности, Дмитрий был уже немало простужен. Что неудивительно: в ноябре в Константинополе не ниже нуля, а в центральной России — минус восемнадцать по Цельсию.

На пороге встретил гостя мажордом — важный, с бакенбардами, по акценту — немец или швейцарец. В круглом холле с колоннами гардеробщик принял у приезжего шубу, шапку и рукавицы, обметал веничком снег с сапог. Бормотал какие-то ласковые слова.

Жестом мажордом пригласил подняться по лестнице. Проводил в гостиную. Все убранство дома говорило о достатке хозяев — мягкие ковры на ступеньках, шелковые обои на стенах, уникальный паркет, элегантная мебель и оригинальные люстры. И картины в дорогих рамах — разумеется, только подлинники. Настоящий дворец. У отца Нессельроде в столице в собственности имелась хотя и большая, но всего лишь квартира. А его имения под Саратовом тоже не отличались роскошью.

Появились Закревские. Генерал при параде, в темно-зеленом мундире Преображенского полка, с красной отделкой, шея и грудь в орденах (в том числе кресты Святого Георгия), без усов, но с седыми бачками. Очень высокий лоб. Ясные карие глаза. Соответствовал своему 60-летнему возрасту.

Генеральша — высокая, стройная, выше мужа на полголовы, в темно-синем закрытом зимнем платье. Талия неузкая, но заметная. Пышные еще, упругие формы. По пословице: 45 — баба ягодка опять. Милое, ухоженное лицо. Белоснежная кожа. По отцу Толстая¹, выдана была за Закревского с легкой руки императора Александра I, наградив супруга фантастическим состоянием, будучи единственной наследницей своего деда — видного золотопромышленника.

Правда, ходили слухи о ее неверности мужу — мол, Арсений Андреевич обладает внушительными рожками, но на светские сплетни обращать внимание пошло, свет недобр и обычно завидует всякому счастью. А Закревский был счастлив в браке, это несомненно. Он души не чаял и в жене, и в дочке.

¹ Доводилась двоюродной теткой Льву Николаевичу и Алексею Константиновичу Толстым.

После рукопожатий, а также рукоцелований со взаимными комплиментами гостя усадили в мягкое кресло, сами хозяева тут же устроились на диване напротив и, как полагается, стали выведывать перспективы и планы: не заставят ли вернуться с юной женой во враждебный Константинополь накануне войны? Дмитрий с улыбкой отвечал, что отнюдь, что отец уже позаботился о его переводе в Петербург и хлопочет о месте при дворе.

— Вы как будто бы простужены, Дмитрий Карлович?

Он, сморкаясь, кивнул:

— Да, немного. Перемена климата, знаете... Организм не смог быстро приспособиться.

— Мы велим чаю вам подать с медом. На ночь выпьете малинового отвару, пропотеете — и простуду как рукой снимет.

Генерал возмутился:

— Что за детские шалости, дорогая Фенечка: «малинового отвару», «чаю с медом»! Не лекарство для добра молодца. Водка с солью и хреном — настоящее средство.

Но жена упрекнула мужа:

— Не равняйте его себе, Арсений Андреевич: вы вояка известный, Бородинское поле прошли как ни в чем не бывало. А у Дмитрия Карловича натура иная, человек статский, утонченный.

Нессельроде фыркнул:

— Вы мне сильно льстите, мадам. Но что верно, то верно: я от водки с хреном умер бы, наверное.

— Как, не пьете водки? — изумился Закревский.

— Крепче божоле и шампанского ничего не употребляю.

— Ах, какой пассаж!

— И отец, Карл Васильевич, тож не пьет.

— А его родной брат, генерал Фридрих Нессельроде, очень даже не промах, я помню: вместе с ним осушили не одну баклажку спиртного.

— Дядя — гренадер, он любого заткнет за пояс.

Дверь открылась, и вошла Лидия.

Дмитрий встал, пораженный ее небесной красотой. Фотография не смогла передать и четверти настоящего обаяния девушки.

Синие глаза. Смоляные волосы, расчесанные на прямой пробор и собранные сзади, закрывая уши. Небольшой чепец на затылке. Шея слегка открыта, платье белое, плотное, с запахом, рукава-фонарики и в красивых складках; пояс; кринолин. Кружевные митёнки.

— Бонжур, мсье.

— Бонжур, мадемуазель.

Шаркнул ножкой. Целовать руку незамужним девицам запрещал этикет.

Села во второе такое же кресло, чуть поодаль.

— Вы, поди, отвыкли от русских морозов?

— Есть немного. Просквозило дорогой. Но, надеюсь, до свадьбы заживет.

Все заулыбались.

— Мы с мамá вас вылечим.

— Предвкушаю с волнением.

За обедом говорили о будущей войне с Турцией, нестабильности в Европе и бунтарских настроениях во Франции. Дмитрий уверял, что тревоги преувеличены и ничто не мешает ему и Лидии съездить в свадебное путешествие на курорты Эмса и Спа. Девушка молчала, розовела щечками, улыбалась загадочно. Генерал, справившись с графинчиком, покраснелся и хвалил государя-императора за твердость руки, непоколебимость во взглядах и за правильность внутренней и внешней политики. «Навести порядок! — Он постукивал кулаком по скатерти, вызывая тем самым легкий звон посуды. — Выжечь вольнодумство и смуту. Нацию сплотить православной верой и любовью к Отечеству. А затем, если нужно, протянуть руку помощи западным монархам. Чтобы задушить всю крамолу в зародыше».

Пили кофе в гостиной, и невеста сыграла на фортепьяно вальс № 7 Шопена. Дмитрий и родители ей похлопали, а жених сказал:

— Маша, моя кузина, дочка того самого Фридриха Нессельроде, у мсье Шопена брала уроки. Изумительно исполняет опусы его и мсье Листа.

— Ах, как интересно! — У Закревской-младшей загорелись глаза. — Вы нас познакомите?

— Маша с дочерью обосновалась в Париже. Коли будем с вами в Париже, непременно ее проведем.

— Я хочу в Париж! — Лидия всплеснула руками. — Я хочу в Европу! Вы читали новый роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр»?

— Не успел, но весьма наслышан.

— Обязательно прочтите. Чудо что за вещь!

Генерал поморщился:

— Полно тебе, голубушка: разве англичанка может сочинить нечто путное? Я, само собой, не читал, но уверен: розовые слюни и сопли.

— Ах, Арсений Андреевич, что вы говорите, кэль выражанс?¹

— Я человек прямой, говорю, что думаю. Все европейские бумагомараки и в подметки не годятся нашему Денису Давыдову и Жуковскому. «Боже, царя храни!» — настоящий шедевр.

— Если опустить, что Жуковский его содрал с английского «Боже, храни короля!» — съязвила Лидия.

— Вечно ты, душенька, пакость какую-то сморозишь, лишь бы выставить отца в дурном свете.

Девушка показала будущему мужу вид из окна в парк и пруд, вместе с ним спустилась на первый этаж, проводила в левое крыло, где располагался зрительный зал, — здесь Закревские устраивали домашние спектакли силами друзей из соседних имений или приглашали артистов Малого театра. Дмитрий беспрекословно внимал, но при этом покашливал и сморкался.

— Ах, да вы совсем расклеились, сударь, — наконец обратила внимание она. — Я-то, дура, болтаю без умолку, а у вас, видно, лишь одно желание — поскорее лечь.

Он смутился:

— Ах, не стоит беспокоиться, право...

— И не возражайте: в постель! Я поставлю вас на ноги!

А затем, когда слуги под водительством дам Закревских напоили больного медом и отварами, грудь и спину растерли скипидаром и укутали стеганым ватным одеялом, мать и дочь обменялись в будуаре первыми впечатлениями.

¹ Шутливая переделка русского «Что за выражение?» на французский манер.

— Он тебе понравился? — задала вопрос Аграфена Федоровна.

— Да, весьма, весьма, — улыбнулась Лидия. — Недурен собой, образован и вежлив. Словом, комильфо¹.

— Я того же мнения. Разумеется, неженка и большой повеса, ну да что поделать. Очень партия хороша — Нессельроде!

— Ах, мамá, что за вздор — «повеса»! Кто у нас нынче не повеса? Сыну канцлера и положено быть повесой. Да и неженкой тоже. Это превосходно: стану вить из него веревки.

— Ха-ха-ха, размечталась, девочка!

— Я серьезно. Так оно и будет.

3.

Графский род Нессельроде происходит из Вестфалии (Германия), герцогства Берг. Дед Дмитрия поступил на русскую службу при Екатерине Великой, сделавшись посланником Российской империи в Португалии. Там же, в Лиссабоне, и родился Карл Васильевич, будущий канцлер. Мать его, еврейка, но крещеная, лютеранка, до конца дней своих не сказала двух слов по-русски. Карл Васильевич тоже не изменял лютеранской вере, правда, женившись на православной — дочери тогдашнего министра финансов Гурьева, согласился крестить детей в православии. Говорил по-русски прекрасно, хоть и с акцентом.

Обитал Нессельроде-старший в собственной квартире, занимавшей весь второй этаж Главного штаба, выходившего фасадом на Дворцовую площадь. Кроме нескольких спален, будуара жены, кабинета хозяина и столовой тут имелись уютная гостиная и большой зал для танцев.

Дмитрий прибыл в Петербург на рассвете 5 декабря 1846 года и застал отца, надевавшего в прихожей статскую шинель, чтоб идти на службу. Обнялись, расцеловались, разглядели друг друга.

А отец все такой же: невысокий, жилистый, чуть подслеповатый, в круглых очках с довольно сильными линзами. Крюч-

¹ От французского *comme il faut* — «то, что надо», приличный человек.

коватый нос. Тонкие, упрямые губы. Чисто выбритый подбородок с ямочкой.

С удивлением произнес:

— Ты похорошел, Дмитрий. Сильно возмужал.

(При его акценте вышло «фосмушаль».)

— Воздух юга действует целебно, папá.

— Знаю, так. Я, когда отправлюсь в отставку, тоже перееду на юг. Вероятно, в Италию.

Вытянув лицо, сын спросил:

— Может выйти отставка?

Карл Васильевич улыбнулся:

— Нет, покуда нет. Все пока в порядке.

Молодой человек начал было рассказывать о своем визите к Закревским, но родитель нетерпеливо его прервал:

— После, после договорим. Мне теперь недосуг. — И уже на ходу обронил: — Свадьбу вашу, видимо, отменим...

— Как «отменим»?! — остолебенел наследник.

— Не сейчас, потом... От мамá узнаешь... — Неопределенно взмахнув рукой, господин канцлер вышел из квартиры.

Тут как раз появилась мадам Нессельроде: пышная степенная дама в кружевном пеньюаре и ночном чепце. Блеклое, одутловатое после сна лицо. Пепельные волосы. Выглядела хуже мадам Закревской, да и то: на пятнадцать лет старше, четверо детей.

— Митенька, родимый! — поспешила к нему в объятия и потыкалась пухлыми губами ему в щеку. — Наконец-то! Я боялась, не доживу, не увижу тебя перед смертью.

— Что вы, что вы, мамá, грех так говорить.

— Никакой не грех. Все мы смертны. И уже предчувствую... Задышаться стала. Голова часто кружится. Руки-ноги немеют.

— Что врачи советуют?

— Что они советуют? А, больше бывать на свежем воздухе, пить поменьше кофе и не есть бараньих котлеток, самых моих любимых. Вечно запрещают самое вкусное.

Сели в столовой, стали завтракать: творожок со сметаной, яйца в мешочек, ветчина. Мать расспрашивала его о житье в Константинополе, о погоде, о нравах, о возможности войны. Сын спросил:

— Отчего отец хочет отменить свадьбу?

У Марии Дмитриевны пролегла по переносице складка:

— Наш папá справочки навел... так сказать, по линии Третьего отделения... попросил мсье Дубельта разузнать подробнее... Тот и разузнал.

— Да? И что же?

Женщина потупилась.

— Даже и не знаю... Словом, Лидия Закревская вовсе уж не девица. Понимаешь, о чем я?

Дмитрий с неприязнью поморщился:

— Да откуда же мсье Дубельт может знать сие? Нешто он врач ее?

— Не шути, голубчик. В Третьем отделении знают всё. И везде у них расставлены люди. Года два назад Лидия сбегала из дому с неким Рыбкиным. Но не с тем Рыбкиным, у которого в Москве галантерейные магазины, а с поручиком Рыбкиным, из гусар. Знаешь?

— Нет.

— Ну, неважно. Был большой скандал. Привлекли полицию и нашли беглецов уже в Арзамасе. Прямо в номерах. Девочку вернули родителям, а гусара — на гауптвахту и понизили в звании. Он, тем более, оказался женатый.

Молодой человек достал портсигар.

— Можно закурю?

— Ах, пожалуйста, сделай одолжение, не кури при мне. Я и так себя чувствую прескверно.

— Хорошо, не стану. — Спрятал портсигар. — Ну, так свадьбу-то отменять зачем?

Маменька взглянула на него в изумлении:

— Нужно объяснять? Нессельроде не имеют права принимать в свое лоно женщину с запятнанной репутацией.

Он пожал плечами:

— Ерунда какая. Мы живем в девятнадцатом веке. Старые каноны уходят в прошлое. Надо смотреть на подобные происшествия проще.

— На разврат — проще?

— Почему «разврат»? Лидия влюбилась в гусара, потеряла голову. Надо ее понять и простить по-христиански.

— Ты меня удивляешь, Дмитрий. — Мать поджала губы. — Ладно бы во Франции побывал, где Содом и Гоморра, ничему хорошему не научат. А из Турции привезти такое?!

Тот прикрыл глаза:

— Ваш консерватизм, мамá, меня убивает. Говорите глупости: Франция — Содом и Гоморра? Франция — оплот европейской цивилизации! Это Делакруа и Коро. Это Берлиоз и Эрве. Это Бальзак, Жорж Санд и Гюго! Вот что такое Франция!

Женщина отмахнулась:

— Да читала я твоих Жорж Санд и Гюго. Истинный разврат тела и души.

— Спорить бесполезно. Только знайте: я женюсь на Закревской, несмотря на гнусные сплетни.

— Да какие ж сплетни?

— Я женюсь, и точка. Мне она приглянулась.

— При таком-то приданом нешто не приглянуться!

— Дело не в приданом, мамá.

— Нет? А в чем?

— Мне она пришлась по сердцу.

— Ничего, отец из тебя дурь-то повыбивает.

— Поздно, опоздали: я уже большой мальчик.

Но отец, конечно, попытался атаковать сына вечером. Убеждал, грозил, злился, умолял. Дмитрий продолжал стоять на своем: для него история с Рыбкиным не имеет никакого значения, дело прошлое, а Закревская-младшая и умна, и воспитана, и привлекательна. И богата, само собой.

— Мы тебе найдем другую невесту, — возражал родитель. — Мало ль на Руси умных, воспитанных, привлекательных и богатых барышень!

— Мне других не надо.

— Ты несносный упрямец. Настоящий осел.

(У него получилось «осёл».)

Отпрыск взвился:

— Я осел?! Прекрасно! А вы сами за собой не чувствуете вины?

— Я? Вины?

— Прежде, прежде надо было наводить справки о невесте, а потом уже выдергивать меня из Константинополя. Сами всё

напутали, а теперь меня обзываете ослом. Поздно. Дело сделано. Я уже влюбился.

— Как влюбился — так и охладеешь.

— Нет.

Нессельроде-старший вышел из-за стола, выставил узловатый указательный палец — наподобие пистолета, ткнул им в грудь наследника и сказал, шипя:

— Ну, так я тебе предрекаю: женишься на ней и будешь несчастлив. С крупными, развесистыми рогами.

Дмитрий усмехнулся недобро:

— Вы-то прожили с рогами — и ничего.

Тот отпрянул, и очки едва не свалились с его носа.

— Что ты сказал?!

(У него вышло: «Што ти скасаль?!»)

— Маменька в то время, как вы находились на Венском конгрессе в пятнадцатом году, забеременела мною от князя Нарышкина.

Карл Васильевич страшно побледнел и схватился за спинку стула, чтобы не упасть. Облизал ссохшиеся губы.

— И давно ты знаешь?

— Нет, не очень.

— От кого?

— Да какая разница? Просветили, сочтя нужным...

— А мамá знает, что ты знаешь?

— Думаю, что нет. И пускай не знает. У нее и так плохо с сердцем...

Канцлер неторопливо сел, снял очки и платком протер линзы, словно бы они запотели. Через силу проговорил:

— Истинный отец — не тот, кто родил, а кто вырастил. — Вновь надел очки, превратившись в прежнего суховатого Нессельроде. — Я всегда считал тебя родным сыном. А тем более Бог давал мне только дочерей.

Молодой человек поднялся, взял его за руку и поцеловал.

— Да, не сомневайтесь, папá: я считаю отцом только вас. И люблю вас, и почитаю как родителя. — Встал на одно колено перед ним. — И поэтому прошу дать свое отеческое благословение на мое венчание с Лидией Закревской.

Немец покачал головой, потрепал Дмитрия по щеке маленькой холодной ладошкой.

— Я ж хотел как лучше, сынок. Счастья тебе желаю.

— Коль желаете счастья — благословите!

— Нешто в самом деле сильно полюбил?

— Да отчаянно, до безумия — правду говорю.

— Ну, смотри, как знаешь. После не упрекай, что тебя не предупреждали... — И перекрестил всей ладонью: — Будь по-твоему, Митенька: благословляю.

Сын уткнулся к нему в колени как-то уж совсем по-детски.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1.

Настоящим отцом Дмитрия был князь Иван Александрович Нарышкин, камергер, тайный советник и сенатор. Связь его с мадам Нессельроде вышла мимолетной — той, что называют «минутной слабостью». Тем не менее эта «слабость» породила красивого, умного ребенка.

У Ивана Александровича от его законной супруги также имелись дети, и один из их потомков, внук, Александр Григорьевич — по-домашнему просто Алекс, оказался всего на два года младше сводного дяди — Дмитрия Карловича Нессельроде.

Дмитрий и Алекс познакомились в 1843 году, первое время не подозревая о собственном родстве.

Дмитрий тогда служил третьим секретарем Министерства иностранных дел. И однажды на балу, где он был со своей кузиной — Машей Нессельроде, та его подвела к юной деве, лет примерно шестнадцати, и представила: Надя Кнорринг. Рассказала после:

— Дочка очень знатных литвинов, Гедеминовичей. Правда ж, прелесть что за девочка?

— Красоты необыкновенной. И особенно — удивительные глаза. Цвета морской волны.

— Цвета балтийской волны, — улыбнулась Маша. — Только, чур: никаких интрижек. У нее есть уже жених — князь Нарышкин.

— У такой крохи есть уже жених?

— Да, помолвка состоялась на днях. Он нестарый: двадцать пять всего.

— Жаль, что несвободна: я бы ею увлекся.

— Митенька, остынь.

Вскоре познакомился и с самим Нарышкиным — худощавым молодым человеком с маленькой бородкой и такими же маленькими усиками, а-ля Бальзак. Тот пылал любовью к невесте, говорил только о будущем венчании и о свадебном путешествии — собирались на южный берег Франции, в Ниццу.

Алекс неожиданно пригласил его однажды к себе и предстал взволнованный, весь какой-то взвинченный, глядя изучающе.

— Что-нибудь случилось? — с беспокойством осведомился Дмитрий.

— Уж случилось, да... Вы присядьте, граф. Кофе, чаю? Хорошо, потом. Я тут, знаете ли, приводил в порядок бумаги моего покойного папеньки... И наткнулся в ящике стола на такую скромную книжицу. Оказалось — дневник моего вельможного деда, Ивана Александровича. Полистал. Увлёкся... И узнал одну пикантную вещь... Только не сердитесь... Эта тайна умрет со мной, обещаю верно. Но и скрыть от вас не имею права. Речь идет о событии пятнадцатого года, времени Венского конгресса — по итогам войны с Наполеоном...

В первый момент Дмитрий не поверил, попросил принести дневник. С замиранием сердца прочитал заветные строчки. Мелким, бисерным почерком с завитушками. Фиолетовыми чернилами... Вот почему Иван Александрович так смотрел на него когда-то на приеме в Зимнем дворце; и еще как-то виделись — у кого-то в гостях... Но не обменялись и несколькими словами...

Совладав с чувствами, все же улыбнулся:

— Что же получается, князь: я — ваш сводный дядя?

— Получается, так.

Оба поклялись никому не рассказывать об открывшейся тайне, чтобы не давать свету поводов для сплетен, а тем более неизвестно, знал ли Карл Васильевич об измене Марии Дмитриевны; надо побереечь нервы старика.

Но с тех пор отношения Алекса и Дмитрия сделались теплее, часто навещали друг друга и нередко ездили вместе на пикники. Впрочем, на его свадьбе Нессельроде-младшему побывать не пришлось: ускакал в Константинополь к месту назначения.

Обменялись несколькими письмами. Алекс делился впечатлениями, говорил, что счастлив, что Надѳн — удивительная женщина, редкого ума, редкой эрудиции и фантазии; правда, характер не подарок, слишком непредсказуема и категорична в суждениях, но считал, что это молодость в ней играет, с возрастом пройдет.

Возвратившись в Петербург, Дмитрий посетил Алекса и застал его жену в положении. Совершенно не походила на себя прежнюю: взгляд остановившийся, обращенный внутрь организма, слушала собеседника, продолжая думать о своем. Вроде пребывала в неземном измерении.

А зато будущий отец прямо-таки светился от счастья, говорил, что, коль скоро появится мальчик, назовут Григорием — в честь его отца, ну а если девочка — Ольгой, в честь мадам Кнорринг.

Дмитрий рассказал о своем предстоящем в скором времени бракосочетании.

— Это же чудесно, — одобрительно покивал племянник, — я теперь убедился: без семьи мужчина не человек, а недоразумение; по-другому смотришь на мир, ценности меняются, начинаешь мыслить иначе.

— Неужели? Я бы не хотел менять ценностей.

— Ты и не заметишь, как выйдет. То, что раньше забавляло тебя — холостяцкие пирушки, балеринки, актриски, что желают пойти к тебе на содержание, скачки, охота — всё теряет свой прежний смысл. Дом, семья, милая жена, будущие дети — вот главное.

— Уж не стал ли ты подкаблучником, бедняга?

— Может быть, и так. Что же в том дурного? Для меня Надѳн — свет в окошке.

Вскоре из Москвы прикатили Закревские. Дмитрий снял для них неплохие апартаменты на Большой Морской, рядом со

своим домом. Познакомил Лидию с матерью и отцом. Старики держались подчеркнуто вежливо, без намека на неприятие будущей невестки, но и без особой сердечности. В рамках этикета. А Закревские, напротив, относились к будущему зятю тепло, с поцелуями-объятиями при встрече и непринужденной, милой болтовней за чашечкой чая.

Вместе побывали на нескольких балах и светских раутах. На одном из них присутствовал император. Николай I, высоченный, фигуристый, с голубыми пронзительными глазами, как увидел Арсения Андреевича, так и протянул ему руку.

— Здравствуй, здравствуй, Закревский. Как ты поживаешь? Не соскучился у себя в имении без реальных дел?

— Да помилосердствуйте, ваше величество, нешто я сижусь сложа руки? Дел в имении пруд пруди.

— Это всё пустое, управляющие без тебя справятся. Должен возвратиться ко мне на службу. У меня сторонников — преданных сторонников, на которых я могу положиться, — раз, два и обчелся.

Генерал залился румянцем:

— Да куда ж мне идти на службу-то, Николай Павлович? Годы уже не те.

— Полно скромничать, ты в прекрасной форме. Будь готов к назначению на ответственный пост, голубчик.

— По гражданской части или по военной?

— Я подумаю. Но, скорее всего, по гражданской.

Лидия порхала по Петербургу, навещая знакомых детства (ведь отец ушел в отставку и уехал в свое имение с 6-летней тогда дочерью); все теперь были взрослые, девочки давно замужем, с выводком детей, а она все еще одна и почти что старая дева, по тогдашним понятиям. Разумеется, помешала та ее история с Рыбкиным — девушку с подмоченной репутацией, даже миллионершу, брать никто не спешил. Слава богу, нашелся Нессельроде. Это был для нее последний шанс.

Дмитрий познакомил невесту с Надин Нарышкиной. Дамы понравились друг другу, вместе выезжали по магазинам, покупая рождественские подарки. Откровенно болтали. Как-то Надин сказала:

— Замуж, конечно, надо — это обретение статуса в обществе. Но семейная жизнь не должна поглощать людей целиком — от тоски повесишься. Есть другие интересы на свете.

— Например, какие?

— Например, путешествия. И желательно — без мужа. — Женщина рассмеялась.

— Ты серьезно? — удивилась Закревская.

— Не вполне. Это в идеале.

— Мне казалось, Алекс и ты, оба счастливы.

— Думаю, что счастливы. Если б он не пил много — было бы вообще превосходно. Но когда ты общаешься с человеком с утра до вечера, непрерывно, это утомляет. Надо иногда отдыхать друг от друга.

— А по-моему, если любишь, то не хочешь расставаться ни на минуту.

Усмехнувшись, Нарышкина заключила:

— Поживешь с мужчиной с мое — поймешь.

Лидия задумалась. Вот и маменька не всегда бывала верна папеньке, дочка знала. Отчего же так? Неужели и ей как-нибудь захочется изменить Дмитрию? Накануне свадьбы даже вообразить подобное было невозможно.

2.

Свадьба состоялась 2 января 1847 года. На венчание в Казанский собор собралось немало гостей, в том числе император с императрицей и наследником Александром Николаевичем. В гулком помещении храма было сильно натоплено, зажжены тысячи свечей, и от ладана сладковато щипало в носоглотке. Певчие выводили псалмы слаженно и проникновенно. Протоиерей Тимофей Никольский, краснощекий мужчина с окладистой бородой, лет под 60, оттенял их тонкое звучание басовитыми нотами.

— Венчается раб Божий Димитрий... Венчается раба Божья Лидия...

Карл Васильевич, глядя на происходящее через линзы очков, был сосредоточен и неулыбчив. Рядом с ним Мария Дмитриевна тихо плакала, утирая слезы кружевным платочком.

Но зато Аграфена Федоровна источала неподдельное счастье: дочка замужем, и положен конец гадким разговорам о конфузе с Рыбкиным; кум ее теперь — сам влиятельный канцлер Нессельроде, и на расстоянии вытянутой руки — августейшее семейство, от которого всё зависит в России, — это ли не счастье? И Арсений Андреевич радостно кивал подходившим друзьям: государь-император посулил высокое назначение; да, Закревский еще послужит Отечеству и проявит себя как ревностный патриот и слуга царя.

Лидия была хороша в плотном белом платье с горловиной под подбородок и великолепных шелковых перчатках до локтя. Под фатой горели ее синие глаза. Дмитрий явно гордился, что его жена самая красивая, лучше всех на свете. Он сжимал свечу носовым платком, чтобы воск не капал ему на пальцы.

Неожиданно по залу пронеслось дуновение — и откуда, казалось бы? — окна все закрыты, двери тоже... Пламя свечек затрепетало, а у Лидии и вовсе погасло.

Все собравшиеся замерли от ужаса: свечка, погасшая в руке у невесты в момент венчания, скверное предзнаменование. Молодая едва не лишилась чувств.

— Ничего, ничего, дочь моя, — успокоил ее протоиерей. — Бог даст, ничего. Можешь запалить от свечи жениха...

Церемония продолжилась своим чередом, новобрачные пошли вслед за Тимофеем вокруг алтаря.

И на этот раз свеча погасла в руке Дмитрия.

По рядам гостей пробежал новый шепоток. Люди расценили, что таких случайностей просто не бывает, и семейная жизнь Нессельроде-младшего не удастся, если Провидение против.

Но потом, в ходе поздравлений и за свадебным столом, загодя накрытым, с одобрения самодержца, в малом зале Зимнего дворца, эти мелочи вскоре перестали тревожить. Говорились здравицы, и под крики «Горько! Горько!» Лидия и Дмитрий с удовольствием целовались.

Лишь уединившись в опочивальне, младшая Закревская вспомнила и спросила:

— Как ты думаешь, Митя, то, что свечи у нас погасли, очень дурно?

Он, развязывая галстук, несколько по-клоунски высунул язык:

— Я не верю в мистику. Каждое явление можно объяснить физикой и логикой. Суеверие вообще — суть язычество.

— Точно ничего страшного?

— Уверяю тебя. Наш с тобой брак будет самым прочным из всех.

И они, обнявшись, в первый раз поцеловали друг друга по-настоящему, без свидетелей, жарко.

3.

До весны жили в Петербурге, в той же самой квартире на Большой Морской (Аграфена Федоровна и Арсений Андреевич возвратились в Москву вскоре после свадьбы), проводя дни и ночи в жарких любовных схватках, несмотря на трескучие морозы за окном. В феврале Надин родила девочку, крепкую, здоровую, и ее окрестили Ольгой (крестной матерью стала Лидия). А в конце апреля молодая чета Нессельроде наконец-то отправилась в свадебное путешествие.

Связанных железных дорог в Европе не было еще, линии только строились, и поэтому до немецкого Киля плыли из Петербурга на пароходе. Финский залив был еще полон льдин, и они то и дело стукались о железные борта судна, заставляя пассажиров трепетать всеми фибрами. А от Киля до бельгийского Льежа Дмитрий с супругой добирались на лошадях. Там, под Льежем, три недели наслаждались жизнью в Спа, знаменитом курорте, где еще Петр I пил лечебные Пуонские воды. В первых числах июня переехали в Баден-Баден, принимали ванны и играли в местном казино. В старом парке встретили поэта Жуковского — тот гулял со своими маленькими детьми, 5-летней Сашенькой и 3-летним Пашенькой, и казался им не отцом, а дедушкой: лысый и какой-то болезненный. Сообщил, что здесь, на курорте, лечится не он, а его молодая жена, у которой после вторых родов было расстройство слуха, зрения и координации походки.

Лидия хотела ехать дальше в Италию, искупаться в море, но Жуковский отговорил, утверждая, что теперь не время, там идет война, армия Гарибальди бьется против австрияков, и вообще неспокойно. «Скоро полыхнет по всей Европе, — утверждал литератор. — Слышали про “Союз справедливых”? Некто Маркс и компания мутят воду. Призывают свергать монархов по примеру французской революции». Он нагнал на молодых такого страха, что они, от греха подальше, поспешили в Париж.

О, Париж 1847 года! На престоле Луи Филипп Бурбон, добродушный толстяк, прозванный «Король Груша», так как его лицо, узкое сверху и с оплывшими дряблыми щеками, напоминало бере или дюшес. В Историческом театре — «Королева Марго» Дюма. В Пале-Рояль — водевили Лабиша... Роскошь, легкая музыка, брызги шампанского, куртуазные вечеринки, в ходе которых гасились свечи и любовные пары составлялись наобум, что называется «в темную», а потом, при свете, веселившиеся не знали, кто был с кем...

Но вначале чета Нессельроде ни о чем таком не подозревала и невинно развлекалась, посещая концерты, галереи и ресторанчики. Смуту в их души внесла встреча с Машей Нессельроде, а теперь уже не Нессельроде, а Калергис: та вернулась в Париж в середине лета, окончательно порвав со своим любовником, романистом Альфредом де Мюссе, автором знаменитой книги «Исповедь сына века».

Девять лет назад, на 17-м году жизни, вышла замуж за богатого грека, графа Яна Калергиса, родила ему дочь. Но совместная жизнь длилась у них недолго: домосед, сибарит, он терпеть не мог общество и светские посиделки, а она, напротив, только и мечтала о славе пианистки, о концертной деятельности в Европе и любила находиться в центре внимания. В общем, не сошлись характерами. И Мария, прихватив ребенка, убежала от мужа вначале в Варшаву, где брала уроки музыки у Шопена, а затем в Вену, где училась у Листа. Наконец переехала в Париж и обосновалась в особняке на улице Анжу, 8. Дочка обременяла мамашу и была отдана ею в пансион для девочек при монастыре.

Улица Анжу находилась неподалеку от Опера, Тюильри и Елисейских Полей. Узкая, как и все старинные парижские улочки, дом, построенный еще век назад, трехэтажный, с окнами-балконами, вход из-под арки справа. Лестница с витыми перилами. Золоченый колокольчик у двери.

Дверь открыла горничная в белом переднике. «Сильву-пле», — пригласила в гостиную. Там сидела возле рояля и наигрывала какую-то легкую пьеску невысокая темноволосая худощавая дама лет двадцати пяти. Общими чертами лица походила на Карла Васильевича (все-таки родная племянница) — крючковатый нос, тонкие недобрые губы; но глаза были выразительны — в них читались ум, воля и талант.

Вскрикнув, распахнула объятия:

— О, мон Дьё, Митя, как я рада тебя увидеть!

Пальцы у нее были тонкие, жилистые и без маникюра.

Поцелуи, возгласы длились бесконечно.

— Познакомься, Маша: это моя жена Лидия.

— О, ма шер кузин, вы великолепны. Настоящая русская Венера. Вы позволите вас обнять по-родственному?

От мадам Калергис пахло дорогим табаком.

— Да неужто курите?

Пианистка хмыкнула:

— Иногда, чуть-чуть. Эту моду у нас ввела Жорж Санд. Любит одеваться в мужское платье и смолить трубочку. Ну, и светские дамы — тут как тут, переняли привычку.

— Лучше бы тебе не курить, — озабоченно сказал Дмитрий. — У тебя же слабые легкие.

— Да я брошу, брошу.

Вместе пообедали, а потом дожидались суаре — у Марии был салон, где любила собираться местная богема. Первым пришел сухопарый еврей лет пятидесяти, совершенно седой, опиравшийся на палочку. Улыбался несколько натянуто.

— Познакомьтесь, господа: мой бесценный друг Анри. По-немецки — Генрих. Он поэт, вы, должно быть, слышали?

— Гейне, — представился мужчина.

— О, конечно, Генрих Гейне! — обрадовалась Лидия. — Я читала ваши стихи в «Книге песен».

— Филен данк, — поблагодарил посетитель сдержанно.

Вскоре подошли и другие гости, среди них выделялся шумный громкоголосый француз, тоже поэт, Теофиль Готье, прочитавший стихотворение, посвященное хозяйке салона — «Мажорно-белая симфония», встреченное бурной овацией. Лидия сжала Дмитрию руку, прошептала взволнованно:

— Господи Иисусе, мне сие не снится? Я в Европе, в Париже, и болтаю запросто с такими людьми!.. Всё благодаря тебе, дорогой. Я так счастлива!

— А я счастлив, что ты счастлива.

После медового месяца в Петербурге это были лучшие минуты в их жизни.

Под конец вечера, после игры Марии на фортепьяно, появился еще один гость — стройный высокий молодой человек с шапкой курчавых каштановых волос. Смугловатая кожа, карие глаза. Был одет изысканно, по последней парижской моде — фрак без фалд и с прямыми карманами по бокам, белый жилет, пестрый галстук, завязанный в форме бабочки. Вскоре Мария подвела его к чете Нессельроде:

— Я хочу вам представить еще одного моего хорошего друга. Это Александр Дюма.

— Как, тот самый Дюма?! — поразился Дмитрий.

Калергис рассмеялась:

— Тот, да не совсем: Александр Дюма-младший. Сын прославленного драматурга и романиста. Тоже, между прочим, поэт, а теперь задумал большой роман. Правда же, Саша?

Александр с улыбкой помотал головой:

— Не люблю говорить о планах на будущее. Чтоб не сглазить.

— Суеверие — суть язычество, — неожиданно для себя самой высказалась Лидия.

Он взглянул на нее с любопытством. И спросил:

— Вы надолго в Париж, мадам?

— Я надеюсь, до конца лета.

— Очень рад нашему знакомству.

— Да, я тоже.

Молодой человек кивнул и ушел вслед за Калергис к другим гостям. Лидия взглянула на Дмитрия с восхищением:

— Сын Дюма, представляешь?! Я в восторге, Митя!

Муж отреагировал сдержанно:

— Ты ведешь себя, как провинциалка. Был бы сам Дюма — можно согласиться. А то сын! Тоже мне, фигура!

— Нет, не говори. Он такая душка.

— Но-но, — пригрозил недавний молодожен наигранно. — Не влюбись, голубушка.

— Я уже влюбилась. — Рассмеялась звонко. — Разумеется, только платонически.

— Этого еще не хватало.

Дмитрий поскучнел, перестал шутить, вечер у кузины начал его нервировать. Он с трудом вытерпел еще полчаса, а потом предложил супруге уехать. Та в недоумении стала протестовать: только половина десятого, самый разгар интересных разговоров! Муж ответил холодно:

— У меня голова что-то разболелась. Вероятно, слишком много курил.

— Выйди на балкон, подыши.

— Не поможет, знаю.

— Ну, еще посидим чуть-чуть. Неудобно уходить раньше всех. Что о нас подумают? Скажут: дикие русские, не умеют себя вести в светском обществе.

Нессельроде-младший завелся:

— Мне плевать, что о нас подумают эти клоуны. Жалкие болтуны и бездельники.

— Ах, пожалуйста, Митя, не разыгрывай из себя сноба. Мы ничуть не лучше. И вообще я хочу остаться.

— Это не имеет значения. Я хочу уехать.

Побледнев, молодая дама произнесла:

— Можешь уезжать, коль так приспичило. Кто тебе мешает?

— Мы уедем вместе.

— Да с какой такой стати?

— Ты моя жена. И обязана во всем подчиняться.

— Подчиняться — да. Но не исполнять любые капризы.

— Исполнять! Слепо исполнять! — Он с такой силой сжал ее ладонь, что Закревская вскрикнула.

Гости, смолкнув, как один повернулись к Нессельроде. Лидия заизвинялась:

— Господа, не обращайтесь внимания, это случайно вырвалось. Всё в порядке.

Несколько минут оба супруга сидели злые, дуясь друг на друга. Первой заговорила она:

— Ты мне сделал больно.

Он пробормотал:

— Душенька, прости. Сам не знаю, что на меня нашло.

Помолчав, женщина спросила:

— Да неужто ты меня ревнуешь к этому хлыщу?

Дмитрий засопел, а потом ответил:

— Ты сама сказала, что тебе он по вкусу.

— Шуток не понимаешь, милый?

— Нет, не понимаю таких.

— Очень, очень жаль. Ревновать нелепо. Ты же знаешь: мне никто не нужен, кроме тебя.

Посмотрел на нее насуплено:

— Поклянись, пожалуй.

— Я уже клялась перед алтарем. Этого достаточно. — Чуть помедлила. — Хорошо, если ты желаешь — уедем.

— Нет, изволь остаться.

— Ты ж хотел уехать?

— Я уже раздумал.

На обратном пути, взяв извозчика, первое время сохраняли молчание. Наконец Лидия сказала:

— Митя, не сердись. Мы должны учиться жить в согласии друг с другом. Привыкать уступать без нервов. Коль бываем в свете, поневоле общаемся: ты — с другими дамами, я — с другими же кавалерами. Ревновать нельзя. Мы не на Востоке, ты не шахиншах, я не одалиска.

Успокоившись, он уже обрел способность критически мыслить и проговорил с иронией:

— Очень жаль, что не на Востоке.

— Ты хотел бы запереть меня в башне?

— Я хотел бы иметь гарем.

Рассмеявшись, она стала театрально колотить его по плечу сложенным веером из слоновой кости.

Посещали салон мадам Калергис еще не раз. С удивлением слушали, как его посетители, не боясь последствий, поливают грязью действующую власть, награждая короля самыми нелестными словами. Говорить такое в России о Николае I было невозможно. Тут же попадешь в лапы к Дубельту и его молодчикам.

Мнения супругов и тут разошлись: Дмитрий оказался явным консерватором и приверженцем русских патриархальных ценностей; соглашался, что крепостничество в диких его формах неприемлемо и нуждается в улучшении, но считал, что совсем отменять рабство невозможно, ибо это основа Российской империи; Лидия восхищалась свободомыслием Франции и мечтала о коренных переменах на Родине. Предлагала мужу насовсем перебраться в Париж. Он и слушать не желал: должен получить место при дворе, ведать церемониями, распоряжаться на балах и приемах государя и вообще состоять при царе-батюшке. Променять карьеру в России на богемную жизнь во Франции? Ни за что на свете! Лидия понимала и уступала логике мужа, но в душе что-то продолжало свербить и не соглашаться: ей хотелось вольности, беззаботности, как у Маши Калергис. Чуть завидовала ей. Та ни от кого не зависела, делала, что хотела. В том числе меняла любовников как перчатки... Нет, конечно, Закревская-младшая любит мужа и мечтает иметь от него детей. Ей противны связи с другими мужчинами. Если б Дмитрий не был таким упрямым и не следовал всем привитым ему Карлом Нессельроде патриархальным ценностям, стал бы в ее глазах идеалом вообще. Но увы, увы... Приходилось смиряться.

Провели в Европе четыре месяца. Возвращались домой в конце августа. Снова плыли на пароходе, но на этот раз уже из Гавра. Море было спокойное, ровное, чайки вились около бортов в ожидании брошенных им кусков хлеба. Лидия лежала в шезлонге на палубе и слегка придерживала широкополую шляпу от случайных порывов ветра. Подошел Дмитрий — он был в светлом летнем костюме и рубашке апаш.

— Не скучаешь, душенька? — Муж курил сигару и прищуривался от солнца и от дыма.

— Не скучаю, но, скорее, грущу: осени не хочется и зимы. Холодов, морозов... Брр!

— Что поделаешь: мы не Франция и даже не Германия.

— К сожалению.

Петербург встретил их дождем и туманом. Тут еще выяснилось, что Нарышкины в ссоре и Надин с ребенком проживает отдельно, протестуя против регулярного пьянства Алекса. Тот божился, что давно не пьет и ведет себя как благопристойный супруг. А жена не верила, находясь в каком-то странном состоянии полубреда. Лидия пыталась ее успокоить, но мадам Нарышкина отстраненно смотрела на мадам Нессельроде, что-то бормоча. Вдруг очнулась и сказала вполне внятно:

— Он еще пожалеет, дряннь.

— Что ты, что ты, голубушка! — испугалась подруга. — Мы христиане и не можем унижаться до мести. Христиане должны прощать.

Покривившись, прибалтийка начала кусать нижнюю губу. Наконец ответила:

— Нет, не бойся, никого убивать я не собираюсь. Просто вместе с Ольгой перееду к матери в Москву. Может, там развеюсь.

— Вот и замечательно. Перемелется — мука́ будет.

— Если перемелется.

И никто тогда знать не мог, что убийства избежать все-таки Надин не удастся...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1.

Революции прокатились почти по всей Европе, спутав карты Лидии, продолжавшей мечтать об еще одной поездке во Францию. Да и что было ждать хорошего от ненастного, високосного 1848 года?

В феврале был свергнут Луи-Филипп, и династия Бурбонов с ним утратила власть уже навсегда, уступив место очередной республике.

Тут же полыхнуло в Германии и Австрии. Венгры, восстав, воевали за независимость. Их немедленно поддержали чехи. Ожились патриоты Италии во главе с Гарибальди. Сидя в Лондоне, Маркс написал и распространил «Манифест Коммунистической партии», выпустив гулять по Старому Свету призрак коммунизма...

Император Австрии вынужден был пойти на уступки: утвердил Конституцию, отменил крепостное право и созвал рейхстаг. А затем, после подавления беспорядков в Вене, вовсе отрекся от престола в пользу своего племянника — Франца-Иосифа.

Президентом Франции был избран Шарль Луи Наполеон, доводившийся племянником знаменитому полководцу. А король Пруссии Фридрих Вильгельм IV сделался кайзером всей Германии.

Русский император Николай I с беспокойством следил за этими событиями и, когда революционное пламя стало затухать, посчитал своим долгом поучаствовать в его затапывании. Заключив союз с Францем-Иосифом, ввел войска в мятежную Венгрию. Наш генерал Паскевич разгромил войска повстанцев, а герой революции поэт Шандор Петефи был убит. Австро-Венгрия, несмотря на солидные потрясения, все же устояла.

И в самой России не обошлось без репрессий. Власти разогнали молодежный кружок петрашевцев (чаепития у М. Петрашевского, где сначала занимались самообразованием, а затем перешли к политике, обсуждая возможность революции и создания нелегальной типографии). Состоялся суд. Активисты, в том числе будущий литературный гигант Федор Достоевский, получили высшую меру — расстрел. Впрочем, царь в последний момент его отменил и отправил осужденных на каторгу...

В общем, к лету 1850 года основная крамола на Западе и в России была подавлена. Поворчав, Европа зализывала раны. Жизнь вернулась в прежнюю колею.

Николай I слово свое сдержал, и Арсений Андреевич Закревский получил ответственный пост — генерал-губернатора Москвы. Неслучайно: императору нужен был верный человек

во главе Первопрестольной, жесткий, консервативный. И отец Лидии отвечал этим требованиям: с ходу принялся наводить порядок, даже запретив позднее окончание балов. Москвичи прозвали его Арсеник I и Чурбан-паша. Он смеялся и говорил: «Я не обижаюсь. Дело прежде всего. Государь поставил меня вычистить Москву от всего дурного, я и вычищу».

Лидия приезжала рожать в родное Ивановское и довольно легко произвела на свет Толли — Анатолия Дмитриевича Нессельроде. Мальчик был здоровенький, крепенький, очень похожий на деда — генерала Закревского. Да и дед его просто обожал.

Он однажды спросил у дочери:

— Слышала новости о твоей подруге Надин Нарышкиной?

— Нет, а что?

— У нее роман с Сухово-Кобылиным.

— Это же с каким Сухово-Кобылиным?

— Есть такой помещик московский малопримечательный. Ты его не знаешь. Но пикантность истории состоит в другом. Он не так давно был в Париже и привез оттуда гризетку, с коей начал жить в открытую. То есть жил. А потом отставил ради твоей Надин. И француженка в бешенстве. Обещает расправиться с ним и с Нарышкиной. А? Каков сюжет?

— Ужас просто! Бедный Алекс. Дочка-то в Москве или в Петербурге?

— Здесь, в Москве.

— Что же этот Сухово-Кобылин, хорош?

Генерал презрительно сморщил нос.

— Карбонарий, масон. Вроде лермонтовского Печорина. Не способен к созидательному труду.

— Вот Надин глупая. Променять достойного, хоть и пьющего, мужа, князя, на какого-то московского донжуана? Положительно, я ее не понимаю.

— Кто вас, женщин, вообще поймет? — рассмеялся родитель.

Вскоре они увиделись — в Малом театре, на комедии Ивана Тургенева «Холостяк», в главной роли Михаил Щепкин. На мадам Нарышкиной было элегантное темно-синее платье

с кринолином и шлейфом, а на волосах и плечах мантилья. Рядом с ней стоял рослый, гренадерского вида 35-летний мужчина с пышными усами, лихо закрученными кверху.

— О, ма шер ами! — воскликнула та. — Вот не ожидала! Говорили, будто ты сидишь у себя в Подольске безвылазно.

И они поцеловались, впрочем, вполне формально.

— Так и есть: я сидела и пестовала дитя. Но теперь отдали его кормилице, и могу ненадолго наведываться к папá в Москву.

— Познакомься, душенька, это Александр, мой хороший, очень близкий друг. — И она кивнула в сторону кавалера.

Сухово-Кобылин, чинно поклонившись, поцеловал Нессельроде руку.

— Как ты превосходно устроилась, — едко пошутила подруга, — муж Александр, друг Александр... Чтоб не перепутать...

Вспыхнув, Надин ответила:

— Нешто ты верна своему обскуранту Дмитрию? Ни за что не поверю.

— Вот представь себе. Я его люблю. Даже обскуранта.

— Ох, какие мы правильные, непорочные, настоящие херувимчики! — Но потом перевела разговор на другое: — Сухово-Кобылин тоже сочиняет и тоже комедийки.

— Вот как? Интересно. Где же побывать на их постановке?

Он потешно пошевелил тараканьими усами.

— О, пока нигде. Не могу протащить ни одну из пьесок через цензуру. Говорят, «безнравственно». Коли муж приходит домой внезапно, а любовник сидит в шкафу — это, видите ли, безнравственно. Я им говорю: это же комедия, господа. А комедия бичует пороки. Нет, не понимают. Видно, сами побывали в роли мужей-рогоносцев.

Расставаясь, обещали заезжать в гости, но Закревская-Нессельроде про себя решила не беспокоиться: Сухово-Кобылин ей не понравился, показался мужчиной с сомнительными взглядами, и общением с ним дочка генерал-губернатора опасалась навредить репутации своего родителя. Волей-неволей нужно было соблюдать осторожность.

И, как говорится, Бог миловал: вскоре по Москве разнеслось страшное известие — полицейские обнаружили труп женщины, горло перерезано. После опознания оказалось: это молодая француженка Луиза Симон-Деманш, бывшая содержанка Сухово-Кобылина. Все драгоценности на ней и шуба оказались нетронутыми — значит, злоумышленник грабить не собирался. Что тогда?

Александра арестовали. Он не отрицал, что буквально накануне убийства виделся с покойной. Будучи с Надин Нарышкиной на балу, выходя, столкнулся с француженкой у парадного. Та устроила грандиозный скандал, стала собираться толпа, и с трудом удалось затащить истеричку в карету. Никакие увещевания на нее не действовали. Дома, в особняке Сухово-Кобылина, вроде успокоилась, выпила вина, но потом начала по второму кругу. Александр вспылил и швырнул в нее канделябром. Тот поранил ей щеку, выступила кровь. Но Луиза была жива и ушла из особняка без сопровождения...

Лидия узнала эти подробности от отца, а потом неожиданно получила записку: *«Дорогая, умоляю тебя о помощи. Соболаговоли встретиться со мною в два часа пополудни. Н. Н.»* После некоторого раздумья Нессельроде согласилась.

На приехавшую Надин было больно смотреть: бледная, осунувшаяся, с пересохшими, потрескавшимися губами и остановившимся взглядом. Даже не раздевшись, повалилась Лидии в ноги и с надрывом начала умолять о милости.

— Что, что такое? Как тебе не стыдно, вставай. Объясни, в чем дело.

Дело было в паспорте: женщина просила, чтобы дочь Закревского упростила отца, и Арсений Андреевич разрешил Нарышкиной срочно получить паспорт для выезда за границу.

— Хочешь убежать?

— Разумеется. Не идти же на каторгу из-за этой дряни.

— Но помочь Сухово-Кобылину? Ты была бы свидетелем...

— Ах, ему уже ничем не поможешь. Все улики против него. И к тому же я не свидетель: сразу после возвращения с бала поднялась к себе в комнату и заснула. Ничего не видела, ничего не слышала.

— А по-честному?

— Ты мне не веришь? — рассердилась Нарышкина. — Хороша подруга, ничего не скажешь! — встала, оскорбленная. — Так замолвишь словечко или нет?

— Обещаю поговорить с папá. А уж как он решит — Бог знает.

Прибалтийка смягчилась:

— Коли выгорит, буду благодарна тебе по гроб.

— Ну, посмотрим, посмотрим.

В первые минуты генерал-губернатор слышать не хотел о Надин: осуждал ее безнравственность, легкомыслие, непорядочность. Говорил: пусть полиция разберется, если невиновна — отпустит, если обнаружит ее причастность — передаст дело в суд.

— Кстати, я связался по телеграфу с князем Нарышкиным, — сообщил отец. — Он уже знает о случившемся. И сказал, что жена сама во всем виновата и пускай выкручивается как хочет. Он, должно быть, приедет сюда за дочкой.

— Значит, не поможешь ей с паспортом?

Он потарабанил пальцами по крышке стола.

— Ну, во-первых, для выезда жены за границу требуется письменное согласие мужа. Предположим, Алекс ей позволит. Во-вторых, дело за полицией. Если у нее к Нарышкиной больше нет вопросов, можно похлопотать и о паспорте. Если есть — не нарушу правил. Мне мое реноме дороже.

— Да про то и речь.

Не исключено, что Надин удалось подмазать кого нужно в следственном ведомстве и в конце концов получить бумагу, где решительно утверждалось: к ней претензий никаких и она может быть свободна. А Закревский все-таки помог с паспортом. (Князь Нарышкин спьяну подтвердил, что не возражает.) Лидия в это время находилась в Ивановском и проститься с подругой не смогла. Только к Рождеству 1850 года получила от нее весточку:

*«Дорогая Лидуша. Наконец я и Оленька беспрепятственно покинули территорию России и сейчас в Берлине. Слава Богу, всё уже позади. Как гора с плеч! Приношу тебе и, конечно же, твоему **рапа** самые горячие благодарности за сочувствие и со-*

*действие. Что бы я без вас делала! Всё случившееся станет для меня хорошим уроком. Как могла увлечься первым встречным ловеласом? Потеряла голову и всецело отдалась страсти. Видно, в юности я недолюбила, не успела растратить запаса чувств, и моей душе захотелось романтических приключений. Но теперь — **basta, basta!** — как сказали бы итальянцы. Буду вести себя скромненько и всецело посвящу себя дочери. Поселюсь где-нибудь в Париже и в Россию скоро не приеду — лишь когда истечет срок паспорта. Приезжай и ты в Париж, если сможешь, с Митей, с Толли — вместе веселей! Крепко, крепко тебя целую. Крестная тебе низко кланяется. Твоя Н.»*

А на Рождество к ним в Ивановское прикатил Дмитрий — с кучей подарков, радостный, счастливый. Тряс над Толли погремушками. Мальчик улыбался и потешно агукал. Их идиллия была совершенной.

Как-то, нежась в постели после бурно проведенной с супругом ночи, Лидия сказала:

— Я хочу в Париж... Ах, не говори сразу «нет». Там такой особенный воздух! Люди совершенно другие. Атмосфера другая. Центр цивилизации... Почему бы нам не съездить этой весной?

Закурив сигару, он ответил:

— Нет, боюсь, весной не получится. Слишком много официальных встреч намечено государем, раньше лета он меня не отпустит.

— Очень жаль.

Видя ее огорченное личико, муж решил ей потрафить:

— Если так нейдет, поезжай вначале сама. А в июле — августе я попробую к тебе вырваться.

Лидия привстала на локте.

— Правда, отпускаешь?

— Ну, конечно, правда.

— С легким сердцем?

— Ну, конечно, не с легким, потому что разлука меня гнетет. Но согласен потерпеть, зная, что тебе хорошо в Париже.

— И не станешь ревновать зряшно, что общаюсь там с чужими мужчинами?

— Я надеюсь, будешь благоразумна и не запятнаешь честь семьи Нессельроде.

— Обещаю, милый! — И она обвила его шею сильными белыми руками.

Жаркий поцелуй и дальнейшее единение поглотили обоих. Дмитрий подозревать не мог, что тогда совершил роковую ошибку, главную в своей жизни. Он всецело полагался на честность Лидии, матери своего любимого Толли. Даже будучи дипломатом и царедворцем, не понимал: доверять молодой привлекательной даме, пусть и добродетельной, в одиночку отправляющейся в Париж, смехотворно.

2.

Толли остался с бабушкой и дедушкой, а его воодушевленная предстоящим путешествием мамочка упорхнула из родового гнездышка в середине апреля. В этот раз добиралась не пароходом, а лошадьми, только в Берлине доверившись железной дороге (да и то с двумя пересадками — потому как прямой магистрали не существовало). Прибыла на новенький вокзал *Gare de l'Est*, под высокой сводчатой железно-стеклянной крышей, пахнувший паровозным дымом, угольной пылью, гарью, машинным маслом, но такой диковинный, завораживающе современный по тем временам. И стояла взволнованная посреди перрона — в длинной шерстяной юбке, клетчатом пальто и фетровой шляпке с цветочками. Деревянный чемодан и ручной саквояж. Рядом — толстая Груня, дворовая девушка, ставшая служанкой молодой барыни накануне ее замужества, а затем помогавшая ходить за хозяйским ребятенком. Груня тоже была в шляпке, но скромнее, и просторной накидке, делавшей ее еще толще. Ей всегда было жарко, и она любила ворчать по любому поводу. Но служила вполне исправно.

Пассажиры прибывшего поезда обтекали их с двух сторон, то и дело задевая плечами или вещами. Чуть не сбили Груню с ног.

— Да куда прешь, баран? — закричала она визгливо. — Что глаза вылупил, обормот французский? «Пардон, пардон». Так тебя отпардону, маму не узнаешь!

— Тише, Грунечка, не вопи, — осаждала ее Лидия, улыбаясь. — Здесь нельзя так себя вести. Это не Ивановское, а Париж.

— Так и что — Париж? — не сдавалась девушка. — Нешто в Париже толкаться можно? Спуску нигде давать нельзя. А не то затопчут — хучь в Ивановском, хучь в Париже. Ухо надо держать остро.

Взяли извозчика на привокзальной площади и отправились напрямик к Маше Калергис. Ехали по улице Ля Файет, к Оперá, по бульвару Капуцинок. Мимо кофеен, пахнущих шоколадом и свежими круассанами, книжных магазинов, ателье мод и газетных лавок. Люди ходили уже налегке, было жарко, шелестела молодая листва, на балконах в ящиках распускались цветы.

О, весенний Париж! Ощущение полета, головокружение от свободы, предвкушения счастья!.. Да, она в Париже! Города ее мечты. Лидия ехала и блаженно жмурилась.

Поднялись по лестнице, Груня, пыхтя, тащила чемодан.

Звякнул колокольчик. Вслед за горничной выбежала Маша в шелковом китайском халатике. Обняла кузину.

— Слава Богу, приехала! Да еще и без мужа! Как тебя Митя отпустил?

— Просто отпустил. Ничего такого. Я не собираюсь ему изменять.

— В самом деле? Ну, блажен, кто верует...

— Можно у тебя пока поживу? Подыщу жилье и тогда уж съеду.

— Да живи, конечно. Я на днях уезжаю в гастрольный тур, так что моя квартирка целиком в твоём распоряжении. А потом уж посмотрим.

— Здесь, в Париже, моя подруга Надин Нарышкина. В некотором роде еще и племянница, знаешь?

— Если Алекс Нарышкин — сводный племянник у Мити, то да. Надо позвать ее на ужин. Где она остановилась?

— На авеню Ньель.

— Это рядом, вверх по Елисейским Полям, направо. Я пошлю гарсона с запиской.

Не успела распаковать чемодан и умыться с дороги, как уже принеслась Надин в элегантном чепце *fanchon*, кружевной мантилье и платье в клетку. И с довольно заметным пукчиком.

— Господи, ты как будто бы в интересном положении?

— Да, увы. Обнаружила слишком поздно, и теперь придется рожать.

— Алекс знает?

— Нет пока. Я страпсусь ему написать. Но в любом случае не хочу, чтобы будущий ребенок стал Нарышкиным. Или Сухово-Кобылиным. Запишу его на придуманное имя. Может, на французское. Так надежнее.

Вскоре начали собираться гости, общей численностью человек восемь. Из известных не было никого.

— А мсье Дюма не придет? — вроде между прочим спросила Нессельроде.

— Ты которого Дюма имеешь в виду? — улыбнулась Маша.

— Разумеется, младшего.

— Не уверена. Он сейчас работает над второй редакцией «Дамы с камелиями» и нечасто выбирается в свет.

— «Дама с камелиями»? — подняла бровь Лидия. — Это что, роман? Да, я слышала, но в моей подольской глуши не смогла прочесть.

— Что ты, душенька, непременно прочти, — отозвалась Надин. — Книжка слегка затянута, но сюжет и герои превосходны. Я считаю, сын превзошел отца.

Калергис возразила:

— Говорить так несправедливо. У Дюма-старшего — приключения, авантюры, схватки для весьма невзыскательного читателя и как раз рассчитаны, чтобы их печатали с продолжением в виде фельетонов¹. А Дюма-сын строит психологические сюжеты и выводит современных, узнаваемых персонажей. Он еще переделал свой роман в пьесу, но ее запретили к постановке, посчитав аморальной.

— Неужели?

¹ Feuilletton в то время — газетный подвал с занимательной беллетристикой, помещаемой из номера в номер.

— Да, заглавная героиня — куртизанка, жертва общества, ей сочувствуешь, а ревнители строгой нравственности посчитали, что сочувствовать падшей женщине не пристало.

— Очень интересно. Ты меня заинтриговала.

— Я бы тоже хотела с ним познакомиться, — заявила Нарышкина. — Может быть, нарочно пригласить его в гости до вашего отъезда, мадам?

— Отчего же нет? Завтра поутру отошлю ему записку.

Он явился через два вечера и вручил огромный букет хозяйке:

— Поздравляю с началом гастрольного тура, Маша. Пусть тебя всюду забрасывают такими цветами.

Он почти что не изменился за эти четыре года: может быть, слегка похудел. Говорил обычно шутливо, и его шутки иногда выходили злые. Лидию узнал сразу, улыбнулся, поцеловал руку. С удовольствием познакомился с Надин и сказал:

— О, теперь здесь, на улице Анжу, целое посольство русских красавиц. Тайное посольство.

— Почему тайное? — рассмеялась Нарышкина.

— Потому что в настоящем русском посольстве, где отец и я иногда бываем на официальных приемах, кроме стариков, никого не встретишь.

Целый вечер провели в непринужденных беседах. А когда Надин решила откланяться, вызвался ее проводить. Оба ушли под весьма недвусмысленные, игривые взгляды собравшихся.

— Кажется, она на него запала, — хмыкнула Калергис, раскурив трубочку.

— Видимо, и он на нее.

— Нет, не думаю, — покачала головой Лидия. — Он все время смотрел только на меня.

— Ну, так что такого? Нынче с ней, завтра с тобой, это в Париже не в диковинку.

Нессельроде даже передернуло:

— Твой цинизм меня просто убивает, голубушка.

— Я не удивляюсь: ты пока новичок в Париже.

Лежа у себя в комнате, дочь московского генерал-губернатора все никак не могла уснуть и ворочалась с боку на бок. Думала разгневанно: «Черт возьми, эта магдалина, даже

в положении, увела кавалера у меня из-под носа! А еще подруга! Нет, ну, я, конечно, не намерена изменять супругу, но невинный флирт вполне допускаю. А Надин, должно быть, падка на пишущих джентльменов. Снова попадет в какую-нибудь историю. У Дюма наверняка есть любовница. И Нарышкина снова окажется, как бельмо в глазу. Вот и поделом. Как она писала? «Для меня послужит настоящим уроком...» Да урок не в прок. Впрочем, отчего я тревожусь? Мне не все ль равно? Пусть она с Дюма найдет свое счастье. Нет, какое счастье, если Надин беременна от другого? Вот поганка! Тише, тише, надо успокоиться. Почему я волнуюсь? Не влюбилась ли сама в Дюма-сына? Да ни Боже мой. Он приятный молодой человек и веселый собеседник, но мое сердце принадлежит исключительно Дмитрию. Я клялась ему в верности перед алтарем. Правда, наши свечки тогда погасли... Может, неслучайно? Суеверие — суть язычество. Но приметы иногда удивительно сбываются. Предки-язычники тоже не дураки были... Нет, семья для меня священна. Я теряла голову с Рыбкиным, но теперь ни-ни. Я же не блудница вроде Нарышкиной. Запятнать честь семьи Нессельроде не имею права. И к тому же — Толли, милый мой сыночек, он залог моей верности супругу. Я люблю Митю! И на всех посторонних Дюма мне решительно наплевать с высокого дерева».

Запалив лампу, положила на стол письменные принадлежности, села, обмакнула перо в чернильницу и размашисто вывела на листке бумаги:

«Милый мой, бесценный муж и повелитель! Обещала тебе писать каждую неделю и, как видишь, не нарушаю слова. Низкий поклон от Маши и Надин. Мы живем дружно и ведем себя скромно. Все мои мысли только о тебе и о Толли. Здесь уже тепло, скоро настоящее лето. Приезжай скорее. Мне в Париже без тебя очень одиноко. Да, мечтала о поездке во Францию, а теперь понимаю: главное для меня — не Франция, а ты. Где ты, там и счастье. Покрываю твое лицо поцелуями. Отвечай немедленно. Преданная тебе всецело твоя жена Лидия».

Перечла, подумала и разорвала на мелкие части. Все письмо показалось ей чересчур сентиментальным и пафосным. Вдруг у Мити возникнут подозрения: «Что это она так напористо

объясняется мне в любви? Уж не хочет ли скрыть тем самым вспыхнувшие чувства к другому?» И пробормотала:

— Завтра напишу поспокойнее. Утро вечера мудренее.

3.

Встретившись с Нарышкиной на другой день, Лидия сияла, щебетала, говорила на отвлеченные темы, долго рассказывала, как они с Дмитрием здесь, в Париже, в 1847 году, больше часа искали ресторан, где готовят лягушачьи окорочка, а затем, отведав, оказались разочарованы — лапки походили по вкусу на перепелиные. Мнение Надин о французской кухне было неплохое, но призналась, что она, по беременности, бредит солеными огурцами и квашеной капустой. От еды перешли к духовному — книгам, театрам, и у Нессельроде вырвалась фраза:

— Кстати, о писателях: как тебе Дюма-младший?

Дама опустила глаза и смотрела в чашечку кофе задумчиво. Наконец ответила:

— Он необычайно галантен.

— Проводив, напросился к тебе на чай?

— Да, попытку сделал, только я отказала, вежливо сославшись на головную боль.

— Не обиделся?

— Нет, нимало. А тем более всю дорогу расспрашивал только о тебе.

— В самом деле?

— Да, по-моему, он в тебя влюблен.

Лидия расхохоталась, впрочем, не вполне натурально.

— Не смей меня, пожалуйста, дорогая.

— Правда, правда. Все выводывал, очень ли ты привязана к своему супругу и не означает ли твой приезд сюда без него ваш разрыв?

— Что ты ему сказала?

— Всё как есть: любишь и любима и заботишься о маленьком Толли, и к макушке лета ожидаешь приезд в Париж Дмитрия.

— Правильно, спасибо. — У нее глаза словно погрустнели.

— Или я была неправа?

— Нет, нет, права! — спохватилась та. — У Дюма-сына никаких шансов на мой счет.

— Ой ли? Не лукавишь?

— Я клянусь, что не помышляю о романе на стороне.

— И не станешь дуться, коли я смогу захватить в полон его сердце?

— Что ты, что ты, буду за тебя только рада. Но прости, а твоя беременность?

— Я надеюсь, не помешает. Может, наоборот: запишу ребенка на имя Дюма. — Хищно ухмыльнулась. — Да шучу, шучу. Сухово-Кобылин, кстати, написал мне письмо.

— В самом деле?

— Да, его отпустили, не найдя никаких улик. Откупился, наверное. Впрочем, это неважно. Дело в другом. Кто-то из наших общих знакомых, кто видал меня в Париже, сообщил ему, что я жду ребенка. Вот и просит, если будет девочка, чтобы я назвала ее Луиза.

Нессельроде ахнула:

— В честь его покойной любовницы?

— Да.

— Он наглец.

— Кто бы сомневался. И еще какой! Но, с другой стороны, не могу проигнорировать его мнение — он отец ребенка. И к тому же, если записывать дитя во Франции, то французское имя может подойти. Я еще подумаю.

Словом, Лидия добровольно отказалась от Дюма-сына. Но в душе? А в душе как будто бы появился горький привкус. Вроде сдалась без боя. Упустила шанс. И сама спрашивала себя: что за шанс такой? Жизнь ее прекрасна: муж, ребенок, деньги, положение в русском и парижском обществе, замечательный цвет лица, стройная фигура. Для чего еще какой-то Дюма? Лишь для куража? Пощипать себе нервы? Походить босиком по лезвию ножа? Это все ребячество. Ей, замужней светской львице, не нужны сомнительные романчики. Понимала ясно: нынешнее ее счастье можно разрушить запросто, как разрушила свое семейное счастье Надин. Хоть и с пьющим мужем. Нет, Закревская-Нессельроде не такая глупая. Дорожит честью

и спокойствием Дмитрия, репутацией Арсения Андреевича, наконец. И поэтому будет благоразумной. Никаких Дюма. Сделала все правильно.

Только горечь не проходила.

Воздух Парижа навевал безумные мысли. Вызывал томление плоти. Женское начало жаждало мужского. И, ворочаясь у себя в постели, Лидия представляла себя с молодым Дюма — его губы, руки, пальцы, крепкие объятия, поцелуи, ласки... Сердце билось отчаянно, голова горела, а грудí было тесно в ночной рубашке... Вся была в испарине от невыплеснутых желаний, образ молодого писателя совмещался в ее сознании с образом Рыбкина, с тем безумством арзамасских ночей в небольшой уютной гостиничке, где они скрывались от родителей и знакомых...

Нет, она не такая! Нет, она не Надин! Прочь блудливые мысли, помоги, Спаситель!

Умывала лицо водой из кувшина, а потом, опустившись на колени, истово молилась. Посреди Парижа. На веселой улице Анжу. В полутемной комнате, такой монашеской келье, вроде островка целомудрия посреди разврата.

Как же это вынести?

Лидия ощущала неким шестым чувством, что она одна такая наивная. Мучается в одинокой постели, а кругом за стенами — справа, слева, сверху, снизу — мир кипит сладострастием, и кровати сотрясаются от любовных судорог, жизнь бурлит и пенится, обтекая ее с двух сторон, как тогда на перроне *Gare de l'Est*...

Может, не противиться зову, будь что будет?

Да, судьба все решила за нее. Не давая альтернатив.

Вскоре утром, не успела она одеться, причесаться и выпить кофе, как вошла Груня и обычным своим недовольным голосом доложила:

— Барыня, к вам какой-то барин в цилиндре.

Госпожа удивилась:

— Что еще за барин?

— Говорят, Тумак.

— Первый раз слышу. Хорошо, подай пеньюар накинуть. И проси, проси.

На пороге появился Дюма-младший.

— Вот вам и «Тумак»! — хохотнула хозяйка. — Бонжур, мсье.

— Бонжур, мадам. Я прошу прощения за столь ранний визит, да еще без предупреждения. Только дело не терпит отлагательств.

Был он в сером фраке без фалд и цветастой жилетке, светлых брюках со штрипками. Весь такой весенний, лучистый.

— Дело? Что за дело?

— Мой приятель, Мишель Марсо, он художник, книжный иллюстратор, нынче пригласил меня на пикник в Булонский лес. Три-четыре пары, не больше. Я подумал сразу о вас. Не составите мне компанию?

Нессельроде не на шутку смутилась:

— Я не знаю, право. Вы застали меня врасплох... Да прилично ли сие — мне, замужней даме?

— Совершенно прилично. Никаких посягательств на вашу честь. Просто на природе посидим на ковре и подышим воздухом, выпьем и закусим. Поболтаем и посмеемся. Все вполне пристойно.

— Вы даете слово, что могу быть спокойна за мою репутацию?

— Слово джентльмена.

Помолчав, Лидия спросила:

— А Надин Нарышкина тоже с нами?

— Нет, она не знает об этой вылазке.

— Не хотите ее позвать?

Он тряхнул кудрями:

— Ни малейшего, признаться, желания. Слишком поедает меня глазами.

Дама рассмеялась:

— Да, в таком случае не надо. А когда же ехать?

— Вот сейчас непосредственно и ехать.

— Как — сейчас? Так рано?

— В том-то все и дело. Отчего я приехал ни свет ни заря?

— Но позвольте мне привести себя в порядок!

— Полчаса вам достаточно?

— Я надеюсь.

— Буду ждать в коляске около ворот.

Что тут началось! «Груня, Груня, скорее, крепдешинное платье в горошек. Ах, оно не глажено! А вот это, с ромашками? Хорошо, давай в синюю полоску. Шляпку приготовь. Нет, другую, в виде цилиндрика. Умываться, умываться! Фр-р, вода холодная... Нет, не надо греть, лучше освежи туфельки бархоткой. Синие, на каблучках. Где большая расческа? Господи, какое безумие. Для чего мне такие встряски? Заколи на затылке. Груня, где ты? Зашнуруй корсет. Подожди, туфельки пока брось, надо шнуровать...»

В общем, собиралась три четверти часа. Вышла раскрасневшаяся, задорная. Молодой человек вскочил, подал руку и помог забраться на ступеньку коляски. Сам устроился рядом, хлопнул дверцей и сказал вознице:

— Allons, allons!¹

Повернулся к спутнице, улыбнулся лучисто:

— Вы очаровательны.

— Мерси бьен. Я надеюсь вас не опозорить перед друзьями.

— О, они сойдут с ума от восторга!

Ехать было недалеко — прямо по Елисейским Полям, а затем налево. Превращение Булонского леса в обустроенный городской парк состоится десятилетием позже, а тогда он действительно походил местами на обычный лес: рощицы, полянки, небольшие милые озерца, поросшие камышом, тропки и поваленные бурей деревья. Солнце уже выглядывало из-за фиолетовых крон, рассыпая золотые монетки, воздух был звонок, как хрусталь, и, казалось, при неосторожном движении можно его разбить. Радостно чирикали птицы.

— Хорошо-то как! — нежилась мадам Нессельроде. — Там, где я живу, под Подольском, тоже великолепные леса, но все больше хвойные — сосны, ели. Воздух не такой: говорят, целебный.

— О, у нас не менее благотворный. Возбуждающий чувственность.

— Вы, должно быть, шутите?

— Нет, серьезно. Это место для романтических встреч. И особенно в теплое время года.

¹ Едем, едем! (фр.)

— Но ведь мы не на свидание едем, сударь, а всего лишь на пикник? — приоткрыв глаза, посмотрела на кавалера изучающе.

— Почему бы не совместить и то, и другое?

— Речь вели только о прогулке. Вы клялись, что не будет никаких домогательств.

— И не будет, правда. Но зачем стремиться предугадать?

Лидия нахмурилась:

— Нет, не смейте. Или я велю повернуть назад.

— Ах, оставьте, умоляю. Не драматизируйте. Отчего русские все такие серьезные по части морали?

— Оттого что мы православные. А по-вашему — ортодоксы.

— Вы теперь во Франции. А во Франции ортодоксов не понимают.

— Где вам, лягушатникам, понять славянскую душу!

Александр отчаянно рассмеялся, весело запрокинув голову.

Вскоре нашли поляну, где уже собрались остальные участники пикника — пять дам и пять кавалеров. На траве был расстелен ковер, а на нем стояли оплетенные кувшины с вином и корзинки с фруктами, свежей выпечкой. Дамы в летних, полупрозрачных платьях, две вообще без шляпок; молодые люди в рубашках апаш, праздничные, игривые. Радостно приветствовали Дюма с его спутницей.

— Господа, позвольте вам представить мадам Нессельроде. Родственницу мадам Калергис: та доводится мсье Нессельроде двоюродной сестрой.

Все заулыбались еще больше и закивали. А Мишель Марсо, рыжий лохматый бородач, больше похожий на мясника, чем на графика-иллюстратора, предложил выпить за новое знакомство. Лидия уселась тоже на ковер и взяла стаканчик, наполненный темно-рубиновым напитком. Стала чокаться приветливо: «*Votre santé, votre santé!*»¹ Тепловатое сухое вино ласково согрело желудок, а затем разлилось по всему телу. Кто-то специальными ножницами для разделки жареной птицы ловко раскусил на части несколько тушек каплунов, извлеченных из вощенной бумаги, — с аппетитной коричневой корочкой,

¹ Ваше здоровье! (фр.)

в ароматных специях. Ели их руками, утирая сальные пальцы и губы белыми льняными салфетками. Точно так же, руками, без столовых приборов, отправляли в рот свежие пикули — мелкие огурчики, помидорчики, патиссончики. Заправляя их хрустящим багетом, рваным на куски. Было легко и непринужденно, без церемоний, как-то по-студенчески. Молодые люди острили, дамы покатывались со смеху, и чем больше было всеми выпито, тем смелее и откровеннее становились шутки, тем неукротимей и звонче хохот. Лидия почувствовала легкое головокружение, алкоголь подействовал, и, боясь совсем опьянеть, повернулась к своему кавалеру:

— Александр, отчего бы не прогуляться к берегу пруда? Мне пора пройтись, освежить лицо холодной водичкой. А не то рискую улечься на ковер и уснуть.

— Воля ваша, сударыня, — протянул ей руку, помогая подняться.

Удалились под двусмысленными, ироничными взглядами друзей. Он сжимал ее локоть, а она шла нетвердо, опасаясь подвернуть ногу, наступив каблуком на случайный камешек. Да и голова прилично кружилась. Даже попеняла:

— Ах, вино такое коварное: пьется совершенно легко, а потом двигаешься с трудом.

— Это «Божоле Крю» урожая сорок седьмого года. Продается недешево, но у дяди Марсо виноградники в Бургундии, и Мишель получает кувшины почти что задаром.

На пруду беззаботно плавали красноперые утки и ныряли потешно, задирая кверху остроконечные хвостики.

Лидия почувствовала кисть Дюма у себя на талии. И не увернулась: было приятно. Ощущала его крепкое плечо. Но решила переключить внимание на другое и спросила рассеянно:

— А когда мы увидим «Даму с камелиями» на сцене?

Молодой человек вздохнул:

— Совершенно не представляю. Все усилия разбиваются о цензурную стену. Мой отец обещал похлопотать — ведь его приглашают к самому президенту.

— Ваш отец — выдающийся сочинитель. Вы нас познакомите?

— С удовольствием.

Он прижал ее талию к своему бедру и хотел было развернуть собеседницу к себе, но на этот раз она отстранилась:

— Сударь, сударь, спокойнее. Надо держаться в рамках.

— Кто сказал?

— Я. А кто ж еще?

Медленно пошли, огибая пруд.

Александр заговорил:

— Как вам мои друзья?

— Чрезвычайно милы. Но из дам я, пожалуй, самая «взрослая» — остальным лет, наверное, по двадцать?

— Есть и меньше.

— Разве господам интересно проводить время с этими малолетками?

— Но ведь господа не ждут от них умных изречений.

— А чего ждут от них господа?

— Сами знаете.

— Вы от меня, я надеюсь, этого не ждете?

Он довольно сильно сжал ее запястье.

— Нет, не жду. Потому что обещал вам не ждать... Правда, скрепя сердце.

— Я верна моему супругу.

— Понимаю.

И действительно, долго толковали на другие, отвлеченные темы, Лидия рассказывала ему о России, не без юмора обрисовывая некоторые особенности русского характера. Но, пройдя по тропинке в рощицу, замерли на краю полянки, неожиданно напоровшись на пикантную сценку: парочка под кустиком занималась любовью, и причем уже в неистовой фазе завершения.

— О, мон Дьё! — вырвалось у смущенной мадам Нессельроде, и она прикрыла ладошкой губы.

— Вуаля!¹ — хмыкнул молодой литератор.

Дама под кавалером на траве вскрикивала с таким сладострастием, что у Лидии мурашки побежали по телу; вся пунцовая от неловкости, потянула Александра назад, прочь от увиденного:

— О, пойдите, пойдите, умоляю вас...

¹ Так вот! (фр.)

Скрывшись за деревьями, начала обмахиваться перчаткой.

— Что с вами? — удивился он, чувствуя ее дрожь.

— Я... не знаю... виновато вино... и теперь... — Женщина сглотнула. — Ах, вернемся поскорее к вашим друзьям... пожалуйста!..

Младший Дюма заметил:

— Лучше чуть попозже: мы рискуем там столкнуться с теми же картинами...

— В самом деле?

— Я не исключаю.

— Господи Иисусе. Вы нарочно завезли меня сюда, чтобы совратить.

Тот прижал ее к себе — сильно, храбро:

— Вы ведь сами этого хотите.

Трепеща, Лидия ответила:

— Нет, неправда... Я верна моему супругу... И надеюсь, что вы, сударь, не посмеете...

Он посмел. И она осела в его руках, перестав сопротивляться, подчиняясь полностью, перестав себя контролировать. И, забыв обо всем на свете, лежа на спине, отдалась нахлынувшей страсти не менее исступленно, чем увиденная ими парочка, вздрагивая при каждом толчке и хрипя от вожделения, судорожно хватая пальцами траву.

Оба растворились в любви.

А потом тяжело дышали, приходя в себя, возвращаясь в действительность. Целовались, ласкались, улыбались друг другу.

— Я — любовница самого Дюма! — рассмеялась Лидия радостно. — Пусть Надин мне завидует.

Александр спросил ее озадаченно:

— Вы хотите ей рассказать?

— Думаете, не надо?

— Дело ваше. Но готовьтесь тогда поссориться. Женщины не терпят соперниц.

— Хорошо, подумаю.

Приводили в порядок одежду, стряхивая сухие травинки, муравьев и комки глины с песком. Возвращались, крепко обнявшись. Судя по лицам покинутых ими приятелей, Александр и Лидия были не одиноки в этом своем амурном порыве.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1.

Дмитрий получил записку от отца — Карла Нессельроде — с приглашением отобедать вместе. После смерти жены канцлер жил один. Из прислуги держал только камердинера и кухарку. И как будто бы еще больше высох, посуровел от невосполнимой потери. Обе дочери (настоящие, не приемные), выйдя замуж, много лет назад уехали из России (старшая, жена дипломата Хрептовича, находилась с ним на Сицилии, младшая, по мужу — графиня Зеебах, в Саксонии). Дмитрий не мог не уважить просьбу родителя — он по-прежнему, несмотря на открывшуюся тайну, относился к нему по-сыновьи.

Изо всех сил старался не опоздать — Нессельроде-старший осуждал непунктуальных людей, — но пришел на четыре минуты позже назначенного срока. И с порога начал извиняться.

— Ничего, ничего, нестрашно, — неожиданно ласково приветствовал его Карл Васильевич. — Ты теперь обергофмейстер, государь тебя ценит, много раз хвалил. И твоя незначительная задержка абсолютно простительна.

Пригласил в столовую. Дмитрий заметил посреди убранства стола темную бутылку мозельского вина. Канцлер почти не пил, позволял себе рюмочку-другую только по большим праздникам. А сегодня торжества не было. Молодой человек встревожился.

Начали с холодных закусок. То есть, холодными они были для Дмитрия — Карл Васильевич не терпел ничего холодного и всегда распоряжался чуть подогреть — даже салаты и соленую рыбу.

— Предлагаю выпить, — начал он и кивнул камергеру, чтобы тот разлил, — ибо разговор будет непростой.

— Вы меня пугаете, — отозвался Дмитрий.

— Нет, пугаться поздно. Ибо я давно знал, чем твоя женитьба окончится. И предупреждал.

(У него получилось «претупрешталь».)

— Вы о чем, папá?

— Выпьем, выпьем. За твоё здоровье.

— За моё? Отчего не ваше?

— Все мои удары судьбы уже позади. А твои только предстоят. И желаю тебе мужества.

Осушили бокалы. С кухни принесли супницу, камердинер половником начал наполнять их тарелки.

— Черепуховый, — улыбнулся старый вельможа. — Мой любимый.

— А мамá избегала есть его.

— Да, её вкусы были незамысловаты... Царствие ей небесное!

Оба перекрестились. Сын из приличия проглотил две-три ложки. После сказанного отцом аппетита не было. Но продолжить разговор первым не решался.

Наконец Карл Васильевич, с удовольствием расправившись с супом, произнес:

— Видишь ли, дружок... Младшая твоя сестренка Мария... Машенька, Машутка... ныне графиня Зеебах... написала мне на днях из Парижа. Дело в том, что её супруг Лео был назначен саксонским посланником во Франции. Ну, так вот... Может быть, ещё выпьем?

Молодой человек взмолился:

— Не томите, папá, говорите сразу!

Тот вздохнул:

— Сразу так сразу, хорошо... Словом, весь Париж обсуждает светскую новость: у Дюма-сына, автора известной тебе «Дамы с камелиями», новая любовница. Догадайся, кто.

— Кто? — похолодел Дмитрий.

— Да, увы, ты подумал верно... К сожалению, Лидия Арсеньевна не смогла сберечь честь семьи Нессельроде. Я предупреждал... ты меня не послушал...

— Нет, не верю! — вскрикнул обер-гофмейстер его величества.

— Я, признаться, тоже не поверил вначале. И послал тайную депешу в Париж, в русскую миссию, чтобы уточнить по своим каналам... И сегодня утром принесли ответ. К сожалению, это правда. — Сделал знак рукой камердинеру, чтобы вновь наполнить бокалы. — Выпей, легче станет.

Нессельроде-младшего буквально трясло. Начал пить вино и заляпал красными пятнами белую сорочку.

— Успокойся, милый, — посоветовал ему канцлер. — Неприятно, конечно, я не спорю, но, с другой стороны, дело совершенно житейское. Я прошел через это тоже. И ты знаешь, простил мамá. Ибо Вседержитель велел прощать. Проявлять милость к падшим. Призываю и тебя стойко перенести известие и великодушно протянуть жене руку помощи.

(У него вышло «присифаю».)

— Руку помощи?! — взвился сын. — Я поеду в Париж и убью ее. А потом его.

— А потом себя? Перестань, это не смешно.

— Хорошо, ее оставлю в живых, а ему pošлю вызов на дуэль.

— Чтобы расквитаться за Пушкина? — кисло улыбнулся Карл Васильевич. — Нашего поэта убил француз, ты убьешь французского романиста. Водевиль какой-то.

Дмитрий сжал кулаки, застучал ими по столу:

— Что же делать, что мне делать, папá?

Канцлер ответил твердо:

— Безусловно, собираться в Париж. И немедля увезти отсюда свою супругу. Мать твоего ребенка. Пусть пока поживет в Ивановском. А потом посмотрим.

— Как она могла, как она могла?.. — повторял страдалец, раскачиваясь на стуле.

— Полно, полно, голубчик, ешь.

— Не могу, не лезет.

— Не драматизируй. Я нарочно заказал Фросе самое твое любимое блюдо — паровую телятину с жареными лисичками.

— Лучше выпьем.

— Выпей, дорогой. Мне уже достаточно.

После трапезы, сидя в кресле, Дмитрий с разрешения родителя закурил сигару. Молодой человек слегка успокоился, но по-прежнему выглядел убитым. И проговорил:

— Алекс Нарышкин — мой, так сказать, племянник... Ну, вы понимаете?

Карл Васильевич согласно кивнул.

— ...собирается в Париж за своей женою. Вы, должно быть, знаете, что она родила дочку от Сухово-Кобылина? Алекс ее простил и не против удочерить девочку. Мы отправимся во Францию вместе.

— Да, согласен, так почувствуешь себя более уверенно.

— Дело не в уверенности, а в мужском товариществе. Два товарища по несчастью. Говорил, что Надин согласна на развод, но ему развода не хочется. Очень сильно любит.

Канцлер отозвался:

— Никаких разводов. Нессельроде тоже не разводятся.

— Я не помышлял. Если не помиримся, станем жить отдельно, и всё.

— Лучше помириться. Понимаю, что нелегко. Но иного выхода просто нет: и мое, и твое положение при дворе обязывает.

(У него получилось «опясифает».)

— Постараюсь, папá.

Выйдя от отца, он в расстроенных чувствах вернулся домой и послал еще за вином. До утра выпил две бутылки. И забылся сном где-то на рассвете.

2.

Дома у Нарышкина было нестерпимо сильно накурено, он лежал в халате на оттоманке, весь окутанный клубами табачного дыма. Оказался небрит и давно не стрижен. Появившемуся Дмитрию пьяно обрадовался и раскрыл объятия:

— Дядечка... польщен!.. Хочешь выпить?

Гостя передернуло:

— Не произноси... а не то меня вывернет... я вчера злоупотребил...

— А, уже знаешь? — догадался Алекс.

— Что, и ты тоже?

— Ну, еще бы. — Он ушел к себе в кабинет и явился с письмом в руке. — Вот послушай. Это от Надин. — Развернул послание. — Так... ага... тут идет про другое... Говорит о новорожденной дочери... и об Олюшке: девочка скучает... Вот:

«Я поссорилась с Л.Н. Никогда не думала, что она...» С твоего позволения, опущу одно непечатное слово. *«Представляешь, соблазнила Александра Дюма-сына и живет с ним почти в открытую, появляясь в театрах, на балах и на скачках. Деньги тратит безбожно, платья только от Пальмиры, каждое ценой в полторы тысячи франков, и заказывает не меньше дюжины каждый раз. А когда вернулась из гастрольного тура мадам Калергис, закатили бал и истратили только на одни цветы чуть ли не семьдесят тысяч. Все французы фразированы! Дома одевается непристойно, словно демимондентка или одалиска. Ходит в жемчугах с ног до головы, как рождественская елка. И ее прозвали, по аналогии с героиней романа “Дама с камелиями”, “дама с жемчугами”. Бедный Дмитрий! На его рога...»* Ладно, это уже опустим. Лидочка развлекается, судя по всему, позабыв о приличиях.

Обер-гофмейстер сидел, потрясенный от всего услышанного. Это его Лида? Трогательная, милая? Умная и нежная? Превратилась в монстра, новую Марию-Антуанетту, прожигающую жизнь, не заботясь о репутации? Как так может быть? Как в одном человеке уживаются две такие ипостаси — ангела и демона?

Впрочем, разве сам он безгрешен?

Раньше — грешен, увлечения были. Вспомнить есть о чем. О турчанке Гюзель, скажем. Но, женившись, сохранял верность. Не влюблялся на стороне ни разу. И смиренно переносил воздержание, аки инок. А она, она! Гадкая блудница. Вывалялась в грязи. Отдалась порокам. С кем ему пришлось связать свою жизнь? Чем Закревская приворожила его? Ведьма. Чародейка.

Он проговорил:

— Надо ехать забирать ее оттуда.

Алекс покривился:

— Если она захочет.

— То есть почему не захочет?

— Так. Например, Надин возвращаться в Россию не помышляет.

— Для чего ж тогда едешь ты во Францию?

— Чтобы самому быть с ней и с дочерью. То есть с дочерьми. Я приобрету домик где-нибудь на море, заживем вчетвером, вдалеке от политики, революций, света. Лишь себе в удовольствии.

Дмитрий нахохлился.

— У меня этак не получится. Подавать в отставку не собираюсь. Значит, должен быть в Петербурге. Значит, Лидия должна быть при мне.

— Но не станешь ли ты увозить ее насильно?

— Стану, коль она не захочет мирно.

— Не боишься скандала?

— А скандал уже разгорелся. Выбирать не приходится.

— Что ж, отправимся вместе. К нашим непутевым супругам. И за что нас Господь карает этим?

— Господу виднее.

Выехали 17 июля на французском пароходе «Дени Дидро», шедшем по маршруту Санкт-Петербург — Гавр.

3.

Александрю Дюма-старшему было в ту пору под пятьдесят. Он уже считался живым классиком — после выхода его мушкетерской трилогии, «Графа Монте-Кристо» и «Графини де Монсоро» (не считая еще нескольких десятков произведений — пьес, романов, рассказов и путевых заметок). Правда, большинство из них были написаны в соавторстве, в том числе и «Три мушкетера»: малоизвестные литераторы поставляли писателю первые наброски, иногда — целые сюжеты, по которым папаша Дюма, как по нотам, сочинял уже свой, канонический вариант; а с поставщиками расплачивался щедро. Иногда они, обидевшись, подавали на него в суд, требуя двух имен на обложке книг или на афише спектаклей, но всегда уходили ни с чем — или после проигранного процесса, или до него, снова получив от старшего Александра кругленькие суммы...

Сын застал отца в его кабинете, как всегда, за работой. На полу валялись исписанные листки (тот их сбрасывал со стола, даже не всегда нумеруя, что потом создавало массу

неудобств; правда, почерк у Дюма был великолепный, каллиграфический, и, благодаря ему, восстанавливать последовательность страниц каждый раз удавалось). Вот портрет классика: толстый, но не рыхлый, как Бальзак, а упруго-толстый, как мячик; шапка всклокоченных курчавых волос, на висках уже с сединой; кожа смуглая — бабка-негритянка как-никак; весь такой пышущий здоровьем и неистощимой энергией. В молодости, говорят, мог легко узлом завязать серебряную ложку. Официально женат, но с супругой вместе не жил давно — та уехала от него в Италию. А любовниц имел без счета, часто крутил романы с несколькими дамами одновременно.

Двое его детей тоже были внебрачными — сын Александр и дочь Мария. Очень их любил, никогда не отказывался от отцовства и всегда помогал — им самим и их матерям.

Денег вообще считать не умел. Зарабатывал огромные гонорары и растрачивал их мгновенно. А потом опять зарабатывал и опять растрачивал, не задумываясь о завтрашнем дне.

Жил, как писал, и писал, как жил: бурно, буйно, яростно, с неизменным кипением тела и души, и неукротимо, и неистощимо. Этаким Гаргантюа-сочинитель.

Но зато сын — Пантагрюэль — вовсе не казался гигантом, ни в прямом, ни в переносном смысле. Перенял от матери-белошвейки сдержанность и рациональность. Нет, эмоции и страсти, перешедшие ему от родителя, иногда захлестывали и его, но наследник большей частью таил их в себе, внутренне терзаясь, а порой даже плача.

Папа был экстраверт, сын, скорее, интроверт.

Поздоровавшись, папа не оторвался от сочинительства, и гусиное перо продолжало порхать по бумаге, чуть поскрипывая и разбрызгивая чернила, как заведенное, будто бы само по себе: папа говорил с сыном, а оно работало.

— Я хотел бы попросить у тебя несколько монет, папá.

Классик взмахнул рукой:

— Посмотри, пожалуй, в верхнем ящике секретера. Думаю, четыреста франков там найдутся.

Младший Александр, выдвинув ящик, позвенел деньгами.

— Двести двадцать восемь, папá.

— Да? Куда же девались остальные? А, я знаю: приходила Фаншетта и на что-то просила — то ли на свадьбу, то ли на похороны, черт ее поймет, я позволил ей взять сколько надо.

— Я возьму, если ты не против, франков пятьдесят.

— Забирай же семьдесят восемь, чтоб остались полторы сотни для ровного счета.

— Хорошо, спасибо. Я тебе отдам.

— А, пустое, мальчик. Мы родные люди. Говорят, ты женишься?

Сын смутился.

— Нет. На ком?

— Ну, на этой русской... Как ее?

— Лидия Нессельроде.

— Да, вот-вот. Весь Париж только и толкует о вас.

— Ерунда, досужие разговоры. То есть, будь она свободна, я, конечно, на ней бы женился. Но мадам Нессельроде замужем.

— Что с того? Может развестись.

— Там, у них, в России, с этим очень строго. И сопряжено с массой сложностей. В том числе и церковных. А бракоразводные процессы длятся годами.

— Фу ты господи!

— И потом она вовсе не желает развода. Муж ей присылает колоссальные деньги, у меня таких даже близко никогда не было. И, боюсь, не будет.

— Если речь о любви, то какие деньги? Там, где речь о деньгах, там нет любви.

— Нет, по-моему, Лидия меня любит.

— Ну, не знаю, не знаю. Дай хоть посмотреть на нее. Я как человек проницательный сразу все увижу.

— С удовольствием познакомлю, — оживился сын. — Хочешь, сегодня вечером?

— Вечером не могу, а, допустим, днем, в обед? Как ты на это смотришь?

— Положительно. Я ей напишу и предупрежу.

— Нет, как раз не надо. Свалимся, как снег на голову. И посмотрим ее реакцию.

— Да пристойно ли так, папá?

— Может, и непристойно, но зато забавно. Надо жить, забавляясь, сынок, а не то от скуки впору помереть.

Александр Дюма-старший облачился в фиолетовый фрак, бледно-голубую жилетку и такие же брюки. Галстук-бабочка красновато-синий. Шелковистый цилиндр. Был слегка нелеп в этом одеянии, но зато с иголочки. Сын его выглядел скромнее — и по цветовой гамме, и по стоимости одежды, не от самых дорогих кутюрье. У отца имелся свой экипаж, и, хотя ехать было недалеко, все равно идти пешком от считал ниже своего достоинства. По дороге восхищался погодой, зеленью на деревьях, проходившими мимо девушками и вообще жизнью. Декламировал романтические стихи — может быть, свои, может быть, чужие, он и сам не помнил.

Вылезли из коляски на улице Анжу.

— Неплохой домик, — оценил папаша, прыгая на брусчатку, как молодой. — Здесь уютно, тихо. Настоящее заколдованное царство русской феи.

Дверь открыла Груня — неприветливая, насупленная, явно не расположенная к визитерам.

— А, вот и злой дракон, стерегущий красавицу, — объяснил Дюма-старший.

— Кё вуле-ву?¹ — на плохом французском выговорила служанка.

— Мы пришли проведать мадам Нессельроде, — произнес Дюма-младший.

— Нет, они спят еще. Дорм, дорм!²

— Как спит? — изумился папа. — Без пятнадцати три пополудни?

— Так у них вчерась разыгралась мигрень. Не могли уснуть и рыдали сильно.

— Вот те раз! Получается, нам уйти?

Тут откуда-то из глубин квартиры долетел голос:

— Груня, кто там? — Это прозвучало по-русски.

— Господин Дюма с каким-то старым пузырем.

— Пропусти, пусть они проходят.

Крепостная повернулась к гостям:

¹ Чего изволите? (искаж. фр.)

² Спит, спит! (фр.)

— Сильвупле, мусьё. Венез иси¹.

Лидия, как рембрандтовская Даная, возлежала на небольшой кушетке, крытой желтым дерматином. Пеньюар из муслина был полупрозрачен и не мог скрыть, что на барыне, кроме ночной рубашки, ничего не надето. На ногах в розовых чулках — шлепанцы с загнутыми носами, без задников. Но зато нитки жемчуга обвивали шею и запястья. Локоны за ушами также закреплялись шпильками с жемчугом. Но прически как таковой вовсе не было: волосы ниспадали свободно на плечи, спину, доходя до тыльной стороны колен. Одалиска, ни дать ни взять.

— О, какой восторг! — воскликнул папаша. — Я тебя понимаю, дорогой.

— Лидия, позвольте вам представить моего отца.

— Очень рада, мсье Дюма, — протянула руку для поцелуя. — Вся читающая Россия восхищается вашими романами.

— О, меня читают даже в России? — рассмеялся папа и прильнул толстыми губами к ее нежным пальчикам. — Мир завоеван, у меня всеобщая слава, да?

— Это правда. Соблаговолите присесть. Жаль, что я не знала о визите вашем заранее, не смогла подготовиться как следует. Мне и угостить-то вас толком нечем. Груня по моей просьбе сварила щи, но, боюсь, вы такое есть не станете.

— Stchi? — произнес отец озадаченно. — Что такое stchi?

— Это русский суп из капусты.

— Я однажды пробовал русский borstch и потом страдал от желудочных колик целую неделю.

— Щи полегче для желудка, чем борщ, но боюсь рисковать вашим самочувствием. Есть еще телятина и говяжьи языки с зеленым горошком. А на сладкое — персики в сиропе.

— Нас вполне устроит.

— Извините за скромность яств.

— Это мы просим извинений за внезапное к вам вторжение.

Между тем Груня не спеша накрыла в столовой, приготовив три куверта, и сказала, что кушать подано. Господа перешли за стол.

¹ Пожалуйста, господа. Проходите сюда (*искаж. фр.*).

Александр-младший спросил:

— Вы вчера плакали? Или мы ослышались?

Женщина вздохнула:

— Да, чуть-чуть всплакнула. Голова что-то разболелась. И вообще настроение было дрянь.

— Так, без повода или же по поводу?

— Получила телеграмму от мужа. Через день ожидаю его в Париже.

— О, мон Дьё, серьезно?

— Он плывет с племянником — мужем Надин Нарышкиной.

— Просто какой-то десант мужей.

— Значит, нашим встречам конец, — заключила она.

У Дюма-сына от волнения выпал нож из рук.

— Вот и доказательство, — сообщила Лидия.

— Я не понимаю.

— Есть у русских примета: падает вилка — к визиту дамы, нож — мужчины.

— Нет, позвольте, — не унимался ее любовник, вылезая с ножом из-под стола, — отчего конец? Разве вы решаете окончательно с ним не порывать?

Воцарилось молчание, и мадам Нессельроде резала телятину у себя в тарелке, опустив глаза. Наконец сказала:

— Милый Александр... Вы хотите от меня невозможного. Нет, я ничего не решила. Вы мне стали дороги, это несомненно, и сложившиеся между нами романтические отношения радовали меня чрезвычайно. Но не знаю, надо ли ради них разрушать мою русскую семью... Дмитрия я люблю по-своему, он отец моего ребенка. Словом, выбор еще не сделан, и сомнения гложут душу.

Тут заговорил Дюма-папа, с аппетитом поедавший говяжьи языки:

— А давайте выпьем? *Chateau Le Roc* — лучшее средство для прочистки мозгов.

— Да, теперь выпить не мешало бы.

Темное вино с ароматом черной смородины таяло во рту, умиротворяя.

Александр-младший произнес, как обиженный ребенок:

— Я вас не отдам. Так и знайте.

Лидия тонко улыбнулась:

— Ах, мой друг, не давите на меня. Мне самой необходимо определиться.

— Я вас не отдам, — повторил он упрямо. — Вызову его на дуэль.

— Этого еще не хватало! — возмутился родитель.

— Дмитрий не станет с вами драться, — успокоила обоих мадам Нессельроде.

— Отчего не станет?

— Вы ему не ровня. Он же дворянин, граф, по происхождению даже князь. А у нас титулованные особы не дерутся с простыми смертными.

— Значит, объявлю, что он трусил.

— Полно, Александр, не смешите людей. Вы себя ведете, как пятнадцатилетний подросток.

Тот надулся:

— Вы зато слишком рассудительны. Ищете какую-то выгоду. Как сказал мой отец, где любовь, там нет места меркантилизму; где меркантилизм, там нет любви. Вы меня не любите, Лидия.

Дама рассердилась:

— Ах, оставьте, пожалуйста: «любите», «не любите». Мне с вами было хорошо. Этого достаточно. Но уйти к вам от мужа и ребенка я пока не готова.

— Я приму вас с ребенком.

— Не мелите чепухи, мон ами¹.

Старший Дюма вновь наполнил бокалы:

— Хватит препираться, дети мои. Ход событий сам расставит все по своим местам. Как начертано на скрижалях наших судеб, так оно и будет. Мы — игрушки в руках Фортуны. Незачем ерепениться. Все предопределено.

— Вы такой фаталист, мсье?

— Да, пожалуй. Выбор у человека есть в деталях. Но в глобальном противостоять року мы не в силах.

¹ Мой друг (*фр.*).

— Вы меня пугаете.

— Не печальтесь, сударыня, и не думайте о таких вещах. Все мы знаем, что мы невечны, но стараемся не думать о смерти ежечасно. А иначе сойдем с ума от безысходности. Надо жить сегодняшним днем. Не загадывать на далекую перспективу. И тогда на душе будет беззаботней.

Звон бокалов подтвердил общее согласие с этим тезисом.

Посидели еще полчаса, лакомясь бисквитами и кофе. Вскоре отец заторопился, и наследник решил не задерживаться тоже; лишь сказал на прощанье, целуя Лидии руку:

— Я вопрос оставляю открытым. Взвесьте все как следует. И решайте, что вам милее — теплая свободная Франция или снежная рабская Россия.

Женщина пожала плечами с грустной улыбкой на устах:

— Дело совсем не в этом. Можно быть счастливой и в рабской России и несчастной в свободной Франции. Дело в нас самих...

Оба мужчины вышли на улицу, ни слова не говоря. И уже в коляске сын взглянул на отца:

— Ну, что скажешь, папá?

Тот развел руками:

— Что сказать, сынок? Да, она обворожительна, привлекательна, грациозна. Так и манит, словно магнитом. Но, боюсь, тебе с ней не совладать. Даже если ты ее отвоюешь, вы расстанетесь в скором времени. Эту лошадку тебе не объездить. Я хотел бы видеть твоей женой не такую — тихую и верную.

— Как моя мамá?

— Например, как твоя мамá.

— Почему же ты на ней не женился в свое время?

Старший Дюма вздохнул:

— Молодость, глупость, самоуверенность... Увлекался красотками, как мадам Нессельроде, а потом уже поздно было.

— Стало быть, жалеешь?

Он надвинул цилиндр на самый лоб:

— Что жалеть о несбывшемся? Жить надо будущим, а не прошлым.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1.

Путешествие по Балтийскому и Северному морям было без приключений. Пароход плыл не торопясь, радостно приветствуя долгими гудками встречные корабли. Нессельроде и Нарышкин проводили время на палубе и в буфете, иногда играли в шахматы или в карты, но не на деньги, иногда в американку, но на деньги. Большею частью выигрывал Алекс, Дмитрий злился, а племянник успокаивал дядю: «Не везет в игре — повезет в любви». Тот скептически усмехался.

Он все время думал, как себя вести с Лидией. Закатить скандал или сделать вид, будто ничего ему не известно? Оба варианта казались глупыми, слишком прямолинейными. От скандала пользы мало, только нервотрепка. Ну, скандал, а потом? Окончательный разрыв? Стоило ли тогда ехать? Развестись можно и заочно. А прощать безропотно тоже не хотелось. Это ущемляло его самолюбие. Получается, жене можно изменять с кем попало, а его удел — все сносить покорно? Нет уж, не получится. Наказать надо обязательно, только как?

Алекс не терзался: он решил простить, зачеркнуть прежние обиды и начать с чистого листа. И поэтому вел себя спокойно, как любой человек, выбравший свои дальнейшие действия. Неопределенность всегда гнетет, а определенность, даже самая худшая, помогает вести себя тверже.

Извещенные телеграфом жены ждали их в порту Гавра. Обе в легких летних платьях — Лидия желтоватом в черный горошек, а Надин в салатовом в темно-зеленую полоску. И красивых шелковых шляпках. И с веселыми зонтиками от солнца, сплошь украшенными разноцветными кружевами. Обе две такие улыбчивые, непринужденные, словно и не изменяли мужьям. Кто изменял? Мы изменяли? Да вы посмотрите на нас: мы сама невинность, как не стыдно думать плохо?!

Увидали обоих супругов, стоящих на верхней палубе, начали махать им руками, зонтиками. Те размахивали цилиндрами. Радостные, веселые. Встреча после долгой разлуки. Никаких проблем.

С парохода перекинули сходни. Господа пассажиры потянулись к выходу, слуги с багажом вслед за ними.

— Дмитрий вроде бы осунулся, — полорнировала прибывших мадам Нарышкина. — И круги под глазами.

— Может быть, не выспался просто? — тоже смотрела сквозь лорнет мадам Нессельроде. — А зато Алекс все такой же. Вроде ему не тридцать три, а семнадцать.

— Да, мой дурачок никогда не бывает грустен.

— Ты жестока в своих оценках, Надин.

— Жизнь вообще жестока, мы знаем. И готовит каждому из нас массу неожиданностей.

— Ты готовишь для Алекса сюрприз?

— Упаси боже. Он и сам, я думаю, понимает, что вернуться к прежнему с ним уже не сможем.

— Если б понимал, не приехал бы.

— Почему? А проведать дочку? Разве этого мало? Я готова оставаться для него другом, сохранять приязненность в отношениях, но не больше.

— Ты его не любишь больше?

— Как и ты — Дмитрия.

— Я супруга люблю. По-своему.

— И готова к нему вернуться?

Лидия помедлила.

— Как жена — возможно. Но в Россию — вряд ли.

— Я боюсь, что в твоём варианте не получится одно без другого.

Наконец настали объятия, поцелуи и взаимные приветствия. Алекс восхищался цветущим видом Лидии и пенял Надин, что его жена бледновата — вероятно, мало бывает на пленэре. Дмитрий шутливо соглашался с племянником — мол, Париж пошел Лидии на пользу. Та была слегка озадачена: намекает на ее связь с Дюма или комплимент не имеет второго смысла?

Сели в кабриолет, нанятый дамами в Париже: обе они лицом к кучеру, а мужья — спиной. Слуги устроились по бокам облучка.

— Какова программа на сегодняшний вечер? — живо осведомился Нарышкин. — Ресторан? Балет?

— Почему бы просто не прогуляться? — предложил Нессельроде. — Например, в Булонском лесу?

Лидия внутренне напряглась, отведя глаза. Да, он знает, знает. Донесли уже.

— Почему в Булонском? Лучше в Венсенском: там природа первозданнее и вообще чище, а в Булонском вечером промышляют дамы полусвета.

— Вот как? — повеселел Алекс. — Я не знал. Хорошо, что предупредили.

— Значит, решено: Венсенский лес. Где встречаемся? И когда?

— В половине пятого у египетского монумента на Place de la Concorde.

— D'accord, d'accord¹.

В доме на улице Анжу Дмитрий встретился с кузиной: Маша Калергис обняла его по-родственному и сказала, что на днях уезжает в новый тур по Германии и квартира в их полном распоряжении.

— Ах, мы тоже с Лидушкой не задержимся надолго, — сообщил он с явным сожалением. — Я обязан быть в Петербурге до конца августа.

— Ты берешь Лидию с собой?

— Да, а как иначе? — удивился он. — Погуляла, повеселилась — и домой пора.

«Погуляла», «повеселилась» прозвучало с намеком. Но мадам Нессельроде, отвернувшись, снова промолчала.

Муж с дороги принял ванну, настроение его улучшилось, вышел в спальню румяный, с мокрой шевелюрой, явно расположенный к близости, но жена намеренно хлопотала у стола, распоряжаясь Груней и как будто не понимала его намерений. Из соседнего ресторана принесли паштеты, пироги с мясом, жареную утку. Дмитрий открыл бутылку шампанского. Выпили за встречу и семейное благополучие в будущем. Маша провозгласила тост за здоровье Карла Васильевича и маленького Толли. Наконец супруги уединились. Он попробовал расстегнуть на ней платье, но она ловко увернулась:

— Ах, пожалуйста, Митя, не теперь.

¹ Игра слов: на площади Согласия — согласны, согласны (фр.).

Дмитрий удивился:

— А когда?

— Позже. Этой ночью.

— Отчего не теперь? Ты меня не хочешь?

— Голова что-то кружится. Может, от вина. Или перегрелась на солнце.

— Не лукавь, однако. Или я поверю тем нелепым слухам, что гуляют о тебе в Петербурге.

Лидия ответила сдержанно:

— Верить слухам дурно.

— Вот и я стараюсь не верить. Ты должна развеять мои сомнения.

— Позже. Ночью.

Он схватил ее за руку и приблизил лицо к лицу. С ненавистью спросил:

— В темноте? Чтоб меня не видеть? Чтоб тебе казалось, что с тобою не я, а тот?

Вырвавшись, женщина вскричала:

— Глупости какие! Как ты смеешь думать?! — И выбежала из спальни.

Нессельроде-младший медленно опустился в кресло и, прикрыв глаза, тихо произнес:

— Вот и объяснились... Ну и наплевать. Все равно поедешь со мною в Петербург.

Но в Венсенский лес отправились. Пара Нарышкиных прихватила дочку — пятилетнюю Ольгу, больше похожую на мать: тоже с рыжеватыми тонкими волосами и огромными изумрудными глазами; тоже бледную и какую-то худосочную; говорила кроха и по-русски, и по-французски одинаково чисто.

— Дядя Митя, а вы видели Бабайку? — спрашивала она.

— Нет. А кто такая Бабайка?

— *C'est une mégère*¹, что приходит за непослушными девочками. Я ее боюсь.

— Разве ты непослушная?

— Иногда бывает.

— Слушайся родителей, и Бабайка к тебе не придет.

— Иногда не получается слушаться. Если родители просят невозможного.

¹ Это мегера, ведьма (фр.).

— Например?

— Пить кипяченое молоко с пенками. А оно такое противное!

Разбрелись по лесу по отдельности, каждый своей семьей. Алекс и Надин отыскали скамеечку и присели, глядя, как малышка собирает камешки на берегу озера Сен-Мандэ. Муж сказал:

— Как она сильно выросла! Рассуждает забавно. Просто чудо.

— Дети — это чудо, — согласилась жена.

— А Луиза на тебя не похожа, — неожиданно ввернул он.

У нее дернулась верхняя губа:

— Да, не в мать, не в отца, а в заезжего молодца...

Алекс ей ответил невозмутимо:

— Ну и пусть в молодца. Ты не думай, я не ревную. Год назад ревновал, отрицать не стану, но теперь, когда ты одна и когда все осталось в прошлом, я простил и забыл.

— И готов записать ее Нарышкиной? — посмотрела на него саркастически.

Тот, замявшись, слегка покашлял.

— Если хочешь, не возражал бы.

— Не хочу.

Женщина разгладила платье у себя на колене.

Он сказал:

— Главное, я согласен относиться к ней по-отечески и воспитывать наравне с Ольгой.

Прибалтийка произнесла с неприязнью:

— Ты, по-моему, так ничего и не понял. И приехал сюда с радужными надеждами. А надежды на Надежду у тебя нет.

Он опять покашлял:

— То есть ты считаешь?..

— То есть я считаю, что возврат мой к тебе абсолютно исключен.

— Даже ради девочек?

— Дети ни при чем. С Ольгой можешь видаться, проводить с ней время, я не против. Но совместное проживание для меня невозможно.

Алекс вытянул губы трубочкой, словно бы хотел посвистеть, но не свистнул, а чмокнул, проговорив:

— Я развода тебе не дам.

— Я и не прошу. Замуж за другого не собираюсь.

— Деньги получать будешь исключительно на ребенка.

— Не пугай. У меня небедная мать и поможет мне жить достойно.

— На Луизу вообще не пришлю ни копейки.

— А Луиза тебя никак не касается.

Оба сидели злые, взвинченные. Подбежала девочка:

— А давайте на лодке покатаемся, как вон те мадам и мсье?

Мать не разрешила:

— Не чуди, пожалуйста, на воде уже холодно, ты недавно кашляла.

— Ничего и не холодно, мамá. Правда, правда. Ведь не холодно, папá?

Алекс встрепенулся:

— Совершенно не холодно. Я хочу тоже прокатиться. — Протянул дочке руку. — Ну, пошли?

— Я вам запрещаю! — вознегодовала Надин.

— Я ее отец. И имею право.

— Он имеет право! Потому что отец! — прыгала веселая Ольга. — О, рара, *je t'aime beaucoup!*¹

Глядя на них, удаляющихся, женщина не выдержала и расплакалась — горько, беззвучно, лишь с тяжелыми вздохами. На ее душе было так тоскливо, что сказать нельзя. Почему судьба столь жестока к ней? Муж — болван и пьяница, экс-любовник — хам и, возможно, убийца, а она с их детьми вынуждена бежать из России, жить во Франции на съемной квартире без каких бы то ни было перспектив в жизни. Развестись, снова выйти замуж? Только за кого? Есть один человек, за которого бы она пошла, — Александр Дюма-младший. Но его увела Лидия... Словом, все ужасно, безысходно. В голове полный ералаш. Как бы не сойти с ума от переживаний!..

Мимо проплыли в лодке Алекс и Ольга. Оба беззаботные и счастливые. Он сидел на веслах, а она на корме, у руля. Помахали рукой Надин. Дочка крикнула:

¹ О, папá, я тебя очень люблю! (фр.)

— Je t'aime, mama!¹

И Надин помахала им в ответ, улыбнулась, кивая. И никто не заметил ее непросохших слез.

В это время Лидия и Дмитрий приютились в беседке, оказавшейся на другом берегу Сен-Мандэ, и вначале говорили о пустяках, глядя на катающихся по озеру.

— Вон смотри: Алекс и Ольга, — показала пальчиком в перчатке мадам Нессельроде.

— Хочешь тоже? Я возьму лодку.

— Ни малейшего желания. Мне и здесь-то зябко.

— Так давай накину тебе на плечи сюртук, — стал расстегивать пуговицы. Но жена остановила:

— Ах, не надо, не надо. Успокойся, сядь. Надо поговорить серьезно.

Застегнувшись, он как будто бы застегнул душу, стал официален и сух:

— Слушаю тебя.

— Я хочу сказать... — Лидия с трудом подбирала слова. — Слухи о моем легкомыслии... те, которые ты упоминал... в общем, небеспочвенны...

Он сидел, бесстрастный, и смотрел на озеро.

— Да, увы, — продолжала дама. — Воздух свободы мне вскружил голову... Так, чуть-чуть. И в какое-то мгновение я забыла о своем долге — матери и жены... Но теперь — конец! — И она перекрестилась. — Видит Бог — конец. Твой приезд и твое желание, чтобы мы оставались вместе... это все меняет.

Муж не шелохнулся. У нее по щекам покатились слезы.

— Да, я виновата. Очень виновата. И прошу у тебя прощения. Каюсь искренне. И мечтаю возвратиться с тобой в Россию. — Вытащила платок и уткнула в него лицо. — Не бросай меня, пожалуйста... Не бросай!..

Дмитрий взял ее за руку, крепко сжал запястье. Произнес негромко:

— Будет, будет. Я тебя не брошу.

Подняла на него заплаканные глаза:

— Правда? Ты не шутишь?

¹ Я тебя люблю, мама! (фр.)

— О, какие шутки в нашем положении? Я мужчина и могу справиться со своими чувствами. Оценить ситуацию глобально. Да, мне больно и обидно от твоей неверности. Да, могу накричать, закатить скандал и пойти на разрыв наших отношений. И в тактическом смысле только выиграю. Но не в стратегическом... — Он вздохнул. — Надо уметь прощать. Ибо грешен не тот, кто грешит, а тот, кто грешит и потом не кается. Без такого прощения нет христианства. Мой отец, Карл Васильевич, смог простить мою мать и воспитывал меня как родного сына. Вот кто истинный христианин. Я за это его люблю и вполне искренне преклоняюсь перед ним.

Лидия прижала его ладонь к своим губам. Прошептала:

— Ты великодушен... Ты мой бог...

Усмехнувшись, он заметил печально:

— Ах, к чему такой пафос, дорогая? Мы с тобой не боги, а простые грешники. Но и в свинство впадать тоже не хотелось бы.

Снова поцеловав его руку, женщина сказала:

— Никогда, никогда ты не пожалеешь о своем нынешнем решении. Обещаю.

— Очень рассчитываю на это.

Притянул ее к себе и крепко обнял.

Возвращались уже затемно. На парижских улицах зажигались газовые фонари. Там и сям мелькали окна ресторанчиков и кафе.

— Почему бы не поужинать вместе? — предложил Алекс.

— Да, прекрасная идея! — поддержал Дмитрий. — Я чертовски голоден.

— Я бы тоже не отказалась от крылышка пулярки, — сообщила Лидия.

— Хорошо, только без меня, — отозвалась Надин. — Чувствую себя скверно, и ребенок сильно утомился, я поеду уложить Ольгу спать.

— Я тогда с тобой, — заявил Нарышкин.

— Нет, пожалуйста, оставайся. Ты же любишь повеселиться с друзьями.

— Без тебя не останусь.

— Ну и глупо.

Словом, в ресторан не пошел никто. Распрощались на Елисейских Полях, пожелав друг другу спокойной ночи. Но, конечно, ночь у них не была спокойной: у Нарышкиных — в продолжении ссоры, а у Нессельроде — в примирении и любви.

2.

На другое утро Лидии принесли письмо от Дюма-сына. Помахала конвертом перед Дмитрием:

— Видишь, от него. В доказательство нашего с тобой воссоединения поступаю вот как. — И она порвала послание, не читая.

— Ну и зря, — трезво оценил ее муж, уплетая круассан с кофе. — Может, что-то важное?

— Что бы ни было важного, он не существует для меня боле.

— Все-таки Дюма. Просто из уважения к фамилии...

— Ах, подумаешь — Дюма! Гениальные писатели гениальны только на бумаге. А в обыденной жизни совершенно не лучше простых людей. Тоже свои капризы и слабости.

— Понимаю, да. Но по-человечески его жалко: из горнила страсти — хлоп — в полное забвение!

— Ничего, ему полезно: сочинит еще какой-нибудь роман. — И преувеличенно бурно вспыхнула: — Или ты считаешь, я должна была уходить от него к тебе постепенно, с разными сомнениями, метаниями то туда, то сюда?

— Нет, отнюдь. Ты все сделала правильно.

— Вот о том и речь.

Но Дюма не думал успокаиваться и прислал за двое суток новых три письма. Наконец, уступив уговорам Дмитрия, Лидия прочитала последнее. Александр-младший писал:

«О, моя любовь! Отзовитесь, Ли! Ваше молчание просто убивает меня. Не могу ни на чем сосредоточиться. Ваш супруг принуждает Вас к сожительству с ним? Дайте знать, и дуэль разрешит наше с ним соперничество. Я хочу ясности: да — да, нет — нет. А иначе приду и такое устрою, что вся улица Анжу содрогнется, как при землетрясении».

Подчинившись мужу, бывшая любовница набросала ответ: *«Здравствуйте, мсье Александр! Вы хотите ясности, я ее вношу: я отныне снова в лоне моей семьи, и никто, и ничто не сумеет изменить моего решения. Все, что было между нами, ошибка. Вскоре я покину Париж — вероятно, что навсегда. Больше не пишите мне и не приходите. Так угодно Богу. Прощайте».*

Пробежав глазами эти строки, автор «Дамы с камелиями» рухнул на диван и лежал в прострации какое-то время. Да, такого фиаско он еще не терпел ни разу в жизни. Господи, кого она выбрала? Предпочла ему, литератору с почти что мировым именем, жалкого, ничтожного клерка при абсолютистском дворе? Предпочла республиканской Франции крепостническую Россию?! Да такого быть не может. Женщина в здравом уме никогда не оставила бы его. Вывод однозначен: Лидия не свободна в выборе и покорно подчиняется тирании мужа. Феодала, самодура, тупицы. Надо ее спасать. Он добьется разговора с ней наедине и посмотрит в глаза. И тогда уже решит окончательно.

Случай представился на другой вечер: уезжая, Маша Калергис собрала у себя прощальный салон; правда, персонального приглашения для Дюма-младшего не было, он узнал о сборище от друзей и решил явиться незванным. Александр оделся в лучший свой костюм, специально посетил парикмахера и заехал по дороге к шляпнику, выбрал новый цилиндр. Словом, выглядел, как в журнале мод.

Суаре приближалось к апогею, как служанка Маши доложила: «Мсье Дюма-фис»¹. Лидия вытянула лицо и переглянулась с Дмитрием; тот невозмутимо потягивал вино из бокала; положив ногу на ногу, сказал: «Ничего не бойся. Я с тобой». Женщина кивнула.

Молодой писатель вырос на пороге — праздничный, улыбчивый, вроде не терзаемый никакими сомнениями. Руку поцеловал хозяйке. Сделал комплимент: «Вы сегодня обворожительны, Маша́. Ваше общение с Листом вас красит». — «Полно вам, Саша́. Лист влюблен в свою Каролину и других женщин

¹ Фис — сын (фр.).

не замечает». — «Ну, не знаю, не знаю: глядя на вас, этого не скажешь».

К Лидии не подходил и сидел поодаль, но бросал на нее и на мужа мимолетные взгляды. Наконец она не выдержала и решила приблизиться сама. Нервно обмахивалась веером.

— Для чего вы здесь, мсье?

— Чтоб увидеться с вами, Ли. И поговорить.

— Говорить нам не о чем. Все, что было нужно, я вам написала в письме.

— Хм, в письме! — Он взмахнул рукой. — В том письме, что написано вами под диктовку? Я не верю ни единому его слову.

— Вы ошиблись, сударь. Мне никто ничего не диктовал.

Александр выпучил глаза:

— В самом деле? Кто из нас сумасшедший — вы или я? Объясняться мне в любви, пламенеть от страсти, всюду быть со мною — и в одно мгновение вдруг перемениться? Так ведут себя либо сумасшедшие, либо очень расчетливые люди.

Улыбнувшись холодно, мадам Нессельроде ответила:

— Полагайте, сударь, как вам угодно. Я, по-моему, ни то, ни другое. Просто согрешила, а потом раскаялась. И супруг великодушно меня простил. Я ему за это очень благодарна.

— И действительно хотите ехать с ним в Петербург?

— Да, решила твердо.

— Я вас не пущу.

— Вот как? Интересно. На каком основании?

— Что-нибудь придумаю. Мой отец в дружбе с президентом. Тот отдаст приказ, и жандармы к вам прицепятся на границе.

— О, мсье, вы не сделаете этого.

— Сделаю, Ли. Непременно сделаю. Если не останетесь.

— Ничего себе! Кто на самом деле меня третирует?

— Я от вас не отстану ни за что.

— Поздно, мсье Александр, поздно.

Вскоре она ушла в свою комнату и к собравшимся больше не выходила. Вслед за ней скрылся Дмитрий. И застал Лидию в слезах.

— Он грозитя, грозитя меня преследовать, — причитала она, как маленькая девочка. — Я не знаю, что делать. У него отец дружит с президентом.

Дмитрий закурил:

— Мы еще посмотрим, кто сильнее — президент Франции или император России. С канцлером Нессельроде.

— Но пока что мы на территории Франции.

— Но на территории Франции есть русская миссия. Подчиняющаяся моему отцу. Там помогут. — Попыхтев сигарой, он сказал: — Пароход из Гавра отменяется. А тем более что ближайший рейс только через неделю. Надо ехать на поезде через Бельгию — Германию.

— А про телеграф ты забыл? Пограничники будут предупреждены.

— Значит, в карете через Люксембург. Там-то уж никак ожидать не могут нашего с тобой появления. А окажемся в Германии — и вздохнем свободно.

Женщина прижала пальцы к вискам:

— Господи, как глупо, гадко, словно бы в дурной пьесе.

Между тем супруг продолжал обдумывать все детали предстоящей операции. Он предупредил:

— И не вздумай делиться нашими планами с Нарышкиной. Первая, к кому бросится Дюма, обнаружив твое отсутствие, будет Надин.

— Как, не попросаемся даже?

— Нет, ни в коем случае. Ты напишешь ей уже из Германии. Извинишься, объяснишь ситуацию.

Лидия вздохнула:

— Я надеялась погулять с тобой по Парижу, походить по театрам и музеям...

— Не беда, как-нибудь в другой раз, если снова сюда забросит судьба...

Маша Калергис упорхнула через день, и чета Нессельроде начала исподволь готовиться к отъезду. Вещи паковались в дальней комнате, чтобы неожиданно зашедшие гости не застали хозяев и слуг врасплох. И как раз кстати, потому что на улицу Анжу без предупреждения заглянул Нарышкин. Был весьма нетрезв и довольно мрачен. Он сказал Дмитрию:

— Ты поможешь мне в одном деликатном деле.

— Что еще за дело? — неохотно спросил обер-гофмейстер его величества.

— Я намереваюсь «отнять» у Надин Ольгу.

— То есть как — отнять?

— Увезти, похитить, если угодно.

— Ты в своем уме?

— Совершенно. Коль Надин не хочет ко мне вернуться, я желаю воспитывать дочь самостоятельно.

— погоди, погоди, так не поступают здравые люди. Оформляете развод, суд потом присуждает девочку тебе, и уже тогда...

— Сам-то понимаешь, что говоришь? «Суд», «развод» — в нашей с тобой России? Все растянется на долгие месяцы и годы. Нервотрепки, взятки... Ольга к тому времени замуж успеет выйти. Я хочу тут, сейчас, немедленно!

— Извини, Алекс, я участвовать в сем не собираюсь.

Пьяный племянник усмехнулся:

— Струсил, да? А еще дядя называется. Ты ненастоящий Нарышкин. Немец, Нессельроде и есть.

Дмитрий оскорбился:

— Слушай, дорогой родственник, я ведь не посмотрю, что ты взрослый, уши надеру за милую душу.

— Так, да?

— И никак иначе.

— Ты мне больше не друг.

— Вот и на здоровье. Только забирать ребенка у матери сам не стану и тебе не советую.

Тот поднялся и стоял на ногах не слишком твердо.

— Как-нибудь обойдусь без твоих советов, дядюшка.

— А тогда проваливай.

— Гонишь, да?

— Для начала иди проспись, а потом уж поговорим.

— Не учи ученого, съешь г... печеного.

— Очень мило с твоей стороны мне подобное пожелать.

Ехать решили вечером 14 августа, накануне отмечаемого всей Францией дня Успения Богородицы: занятым церковными службами всем чиновникам, в том числе и президен-

ту, будет не до них. Двинулись в карете, взятой в русской миссии, в сторону Нанси, где и оказались утром 15-го числа. Отдохнули, позавтракали и велели кучеру повернуть на север, к Мецу. Около полудня переехали Мозель и как раз в обедню прибыли на французско-люксембургскую границу. На контрольно-пропускном пункте постояли в небольшой очереди из нескольких экипажей. Заплатили таможенный сбор. Пограничник-француз хмуро осмотрел их карету, чемоданы, притороченные сзади, и традиционно задал вопрос:

— Что вы делали во Франции, господа?

— Навещали друзей, посещали театры и музеи...

— Уезжаете насовсем или будете вскоре возвращаться?

— Нет, в ближайшее время не собираемся.

Прихватив паспорта и бумаги на слуг, удалился в дежурное помещение.

Лидия тревожно посмотрела на мужа. Тот слегка повел бровью: дескать, будь что будет, и на все воля Божья.

Пограничник появился и отдал документы:

— Проезжайте, мадам и мсье, и счастливого вам пути.

— Мерси, мерси.

Щелкнул кнут возницы, лошадь тронулась и зацокала копытами по нейтральной полосе. Наконец Нессельроде оказались на земле Люксембурга. Обнялись и поцеловались. Радовались счастливому избавлению от проблем.

Но не тут-то было! Встретились во Франкфурте-на-Майне с Машей Калергис, гастролировавшей по Гессену и Вестфалии, и узнали от нее тревожную новость: ей писал Дюма-младший, спрашивал, что она знает о местонахождении Лидии, и упоминал о своем намерении ехать в Польшу, чтобы перехватить там сбежавшую любовницу.

3.

Между тем события развивались следующим образом. Александр-сын, заглянув после дня Успения Богородицы на улицу Анжу и узнав от горничной Маши Калергис об отъезде пары Нессельроде, бросился к Нарышкиной.

Та сказала, что сама ничего не знает, с ней не попрощались, и вообще Дмитрий — мерзкий тип, ибо собирался вместе с ее мужем выкрасть у Надин дочку, и она знать не хочет ни его, ни Лидию.

Младший Дюма побежал к отцу. И застал, как всегда, за письменным столом.

— О, мон пэр¹, я в отчаянии.

— Что, она уехала? — догадался папа.

— Да, да, муж ее увез!

— Этого и следовало ожидать, мой мальчик. Пошалила на свободе, а потом вернулась в семью. Русские ничем не отличаются от француженок, дорогой.

— Я не представляю, что делать. — Он уселся напротив и схватился за голову, запустив пальцы в шевелюру.

— Ничего не делать. Жить дальше.

— Я люблю ее. Я люблю ее больше жизни.

— Ах, к чему такие трагедии? Ты не Арман Дюваль, а она — не Маргарита Готье². Время пройдет, и полюбишь другую.

— Не хочу другую. Я поеду за ней, застрелю мужа и верну себе Лидию.

— Чепуха какая!

— Нет, поеду. Я хочу поехать. Не могу сидеть в Париже сложа руки.

— Ничего не добьешься, только нервы испортишь — им и себе.

— Я перехвачу их в Польше.

— Не глупи. Остынь.

— Одолжи денег на дорогу.

— Даже не подумаю. А тем более у меня столько нет сейчас.

— Одолжи, сколько есть. У меня тоже наберется немного. Хватит до Брюсселя. А в Брюсселе одолжу у твоих друзей.

— Хорошо, дам тебе заемное письмо.

— Напишу тебе уже из Германии.

Отшвырнув перо, старший Дюма повернулся к нему лицом и взглянул внимательно.

¹ Мой отец (фр.).

² Герои романа «Дама с камелиями».

— Сделаю, как ты просишь. Но еще раз предупреждаю: ничего у тебя не выйдет. Верь мне, моему опыту. Если женщина решительно покидает мужчину, это навсегда. Упросить ее вернуться уже нельзя, невозможно.

— Вдруг я стану счастливым исключением?

— Вряд ли, не питай иллюзий.

Тем не менее сын уехал.

Очевидцы ему сообщали, что чета Нессельроде отправилась в карете, и Дюма-младший вознамерился их опередить, сев на поезд. После Брюсселя были Дрезден и Бреслау. Наконец он прибыл в Мысловице — городок на границе с Россией. Там, через мост, за рекой с труднопроизносимым для иностранца названием Пшемша, простиралась бескрайняя империя. Здесь, еще в Силезии, был почтамт, постоянный двор и костел (или кирха, он не слишком в этом разбирался). Александр выяснил на таможне, что искомая им супружеская пара не проезжала, прибодрился и решил дождаться. Город производил не слишком веселое впечатление: маленький, грязненький, весь покрытый угольной пылью. Местные шахтеры, сплошь усатые, но без бороды, в кожу которых тоже въелась пыль, вечерами собирались в пивнушке и смотрели на приезжих из-под бровей неласковыми глазами. «Пролетариат», по Марксу. Младший Дюма их побаивался и держался подальше. О публичном доме он узнал от владельца гостинички, заверявшего, что паненки там здоровые и чистые (видно, за такую рекламу содержатели бардака ему приплачивали), но не соблазнился и по большей части находился у себя в номере, коротая время за чтением. Так прошло одиннадцать дней.

Наконец мальчик принес ему записку от хозяина постоялого двора: тот сообщал (как договорились, за отдельную плату), что приехали пани и пан Нессельроде.

Александр взвился, быстро привел себя в порядок и отправился в гости. Постучал в дверь.

На пороге появился Дмитрий в стеганой домашней тужурке. Удивившись, он проговорил:

— О, мсье Дюма, вы здесь? Что вам угодно?

— Мне угодно переброситься словечком с мадам Лидией.

— Это лишнее. Мы не принимаем.

— Тем не менее я настаиваю.

— По какому праву? Лидия — моя жена, и ей незачем видеться с посторонними кавалерами.

— Да, жена, но не собственность, не рабыня. И имеет право...

Обер-гофмейстер его величества рассердился:

— Ах, оставьте, сударь, вашу либеральную демагогию для своей очередной книжки. То, что я сказал, этого достаточно. И прощайте. — Сухо поклонившись, он захлопнул у писателя перед носом дверь.

Тот ударил кулаком по ее дубовой поверхности.

— Я от вас не отстану, слышите? — крикнул француз запальчиво. — Лидия с вами не поедет. Я добьюсь встречи с ней. Если не здесь, так в Петербурге!

И услышал в ответ приглушенно:

— Мне полицию вызвать?

— Можете вызывать, я не испугаюсь. Мы, Дюма, никогда не отступали от намеченных целей.

Выйдя на улицу, он присел на скамейку и попробовал как-то собраться с мыслями. Что ему делать дальше, представлялось с трудом. Караулить у входа, чтобы встретить мадам Нессельроде, Александр не собирался. Было достаточно информированности хозяина постоянного двора — снова предупредит, за деньги. Волновало другое: как убедить Лидию с ним остаться? Аргументов не было.

Младший Дюма вернулся в номер, лег на кушетку и забросил ноги на спинку кровати. Все казалось ему бессмысленным. Для чего он здесь? Так ли он ее любит? Так ли любит она его? Может быть, отец прав?

Веки сами собою смежились, и дремота накатила внезапно...

Легкий стук возвратил путешественника к действительности. Или ему пригрезилось? Он присел на кушетке.

— Кто там?

Из-за двери прозвучал голос:

— Это я... Лидия...

Молодой человек вскочил как ужаленный и сломя голову бросился открывать. Женщина была в темном, в шляпке с вуалью, но вуаль не скрывала ее бледности.

— Пресвятая Дева, вы пришли... ты пришла, Ли...

— На минутку... вырвалась... Дмитрий пошел на почту, чтобы дать телеграмму в Петербург... скоро должен вернуться... забежала, как сказал ты нынче, переброситься словом...

— Да, да, спасибо! — Александр схватил ее за руки, усадил на единственный в номере стул, сел напротив на кровать. — Я люблю тебя. Я схожу с ума от любви к тебе.

Лидия кивнула:

— Да, я тоже... тоже тебя люблю... — Рот ему закрыла ладонью в перчатке. — Погоди. Молчи. Я тебя люблю, но поеду с мужем. Это решено. И пожалуйста, не преследуй нас. То есть преследовать ты уже не сможешь...

— Почему? — похолодел он.

— Дмитрий пошел давать телеграмму в Петербург. Своему отцу, Карлу Нессельроде. Канцлеру Российской империи. Чтобы тот в свою очередь отослал телеграммой сюда, на границу, распоряжение Министерства иностранных дел... относительно тебя...

— То есть?

— Будешь объявлен персоной нон грата. И не сможешь въехать на территорию России.

У Дюма вырвалось:

— Нет!.. Они не посмеют!..

— Очень даже посмеют, не сомневайся. Каждый отстаивает свои интересы любыми средствами.

— Это низко, мерзко! Мы ведь любим друг друга.

— Что поделаешь, жизнь — жестокая штука. — Нессельроде повторила слова Надин Нарышкиной. — Извини за все. Не держи зла. И прощай навеки.

Александр сгреб ее в объятия, начал целовать, уговаривать остаться.

— Нет! — произнесла она, отстраняясь с силой. — Прекрати, оставь! — отпихнула бывшего любовника и сама отступила к двери. — Между нами все кончено. Я уеду с ним.

Бросила короткий, прощальный взгляд и мгновенно скрылась.

Только аромат дорогих духов все еще напоминал о недавнем присутствии Лидии — в номере и в его судьбе.

Младший Дюма опустился на колени и упал лицом на скрещенные руки, лежащие на сиденье стула, не сумевшее сохранить ее тепло.

Через день супруги укатили из Мысловице. Александр сделал попытку поехать следом, но предупреждение подтвердилось: на границе ему сказали, что имеют телеграмму из Петербурга, объявляющую его персоной нон грата. Он хотел было написать лично императору Николаю I и просить отменить запрет, но потом раздумал. Впрочем, возвращаться в Париж тоже не лежала душа.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1.

Первым делом чета Нессельроде отправилась в Москву, чтобы посетить генерал-губернатора, и Арсений Андреевич принял их по-русски гостеприимно, хлебосольно, от души попотчевал, рассказал последнюю новость: 1 ноября — открытие Николаевской железной дороги, и теперь из Первопрестольной можно будет доехать на поезде до Северной Пальмиры за один день и ночь.

— Что творится в литературе, искусстве?

Он пожал плечами:

— Вроде ничего выдающегося. Гоголь, говорят, очень плох. Что-то с головой. Сжег второй том «Мертвых душ».

— Гениальные люди часто сумасшедшие, — отозвался Дмитрий. — Мы в Париже имели счастье с некоторыми общаться...

Лидия посмотрела на супруга с укором, и он осекся.

Вскоре поскакали в Ивановское — навестить Аграфену Федоровну и забрать Толли в Петербург.

Мальчик сильно вырос за последние месяцы, бегал по всем комнатам, лопотал что-то непонятное на своем языке и весьма капризничал.

— Узнаешь меня? — целовала сына мадам Нессельроде. — Это я, твоя мамочка.

Но ребенок не понимал и смотрел на нее как-то озадаченно. А когда уже надо было ехать, неожиданно расхворался — плакал, кашлял и метался в жару. Было решено, что сейчас поедет один Дмитрий, а жена дождется выздоровления отпрыска и тогда прибудет вместе с ним.

Эта была третья роковая ошибка обер-гофмейстера его величества — после самого факта женитьбы на Лидии и согласия отпустить ее в Париж. Третья ошибка обернулась для него подлинной трагедией...

Но заранее разве можно знать? Он уехал в город на Неве с легким сердцем, полагая, будто самое плохое уже позади и теперь предстоят лишь счастливые дни и годы в сохраненной семье. Собственно, Лидия тоже так считала, уверяя себя, что семья теперь для нее на первом месте.

Даже случайное знакомство на балу с молодым князем Дмитрием Друцким-Соколинским, писаным красавцем, здоровяком, эрудитом, музыкантом, совершенно не изменило ее намерений. Ведь ему было только девятнадцать. Ей, 25-летней даме, не пристало размениваться на подобных юнцов. После Александра Дюма-младшего! Никаких сравнений.

А Друцкой-Соколинский в нее влюбился, как мальчик. Собственно, и был еще мальчишкой, пылким, безрассудным, сорвиголовой. Несмотря на возраст, он уже имел за плечами две дуэли, правда, ни одна из них не окончилась смертельным исходом, лишь одними легкими ранениям: в первой — самого Дмитрия, во второй — его противника.

Мальчик происходил тоже из Прибалтики, как Надежда Кнорринг-Нарышкина: родовое поместье находилось в деревне Соколино близ Друцка (это Витебская земля). Говорили, что они — Рюриковичи. Правда, Рюриковичей в то время развелось, как собак нерезаных. Да и был ли Рюрик на самом деле вообще?

Дмитрий Друцкой-Соколинский (или, как его за глаза окрестила Лидия, ДДС — «душка, дуралей, сорванец») объявил на одном из московских светских раутов громогласно, что добьется руки мадам Нессельроде и всенепременно женится на ней. Многие пытались его обсмеять, но влюбленный разгневался и сказал, что вызовет на дуэль каждого, кто попробует его уяз-

вить. Эта выходка обсуждалась потом по светским салонам и рассказывалась друзьями как скверный анекдот.

Между тем ДДС приступил к реализации своего безумного плана. Каждое утро Лидии, переехавшей уже с матерью и отпрыском в Москву, привозили букет цветов. В каждом букете находилась записочка со стихами. А под вечер он с двумя гитаристами появлялся под балконом особняка генерал-губернатора и, ничтоже сумняшеся, исполнял те же самые вирши под музыку, нарушая покой соседних домов.

Поначалу эти выходки забавляли, но со временем стали раздражать. А когда Друцкой написал на брусчатке у парадного белой масляной краской во всю мостовую: «Лидия, ты будешь моею!» — общее терпение лопнуло, и Арсений Андреевич пригласил незадачливого князя к себе для разговора.

Тот явился вовремя, был высокомерен и весьма напыщен. На вопрос родителя, что Друцкой себе позволяет, отвечал без обиняков, глазом не моргнув:

— Я люблю вашу дочь. И желаю на ней жениться.

— Но позвольте, любезный Дмитрий Владимирович! Как сие возможно?

— Отчего же нет? Я решительно не вижу никаких серьезных препятствий.

— Вы, должно быть, шутите?

— Даже и не думал.

— Нет, помилуйте, как же нет препятствий? Первое: она замужем. И вполне в браке счастлива. Родила мне внука. Словом, любит мужа и не хочет его менять. Ну, и во-вторых, я сам. Я не дам благословения на развод и на новое замужество дочери.

ДДС взглянул на Закревского с улыбкой, словно бы Друцкому было шестьдесят пять, а тому — всего девятнадцать.

— Все, что вы сказали, ваше превосходительство, чепуха на постном масле.

— Вы в своем уме, сударь?!

— Совершенно, сударь. Первое: я отправлюсь в Петербург, встречу с Нессельроде и добьюсь развода. Как — не обсуждается, у меня свои методы на сей счет. Лидия полюбит меня, потому что не полюбить меня невозможно, и клянусь, мы подарим вам еще одного внука. Ну, и наконец, вы сами. Коли Лидия

вас попросит, вы смягчитесь, не так ли? И потом, иметь зятем князя, Рюриковича, кажется, почетнее, чем графа, да еще, по сути, незаконнорожденного?

Генерал-губернатор встал и, смущенный, прогулялся по кабинету взад-вперед. А потом, перекрестившись, проговорил:

— Только титул князя и почти что детские ваши годы, сударь, не дают мне права выставить вас отсюда в шею. Посему прошу удалиться мирно. Но предупреждаю: при малейшей попытке приблизиться к моей дочери, моему дому и проникнуть в мою семью я употреблю всю данную мне государем-императором власть, чтобы осадить ваше рвение должным образом. Так и знайте.

ДДС поднялся, продолжая иронически улыбаться. И ответил:

— Только ваша должность, звание и седины, сударь, не дают мне права попросить у вас удовлетворения. Посему удаляюсь мирно. Но предупреждаю: я добьюсь своей цели, несмотря на ваши угрозы, сделаю Лидию счастливой и заботиться стану о вас и об Аграфене Федоровне в старости. Честь имею! — коротко кивнув, князь покинул кабинет генерал-губернатора.

У Закревского от подобной наглости даже белый пух на затылке встал торчком и зашевелился.

— Ну, прохвост... ну, каналья... — пробурчал Арсений Андреевич. — А какая самоуверенность! «Потому как не полюбить меня невозможно». Дуралей! Это бы рвение да на поле боя — лучшего вояки не сыщешь. — Опустился в кресло, тяжело вздохнул. — Ох, наплачемся мы, наплачемся с этим малым! Сердце чует!..

И действительно: вскоре из Петербурга пришло известие, что стрелявшийся с князем на дуэли Дмитрий Нессельроде тяжело ранен.

2.

А произошло вот что. В первых числах октября обер-гофмейстер его величества получил письмо от Друцкого-Соколинского. На блестящей бумаге с водяными знаками, с золотым обрезом, было написано четким почерком:

«Милостивый государь! В Ваше отсутствие в Москве между мною и Вашей драгоценной супругой Лидией Арсеньевой появилась склонность, что питает мою надежду на венчание наше в будущем. Посему, во избежание неприятностей, я вам предлагаю добровольно отказаться от прав на жену и подать документы на расторжение брака. В случае Вашего отказа нам придется разрешать сей вопрос по-иному, как пристало дворянам. Бесконечно уважающий Вас и рассчитывающий на Ваше благоразумие князь Друцкой-Соколинский».

Нессельроде-младший в первый момент подумал, что это розыгрыш. Отдал распоряжение подчиненным навести справки, кто таков автор столь дурацкой записки. Оказалось, князь действительно существует и имеет репутацию драчуна, поведы и дуэлянта. А агенты охраны проинформировали, как себя ведет ДДС в Москве, добиваясь расположения известной нам особы.

Наконец Дмитрий дал телеграмму своему тестю: **«КТО ТАКОВ ДРУЦКОЙ СОКОЛИНСКИЙ И НАСКОЛЬКО ЕГО ПОВЕДЕНИЕ СЕРЬЕЗНО ВОПРОС»**. Получил ответ: **«СЕЙ ПАРШИВЕЦ ЗАДЕВАЕТ ЧЕСТЬ СЕМЬИ ЗАКРЕВСКИХ НЕССЕЛЬРОДЕ ЗПТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОУЧЕН»**.

Тут уже сомнения все развеялись, и пришлось задуматься совершенно серьезно. Дратся на дуэли с этим сопляком? Нет ничего глупее. И к тому же Нессельроде стреляет скверно. А холодным оружием вовсе не владеет. Можно, конечно, устроить русскую рулетку: в барабан «кольта» вставить один патрон, раскрутить, а затем, по жребию, в лоб себе стрелять по очереди. Но такая перспектива тоже мало радовала. Не пойти ли цивилизованным путем — обратиться в суд, обвинив соперника во вмешательстве в чужую частную жизнь? Но молва, молва! В светских салонах двух столиц скажут, что обергофмейстер испугался дуэли, занялся крючкотворством, поступив не как русский, а как немец. А зато дуэль создает ореол загадочности, романтической тайны и в глазах общественного мнения ценится весьма высоко. Правда, дуэли в России запрещены царем. Что, естественно, никогда никого не останавливало. Стало быть, стреляться? Проучить этого задиру, чтоб

отбить охоту приставать к чужим женам? Ну а если тот убьет Нессельроде? Ведь убил же Дантес Пушкина! Умереть, не добившись справедливости, уступить мерзавцу, потерпеть полное фиаско? Глупо вдвойне. Что же делать, что делать?

Ничего не придумав путного, Дмитрий разразился следующим письмом: *«Милостивый государь! Вы смешны и жалки в своих притязаниях. Я навел справки и поэтому знаю из надежных источников: между Вами и моей супругой ничего не было, нет и быть не может, а мой тесть чуть ли не спустил Вас с лестницы после разговора. Вы наглец и ничтожество. С Вами не стреляться надо, а судиться, чтобы выслать до конца дней на каторжные работы. Коль хотите остаться целы, пропадите из моей жизни, чтоб ни я, ни мои родные Вас не видели и не слышали. А в противном случае будете пенять на себя. Искренне не уважающий вас граф Нессельроде».*

А Друцкому, признаться, только этого и нужно было. Он мгновенно прислал записку: *«Милостивый граф! Вы не только негодяй, но и трус. С удовольствием пристрелю Вас, как собаку. Жду Ваших секундантов по такому-то адресу».*

Словом, отступать было уже поздно. Дмитрий поехал к своему другу, подполковнику лейб-гвардии, чтобы взять хотя бы несколько уроков дуэльного мастерства. Этот же подполковник согласился стать секундантом, взяв себе в напарники еще одного подполковника. И они оба пригласили врача (по тогдашним неписаным правилам, начинать поединок без доктора воспрещалось). А потом поехали к князю и его секундантам (тот снимал квартиру на Лиговке). Сразу обговорили условия: барьер в 15 шагов и от него — по десять шагов с каждой стороны; стрелять только от барьера; осечку считать за выстрел; не более трех выстрелов каждому, до первой крови. Время назначили — раннее утро в воскресенье, 26 октября. Место — за городом, на берегу Кузьминки, не доезжая Шушар.

Дмитрий Нессельроде побоялся рассказать отцу о своем опасном намерении, зная наперед: Карл Васильевич сразу возмутится, обругает и отдаст распоряжение Дубельту с ходу арестовать Друцкого-Соколинского. С точки зрения здравого смысла, так и следовало сделать. Но общественное мнение... Черт его возьми. Почему мы рабы общественного мнения?

И какое нам дело, что о нас подумает Пупкин или Тютюкин? А считаемся, считаемся и идем на поводу...

Ночь с субботы на воскресенье он почти не спал. Написал три предсмертных письма: Лидии — с объяснениями в любви и мольбой о прощении; Карлу Васильевичу — с благодарностью за все доброе, что железный русский канцлер сделал для покойной жены и приемного сына; сыну Толли — чтобы тот прочел, когда вырастет, — с пожеланиями жить честно, поступать по совести и не поминать лихом своего незадачливого папку. За ночь не выпил ни полграмма спиртного, как учил его друг-подполковник: чтоб наутро не дрожала рука и в глазах не двоилось.

Прикорнул на часок, а в четыре уже проснулся, и пора было собираться. Вдруг пришло спокойствие. Хуже нет сидеть в ожидании чего-то, а когда уже происходит само действие, то озноб отступает. Мышечная работа снимает стресс. Двигаешься, ходишь, весь сосредоточен на сиюминутных задачах, мысли заняты, руки заняты, и не так страшно.

Прибежал слуга, доложил, что коляска подана. Дмитрий надел цилиндр.

— Коли станут спрашивать, отвечай, пожалуй: барин отравились по делам и когда будут, неизвестно.

— Слушаю, ваше сиятельство.

Не спеша спустился по лестнице. Утро было серое, хмурое, ветер сильный, гнал по мостовой опавшие листья и обрывки газет. Не успел дуэлянт выйти из парадного, как из подворотни выбежала черная кошка и, шмыгнув, перебежала дорогу перед коляской. «Скверная примета, — подумал Нессельроде как-то отстраненно. — Стало быть, убьют. Или сильно ранят. — Но волнения по-прежнему не было, чувства притупились. — Впрочем, суеверие — суть язычество. И в приметы верить нельзя». Сел в коляску.

— Трогай, трогай, голубчик. Едем на угол Невского и Лиговки.

Ветер норовил сбить цилиндр с головы, приходилось держать его рукой. «Видимо, нагонит волны с Финского, — про себя отметил обер-гофмейстер. — Снова быть наводнению. Только я, возможно, этого уже не увижу. Ну и пусть. Гадкий,

скверный мир. Состоящий из подлостей и измен. Жизнь вообще бессмысленна. И ее не жаль. — Он вздохнул. — Бедный Толли. Не подозревает еще, куда попал. И во что благодаря мне и Лидии тут ввязался. Нам с ней было хорошо, сына произвели, а ему теперь мучиться. И бороться за место под солнцем. Лучше не иметь детей вовсе. Меньше будет на свете несчастных».

На углу Невского и Лиговки взял в свою коляску доктора и двух подполковников. Друг спросил:

— Настроение, самочувствие какое?

— Да неплохо вроде.

— Руки не дрожат, это важно. Удалось поспать?

— Час, не больше.

— Это скверно.

Выехали за город. Мокрая, жухлая трава. Опустевшие дачи. Холод, осень.

По мосту переехали через речку Кузьминку — приток Невы.

— Вон они, уже стоят.

— Вижу, вижу.

Князь показался Дмитрию совсем юным. «Этот хлюст претендует на мою Лидию? Жалкий комедиант. Клоун». Поздоровались, обменялись деловыми репликами. Дуэлянты скинули верхнюю одежду и остались в одних сорочках: если что, меньше ткани попадет в рану. Ветер свистел в ушах. «Пневмония обеспечена, — равнодушно подумал Нессельроде. — Но теперь значения уже не имеет». Секунданты проверили оружие, чтобы было по три патрона в каждом, и отмерили расстояние в шагах.

— Сходитесь!

Место оказалось болотистое, под ногами хлюпала какая-то жижа.

Первым к барьеру подошел Дмитрий и, почти не целясь, выстрелил. И промазал.

Как учил его подполковник, повернулся к противнику боком, согнутой в локте левой рукой прикрывая сердце.

Прогремел ответный выстрел. Обожгло левое плечо, от удара Нессельроде потерял равновесие и упал на колени. Подбежали секунданты и доктор. На сорочку хлынула кровь.

— Как ты, Митя?

— Ничего. Только сильно больно.

Врач порвал рукав, быстро наложил жгут.

— Кажется, повреждены кость и сустав. Надо ехать в больницу.

— Да, сейчас поедem. — Секундант обратился к противоположной стороне: — Господа, вы удовлетворены? Мы расходимся?

ДДС криво усмехнулся:

— Графу повезло. Поединок окончен. Прощайте!

Дмитрия торопливо укутали в одежды, повели к коляске. От малейших толчков он вскрикивал. Но в виске стучала одна мысль: «Главное, что жив. Главное, что жив».

3.

Лидия с матерью и Толли прибыла из Москвы на третий день после получения телеграммы о поединке. Поспешила к мужу на квартиру и увидела настоящий лазарет: капельницу, сиделку и дежурного доктора у постели, пузырьки с лекарствами. Пахло спиртом, йодом и анисовыми каплями. Сам Нессельроде-младший был безжизнен, бледен, темные круги под глазами, спекшиеся губы. Он температурил, иногда бредил, говорил несвязно. Доктора опасались, что начнется гангрена, и тогда придется руку отнять.

Лидия осталась возле супруга, а мадам Закревская увезла внука на другую съемную квартиру, чтобы мальчик был подалеже от умирающего отца.

Неожиданно к ней приехал сам канцлер Карл Васильевич Нессельроде, сдержанный, сухой и застегнутый на все пуговицы. И, блеснув стеклами очков, заявил:

— Аграфена Федоровна, у меня до вас чрезвычайное дело. (У него получилось «то фас».)

Женщина, предчувствуя недоброе, села.

— Слушаю внимательно, граф.

— Состояние Дмитрия Карловича нехорошее. И летальный исход не исключен. Посему я желаю распорядиться относительно его сына, моего внука — нашего с вами внука, Анатолия

Дмитриевича. Я хотел бы указать в своем завещании, что все то, что предназначал Дмитрию, отойдет Толли — земли мои в Саратовской губернии с тремя тысячами душ крепостных и деньгами двести тысяч рублей серебром и ассигнациями.

— О, — воскликнула дама от такой щедрости.

— При одном условии. Мальчик будет воспитываться исключительно мною. Разумеется, если мать захочет его видеть, я чинить препятствий не стану. Но растить и воспитывать буду только сам. Вы согласны?

(У него получилось «ви зоглясни?»)

— Нет, позвольте, — растерялась жена московского генерал-губернатора, — как я могу быть согласна расстаться со своим единственным внуком?

— Лидия родит вам еще.

— Но у вас, мсье, тоже две замужние дочери. И у них тоже дети.

— А что толку? Обе далеко, и влиять на воспитание их детей не могу при всем желании. В Петербурге же у меня — никого из близких. Анатолий — единственный.

— Нет, позвольте, — продолжала нервничать мадам Закревская, — я, возможно, вторгнусь куда не следует, но смолчать не могу: Дмитрий — не родной ваш сын... и поэтому Толли тоже...

Канцлер оборвал ее резко:

— Не имеет значения. Митя — мой сын, я его растил, и никто не вправе считать иначе. И его сын — мой внук. Разве важно, что Екатерина Великая — немка по крови? Нет, она русская, русская императрица. Разве важно, что Пушкин — на одну восьмую арап? Или Карамзин — татарин? Кровь — это биология, химия, ничего больше. Главное — духовное. Разве важно, что Иисус Христос по матери еврей? Главное, что Он Бог!

Аграфена Федоровна молчала. Наконец покорно произнесла:

— Что ж, возможно, вы правы... Но, во-первых, надо спрашивать Лидию, за нее не могу решать. Во-вторых, мы еще надеемся, что любезный Дмитрий Карлович все-таки поправится. — И она осенила себя крестным знаменiem. — Молимся об этом.

Карл Васильевич тоже перекрестился, только не перстами, а по-лютерански, ладонью.

— Да, и я молю Господа о его спасении. Но хотел вас предупредить на всякий случай. Обсудите с дочерью. Будьте готовы дать ответ вовремя.

(У него получилось «тать отфэт».)

Он уехал, а мадам Закревская долго сидела без движения, озадаченная, и не понимала, на что решиться.

Между тем обер-гофмейстер его величества начал выздоравливать: нагноение кончилось, рана затянулась, кость начала срастаться. Он уже садился, слабо улыбался, с удовольствием пил куриный бульон и закусывал отварной курятиной. Говорил жене тихим голосом:

— Извини, что заставил столько волноваться. Но другого выхода просто не имел. Этот Соколинский мог меня опозорить перед всем светом.

— Разве о свете надо думать? — упрекала мужа она. — У тебя главные — я и Толли. Лишь о нас должен беспокоиться. И о прочей родне. Чтоб я делала, если бы тебя потеряла?

— Ну, не знаю... вышла бы за Друцкого...

— Я? За этого желторотика? Застрелившего моего несравненного супруга?

— Слава Богу, не застрелившего.

— Слава Богу.

Жизнь понемногу возвращалась в привычные берега. Нессельроде-старшему удалось замять дело о дуэли — подкупить врачей и свидетелей, и в бумагах появилось подтверждение, будто бы ранение Дмитрия — следствие случайного выстрела на охоте. Императора устроила эта версия, он передавал обер-гофмейстеру приветы и желал скорейшего выздоровления. А Друцкой-Соколинский как сквозь землю провалился, вроде его и не было.

Неожиданно на балу у графов Воронцовых князь Барятинский, только что вернувшийся из Франции, передал Лидии письмо. И сказал загадочно: «От известной вам особы». У мадам Нессельроде застучало сердце, и она, скрывшись в дамской комнате, торопливо разорвала конверт. Да, писал Дюма-младший.

«Дорогая Ли, золотая Ли, “дама в жемчугах”! Вот уже четыре месяца как меня задержали на границе. Я сидел в Мысловице и хотел покончить с собой, но собрался с силами и вернулся в Париж. Здесь мне все не мило без Вас. И не помогают веселые вечеринки у м-м Калергис, где бывает м-м Нарышкина и пытается меня соблазнить. Тщетно, тщетно! Мне она не нужна. Где Вы, что Вы? Напишите хоть несколько строчек, все ли с Вами в порядке. Несмотря ни на что, все еще надеюсь на нашу встречу в будущем. Вечно Ваш А.Д.».

Нет, она Александра больше не любила, но сам факт его любви, знаменитого Дюма-сына, согревал по-прежнему душу. Спрятала письмо за корсаж и носила весь вечер на груди. Но когда ночью раздевалась у себя в спальне, про него забыла, и парижское послание выпорхнуло у нее из одежд и упало на ковер около кровати. Дмитрий, безусловно, заметил, наклонился, взял и прочитал. Хмуро произнес:

— Ты не прервала переписку с этим шелкопером?

Засмущавшись, Лидия сбивчиво объяснила — и про Воронцовых, и про Барятинского, и про то, что переписки нет и быть не может, Александр написал, а она отвечать не собирается.

— Отвечать не собираешься, а носила его в интимном месте.

— Как же я должна была поступить?

— Разорвать и выбросить.

— Хорошо, я сейчас разорву и выброшу.

— Поздно, дорогая. Ты меня уже очень огорчила.

— Ну, прости, пожалуйста. А для твоего огорчения я не вижу повода. Там же ясно сказано: не имеет известий обо мне целых четыре месяца, с самого Мысловице. Я с ним не общаюсь.

Он замолк и сосредоточенно думал. А потом изрек:

— Я, пожалуй, тебе больше не позволю ездить на балы без меня. Все эти Воронцовы, Барятинские... вызывают у меня только подозрения.

— Ты меня ревнуешь?

— Да, представь себе.

— Разве я даю какой-нибудь повод?

— К сожалению. Где ни появляешься, сразу возникает очередной Друцкой-Соколинский.

— Как понять «очередной»?

— Так и понимай. Я устал от твоих любовных походов, Лидия.

— Ты пока не совсем здоров, ноет рана, вот тебя все и раздражает.

— Нет, моя рука ни при чем. Или же при чем: ведь мое ранение тоже из-за тебя. Просто катастрофа. Не супруга, а стихийное бедствие. Карл Васильевич меня предупреждал...

— Вот как? — удивилась Закревская-младшая.

— Говорил: не женись на бывшей любовнице Рыбкина. С ним сбежала, а потом от тебя сбежит. Так и получилось...

— Я от тебя сбегала?

— Да, к Дюма.

— Хватит о Дюма! Ты же знаешь: я с ним порвала навсегда.

— С Рыбкиным порвала и с Дюма порвала, а потом с кем-нибудь еще, чтобы вновь вернуться ко мне и сказать невинно: дорогой, ты же видишь, я с ним порвала и опять твоя.

У мадам Нессельроде побелели от гнева губы:

— Ты сегодня несносен, Дмитрий. И цепляешься за каждое слово. Надо прекратить наши пререкания, утро вечера мудренее, будем спать.

— Спать я стану отдельно.

— Вот как?

— Ты права: надо успокоиться. А не то рассоримся насмерть.

— Насмерть не хотелось бы.

— Да, мне тоже. Но пока надо разойтись по разным комнатам.

— Хорошо, как скажешь.

Он действительно сильно переменился после дуэли: часто нервничал, пребывал в кислом настроении, бесконечно ворчал по каждому поводу, обвиняя всех в плохом к нему отношении, раздражался по пустякам. С Лидией то ссорился, то мирился, не пускал одну на балы и в театр, а компанию ей не составлял, неизменно ссылаясь на нездоровье — руку, висящую на пере-

вязи. Женщина терпела, но боялась, что когда-нибудь не выдержит и сорвется, накричит, выскажет все, что накипело, и, забрав Толли, навсегда уедет к родителям под Москву.

Как всегда, развязка произошла неожиданно, в феврале 1852 года: из Парижа приехал Алекс Нарышкин, посетил названного дядю и, дыша винным перегаром, сообщил, что Надин окончательно его бросила, убежав к Дюма-младшему.

— Но Дюма влюблен в мою жену! — не поверил Дмитрий.

— А теперь в мою. То есть, может, и не влюблен, просто выбивает клин клином. Кто их разберет! Скрылись из Парижа, взяв с собой детей. Я пытался найти, но тщетно. И решил пока вернуться в Россию. Отдохнуть, прийти в себя. — Опрокинув в себя бокал красного вина, он закончил: — Все бабы — суки. Ненавижу.

Нессельроде задумчиво ответил:

— От любви до ненависти один шаг — это верно.

— Ты свою тоже возненавидел?

Тот пошевелил рукой на перевязи.

— И люблю, и ненавижу одновременно. Зная ее характер, начинаю подозревать каждого. И схожу с ума от ревности.

— Брось ее и не мучь себя, — посоветовал племянник.

— Не могу. Я привязан до безумия.

— Брось, пока действительно не свихнулся. Лучше ходить по куртизанкам: никаких претензий, никакой любви, чистая физиология.

Обер-гофмейстер мрачно произнес:

— С куртизанками мне противно. Лучше уж уйти в монастырь.

— Эк, куда хватил! Извини, но схима не для меня. У меня пока в жилах кровь кипит.

— А в моих, боюсь, уже откипела.

И во время очередной ссоры с Лидией, приключившейся после разговора с Нарышкиным меньше суток спустя, бледный, измученный Дмитрий с лихорадочным блеском в глазах вдруг сказал:

— Нам необходимо разъехаться.

— Мы и так спим по разным комнатам.

— Нам необходимо спать не только по разным комнатам,

но по разным квартирам, разным городам и, возможно, разным странам.

— Что ты говоришь?! — Дама от неожиданности даже вздрогнула. — Хочешь развестись?

— Может, и хотел бы, только положение при дворе и Карл Васильевич не позволят. Будем числиться мужем и женою. И при этом жить раздельно. И чем дальше друг от друга, тем лучше. — Губы его дрожали, голос иногда прерывался, и ему казалось, что, возможно, упадет в обморок, как кисейная барышня.

Переждав, пока ее дыхание успокоится, дочка генерал-губернатора Москвы с горечью спросила:

— Почему ты принял это решение?

Он вскочил и забегал по комнате, как безумец; правой рукой размахивал, а больная, левая, укутанная (перебитый нерв создавал впечатление, что она то и дело мерзнет), словно куль, болталась на перевязи.

— Я хочу покоя! — взвизгивал Нессельроде. — Тишины и покоя. Ты меня все время нервируешь. Каждую минуту жду подвоха. Нового твоего любовника, нового моего соперника и его притязаний, и борьбы, и мук. Нет! Достаточно! Делай что тебе вздумается, только вдалеке от меня. Чтобы я не знал и не видел. Никогда!

Женщина попробовала предложить компромисс.

— Ну, постой, пожалуйста. Сядь, не мельтеши. И послушай мои соображения. Разойтись мы всегда успеем. Как в деревне мужики говорят: мол, ломать — не строить... да... Ради Толли, ради нашей взаимной склонности — надо предпринять последнее средство.

— Я не представляю, какое.

— Ты теперь нездоров, и тебе надо подлечиться. Мы поедem в Бельгию, как и пять лет назад, на воды Бадена. Ты, я и мальчик. Месяца на три. Приведем в порядок тело и душу. И тогда решим, жить ли вместе в дальнейшем.

Дмитрий сардонически рассмеялся:

— Ну, конечно, в Бельгию. От которой рукой пождать до Парижа. Чтобы было легче видеться с Дюма.

— Господи! О чем ты?

— Все о том же.

— Алекс тебе сказал, что Дюма с Нарышкиной.

— О, великое дело: нынче с Нарышкиной, завтра опять с тобою... Это вам нетрудно!.. Не Дюма, так другой. Соколинский, Орловский, Коршунов, Воронцов... — Он отчаянно сморщился. — Не хочу! Оставь! Никакой склонности, как ты говоришь, больше нет в душе. Только отвращение.

Лидия заплакала. Тихо так, без всхлипов и стонов, просто сидела, сгорбившись, а горячие слезы капали у нее со щек на колени.

— «Только отвращение»... как тебе не совестно!..

Он сидел надутый, бормотал в ответ:

— «Совестно», «не совестно»... Раз тебе не совестно было изменять мне с другими...

— Да с какими «другими»?! Был один Дюма. И сплыл, и давно забыт.

— Я зато не забыл. Может, поначалу забыл, а теперь вот помню. — Встал и объявил пафосно, как обманутый муж у Мольера: — Уговаривать меня бесполезно. Я не отступлю. Разъезжаемся. — Помолчал и добавил: — Кстати, мальчик останется со мною.

Поразившись, женщина воскликнула:

— Не посмеешь! Я умру без него!

— Это не обсуждается. Толли не отдам непутевой матери.

Дама упала перед ним на колени:

— Митя! Умоляю! Ради всего святого! Сделаю, как ты хочешь, — скроюсь, убегу, навсегда исчезну из твоей жизни. Но не разлучай меня с Анатолем!

Дмитрий оторвал ее пальцы от своих брюк:

— Хватит. Замолчи. Спорить бесполезно. Ты родишь другого, а меня семейная жизнь больше не прельщает. И останусь со своим единственным сыном. До конца дней моих.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1.

Александр Дюма-младший сам не понимал, как так получилось, что они с Нарышкиной поселились под одной крышей. Вроде бы Надин даже и не нравилась

ему поначалу. То есть, если рядом не было бы Лидии Нессельроде, вероятно, он увлекся бы сразу. Но Надин не шла ни в какое сравнение с Лидией. Нессельроде — яркая, чувственная, страстная, электризующая воздух и способная покорить одним взглядом. А Нарышкина — сдержанная, тихая, вся в себе, нервная, ревнивая. Первая — неглупая, далеко не глупая, но живущая больше чувствами, чем разумом; а вторая — с чисто мужской логикой, трезвомыслящая, все анализирующая. Да, конечно, со второй интереснее. Лидия — это пиршество плоти, бесконечного эротизма, необузданных телесных желаний. А Надин — праздник разума, эрудиции, интересных аллюзий; безусловно, страсть тоже, но совсем не на первом месте.

Нессельроде — это барабаны любви, трубный глас молниеносной победы и сверкание золоченых шлемов на солнце, это скачущая в доспехах конница, сабли наголо.

А Нарышкина — долгая осада, хитроумные боевые действия, тайные подкопы, партизанщина, взятие измором.

Лидия — Наполеон. А Надин — Кутузов.

И виктория, как известно, осталась за Кутузовым...

Совершенно подавленный отъездом любимой, невозможности найти ее в России, Александр-сын возвратился в Париж серой тенью. Никому не плакался, лишь отцу. Тот сказал, как всегда, не отрываясь от рукописи:

— Я не удивлен, мальчик мой. Не послушал старого, мудрого отца — вот и получил. У меня воображение развито побольше. Ты не можешь просчитать несколько ходов наперед. И поэтому скверно играешь в карты и шахматы. А любовь — та же шахматная партия. Совершенно по тем же правилам.

Кое-как придя в себя, сын отправился к Маше Калергис — вдруг она что-то разузнала о дальнейшей судьбе четы Нессельроде? Все-таки двоюродная сестра. Но у пианистки новых сведений не было. Говорила в основном только о себе, о своих гастролях по Европе и о дочери, отданной ею в школу для девочек при одном из монастырей Франции: «Я ее навестила нынче, ей уже двенадцать, рассуждает строго, совершенно как взрослая. Пусть живет в своем идеальном мире и не ведает наших безобразий. Я молюсь о ней, о счастливой судьбе моего ребенка».

Александр подсел к Надин и сказал угрюмо:

— Видите, как с приездом ваших мужей из России обернулось все: я нежданно-негаданно оказался простой игрушкой в чужих руках. Выброшен за ненадобностью.

Пригубив шампанского, женщина ответила ему иронично:

— Оттого что на этих скачках вы поставили не на ту лошадку.

Он оскалился:

— Можно думать, если бы я поставил на другую, вышло бы иначе: у другой лошадки свой жеребчик.

— Нет, жеребчика уже нет.

— То есть? — удивился Дюма.

— Мы расстались окончательно и бесповоротно. А тем более, после той истории, что произошла после вашего и Нессельроде отъезда...

— Что за история, мадам?

— Не хочу рассказывать, больно вспоминать. В двух словах: подбивал Дмитрия увезти у меня Ольгу, а когда тот уехал, сделал это сам. Попытался скрыться, но полиция их накрыла, девочку вернули, а его обязали покинуть Францию в семьдесят два часа. Он ушел в запой и уехал позже. Я теперь одна с двумя детками и без средств к существованию.

— Как, а ваша мамá? Вы же говорили, что она вам поможет...

— Да, мамá... добрая мамá, в честь которой я и назвала дочку Ольгой... У нее несколько имений, и она поможет, чем сможет... Вероятно, приедет ко мне во Францию: я прошу ее приобрести мне недвижимость, чтобы не скитаться по съемным квартирам. Виллу где-нибудь в провинции, дальше от Парижа с его мерзостями, — где-нибудь в районе Тулузы.

— О, Тулуза! — с воодушевлением произнес писатель. — Там места чудесные. Взять хотя бы Баньер-де-Люшон на границе с Испанией. Райский уголок. Я бы сам с удовольствием там обосновался. Здесь, в столице, страшная тоска. И работать трудно, голова занята какими-то пустяками. На природе думается легко.

Дама улыбнулась:

— Отчего бы не поселиться вместе? — И, увидев его смущение, сразу оговорила: — Я имею в виду не семьей, а всего лишь рядом, по-соседски. Все-таки не так одиноко.

— Интересная мысль.

— Заходите в гости. Как-нибудь на неделе. Пообедаем и обсудим детали. Познакомлю вас с моими девчонками.

— Отчего ж, зайду.

И зашел, действительно. Чтобы как-то отвлечься от грустных мыслей и не чувствовать в душе пустоту. Известил о своем прибытии и приехал. Дочки Нарышкиной ему понравились: шестилетняя Ольга и полуторагодовалая Луиза. Старшая походила на мать: те же зелено-синие глаза цвета морской волны, рыжеватые вьющиеся волосы и худые плечики. Младшая — совершенно другого типа, видимо, в своего отца: круглое лицо, нос картошечкой и большие пухлые губы. Старшая — живая, непоседа и балаболка; младшая спокойная, некапризная, тихо занималась игрушками на кровати — только иногда поднимала рожицу и, взглянув на Дюма, отчего-то смеялась.

— Что она находит во мне смешного? — удивлялся он.

— Не смешного, а доброго, — поясняла Нарышкина. — Дети смеются просто от радости. Значит, вы ей понравились.

Александр кивал с улыбкой:

— Да, я знаю, что нравлюсь детям и престарелым дамам. К сожалению, молодым гораздо реже.

— Ах, не скромничайте, мсье: некоторые еще нестарые дамы в вас влюблены.

— Если вы про Лидию, то оставьте, — хмурился писатель.

— Вовсе не про Лидию, — отворачивалась Надин.

Так он приходил к ней в гости неоднократно, привозил детям куклы и привык, начал понемногу привязываться, даже находил Нарышкину интересной не только в качестве собеседницы. А однажды принес цветы.

— Это мне? — просияла та.

— Нет, ну что вы. Это Ольге.

— Ольге?

— Да. Я на ней женюсь, когда она вырастет.

Девочка захлопала в ладоши и запрыгала от радости:

— Да, да, поженимся! Я люблю вас, мсье Александр!

Видя недоуменное лицо матери, рассмеялся:

— Пошутил. Разумеется, цветы вам. Но теперь, чтоб не обижать Ольгу, пусть они будут всем трем дамам Нарышкиным.

— Мерси бьен. Только Луиза — не Нарышкина, а Вебёр. Мне пришлось записать ее в качестве моей воспитанницы-сироты.

— Да, я знаю. Ну, так что с того?

Их застолья с каждым разом приобретали все больше черт семейных обедов. А когда Дюма-сын начал оставаться у Надин на ночь, то и завтраков, и ужинов...

Но его чувства к ней были не такие, как к Лидии.

От любви к Нессельроде он сгорал, как свечка, это был наркотик, и мы знаем, как мучительна ломка у наркоманов.

А к Надин такой страсти не появилось. Просто с ней было хорошо, по-домашнему, уютно. Славно.

Молодость у нас проходит в пожарах.

В зрелости мы строим свой очаг на былом пепелище.

2.

Лидия вернулась в Москву и рыдала на плече у отца, проклиная Дмитрия. Как он смел ее выгнать, да еще оставив у себя Толли? Негодяй, мерзавец.

— Он больной человек, — заключил Арсений Андреевич. — Я не от тебя одной слышу, что ранение было в руку, а в итоге повредились мозги. Нам необходимо возвратить внука. Стану бить челом государю. Карл Нессельроде, разумеется, встанет на пути, но попробую его одолеть в сем вопросе.

— На тебя вся моя надежда, папá.

Он поцеловал ее в щечку:

— Да, моя хорошая, для тебя расшибусь в лепешку. Можешь не сомневаться.

А пока отправил дочь отдохнуть в Ивановском.

Их поместье было уже в снегу. Бородатый дворник чистил дорожки в парке и при виде барыни заламывал шапку, несмотря на мороз. Чтобы как-то развеяться, завела себе собачонку, шпица, назвала Фифи. И подолгу с ней играла в гостиную. Псинка, чувствуя хорошее отношение хозяйки, тут же обнагле-

ла и вела себя, как капризная девочка, прыгая по диванным подушкам, оглушительно твякая и хватая толстую Груню за лодыжки. Все Фифи сходило с рук. А точнее, с лап.

Неожиданно в Ивановском появился Друцкой-Соколинский — молодой, вальяжный, кровь с молоком. И держал в руках внушительных размеров корзину, всю укутанную тряпками.

— Что сие значит, сударь? — холодно спросила мадам Нессельроде.

ДДС молча раскрутил лоскуты и открыл взору дамы пышный букет алых роз. Дама ахнула.

— Розы в декабре? Где вы взяли?

— Я наколдовал. Я колдун, вы знаете? Обещал одолеть соперника — вашего супруга — и пожалуйста. Да, он жив, но сломлен и уже не сможет сопротивляться.

Лидия нахмурилась.

— Вы безумны, сударь. Вы разрушили мое семейное счастье. И имеете дерзость говорить мне об этом. Соблаговолите выйти вон.

— Вот и не подумаю. — Он уселся в кресло напротив, ногу положил на ногу. — Ибо ваше семейное счастье совершенно не с Нессельроде, а со мною. Только я, понимаете, только я сделаю вас счастливой. Мы поселимся где-нибудь в Италии, где тепло, светло и привольно дышится. Вы подарите мне наследника. Или же наследницу. Проведем в любви и покое лучшие годы нашей жизни.

У нее насмешливо сузились губы.

— Вы чужак. Но забавный. Чаю хотите?

Он воскликнул:

— Соглашусь на все, что вы мне предложите.

Прибежала Фифи и с разбега прыгнула ДДС на колени.

— О, она вас признала, — удивилась Лидия.

— Оттого что умная. Как ее хозяйка. И, надеюсь, хозяйка вскоре последует вслед за нею.

— Прыгну к вам на колени?

— Для начала признаете, а потом и прыгнете.

Провели чаепитие в милой пикировке. Предложила ему остаться на ночь в гостевых покоях. Неожиданно он отказался:

— В гостевых не хочу, а в хозяйских еще не время. Я остановился в Подольске. Завтра приеду сызнова. Вы не против?

Улыбнулась мило:

— Что ж теперь? Нет, не против.

И когда он уехал, подумала: «Почему бы нет? Это лучше, чем ничего. Отвлекусь, потешусь, а там видно будет. Бог свидетель: я хотела честно сохранять верность Дмитрию. Он меня отверг. Пусть теперь пеняет только на себя».

Не прошло и недели, как Друцкой-Соколинский добился своего. Лидия написала мужу письмо с просьбой о разводе. И поехала с молодым любовником погостить у него в родовом имении в Витебской губернии.

3.

Между тем Европу захлестнули новые политические события. Президент Франции Луи Наполеон совершил государственный переворот, распустив Законодательное собрание и устроив референдум о замене республики монархией. Плебисцит состоялся, и с республикой распрощались: бывший президент объявил себя императором Наполеоном III.

Круто развернулся и австрийский император Франц-Иосиф: отменил Конституцию 1849 года и восстановил свою абсолютную власть.

Русский царь Николай I тоже оживился и решил, что пришла пора вырвать из-под Турции православные Балканы, отобрать у нее Константинополь и вернуть христианскому миру все святыни в Палестине. Начали с того, что российская армия вторглась в Молдавию и Валахию (ныне — Румынию). Турция немедленно объявила нам войну. Мы, приняв вызов, разгромили турецкий флот под Синопом. И пошли в наступление на Кавказе. Турция взмолилась о помощи. Франция и Англия, опасаясь нашего господства в Черном море, тоже объявили, что считают себя в состоянии войны с Россией. Немцы и австрийцы сохраняли нейтралитет.

Карл Васильевич Нессельроде загодя предупреждал Николая I, что борьбу с коалицией противников, да еще и на не-

скольких фронтах, мы не выдержим. Царь прислушивался к нему раньше, но теперь не выдержал и попал, что говорится, как кур во щи. Ведь военные действия развернулись не только на Дунае и Кавказе, но и в Финском заливе, и на Камчатке. За-маячила катастрофа.

Сразу выяснилось, что хотя самодержец все свои усилия тратил на укрепление армии, повышение дисциплины, порядка, он при этом упустил главное — оснащение войск и флота современным вооружением. Мы отстали от стран Европы на десять лет. Там уже сражались не парусники, а пароходы. Там уже имелись не гладкоствольные ружья, как у нас, а нарезные, да и пушки более скорострельные. Плюс передовые коммуникации, включая телеграф (кабель они тянули по дну Черного моря). Русская же армия оставалась неповоротливой, плохо обеспеченной боеприпасами и продовольствием, не хватало даже обычных карт, а в атаку ходили по старинке, по-суворовски — не рассыпным строем, а каре, и «пули-дуры» прямо-таки косили наших солдатиков.

Нет, конечно, кое-какие успехи были. Удалось отбить атаки на Балтике и в Охотском море, разгромить турецкие части на Кавказе, перейти к позиционной войне на Дунае. Но в Крыму потерпели полное фиаско. Черноморский флот России погиб. Битва за Севастополь проиграна. Масса народу убита и покалечена. В обществе царили уныние и раздражение от бездарной политики властей...

Неожиданно умер Николай I. А пришедший ему на смену Александр II быстро понял, что бессмысленная бойня никому не нужна. Стороны усадились за стол переговоров. И хотя в итоге Россия не лишилась ни одной из своих довоенных территорий (на Кавказе даже немного приобрела), в целом результаты кампании оказались для нас печальными; о влиянии на Балканах и на Босфоре надо было забыть, а Константинополь по-прежнему оставался у Османской империи.

Новый царь отказался от услуг Карла Нессельроде — и железный русский канцлер был отправлен в отставку в 1856 году. Вскоре покинул службу и Дмитрий Карлович, целиком посвятив себя воспитанию сына. Жили они в Петербурге, а на лето уезжали в свое имение в Саратовской губернии.

Но Закревского Александр II сохранил в генерал-губернаторах Москвы. Постаревший Арсений Андреевич был уже не так суров с москвичами, как в первые годы своего правления, и смотрел на некоторые вольности снисходительно. В том числе и в семейном плане: он давно смирился с новым, хоть и не венчанным зятем — Друцким-Соколинским. Видя, что дочка с ним счастлива, привечал как сына. А от Нессельроде отстал, понимая, что внука Толли навсегда придется оставить у отца.

В 1859 году Лидия и ДДС наконец решили осуществить давнюю мечту и переселиться в Италию. Но для оформления заграничного паспорта ей, все еще мадам Нессельроде, по закону полагалось получить письменное согласие мужа. Обращаться к Дмитрию было бесполезно, он бы отказал, ибо приходил в бешенство при одном упоминании о ее сожительстве с князем, ранившим его на дуэли. Ситуация выглядела тупиковой. И тогда ДДС, склонный к авантюрам и любивший поступать нагло-непредсказуемо, предложил своей избраннице взять и, несмотря ни на что, повенчаться. Да, вот так, просто повенчаться. Скрыв от Церкви нерасторгнутый прежний брак. И, пока всплывет правда о ее многомужестве, быть уже в Италии.

Поначалу Лидия испугалась, говоря, что пойти на преступление побоится. Но Друцкой-Соколинский убеждать умел, а тем более — любящую и во всем ему покорную женщину. Словом, тайное незаконное венчание состоялось. Было это 8 февраля в небольшом, занесенном снегом храме близ Подольска. А потом молодые повалились в ноги Арсению Андреевичу с просьбой дать разрешение на выдачу им, новоиспеченным супругам, заграничных паспортов.

Генерал-губернатор в первое мгновение покраснел от ярости, застучал ногами, сжал кулаки, прокричал непечатные ругательства — человек армейский, он в пылу досады никогда не стеснялся в выражениях.

— Вы в какое положение меня ввергли?! — бушевал Закревский. — Понимаете, нет? Я как должностное лицо высшего порядка должен объявить о незаконности вашего брака. Осудить и примерно наказать. Как сие возможно? Допустить скандал в моем семействе — хуже смерти. Но пойти вам на-

встречу тоже не могу — ибо совершу тогда преступление сам. Что вы предлагаете и на что надеетесь?!

Опустившись на диван, расстегнув верхнюю пуговку мундира, ветеран Бородинского сражения тяжело дышал и обмахивался платком. ДДС ответил невозмутимо:

— Дорогой Арсений Андреевич! Мы, конечно же, сознаем, что поставили вас перед непростым выбором. Но давайте попробуем отбросить эмоции и оценим ситуацию здраво. Вы уже не раз говорили, что хотите уйти в отставку. Годы уже не те, а Москве нужна молодая, сильная рука. Стало быть, если государь отстранит вас от места, то большой беды не случится. Думаю, что иной кары ждать вам не придется — император милостив и учтет заслуги ваши перед Отечеством. А сложив дела, вы приедете к нам в Италию вместе в Аграфеной Федоровной. Заживем в добре и согласии, в домике на берегу моря, в окружении преданных слуг, нянча наших будущих детей, ваших внуков. Разве ради этой сказки, рая на земле, не хотите рискнуть и помочь нам? Ради собственной славной старости? Ради счастья Лидии?

Отдышавшись, генерал-губернатор произнес более спокойно, но по-прежнему с тоской в голосе:

— Как я посмотрю в глаза государю в тот момент, когда вскрыется подлог?

— Ничего проще: вы доложите ему сами.

— Сам? Я сам?!

— Разумеется, сами. Дескать, не велите казнить, царь-батюшка, а велите слово молвить. Бес попутал на старости лет. Но не мог не посодействовать дочечке любимой. А повинную голову, как известно, меч-то не сечёт. И, в конце концов, разве наша в том вина, что в России так затруднена процедура развода? Мы идем на подобные ухищрения поневоле. Самодержец пусть задумается о сем.

У Закревского опустились книзу кончики губ.

— Ну, не знаю, не знаю, — проворчал он теплее. — Вечно неприятности от вас, Дмитрий Владимирович. Как вы появились в нашем семействе, ни минуты от вас покоя.

Но Друцкой-Соколинский не обиделся, а наоборот, живо рассмеялся:

— А зато смотрите — Лидии Арсеньевне со мной нравится! Разве ваша цель — не счастье вашей дочери?

— Счастье, счастье... — Он взмахнул рукой. — Скройтесь с глаз моих. Мне необходимо подумать.

Новоиспеченные супруги вышли из его кабинета молча, но с улыбкой. Лидия спросила:

— Думаешь, уступит?

Муж ответил, как всегда, безапелляционно:

— Я уверен в этом. Он у нас добрый старикан, несмотря на суровый вид. Все устроится как нельзя лучше, вот увидишь.

— Может, ты и вправду колдун?

— Да, а что? Разве до сих пор сомневаешься?

И действительно: десять дней спустя получили заграничные паспорта, в частности, она — на имя княгини Лидии Арсеньевны Друцкой-Соколинской. А поскольку вещи были уже уложены и карета готова к путешествию, утром 10 апреля 1859 года тронулись в путь, благословясь. Ехали через Вязьму, Смоленск, Минск, Брест-Литовский и Варшаву. Наконец Закревский получил телеграмму:

«ДОРОГОЙ ПАПЕНЬКА ЗПТ ДОРОГАЯ МАМЕНЬКА ВОСКЛ МЫ БЕРЛИНЕ ЗПТ ВСЕ ПРЕКРАСНО ВОСКЛ НИЗКО КЛАНЯЕМСЯ ВАМ ПОМНИМ ЛЮБИМ БЛАГОДАРИМ ТЧК КРЕПКО ЦЕЛУЕМ = ЛИДИЯ ДМИТРИЙ».

Убедившись, что с детьми все в порядке, генерал-губернатор перекрестился и засобирався тоже в дорогу — в Петербург.

Александр II принял москвича у себя в кабинете в Зимнем. На стене справа висел портрет Петра Великого в полный рост. На стене слева — Екатерины Великой. Рядом со столом — бюст Николая I. Император — крупный 40-летний мужчина, пышущий здоровьем, темный блондин с голубыми глазами. Слава Богу, что глаза были не отцовские — у покойного царя те буравили собеседника, обдавали холодом. А у сына — добрые, внимательные. Государь встал из-за стола и пошел навстречу уважаемому гостю.

— Драгоценный Арсений Андреевич, как же я обрадован вашему визиту! Сам хотел пригласить вас к себе для серьезного, обстоятельного разговора о Москве — да другие дела отвлекали все время. Вот уж и свиделись. Окажите милость, садитесь. Не желаете по рюмочке коньяку? По гаване?

Граф устроился в кресле и, слегка волнуясь, ответил:

— Нет, мерси, не курю давно, и сигары тем паче. А от коньячка бы не отказался.

Выпили, почмокали.

— Я надеюсь, вас привели в Петербург не какие-нибудь грустные заботы?

— Как сказать, ваше императорское величество, как сказать... Я приехал попросить об отставке.

Царь воскликнул искренне:

— Да неужто, дорогой Арсений Андреевич? Отчего? Здоровье? Нет, не отпущу, не надейтесь. Вы мне очень нужны в нашей Белокаменной.

— Благодарствую за такое доверие, ваше величество. Был бы счастлив послужить и дальше — хоть года уже немалые, но покуда самочувствие позволяет. Дело не в здоровье. Как у нас толкуют: рад бы в рай, да грехи не пускают... Совершил я тут должностное нарушение и как честный человек, офицер, дворянин не имею права скрыть его от вас, запятнать высокую должность генерал-губернатора.

— Да помилуй Бог, Арсений Андреевич! Вы — и нарушение? Ни за что не поверю.

— Тем не менее это так. Исключительно из любви к единственной дочери мне пришлось пойти на подлог... — И скрепя сердце ветеран изложил весь ход событий.

Император сразу посерьезнел. Молча наполнил рюмочки. Оба, не чокаясь, выпили.

— Ах, Закревский, Закревский, — наконец проговорил Александр II с горечью. — Как же вы меня огорчили. И зачем, зачем, главное? Обратились бы ко мне изначально, я бы посодействовал развенчанию супругов Нессельроде — ну, конечно, это бы заняло, возможно, какое-то время, например, полгода — наши церковные власти, сами знаете, не спешат в подобных вопросах. Но подлог, пойти на подлог? Это, простите, ни с чем не сообразно. Как же вы могли? В вашем положении? С вашими заслугами?

Граф сидел пунцовый — от душевного дискомфорта и от коньяка. Выдавил из себя, как советовал ДДС:

— Бес попутал, ваше величество.

Самодержец хмыкнул:

— Знаю я этого беса — князя Дмитрия Владимировича Друцкого-Соколинского. Он кого угодно попутает.

— Норов непростой, — согласился приезжий, — но вообще прекрасной души человек. И мою Лидушу любит само-забвенно. А она — его. Исключительно ради счастья дочери и решился...

Царь слегка поморщился:

— Хватит оправданий. Понимаю: ежели любовь — их любовь друг к другу, а у вас — к единственной дочери... И как человек, и как христианин я прощаю вас. — Он помедлил. — Но как император, высший судия в государстве, не имею права прощать любое преступление. Посему вынужден принять вашу отставку, сударь. Хоть и с горечью в душе. Да, Арсений Андреевич, я весьма удручен вскрывшимся поступком.

Генерал-губернатор промямлил:

— Благодарен вашему величеству за такое мягкое наказание... Знал, что вы поймете родительское сердце...

— Будет, батенька, будет. Выпьем на прощанье. С пожеланием вам приятного отдыха от трудов праведных.

А когда Закревский, откланявшись, удалился, государь, оставшись в одиночестве, покачал головой и произнес:

— Да, любовь, любовь... Подвигаешь ты людей, самых добродетельных, к непонятым безумствам... Что такое вообще любовь? Отчего вокруг нее весь мир кружится?

И сидел, задумчивый, глядя на портрет Петра Первого.

Не пройдет и двух десятилетий, как его величество Александр II, за плечами которого будут уже и освобождение крепостных крестьян, и реформа государственного устройства, и победа в новой Русско-турецкой войне, сам окажется в плену сумасшедшего чувства — бросит императрицу и сойдется с юной красавицей Катей Долгоруковой...

Впрочем, как говорится, это сюжет совсем другой повести.

ЭПИЛОГ

Как сложились судьбы наших героев в дальнейшем?

ДДС и его возлюбленная до конца своих дней так и не смогли обвенчаться законно. Жили во Флорен-

ции, в собственном имении Голочето. В 1862 году Лидия родила наследника, названного в честь любимого деда Арсением.

К этому времени дед и бабка Закревские находились тоже в Италии, разделив с детьми все радости и заботы. Впрочем, вскоре бывшего генерал-губернатора Москвы не стало. После смерти супруга Аграфена Федоровна переехала в Ливорно, но совсем под старость возвратилась к дочери. Умерла, будучи 80-летней старухой, и нашла свой вечный приют рядом с мужем.

Лишь на пять лет пережила ее Лидия Арсеньевна. А Друцкой-Соколинский встретил XX век в полном здравии, продолжая до последних дней кататься верхом и играть в гольф. Но в Россию не приезжал больше никогда.

Карл Васильевич Нессельроде, находясь в отставке, так переживал, что у нас в стране больше нет крепостного права, что не выдержал и скончался вслед за переменами 1861 года. Дмитрий Карлович, более умеренных взглядов, прожил остаток жизни у себя в имении Царевщина (Вольский уезд Саратовской губернии) и ушел на небеса тридцать лет спустя. А его единственный сын Толли, граф Анатолий Дмитриевич Нессельроде, получил прекрасное образование — после Петербурга обучался в Гейдельбергском университете в Германии, защитил диссертацию на звание доктора права. Он служил при дворе, а затем в министерствах финансов и иностранных дел. Выйдя в отставку, занимался хозяйством в Царевщине, жил и в Саратове, будучи предводителем местного дворянства. После революции убежал за границу и скончался в Париже в 1923 году.

Алекс Нарышкин тоже окончил свой земной путь во Франции, но намного раньше. Спившийся, больной, он лечился в санатории на озере Леман, а здоровье все ухудшалось, и несчастный князь отдал Богу душу в 1864-м.

Что ж, теперь Надин была свободна. Вместе с Дюма-сыном она жила уже больше десяти лет, и они имели общую дочку — Колетту. В декабре того же 1864 года автор «Дамы с камелиями» заключил свой брак с Надеждой Ивановной

Кнорринг-Нарышкиной. Вскоре у них родилась еще одна дочь — Жаннина... Тем не менее вскоре их семейная жизнь дала трещину. Нервность характера супруги перешла со временем в психическое расстройство, и она подолгу лежала в клиниках для душевнобольных. Справедливости ради следует сказать, что весьма способствовал этому сам Дюма — он имел многочисленные связи на стороне, а Надин страшно ревновала.

В 1885 году, будучи 60 лет от роду, Александр-сын сошелся с очередной фавориткой — 20-летней Анриеттой Эскалье. Это была последняя молодость маэстро. Чем-то она напоминала ему Лидию Нессельроде — те же густые темные волосы до пят, карие глаза и пунцовые надутые губы. Он любил и страдал — оттого что не может бросить недужную жену, но и бросить свою богиню Анриетту был не в состоянии.

Их любовь длилась десять лет.

А 2 апреля 1895 года умерла Надин.

Через два с половиной месяца, 26 июня, Александр-младший, 70-летний старик, окончательно потерял голову и женился на мадам Эскалье.

Результат, конечно же, не замедлил сказаться. 1 октября престарелый писатель слег. А 28 ноября того же года полетел к Дюма-старшему (тот скончался за четверть века до сына) ...

Остается сказать лишь еще об одном Александре — Сухово-Кобылине. Он в России сделался знаменитым комедиографом. Пьесы его: «Свадьба Кречинского», «Смерть Тарелкина», «Дело» и другие — стали классикой нашей драматургии, шли во многих театрах наравне с сочинениями Гоголя, Грибоедова и Островского. В личной жизни был он по-прежнему несчастлив. А под старость испросил у нового императора, Александра III, разрешения удочерить свою внебрачную дочь во Франции — Луизу Вебер (к тому времени уже графиню Фаллетани). Государь позволил. Сухово-Кобылин не замедлил отправиться в Париж и осуществил свой замысел, воссоединившись с 32-летней наследницей.

Женщина с радостью обрела отца. Познакомила его с мужем Исидором и дочерью Жанной. Так писатель под конец жизни оказался в кругу родных и не чувствовал себя теперь одиноко. Приезжал во Францию еще не раз и окончил дни в 1903 году на курорте Больё-сюр-Мер, зная, что рядом Жанна и Луиза.

Неисповедимы пути Господни.

Блажен, кто на своем веку познал высокую любовь, теплоту семейного очага и ушел в мир иной в твердом убеждении, что не зря появлялся на этом свете.

ОТЕЦ И ДЕТИ

Историческая повесть

ПОЛИНЕТТ

1.

Раннее свое детство помню я довольно туманно. Но примерно с четырех-пяти лет яркие картинки возникают в сознании. Дом у нас большой, больше всех в деревне, потому как мой тятя, Федор Иванович, секретарь барыни, человек на счету особом, хоть и крепостной. Одевался не по-крестьянски, но и не по-барски, а как мещанин; бороды не носил, но зато имел пышные усы, на щеках переходящие в бакенбарды. Нрав имел веселый и детей никогда не сек. Мог изъясняться по-французски. А когда выпивал по праздникам, брал в руки скрипку, подаренную ему его отцом, музыкантом крепостного оркестра, и играл на ней разные лирические мелодии и при этом часто плакал, растрогавшись. Относился ко мне мягко, ласково и хвалил, если я верно выполняла его задания, гладил по головке, часто приговаривая: «Молодец, Поля, просто молодец». А за промахи и ошибки не ругал, лишь качал головою укоризненно, но потом приободрял: «Ну, нестрашно, нестрашно, сделаешь в другой раз правильно». И других детей тоже не наказывал.

Маменька, Авдотья Кирилловна, хоть и вела себя с нами строже, а ругала чаще, никогда не била — разве что могла подзатыльник отвесить братьям, девочек не трогала. Да и не за что было: все вели себя скромно и проказничали не слишком, слушали слова взрослых. Маменька тоже числилась в дворовых, во служении у барыни. Пропадала в усадьбе с утра до вечера. Тятенька — тем паче, а за нами приглядывала бабушка — Ольга Семеновна. Раньше и она ходила в ключницах у хозяйки,

а, состарившись, дело передала другой бабе и сама занялась воспитанием внуков. И не только нас — Федора Ивановича детей, — но и дядюшки тоже — Льва Ивановича. Лев Иванович подвизался у барыни в конторщиках, то есть занимал не такое видное положение, как наш тятя. Но не бедствовал, а когда получил вольную, переехал в город Орел и купил себе домик. Впрочем, это уже случилось много позже.

С детства ребята (я в том числе) выполняли обязанности по дому: мальчики пилили и кололи дрова, рыбу в пруду удили, из которой мы потом варили ушицу, подсобляли бабушке доставать из погреба лук, картошку, свеклу и прочее; девочки мели пол, штопали одежду, нянчили маленьких. Я с семи-восьми лет по велению бабушки приносила воду в ведре из колодца. И никто не роптал, не отнекивался, не волынил, помогали друг дружке от всего сердца как родные, братья и сестры. То, что я не родная им сестра, стало мне известно в 1850 году, по приезде в усадьбу моего настоящего отца. А до этого знать не знала, думать не думала. Даже когда барыня иногда говорила маменьке: «Приведи-тко, Авдотюшка, Польку поглядеть», — надевали на меня лучший сарафан, туфли, ленту вплетали в косу и вели в барский дом, — я понятия не имела, для чего. Барыня с гостями сидела на террасе, на столе самовар и угощения, вкусно пахло малиновым вареньем. Барыня — Варвара Петровна — ей в ту пору было за пятьдесят, и она сильно располнела, ноги плохо слушались, и ее возили по дому в кресле на колесиках, — говорила низким, слегка надтреснутым, вроде как простуженным голосом:

— Ну-тко, посмотрите, гости дорогие, на кого похожа эта чумичка?

Отчего-то гости все смеялись и кивали с улыбками:

— Да, да, прямо одно лицо.

А Варвара Петровна, насладившись зрелищем, мне и маменьке махала платочком:

— Так ступайте, ступайте с глаз долой.

И никто не давал мне ни конфетки, ни булочки со стола.

Я себе представить даже не могла, что хозяйка и есть моя настоящая бабушка.

Нет, теперь вспоминаю: многие вокруг намекали. Тятенька, бывалочи, взглянет на меня пристально, головой покачает и скажет: «Да-а, оно, конечно... Благородную кровушку не сокроешь...» Или дворовые мальчишки иногда задирали: «Ой, гляди, гляди, барынька пошла!» Но тогда я никак не могла сообразить, что они имели в виду.

Вдруг однажды слух прошел: молодой барин приехали из столиц. Это, значит, средний сынок Варвары Петровны. У нея было трое сыновей — старший Николай, средний, стало быть, Иван, и последним народился Сергей, только шибко болезненный, и преставился в молодом возрасте. Николай со своей семьей жил отдельно, говорили — бедно, потому как маменька ихняя денег не давала из обиды на него, что женился супротив ее воли; даже, говорили, навела порчу на его деток, и они преставились во младенчестве. А Иван-то ходил в любимчиках у Варвары Петровны, обучался в Москве в университете, а потом отправлен был ею за границу, в Германию, где продолжил образование свое. А потом по столицам жил. Я его раньше в глаза не видела.

Значит, слух: прибыли Иван Сергеевич из Санкт-Петербурга. И при этом на меня смотрят. Ну а мне-то что? Мне чего печалиться или радоваться надо? У меня своих забот полон рот.

Дело было днем. Бабушка и я что-то стряпали возле печки, как открылась дверь, и заходит маменька с молодым господином. Он такой высокий-высокий, аж под потолок, маменька ему еле до плеча достает. Весь такой пригожий, ухоженный, в сюртуке и галстуке, волосы до плеч, нос большой, широкий, и глаза голубые-голубые, точно васильки. А лицо взволнованное, тревожное. Маменька на меня рукой показала:

— Наша Поля вот, извольте видеть.

Он шагнул вперед и присел на корточки, чтобы заглянуть мне в глаза. Пристально и как будто бы даже жгуче. Взял меня за руку и произносит:

— Господи помилуй! Верно, что похожа. — И заплакал нежданно-негаданно.

Я с испугу и от волнения тож заплакала.

Вот стоим вдвоем, друг против дружки, и плачем. А другие смотрят на нас и улыбаются.

Наконец он поднялся с корточек, вытащил платок и утер глаза. Говорит:

— Я приехал — и к себе ее забираю. Я не знал, что она живет в Спасском, думал, что в Москве, у своих. Но теперь иное. Буду сам заботиться.

Я ж одно поняла: что меня отнимают от маменьки и тятеньки. Разрыдалась в голос и как брошусь к ней:

— Маменька, родная, хорошая, сделай милость, не отдавай меня! Не хочу, не смогу без вас!

А она меня гладит, утешает:

— Полно, полно, Полюшка. Не пугайся, не бойся. Я ведь не могу тебя не отдать. Это твой отец настоящий, правда.

Ничего не помню, что дальше. Говорили, что от этих слов я лишилась чувств.

3.

Мне потом, много дней спустя, рассказал Иван Сергеевич ихнюю историю. Дело было в начале сороковых годов. Он как раз прибыл из Берлина после учебы, к маменьке своей, Варваре Петровне, в Спасское. Отдыхал, охотился по окрестным лесам. И тогда приглянулась ему одна девушка, что служила барыне. Не из крепостных, а вольнонаемная. Белошвейка. Евдокия звали ее. Тихая, пригожая. Молчаливая. В общем, молодой барин тоже ей понравился. Как и не понравиться — настоящий русский богатырь! С обхождением ласковым. Тут любая бы вскорости сдалась. В общем, сладилось у них. И она понесла ребеночка (стало быть, меня). А когда барыня узнали, поначалу только посмеивались: мол, в порядке вещей — барин обрюхатил служанку, — но когда наш Иван Сергеевич объявил матери, что не бросит Евдокию беременной и согласен на ней жениться, — разразился страшный скандал. Громы с молниями метали Варвара Петровна. «Прокляну! — кричали. — Ни копейки от меня больше не получишь. И наследства потом лишу!» А Иван Сергеевич — человек мягкий, уступчивый, несмотря на солидные габари-

ты, впечатлительный, чувственный, — испугался быть с матерью в раздоре и уехал из Спасского — то ли в Москву, то ли в Петербург. А быть может, и за границу. А Варвара Петровна рассчитала в момент опальную белошвейку и отправила обратно к ее родителям (жили те в Москве, на Пречистенке). Там я и родилась. И просватался потом к Евдокии человек по фамилии Калугин (ничего не знаю про него более), был согласен меня удочерить. Но когда об этом дошло до Спасского, то Варвара Петровна распорядилась дитя у родительницы забрать, в виде компенсации учредив ей пожизненную пенсию. Словом, больше я родной маменьки никогда не видела. Говорили, что живется ей замужем неплохо, новые детки народились. Бог с ней! Мне ее упрекать не за что. Ведь у каждого своя правда и своя жизнь. А меня, перевезя в Спасское, передали на воспитание в дом к дворецкому барыни — Федору Ивановичу Лобанову.

А Иван Сергеевич, как забрал меня к себе, так и поселил в своих комнатах в барском доме, нарядил в платье, как у барышень, и сказал, что с сего времени я не Пелагея (или Поля), а Полина, или же еще лучше — Полинетт, что в переводе с французского значит «Полина-младшая», то бишь «Полиночка». И сначала сам обучал меня по-французски и другим наукам, а потом ему это поднадоело, и тогда выписал из города бонну, француженку, мадемуазель Уайо. Ох, и вредная оказалась барышня! Придиралась сильно: и сижу не так, и стою не так, слушать не умею, часто отвлекаюсь и прочее. Больно я от этого плакала. Но перечить ей не смела, опасаясь, что она доложит обо всем Ивану Сергеевичу, тот расстроится, осерчает и погонит меня в три шеи. Изо всех сил терпела.

А Иван-то Сергеевич поначалу хотел отдать меня в обучение в женский монастырь (ведь тогда в России незаконных детей, а тем более девочек, и пристроить было некуда — в Смольный институт благородных девиц не взяли бы), и Варвара Петровна тоже одобряли, обещая выделить деньги. Но потом благодетель мой так сказал:

— Вот что, Полинетт, дорогая. Участь твоя решена. И она представляется мне чрезвычайно завидной. Лучше не придумаешь.

У меня внутри все похолодело, я стояла перед ним ни жива, ни мертва.

— Видишь ли, голубушка, — продолжал мой отец, — есть у меня во Франции дружественное семейство господ Виардо. Мсье Виардо — музыкальный критик, писатель, импресарио. А мадам Виардо — гениальная оперная певица, музыкант, композитор. И у них дочь растет твоего возраста — только на год старше. И когда они узнали из письма моего, что нашел я тебя, взял к себе и обдумываю, как устроить твою судьбу, предложили прислать тебя к ним в Париж. Вам двоим, девочкам, в обучении будет веселее. Вместе станете грызть гранит наук. А твое содержание во Франции обеспечу я полностью. Ну, согласна?

У меня как будто язык отсох. Предложение было и вправду превосходное, кто бы спорил, но по робости природной и малолетству я не знала, что отцу ответить. Жить с чужими людьми да в чужой стране очень меня пугало. Слезы полились по щекам.

— Господи Иисусе, — прошептала я. — Как же я смогу? По-французски, считай, не говорю и с трудом еще разумею... Никого из родных да близких... Я помру там одна-одинешенька! Лучше к нам в монастырь!

Но Иван Сергеевич, тоже сильно растрогавшись, обнял меня по-отечески и, к себе прижав, долго успокаивал. Говорил, глядя по плечу:

— Не печалься, душенька, не рисуй себе жизнь в Париже черными красками. Все твои страхи происходят от неизвестности. Потому как не знаешь Франции и господ Виардо. А у них там в Европе всё по-другому. На тебя никто косо не посмотрит, как в России, из-за происхождения твоего, там все граждане — *citoyens* — и для всех закон один. Стало быть, без труда запишем, что ты дочь моя — Полинетт Ивановна Тургенева. Год-другой поживешь в доме Виардо, выучишь язык и познаешь азы других предметов, а потом отдадим тебя в женский пансион, где образование получают барышни из приличных семейств. А затем выдадим замуж за хорошего человека. И ни в чем ты не будешь ущемлена, и не станешь попрекать мамень-

ку свою и меня за давнишнее наше легкомыслие, обернувшееся твоим появлением.

Я уж не вздыхала и не рыдала, внемля его речам. И, совсем перестав печалиться, согласилась полностью:

— Делайте как знаете, больше не стану плакать, подчинившись воле вашей беспрекословно.

Он повеселел:

— Вот и замечательно. Ты такая умница. Я тобой горжусь. — И впервые крепко поцеловал, правда, даже не в щеку, а в висок.

Сразу начались сборы. Сам Иван Сергеевич ехать со мной не мог по причине многочисленных дел в столицах и отправил в сопровождении мадемуазель Уайо. Сшили мне дорожное, выходное и домашнее платье, несколько смен нижнего белья, шляпки, туфельки и еще накупили разных мелочей, так что это все еле поместилось в средних размеров дорожный сундучок. В день отъезда прибыло на двор проводить меня целое семейство Лобановых, я со всеми обнялась и слегка всплакнула, с ними целуясь. Барыня Варвара Петровна к ручке приложиться не разрешили и вообще не вышли, оправдавшись неважным самочувствием, а Иван Сергеевич обнял нежно, поцеловал и сказал, что и сам вскорости прибудет в Париж, и тогда увидимся, а пока велел писать ему письма. Я, конечно же, обещала.

Погрузились с мадемуазель Уайо в коляску, кучер щелкнул кнутом, лошадь двинула со двора, все провожавшие мне махали вслед, и я тоже, до того как они не скрылись из виду. Тут я снова сильно всплакнула, а моя бонна попеняла мне, что сама я не понимаю своего счастья — вырваться из этой дикой страны и попасть в самый центр цивилизации, либеральных идей и культуры. Я притихла и долго еще сидела молча.

На коляске мы доехали до Орла, переночевали и затем на почтовой карете добрались до Смоленска. Там еще на другой — до Варшавы. А уже в Варшаве сели на поезд: напрямую до Берлина рельсы еще не проложили, и пришлось сделать небольшой крюк через Вену и Бреслау. Слава Богу, никаких происшествий на пути в Париж не случилось, обе были живы-здоровы, ну а мелкие ссоры из-за всяких житейских пустяков

брать в расчет нелепо. В целом добрались сносно. Я уже совсем успокоилась и взидала с интересом на такую новую для меня европейскую жизнь...

ЛУИЗА

1.

Появление Полинетт у нас в семействе помню хорошо — мне тогда исполнилось уже девять, я вела дневник, где записывала все со мной происходящее. Вот отрывок из него: *«22 ноября 1850 года. Привезли дочь Тургеля. Замарашка. Платья странные, неприятных расцветок. По-французски говорит еле-еле. Очень жалкое впечатление»*. Надо пояснить: в детстве я не могла выговорить фамилию «Тургенев» и произносила «Тургель». Это прозвище так и прижилось в доме Виардо. Мама иногда называла его «Жан», папа — только «мсье Тургенев», но среди детей (появившихся затем брата и сестер), чаще за глаза, а потом и в глаза говорили «Тургель». Он дружил с мамой и отцом с незапамятных времен, познакомившись в Петербурге во время маминых гастролей в 1843 году (мне тогда исполнилось только два, я совсем ничего не помню), а потом появился у нас в Париже года два спустя. И с тех пор был при нас почти неотлучно. С папой они охотились часто, перед маминым талантом он преклонялся и, когда уезжал в Россию, неизменно писал письма. А ко мне относился по-отечески. И на Рождество, именины непременно делал дорогие подарки.

Мама с папой поженились в 1840 году, их познакомила сама Жорж Санд, и для мамы это была выгодная партия: ведь отец занимал пост директора оперного Театра Итальян в Париже, а она там пела. Правда, ей тогда исполнилось только 19, а ему перевалило за 40, но они дополняли друг друга: он такой неспешный, рассудительный, очень правильный, а она — порывистая, нервная, ироничная, ведь недаром в ее жилах текла смесь испанской и цыганской крови. А Жорж Санд являлась большим авторитетом для них, маму очень любила, даже «срисовала» с нее портрет главной героини своего романа «Консуэло». Мама и согласилась на этот брак, несмотря на разницу

в возрасте и темпераментах. Папа стал маминым продюсером. Через год у них появилась я.

Жили мы в своем доме, а точнее — в небольшом замке Куртавенель (это в 50 км к юго-востоку от Парижа, близ местечка Розэ в округе Бри). Двухэтажный, с башенками, он был мил и уютен, комнат много, всем хватало места, в том числе заезжим гостям — от Гуно и Сен-Санса до Флобера с Тургелем. Церковь была в Розе, мама посещала ее регулярно (все испанцы — истовые католики) и брала меня с собой, папа — очень редко (он к религиям и церковникам относился скептически, но, по-моему, в Бога все-таки верил). Мама с папой часто покидали меня, уезжая на мамины гастроли, я же оставалась на попечении гувернантки и учителей. Из предметов больше остальных занимала меня музыка: к девяти годам я уже прилично играла на фортепьяно, пела и пыталась кое-что сочинять. Мне характер, слава Богу, достался от папы: рассудительность и спокойствие были моими главными чертами, мне скакать и беситься никогда не хотелось, мамина непредсказуемость, а порою вздорность — не в моей натуре. И поэтому нравились мне такие же люди — аккуратные, педантичные, сдержанные. А поскольку Полинетт показалась мне вначале именно такой, попыталась с ней подружиться.

Мама сказала: «Девочка моя, прояви снисходительность к маленькой бедняжке — ведь она ничего не знает в жизни, ничего не видела и нигде не бывала: в детстве ее отдали в самую простую крестьянскую семью, и она выполняла самые обычные крестьянские обязанности, из наук может лишь считать и писать, да и то по-русски. Будь ей если не сестрой, то хотя бы подругой». — «Хорошо, мамочка, — согласилась я, — только как мне с ней общаться, если по-французски она и двух слов не знает?» — «Помоги, подскажи, будь наставницей в языке. Ну, и я, если что, приду на помощь». (Мама говорила свободно по-испански, итальянски, немецки, английски и с трудом, но по-русски тоже.)

Вот мой первый диалог с Полинетт (мама переводила):

— Бонжур, мадемуазель Полинетт, как поживаете?

— Бонжур, мадемуазель Луиза. Хорошо, спасибо.

— Как прошло ваше путешествие из России?

— Хорошо, спасибо. Только очень долго. Очень утомилась.

— Вы родились в Петербурге?

— Нет, в Москве. Но меня увезли из Москвы совсем крошкой, ничего не помню. А потом ни разу не покидала Спасского.

— Что такое Спасское?

— Это родовое имение моей бабушки и отца. Спасское-Лутовиново. Девичья фамилия моей бабушки — Лутовинова.

— Много у вас во служении работников?

— Более трех тысяч.

— Пресвятая Дева! Целый городок!

— Нет, они не только в Спасском, но в других деревнях тоже. Крепостные.

— Что значит «крепостные»?

— В собственности у бабушки.

— В собственности? Как рабы?

— Я не понимаю, что значит «рабы»? Как это?

— Раб — это работник, полностью принадлежащий хозяину, как вещь: господин вправе им распоряжаться, даже продать.

— Да, тогда крепостные — это рабы.

— Бог ты мой! И они не ропщут, не протестуют?

— Всякое бывает. Но бунтовщиков жестоко наказывают.

— Бьют?

— Могут и побить, и сослать в Сибирь.

— Страшная страна!

— В чем-то страшная, в чем-то и прекрасная.

— В чем же?

— Замечательная природа, сказки, песни народные.

— Песни? Можете нам спеть?

— Ах, простите, как-то не решаюсь.

— Глупости какие — мы не будем строго судить. Спойте, спойте!

И она спела — очень высоко по тембру, чуть фальшивя в некоторых местах, но с большой душой:

Вдоль да по речке,
Вдоль да по Казанке
Серый селезень плывет...

Мама и я наградили ее вокал аплодисментами. Полинетт сидела от смущения вся пунцовая.

— Будете учиться со мною музыке?

— Я бы с удовольствием, мадемуазель Луиза, если это возможно.

— В нашей стране нет ничего невозможного.

2.

Вскоре из письма маме, присланного Тургелем из России, мы узнали, что тогда же, в ноябре, умерла его матушка, Варвара Петровна Тургенева-Лутовинова, соответственно, бабушка Полинетт. Внучке сообщили. Но она не выразила никаких чувств, даже не вздохнула. А в ответ на наше с мамой недоумение так сказала:

— Бабушка меня не любила, не воспитывала, не пестовала, отдала в семью своего дворецкого. Попрощаться со мною и то не вышла перед отъездом. Что же я могу к ней испытывать? — Помолчав, добавила: — Всех держала в черном теле. Даже сыновей. Уж не говоря про дворню. Чуть не по нее — сразу сечь. А еще был случай: как-то разбудил ее лай собачки, что была любимицей одного из наших дворовых мужиков, так Варвара Петровна приказала ему собачку утопить. Мы весьма печалились по этому поводу. — Но в конце концов Полинетт перекрестилась по-своему, справа налево и тремя пальцами: — Царствие небесное рабе Божьей. Хоть и не любила меня, а все-таки бабушка.

Нет худа без добра: из другого письма Тургеля мы узнали, что они с братом вступили в права наследства, и теперь он полноправный хозяин Спасского-Лутовинова и вообще солидного капитала. Как большой либерал и прогрессист собирался дать вольную всем своим крепостным. А, закончив хозяйственные дела на Родине, сразу же хотел приехать в Париж.

Полинетт его ждала очень. Только о нем и говорила. Обещала учиться прилежно и вести себя подобающе, чтобы он не мог ее ни в чем упрекнуть и гордился успехами дочери. Сильно горевала, если Тургель долго не писал ей писем.

Отношения мои с Полинетт были в ту пору сносные, хорошие. Ведь она слушалась советов, не роптала, проявляла усидчивость и уроки хватала на лету. Память имела превосходную.

Все переменялось к середине 1851 года после известия, что Тургель скоро не приедет: в Малом театре в Москве состоялись премьеры двух его пьес — «Холостяк» и «Провинциалка», он пребывал на вершине славы и хотел ею насладиться в полной мере. Это сообщение больно ранило Полинетт: девочка сразу поняла, что карьера литератора для отца важнее дочери. И почувствовала себя брошенной, никому не нужной. Поведение ее резко изменилось. Перестала слушаться взрослых, огрызалась, даже порой дерзила, а уроки учила кое-как. Часто видели ее за завтраком с заплаканными глазами.

Мама попыталась проявить снисходительность, не ругала и тем более не наказывала несчастную, но когда обнаружилось, что у мамы будет второй ребенок, перестала уделять Полинетт должного внимания, целиком погрузившись в свою беременность. А меня капризы и плохое настроение русской часто раздражали, я дерзила в ответ, и, бывало, мы подолгу не разговаривали друг с другом. Юные, упрямые — что сказать! У меня вообще начинался переходный возраст, я готова была лезть на стену от какой-то внутренней пустоты и неудовлетворенности. Все меня бесили — мама в заботах и думах не обо мне, а о будущем младенце, равнодушный отец и тем более — несносная Полинетт. Иногда мне хотелось ее прибить. Видимо, она меня — тоже.

Между тем приближался 1852 год, и в душе дочери Тургеля появилась новая надежда на скорую встречу с отцом. Стала заниматься прилежнее и вести себя тише, а в игре на фортепьяно делала явные успехи. И как гром среди ясного неба новое письмо из России. В нем Тургель сообщал о двух несчастьях. Дело в том, что в Москве скончался знаменитый русский писатель Николай Гоголь, близкий ему человек. И Тургель сочинил, а потом напечатал в центральной прессе очень проникновенный некролог, где назвал Гоголя великим, гением и т.д. А царю это не понравилось, так как Гоголь находился тогда в опале. Власти усмотрели в опусе Тургеля некую крамолу

и дух бунтарства. В общем, завели на отца Полинетт особое дело о неблагонадежности и держали под арестом какое-то время. Правда, по ходатайству друзей, царь смягчился и велел его отпустить, но прогнал из столиц, приказав сидеть безвылазно у себя в Спасском. Значит, и отъезд за границу оказался для него невозможен. Это стало новым ударом для бедной Полинетт.

3.

Мама разрешилась от бремени тоже девочкой. Окрестили сестру Клоди (или, по-испански, Клаудиа, а по-русски, со слов Полинетт, Клавдия). Роды были преждевременные, и малышка еле выжила. Но потом стала быстро набирать в весе (наняли кормилицу) и к шести месяцам превратилась в розовощекого бутуза. Внешне совсем ни на маму, ни на отца не похожа — проявились в ее наружности, видимо, черты каких-то давних предков с Востока — совершенная мавританка, смуглая, кареглазая, волосы волнистые, черные, как смоль. Я слегка ревновала ее к матери — раньше все внимание уделялось мне, а теперь его приходилось делить на двое. По-немногу смирилась. Полинетт же полностью замкнулась в себе и ходила по дому, как сомнамбула. Мама однажды ее спросила: «Почему ты не пишешь писем отцу? Он тоскует в ссылке, для него переписка с близкими людьми — может быть, единственная отрада. Жаловался мне». Полинетт вздохнула: «Мне казалось, я ему давно безразлична». — «Девочка, ну как ты можешь такое говорить! Ты в его мыслях постоянно — регулярно справляется о тебе, о твоей учебе и всегда без задержек высылает средства на твое содержание». — «Я не знала, мадам Виардо, обязательно теперь напишу... Но уже, наверное, лучше по-французски? Русскую грамоту и язык начинаю быстро забывать...» — «Полагаю, можно и по-французски. Главное — пиши».

И действительно написала, вскоре получив от отца ответ, от которого радовалась, как маленькая, танцевала по комнате и бесчисленное количество раз целовала конверт.

А весной 1853 года мама и отец собрались на гастроли в Петербург. За Клоди опасаться было нечего — продолжала сосать молоко кормилицы и уже переходила на разный прикорм. Нянька находилась при ней неотлучно. Да и мне уже стукнуло двенадцать, я могла в любую минуту прийти на помощь. Полинетт тоже всегда отзывалась на любые наши просьбы. Словом, родители согласились на поездку в Россию, а тем более деньги там платили приличные, больше, чем в Германии или Франции, в полтора раза.

Накануне их отъезда Полинетт подошла к матери и, потупив взор, прошептала: «Если встретитесь в России с отцом, передайте, пожалуйста, привет от меня. И скажите, что очень его люблю. Больше всех на свете», — и при этом разрыдалась отчаянно. Мама еле ее успокоила. Говорила: «Вряд ли его увижу — он ведь сослан в Спасское, и визиты в столицы ему запрещены. А у нас, боюсь, не достанет времени его навестить». Девочка вздыхала: «Понимаю, да... Только если вдруг?..» Сохраняла надежду, несмотря ни на что. Ведь надежда умирает последней.

Видимо, Всевышний услышал ее молитвы...

Вот опять отрывки из моего дневника того времени. Прочитирую их дословно и оставлю без всяких комментариев.

«3 июня 1853 года. Мама и папа возвратились домой. Оба посвежевшие и веселые. Мамины выступления в Петербурге проходили блестяще, русская публика на руках ее носила. Кроме гонораров были еще и подарки — драгоценные вещи от богатых поклонников. Да, Россия — щедрая страна, хоть и дикая!

Мама рассказала, что виделась с Тургелем. Ради встречи с ней он решил нарушить все свои запреты и, одевшись в платье простолюдина, взяв чужой паспорт, убежал из Спасского в Петербург. Было несколько встреч, как она сказала, «незабываемых»... Что имела в виду? Уж не то ли, о чем я боюсь и подумать?..»

«21 июня 1853 года. Мама получил письмо от Тургеля. Он благополучно вернулся в Спасское, и отсутствия его никто не заметил. Слава Богу! Если мама его любит, то и я, конечно, тоже. Как друга».

«1 сентября 1853 года. Мама вновь беременна. Видимо, мои опасения были небеспочвенны... Но отец сохраняет полное спокойствие. Или не знает ни о чем («жена Цезаря вне подозрений»), или ему все равно. На душе как-то неспокойно. Будучи в церкви, я клялась перед образом Богоматери, что, коль скоро выйду в будущем замуж, сохраню супругу абсолютную верность. Да, характер мой от отца...»

В феврале 1854 года мама разрешилась опять девочкой. Окрестили ее Марианной. Стоя над кроваткой, я смотрела на сморщенное личико младенца и пыталась различить в нем черты Тургеля. Не смогла. Видимо, сестренка была еще слишком маленькой, чтобы походить на кого-то из взрослых.

Кстати, о Тургеле и Полинетт. Мама привезла из России от него письмо, адресованное дочери. Та была на седьмом небе от счастья. И, насколько я знаю, интенсивная переписка у них возобновилась.

Не прошло и года, как его отпустили из ссылки, он вернулся в Москву и Петербург, где его встретили восторженные поклонники (после публикаций за это время повестей и рассказов его в русской прессе), вскоре он оформил заграничный паспорт и поехал (а точнее, поплыл — морем из Петербурга) в Париж.

ПОЛИНЕТТ

1.

Не хочу показаться неблагодарной: я признательна мадам Виардо и ее супругу за внимание ко мне. Не уверена, что на их месте я бы так же сочувственно и гостеприимно отнеслась к чужой дочери, присланной из чужой страны. Да, отец платил за меня, тем не менее... Занималась с учителями наравне с Луизой, и она очень помогала мне на первых порах — во французском особенно.

Не скажу, что Луиза — большая злючка, но ехидства хоть отбавляй, не пропустит случая, чтобы уколоть, обсмеять. Я шутить не очень умею, нахожусь с трудом. И чужие шпильки ста-

вят меня в тупик, не могу ответить достойно. Часто обижаюсь. А мои обиды, слезы вызывают в насмешниках новое желание надо мной поглумиться.

Безусловно, Луиза очень талантлива, музыкальность у нее в крови. Нет, до голоса мадам Виардо дочке далеко, но в четыре руки обе играют на рояле полноценными партнерами. А мсье Гуно много раз восхищался ее пьесками, сочиненными без чьей-либо помощи.

Совершенно другая Клоди. Никого не укалывает и не обижает, чистая душа. Тоже музыкальная, но с молодых ногтей чувствовала тягу к рисованию. И особенно удаются ей портреты — получаются очень похоже. Впрочем, пейзажи тоже неплохие. Я не раз ей позировала. У меня с Клоди хорошие отношения, лучше, чем с другими дочками Виардо.

Марианну в детстве плохо помню — ведь когда меня отдали в пансион, ей еще не исполнилось и двух лет. О дальнейшей нашей дружбе расскажу чуть позже.

А теперь хочу в нескольких словах обрисовать мою жизнь в Куртавенеле до приезда отца в 1856 году. Оказавшись в незнакомой среде, долго привыкала, долго обучалась. Языку, конечно, и приличным манерам прежде всего. Как щенка, не умеющего плавать, бросили меня в воду. Выплыла с трудом. Постепенно начала понимать обращенные ко мне речи, а потом и сама заговорила. Начала не только болтать, но и думать по-французски. Забывая свой родной окончательно.

Мне неплохо давались точные науки — я люблю в жизни четкость, стройность, дважды два должно быть всегда четыре, а квадрат гипотенузы равным сумме квадратов катетов. По гуманитарным предметам выходило хуже, а литература для меня — вообще темный лес: начала читать французские книжки только с девяти-десяти лет. Но любила музыку. Я училась музицировать с большим удовольствием.

Несмотря на хорошее ко мне отношение в доме Виардо (колкости Луизы не в счет), я всегда ощущала себя очень одинокой. Никого из близких рядом. Некому открыть душу, не с кем пошептаться о сокровенном. Вечно сама в себе, словно бы улитка в своем домике. Никому до меня дела нет. Да, сыта, да, одета-обута, получаю образование — что еще нужно рус-

ской Золушке? Я всегда сравнивала себя с этим персонажем Шарля Перро. Золушка, всегда Золушка — отданная бабушкой в семью Федора Лобанова, отданная отцом в семью Виардо... Где мой Принц? Где моя Фея? Улыбнется ли мне когда-нибудь счастье в жизни?

Переписывалась с отцом. Он отчасти исполнял роль прекрасной Феи (или «Фея»?), присылал деньги и подарки,ставлял на путь истинный. Но общение в письмах не заменит контактов живых. Сильно я по нему скучала. И, казалось бы, знала очень мало — в Спасском жили вместе меньше пяти месяцев, — а скучала потому, что скучать мне было больше не по кому. Мой единственный родич на свете. Только он помнил обо мне, да и то отчасти. Сирота при живых родителях...

Провела в Куртавенеле пять неполных лет, и, согласно давней договоренности моего отца с четой Виардо, в 1855 году отдана была в частный женский пансион мадам Ренар на улице Менильмонтан (это почти что в центре Парижа, чуть западнее, где спустя какое-то время был построен вокзал, а до Нотр-Дам-де-Пари около четверти часа пешком). Дом четырехэтажный, красивый, с полубалконами и высокими окнами. Каждой девушке положена отдельная комната. В ней — кровать, небольшой стол, умывальник и комод для белья. Да, еще зеркало, но довольно тусклое. Из окна вид на узкую улочку. Тишина, покой. Разве что разносчик что-то прокричит, рекламируя свой товар.

В группе моего возраста было девять девиц. Все из благополучных семей среднего достатка. Нам преподавали: чтение, письмо, рисование, пение, черчение и азы физики и химии. Каждый день занимались гимнастикой. Регулярно приходил кюре и устраивал душеспасительные беседы. Ванну принимали раз в неделю, по воскресеньям, в общей банной комнате, где нельзя было раздеться при всех до гола, — девушки одеты в хламиды типа ночных рубашек, и мочалкой с мылом надо было водить под одеждой. Вспоминала русскую баню с ностальгией!

Кухня сытная, но не очень вкусная. Мясо только по вторникам и субботам. В остальные дни — курица или рыба. Понедельник вообще «пустой», вегетарианский (вроде как пост после излишеств в воскресенье).

Строже всех учителей проявляла себя именно мадам Ренар — больше похожая на мужчину, чем на даму: некрасивое идолоподобное лицо, узкие, вечно сжатые губы, и очки. Нам казалось, что своих воспитанниц она ненавидит. Дескать, вот они, маленькие бестии, у которых вся жизнь и все удовольствия впереди — как им не завидовать? К мелочам придиралась, говоря обидные слова. Мне сказала однажды: «Понимайте, милочка, что живете вы не в России, не в хлеву, как привыкли, наравне со свиньями, а в культурной Франции, в Париже, центре мира». Я дерзнула ответить: «То-то культурные французы при Наполеоне, заявившись в Россию, оскверняли наши храмы, делая в них конюшни и отхожие места! А когда Александр Первый с русскими занял Париж, ни один из храмов не пострадал. Кто ж из нас свиньи?» От моих слов у мадам Ренар на лице выступили красные пятна, и она воскликнула: «Ах ты, маленькая русская тварь! Будешь меня учить культуре! Наши славные воины правильно делали, что справляли нужду в ваших храмах, потому как это не храмы вовсе, а нужники!» Мне хотелось съездить ей по уху — еле-еле сдержалась.

Но с девицами-француженками обходилась она не много лучше, в наказание могла оставить без ужина или заставляла мыть полы в банной комнате. Все ее терпеть не могли, кроме Ванессы Клико, дальней родственницы мадам Клико, что прославилась производством шампанских вин, — ведь родители Ванессы присылали мадам Ренар ящики с ее любимой шипучкой, и она никогда к девице не придиралась, а наоборот, ставила в пример. Надо ли говорить, что Ванесса вела себя соответственно, презирая подруг и капризничая во всем! Но ко мне неожиданно проявила внимание, улыбалась и угощала сладостями от своей мамочки. Я однажды не выдержала и спросила, чем обязана такому любезному отношению, и она призналась без обиняков: «Как же, как же, мама мне сказала, что ты дочь русской знаменитости, почитаемой также во Франции, и с тобой дружить — очень перспективно». Я смеялась в ответ, а сама подумала: вот ведь как бывает — слава моего отца на меня пролилась немного. Отыскала в библиотеке несколько французских журналов с переводами его «Охотничьих рассказов» и прочла с величайшим трепетом. И была потрясена

их правдивостью: ведь я знала в детстве многих из этих описываемых русских, и они вставали передо мной, как живые. Папа — гений. А мои претензии к нему — мелкие, дурацкие. Стыдно вспоминать!

С той минуты начала относиться к нему совсем по-иному.

2.

25 апреля 1856 года мне исполнилось 14. По традиции, в пансионе устроили небольшой праздник, девушки меня поздравляли и преподносили разные милые подарки, сделанные в основном своими руками — кто рисунок, кто вышитый платочек, кто открытку с написанными стихами, а мадам Ренар даже освободила меня от занятий во второй половине дня, так как ожидался визит мадам Виардо с дочерью Луизой. Но ни в час, ни в два, ни в три никто не приехал. Я сидела у себя в комнате и почти уже плакала. В те минуты ощущала страшное одиночество, горе, тоску. Золушка, Золушка. Никогда не станешь Принцессой!

Вдруг открылась дверь, показалось мерзкое лицо хозяйки пансиона, — а за ней — Боже, Боже! — исполин в пальто, с палкой и цилиндром в руке — мой отец! Не поверила глазам своим.

Он, по-видимому, не поверил тоже, так как не узнал в 14-летней девушке ту нескладную 8-летнюю дочь, увезенную из России. Произнес:

— Господи, помилуй! Как ты выросла!

Оба бросились друг к другу в объятия, оба плакали — это были слезы счастья. От его груди, от его сорочки пахло дорогим мылом и каким-то не знакомым мне одеколоном, и, прижавшись к отцу, ощущала я радость обретения дома, Родины и его, самого любимого человека на свете.

Мне разрешили отлучиться из пансиона на четыре часа, чтобы погулять с родителем в парке, посидеть в кофейне. Шли под ручку, как взрослые. Сердце мое стучало от радости.

Он спросил:

— Как тебе эта фурия — ваша мадам Ренар? Обижает, нет?

Я ответила:

— Фурия и есть. У нее ни мужа, ни детей, занимается только пансионом и чихвостит нас по первое число. — Разговор происходил на французском, но последний пассаж я произнесла по-русски и сама рассмеялась.

— Да, она мне не понравилась тоже. И вообще заведение ваше не самое лучшее. Вероятно, я присылал в Париж меньше денег, чем нужно, и мадам Виардо не могла подобрать для тебя пансион поприличней. Ничего, это мы исправим.

Я спросила робко:

— А нельзя ли мне поселиться с вами под одной крышей и ходить на занятия из дома?

Он смутился.

— Нет, пожалуй, нет. На сегодня вряд ли. Но в ближайшем будущем — да, года через два, как достигнешь брачного возраста и когда начнем искать подходящего жениха. А пока придется потужить в пансионе. Обещаю перевести тебя в самый безупречный.

Пили кофе с пирожными и непринужденно болтали. Он рассказывал о своих литературных успехах, о романе «Рудин», принятый в России очень тепло, хоть и не без критики, и феноменальном триумфе рассказа «Муму». А ведь он его написал, что называется, от нечего делать, сидючи в кутузке за некролог Гоголя. Собирался в Лондон по приглашению Герцена.

— Хочешь, возьму тебя с собой?

Я воскликнула:

— Господи Иисусе! Вы еще спрашиваете! Разумеется.

— Значит, договорились. И пожалуйста, говори мне «ты».

Кровь ударила мне в лицо.

— Ах, папá, я не верю своему счастью. Ну, конечно, с радостью. Мой отец — великий писатель — словно Пушкин и Гоголь — и я с ним на «ты»!

Он расхохотался.

— Ну, до Пушкина и Гоголя мне, пожалуй, далековато, но, с другой стороны, и не лыком шит! — Окончание фразы он сказал улыбкой, по-русски.

— А вы были... а ты был ли знаком с обоими?

— Пушкина два раза видел в Москве в гостях, но знакомство свести не успел — мне, когда он погиб, было всего де-

вятнадцать... С Николай же Васильевичем я почти что приятельствовал, много говорил на религиозные и литературные темы. Как он читал своего «Ревизора» вслух! Сам, один играя все роли!.. — Замолчал и задумался о чем-то своем. Но потом очнулся и взглянул на меня веселее. — Ладно, жизнь идет своим чередом, будем помнить тех, кто ушел в лучший из миров, и стараться жить достойно в этом, довольно мерзком. — И опять рассмеялся.

Вскоре он вернул меня в пансион. Впрочем, не прошло и недели, как забрал насовсем, чтоб отдать в другой.

3.

Новое заведение было собственностью мадемуазель Мерижо и Барлас, но они появлялись редко, только по торжественным дням, а работу всю вела управляющая — мадам Аран. Внешне — противоположность мадам Ренар полная: небольшого роста, пухленькая, миленькая, с синими веселыми глазками. Говорила вкрадчиво. Но характер имела не менее твердый и держала всех в тех же ежовых рукавицах, может, даже более колких. Но, конечно, не без любимиц из числа богатых семей. Тем разрешалось почти всё, а, напротив, барышни победнее вечно ходили у нее в изгоях. В нашей группе таковой была Сара Уотсон, англичанка, чей отец погиб в морском путешествии, а ее мать, француженка, белошвейка, вынуждена была воспитывать в одиночку восемь детей. И, конечно, не могла обеспечить Сару дорогими вещами — та всегда ходила в латаных одеждах, штопанных чулках. Я прониклась к ней искренним сочувствием — ведь сама вышла из низов, и моя мать тоже была белошвейка у Варвары Петровны Тургеневой-Лутовиновой. И однажды, постучавшись в комнату Сары и застав ее плачущей от какой-то очередной взбучки от управляющей, предложила дружбу. Та вначале даже струхнула:

— Вы серьезно, мадемуазель Тургенев? Не хотите надомной посмеяться? Говорят, что русские необычайно коварны.

— Ах, не верьте слухам, дорогая мадемуазель Уотсон. Русские всякие бывают, но коварных у нас немного, большей частью мы очень доброжелательны.

— Тем не менее я боюсь заводить с вами дружбу. В ваших интересах. Остальные барышни не поймут и осудят, станут издеваться над нами обеими.

— Пустяки, не думайте. Нам вдвоем будет отбиваться от них забавней. Ну, смелее; милая Сара. Вы мне симпатичны. Бог нам в помощь.

Англичанка расчувствовалась и, взглянув на меня все еще испуганно, робко попросила:

— А позвольте вас тогда обнять, дорогая мадемуазель Полинетт?

— Ну, конечно, Сара. И давай перейдем на «ты».

— О, я с радостью!

И мы крепко обнялись, словно две сестры.

Наше сближение, разумеется, не осталось незамеченным. Многие смотрели с нескрываемым удивлением, некоторые с издевкой — дескать, что еще ожидать от несносных инозенок, англичанки и русской, — два сапога пара, никакого вкуса и благородства. А мадам Аран даже пригласила меня к себе в кабинет и, погладив по руке, заглянув в глаза, вкрадчиво сказала:

— Мадемуазель Тургенев, видит Бог, я к вам отношусь очень хорошо. Ваш отец — знаменитость, сам Флобер хвалил его сочинения. И поэтому надеюсь удержать вас от необдуманных поступков, совершаемых по неопытности и молодости. Сердце ваше — великодушное, доброе, пожалело бедняжку Уотсон, и желание поддержать ее очень похвально, с точки зрения христианского милосердия. Но взгляните на эту ситуацию и с другой стороны. Многие барышни были оскорблены вашим поведением: получается, что они, до сих пор относясь к Саре с безразличием, иногда и с презрением, проявляли черствость, зачастую жестокость, и лишь вы, появившись в нашем пансионе, оказались самой отзывчивой, крайне задев остальных в лучших чувствах. Предпочли нищенку состоятельным девушкам. Все это создает нездоровую атмосферу в заведении. Мне как управляющей потакать такому немыслимо.

— Что вы предлагаете? — нерешительно осведомилась я.

— Перестаньте патронировать мадемуазель Уотсон. Или, во всяком случае, это не делайте столь демонстративно. На ка-

никулах, на прогулках в выходные часы — то есть вне стен пансиона — можете дружить и встречаться сколько вам угодно. В наших же стенах — умоляю, настаиваю — минимум общения. Подружитесь с кем-нибудь более достойным. Например, с мадемуазель Марешаль. И семья приличная, и она вам симпатизирует.

— Хорошо, я подумаю, мадам Аран. И благодарю вас за добрые советы. Вы относитесь ко мне с материнской заботой, очень трогательно.

Управляющая приняла мою лицемерную лесть за чистую монету и, довольная, улыбнулась:

— Вот и замечательно, девочка моя. Слушайте меня, и у нас не возникнет в будущем никаких недоразумений.

Но на самом деле я не собиралась следовать ее наставлениям; тут же по секрету рассказала Саре о нашем разговоре и, когда та чуть не разрыдалась от горя, что настанет нашей дружбе конец, успокоила, приобняв:

— Господи, не бойся, дорогая: между нами все останется, как было. Просто сделаем вид, что уже не приятельницы. Пусть считают, что поссорили нас. Станем не болтать, а писать друг другу тайные письма. Так еще интереснее!

Сара, промокнув слезы, заявила с улыбкой:

— Нет, я все-таки говорила верно, что вы, русские, очень коварные люди!

И мы обе рассмеялись этой шутке.

Наша дружба продолжалась в иной ипостаси.

А вот подружиться с мадемуазель Марешаль у меня не вышло: та хотела, чтобы все ее окружение беспрестанно твердило, как она хороша, обаятельна и богата, а меня положение части свиты королевы не устраивало; повращавшись в ее кругу, я ушла в тень. А тем более новые чувства вспыхнули у меня в душе: я влюбилась, впервые в жизни.

4.

Из числа преподавателей пансиона Мерижо и Барлас трое были мужчины: педагоги по истории, по музыке и Закону Божьему. Кюре отместить можно сразу: старый

гриб, у которого нос и нижняя губа были так велики, загибаясь друг к другу, что почти соприкасались; как он ел, не рискуя попасть вилкой себе в ноздрю, непонятно; а тем более я не католичка, а православная, и его уроки слушала вполуха. Педагог по музыке был не много лучше — толстый, как свинья, весь лоснящийся — то ли от жира, то ли от пота, то ли от того и другого вместе; пальцы его напоминали сардельки, и весьма удивительно, как он ими бегло и всегда правильно ударял по клавишам. Я, благодаря занятиям у мадам Виардо в Куртавенеле, хорошо знала ноты и играла сносно, так что трудностей тут не возникало.

А предметом моей тайной страсти сделался мсье Вилье — 23-летний молодой человек, выпускник Сорбонны, написавший диссертацию на звание магистра по войне Наполеона в России. И поэтому ко мне как к русской тоже относился особо.

Был он строен и высок (ненамного ниже моего отца, но в плечах уже), с тонкими музыкальными пальцами и загадочным взглядом романтика. Нос небольшой и слегка вздернутый. Уши чуточку оттопыренные, но прическа, пышные волосы это скрадывали. Волосы действительно были хороши — темные, курчавые, в видимом беспорядке. Черные брови и длинные ресницы. Кожа смуглая — говорили, что его прадед — негр, как у Александра Дюма-отца. Губы сочные и чувственные. Зубы превосходные, ровные, белые, отчего улыбка озаряла его лицо. Да, мсье Вилье был красавчик! Половина пансиона сохла по нему, прежде всего мадемуазель Марешаль, а зато Сара говорила мне иронично: «Как девицы могут в него влюбиться? Он такой слащавый. В нем есть что-то женственное, сумасбродное, я таких мужчин не терплю». Я же понимала: да, она во многом права, но, увы, сердцу не прикажешь...

Началось с того, что однажды мы поспорили с ним по вопросу войны 1812 года. Он утверждал, что Наполеон вовсе не хотел покорить Россию — целью его кампании была Польша: оторвать ее от Российской империи, сделав своей союзницей на востоке; якобы Бонапарт собирался дать генеральное сражение русским где-нибудь под Вильно, победить и потом подписать с Александром I мир на своих условиях, только и всего; а коварные русские

заманили французов в глубь страны, сделали вид, что сдаются, оставляя Смоленск и Москву, а затем морозы и партизаны подкосили великую армию великого императора. Я же сомневалась в этой версии. Ведь мой дед, о котором мне рассказывал мой отец, бился в Бородинском сражении, был ранен в руку и затем награжден военным орденом, — словом, Сергей Николаевич Тургенев много раз делился с сыновьями, Николаем и Иваном, воспоминаниями об Отечественной войне, а потом и я составила о ней свое мнение. В общем, возражала французскому учителю, что не холода с партизанами погубили Наполеона, а его самоуверенность и авантюризм и, конечно, военный гений Кутузова — не коварство русских, а военная хитрость. Педагог сказал, что с такими взглядами мне рассчитывать на хорошую оценку по истории нечего; я ответила, что и не приму милостей от поклонника кровавого узурпатора. Уж не знаю, что на меня нашло. Я сама себя не узнавала в тот момент. Видимо, кровь Сергея Николаевича, бившегося с Наполеоном насмерть, бурно разыгралась в моих жилах. Я была вне себя! Этот жалкий французик не имел права учить и переучивать на свой лад наследницу героя Бородина. Я хотела просить отца взять меня из нового пансиона тоже... Но, как говорится, от любви до ненависти один шаг, а порой и наоборот — от ненависти до любви...

Нет, конечно, все случилось не сразу: летом прошли экзамены, на которых мы с мсье Вилье снова поспорили, но уже по поводу французской революции — он считал, что взятие Бастилии и свержение монарха было благом для страны, а террор якобинцев совершенно оправдан логикой момента; я же говорила, что любой террор есть порождение безбожия, ибо жизнь, чья бы то ни было, друга или врага, изначально божественна, то есть священна. В результате он сказал с усмешкой, что с такой философией надо мне идти в монастырь и по правде должен оценить мои знания по истории как *mal* — «неуд», но он кавалер и джентльмен и поэтому не в силах поступить с юной нимфой скверно, — значит, будет *assez bien* — то есть «уд». Пискнув *merci*, я взглянула на него с благодарностью и в мгновение ока выпорхнула за двери. Что-то екнуло в моей груди от слов «юная нимфа». Для такой дурочки, какой я была в те годы, этого оказалось достаточно.

На каникулы папа взял меня в Куртавенель, и житье в семье Виардо вместе с ним оказалось совершенно другое, чем без него. При отце никто меня не шпынял и не подпускал колкостей в разговоре, даже Луиза если и не высказывала дружеских чувств, то и не дерзила. Ездили на прогулки, навещали папиных знакомых в Париже, где он с гордостью представлял меня как Полинетт Тургеневу. Мне понравился Проспер Мери-ме — благообразный седой мужчина лет 50, с карими глазами доброй собаки. Он неплохо говорил по-русски, был поклонником Пушкина и Гоголя. А его близкая подруга мадам Делессер отнеслась ко мне, словно мать — целовала, теребила, говорила, что найдет для меня достойного жениха. Папа хохотал и не возражал в принципе, но всегда уточнял, что отдаст дочку замуж лет в 17—18, не раньше.

В доме у мадам Виардо то и дело случались музыкальные, театральные и литературные вечера. Собирался цвет парижской культуры. Я познакомилась с Флобером, Золя, Гуно, Сен-Сансом. Ставили спектакли в домашнем театре, чаще оперетки. Все играли в них маленькие роли, в том числе и я, а мадам Виардо и отец, безусловно, главные.

Ближе к сентябрю семейство Виардо уехало на гастроли и лечение в Баден-Баден, а отец отправился к Герцену в Лондон без меня, так как я болела ангиной, и вернулся довольно быстро, шесть дней спустя. Вскоре я поправилась, и пришла пора возвращаться в пансион. Папа сдал меня с рук на руки мадам Аран. Сам же устремился тоже в Баден-Баден, чтобы вновь припасть к ногам своей обожаемой Полины... Ревновала ли я к ней? Нет, пожалуй, что нет. Я воспринимала это как данность: папа любит ее всю жизнь и не может изменить этому чувству; не мое дело — судить родителя. Просто иногда было больно за него: вроде приживалки в чужой семье, вроде нищего, выпрашивающего крохи с барского стола... Мог бы запросто устроить жизнь свою с другой женщиной, но, как видно, не хотел. Или же не мог?.. Иногда обижалась, что его внимание больше приковано к ней, чем ко мне... Но всегда мирилась. Виардо — его крест. Каждый несет свой крест, и роптать — не по-христиански.

Я подозревала, что у них не просто платонические отношения. Ведь отец мой хотя и идеалист, не от мира сего, но не сумасшедший. Намекали, будто Марианна — сводная моя сестра по отцу. И ходили слухи, что и в Баден-Бадене что-то у них там было. А тем более, что мадам Виардо, хорошо известно, не всегда соблюдала верность своему супругу: много лет любила художника Анри Шеффера, а тогда же, в Баден-Бадене, закрутила роман с принцем Баденским...

В 1857 году родила сына — Поля Виардо. Кто же был его отцом? Сам Луи Виардо (он уже приближался к 60 годам), Шеффер, принц Баденский или же Тургенев? Я боюсь, что она сама этого не знала...

Ах, не стану злословить на сей счет. Папа любит ее, значит, я должна относиться к ней по крайней мере нейтрально. Пусть их разбираются сами — кто, с кем, когда... У меня иные заботы на уме. Я с замиранием сердца думала о новых встречах с учителем истории мсье Вилье...

ЛУИЗА

Брат родился в тот год, как мне исполнилось 16, и я хорошо помню первые его дни в семье Виардо. Почему-то он беспрерывно орал, днем и ночью. Ни Клоди, ни тем более Марианна так себя не вели в младенчестве: девочки были тихие и неприхотливые. Даже болели редко. Поль — наоборот, вмиг переболел всеми известными детскими недугами — от ветрянки до свинки. И капризничал без конца. Может быть, и вправду тут не обошлось без принца Баденского?

Мама перенесла роды тяжело, долго не могла прийти в себя и торжественно обещала больше не иметь детей. Папа, как всегда, сохранял философское спокойствие и ходил с Тургелем на охоту. Оба маму любили беззаветно. И прощали ей всё.

Я активно училась музыке, и семейные дела мало меня трогали. Мне хотелось петь, играть, выступать на ведущих сценах Европы. Мама поощряла мои занятия, безусловно, радовалась успехам, но была всецело занята собственной карьерой и маленькими детьми, мы порою не виделись целыми неделями.

Полинетт этого периода вспоминаю с трудом. Приезжала к нам на каникулы, и Тургель носился с ней, как с писаной торбой. Превращалась в статную девушку с хорошо развитыми формами, но лицо было грубовато. Помню шутку: навещал Тургеля в Куртавенеле друг его из России, тамошний известный поэт Афанасий Фет; поразившись сходству дочери и отца, он сказал, что она — совершенный Иван Сергеевич в юбке. Полагаю, это не лучший комплимент для 15-летней девы...

Но училась она, по отзывам, хорошо, и особенно в точных науках, так как не имела творческого воображения никакого. Но играла на фортепьяно живо. А вот пела плохо, не имея певческого голоса напрочь.

Я с ней не дружила, но и не ссорилась, как бывало в детстве. Не приятельницы, а просто знакомые.

Так бы все и шло своим чередом, если бы Тургель не повздорил с матерью. Не могу сказать, что у них там конкретно произошло (как говорят русские — «милые бранятся, только тешатся»), при самом разрыве я не присутствовала и застала уже последствия: бешенство Тургеля и его скоропалительный отъезд. Мать рыдала у себя в комнате, а отец невозмутимо курил на балкончике своего кабинета; Полинетт находилась в пансионе, а другие дети были слишком малы (6 лет Клоди и 4 Марианне; Полю, по-моему, не исполнилось и года). Лишь потом, по отдельным фразам, я смогла понять, что причиной разрыва стал роман матери с дирижером Юлиусом Рицем. Впрочем, не уверена, что роман действительно был — об известных людях часто говорят чепуху. Но, с другой стороны, ведь терпел же Тургель остальные ее романы — почему вдруг взорвался именно тогда? И какое, собственно, его дело? Не законный муж, а любовник, я думаю, только из милости, из сострадания, вовсе не от огромной маминой страсти, — он же это знал и видел, тем не менее продолжал следовать за ней год за годом... Некое проявление духовного мазохизма... Или же не только духовного?

Я уже потом, в зрелом возрасте, после смерти Тургеля, прочитала много книжек о нем. В частности, неопровержимые факты: он хотел, хотел найти семейное счастье, много раз у него в России доходило чуть ли не до венчания — и с сестрой

Льва Толстого (бросившей мужа ради Тургеля, а потом от горя ушедшей в монастырь), и с сестрой Бакунина, и с кузиной собственной — Лизой Тургеневой, и с другой дальней родственницей — Ольгой Тургеневой, и с актрисой Марией Савиной... Всех и не припомню! Нет, не смог ни с кем. А зато в письмах к матери, будучи в России, умолял прислать ему частичку ее — ноготь или волос, — и она отправляла со смехом... Сумасшествие? А любовь — разве не сумасшествие вообще?

Но вернемся в 1858 год: бегство Тургеля из Куртавенеля в Рим. Там, подобно Гоголю, в полном одиночестве, вне России и Франции, он создал свой главный шедевр — «Дворянское гнездо». Да, разрыв с любимой женщиной тоже бывает полезен для творческого человека! Творчество как сублимация сексуальной энергии. Чем больше реализованной любви в жизни, тем меньше творчества — и наоборот. Впрочем, это не закон, а всего лишь частные проявления любви у некоторых художников...

Знаю, что летом того же года Полинетт со своей подругой Сарой и матерью последней, миссис Уотсон, посетили Тургеля в Риме, а затем, тоже на его деньги, сплавали в Лондон к родичам Сары по отцу. По протекции того же Тургеля жили они в доме у князя Трубецкого...

С Виардо, насколько мне известно, никаких контактов у него не было, даже писем. После Рима он хотел вернуться в Россию, в Спасское, только планы неожиданно поменялись — после примирения с моей матерью...

ПОЛИНЕТТ

1.

Чувства мои к Жерару — то есть к мсье Вилье — путь проделали от раздоров к любви и опять к раздорам в несколько этапов. Очень условно разобью их по годам:

1856 г. — первое знакомство, стычки на занятиях и экзамене, милостивая оценка *assez bien*.

1857 г. — равнодушие друг к другу, «тихое перемирие», так как был занят историей с мадемуазель Марешаль: пылкая

любовь с ее стороны и его ответные комплименты, но не более того; а поскольку барышня потеряла голову и обрушила на историка целую лавину пламенных писем, он, не зная что делать, рассказал обо всем мадам Аран; состоялось нервное объяснение, крики, слезы, после чего родители Марешаль предпочли забрать дочку из пансиона и упечь в клинику для нервных больных; а когда ей стало немного лучше, увезли отдыхать на один из островов в Адриатике; там она сошлась с каким-то банкиром из Голландии, вышла за него замуж и, по слухам, обрела успокоение.

1858 г. — мсье Вилье у нас не преподавал, так как вынужден был уехать в Нормандию и ухаживать за больным отцом. Целый год мы не виделись, ничего я о нем не знала.

1859 г. — встретила случайно на улице (в выходной мы гуляли с Сарой в Люксембургском саду). Смотрим — он идет, опираясь на палку. Мы узнали друг друга, поздоровались весело. Что с ним случилось? Потерял отца и потом, выпив лишнее, поскользнувшись, сломал ногу. Но теперь уже ничего, ходит без костылей. В пансион возвращаться не хочет, так как нашел работу в Государственном архиве, где намерен собирать материалы для своей докторской диссертации. Мы ему пожелали удачи.

После расставания Сара сказала:

— Он как будто переменился в лучшую сторону — не такой Шантеклер, как раньше. Взгляд печальный.

Я ответила:

— Да, пожалуй. Из веселого петушка превратился в зрелого кура. — И мы обе беспечно рассмеялись.

Так бы и забылась эта встреча, если бы Жерар не возник опять на моем горизонте — в качестве брата новой нашей воспитанницы. Увезя сестру из Нормандии, он отдал ее в заведение мадам Аран, в группу, где учились девочки 11—14 лет. Мы, 15—16-летние, брали над ними шефство. И мсье Вилье пожелал, чтобы я и Сара помогали его Катрин. Он посещал ее каждую неделю, по воскресеньям, так мы стали видаться часто. И в груди затрепетали робкие, а потом и вполне определенные чувства. Я ждала наших новых встреч. Даже Сара заметила это и спросила:

— Ты готовишься к приходу мсье Вилье, словно на свидание. Не влюбилась ли?

Я не стала лукавить и проговорила серьезно:

— Может быть, и так. Он мне очень нравится.

— Ну, а если сделает тебе предложение, что ответишь?

— Ой, не знаю, подруга, мысли мои не простираются столь далеко.

— Нет, а если все-таки вдруг предложит?

— Я бы сказала, что подумаю. Надо посоветоваться с отцом.

— А отец согласился бы?

— Не уверена. Он хотел бы видеть моим мужем человека с положением, крепко стоящего на ногах. Даже говорил, что мадам Делессер присмотрела для меня какого-то Гастона — он работает управляющим на фабрике ее зятя. Но пока нас не познакомили. Я, признаться, и не жажду, у меня пока Жерар — свет в окошке.

Сара покачала головой озабоченно:

— Ситуация! Я тебе сочувствую.

Не прошло и трех дней, как бежит ко мне вся в слезах Катрин и лепечет:

— Мадемуазель Полинетт, мне тут принесли записку от брата — он в больнице, очень плох и зовет меня попрощаться.

— Господи Иисусе! Что произошло?

— Рана на ноге нагноилась. У него в Нормандии был открытый перелом, кость потом срослась, а вот мягкие ткани плохо заживали и все время мокли.

Мы побежали к мадам Аран — отпроситься для посещения больницы; та вначале не хотела пускать, а сопроводить было некому, наконец поручила с нами поехать старому привратнику мсье Феррану — правда, он неважно слышал и плохо видел, так что неизвестно, кто кого контролировал. Ну, не суть важно. Наняли извозчика и доехали до лечебницы. Здание было ветхое, низ кирпичный, верх деревянный, и палаты общие: по пятнадцать-двадцать человек в каждой. Оказавшись внутри, мы спросили, где мсье Вилье, как его найти. После некоторых поисков обнаружили, что его повезли на операцию — видимо, будут отнимать ногу. Бедная Катрин при этих словах потеряла

сознание, и пришлось ей давать нюхать ватку с нашатырем, чтобы привести в чувство. Мы сидели с ней в коридоре на лавке, в ожидании завершения операции. Девочку трясло, у меня на душе тоже было скверно. Наконец появился врач и, узнав, что мы — близкие Жерара, сообщил две новости — и хорошую, и плохую. Первое — операция прошла, как по нотам, вовремя спохватились, удалось избежать гангрены, и, скорее всего, молодой организм должен справиться; но, увы, ногу сохранить не смогли; правда, культя получилась большая, и надеть на нее протез не составит большого труда. Доктор улыбнулся: «Он еще танцевать с вами будет, вот увидите!» Мы благодарили его как могли.

Нам разрешили заглянуть к Вилье ненадолго. Он был бледен, худ, с черными кругами возле глаз, очень слаб и тих; но старался отвечать непринужденно. Говорил: «Худшее уже позади. Главное, голова цела. А с одной ногой жить тоже можно», — и держал нас за руки.

Мы пообещали навестить его послезавтра, в воскресенье.

2.

Мсье Вилье шел на поправку семимильными шагами (если можно так сказать про одноногого), выглядел неплохо, с удовольствием пил бульон и ел курицу. Мы ему покупали сладости, до которых он был большой охотник. Часто с нами ездила в больницу и Сара. Приближалось время выписки, и вставала новая проблема: кто ухаживать станет за больным дома? Он один не справится — ну, по крайней мере, на первых порах. Я решила поговорить с отцом.

Рассказала ему историю бывшего учителя и просила совета. Папа заглянул мне в глаза:

— Ты в него влюблена, дочка?

Я, конечно, смутилась.

— Нет, не влюблена, но скажу откровенно: он мне симпатичен.

— И хотела бы выйти за него замуж?

— Ах, папá, я не думала об этом.

— Не лукавь, пожалуй, у тебя же на лице все написано. Ты сама подумай: что это за муж — инвалид, без средств к существованию?.. Или ты рассчитываешь на мои деньги?

— Нет, нет, как ты мог подумать!

— Долг мой как отца и наставника — уберечь тебя от поспешных легкомысленных действий. Вспомни мой печальный опыт: матушка твоя мне однажды понравилась, и мы бросились друг к другу в объятия, совершенно не думая о последствиях...

У меня комок подступил к горлу:

— Значит, ты не рад моему появлению на свет? И считаешь своей ошибкой?

Он потупился:

— Видишь ли, дорогая... Появление детей — страшная ответственность... Им, по-настоящему, надо посвятить всю оставшуюся жизнь. И моя ошибка, и моя трагедия в том, что я сделать этого не мог. Ты обделена — и моей, и материнской любовью, ты растешь, словно одинокое деревце в поле... Вот что горько!

Я взяла его за руку. У отца ладонь была мягкая и нежная, прямо женская.

— Видно, Бог так решил, папá. Сетовать на судьбу — все равно что упрекать Бога. Испытания нам даются, чтобы мы стали чище.

Он поцеловал меня в щеку и смахнул слезу:

— Ты права, права. Я безумно рад, что имею такую дочь. Моего единственно близкого мне человека. И я сделаю для тебя все, что хочешь. Оплачу сиделку этому бедняге, а потом стоимость протеза. Только обещай, что меж вами будет исключительно дружба.

— Обещаю, папá. — И поцеловала отца в свою очередь.

Все бы ничего, но по денежным причинам Сара не смогла продолжить образование в нашем пансионе. А просить моего родителя заплатить и за нее тоже, у меня не хватило духу. Так лишилась я давнишней своей наперсницы. Мы, конечно, переписывались часто, иногда в выходные виделись, но со всей неизбежностью отдалялись друг от друга. И однажды в воскресенье я, заехав к мсье Вилье, обнаружила у него в постели...

Сару! Моему потрясению не было границ. А они бормотали, что любовь у них вспыхнула давно и теперь они собираются пожениться... Я сказала только: «Прощайте», — и в слезах убежала вон.

3.

Наступило трудное для меня время: без конца думала о случившемся и училась, молилась, выполняла свои обязанности чисто механически. Ни к чему не лежала душа. И к тому же отец уехал в Россию — в «Русском вестнике» появился его роман «Накануне», он был поглощен своей литературной карьерой. Я же чувствовала себя всеми брошенной. Даже возникали мысли о самоубийстве.

Неожиданно меня навестила сама мадам Виардо. Выглядела прекрасно — стройная, степенная, в шелковом приталенном платье и широкополой шляпе, обаятельная 40-летняя дама. (Впрочем, сорока еще не было — только 39.) Улыбалась приязненно. Сообщила: ей писал мой отец, беспокоясь, что уже месяц не получал от меня весточек. Я покаялась, объяснив молчание свое слишком большой загруженностью учебой и отсутствием каких-либо новостей, о которых было бы приятно сообщить папе. Извинилась, что доставила и ему, и ей столько тревог. Обещала сегодня же написать в Россию.

— Хорошо, хорошо, малышка, — прервала потоки моих извинений мадам Виардо. — Хочешь пожить в Куртавенеле на Рождество? Соберется премилая компания, будем веселиться и танцевать.

У меня от ее приглашения сердце сжалось — хоть какая-то отдушина в жизни, новые лица, новые эмоции! — но, с другой стороны, этот Куртавенель, где я провела не самые лучшие дни свои, чувствуя себя лишней в чужой семье, представлялся мне некоей моральной тюрьмой, крепостью, Бастилией.

— Ах, мадам, — произнесла я растерянно, — очень вам благодарна за такое внимание... Но боюсь, что не все ваши домочадцы будут рады моему появлению...

— В самом деле? — вскинула брови примадонна. — Ты кого имеешь в виду? Мы с супругом очень к тебе расположены

и всегда старались, чтобы ты ни в чем не нуждалась. А Клоди, Марианна и Поль слишком еще малы, чтобы думать о тебе плохо или хорошо. Разве что Луиза? Да, у вас возникали какие-то сложности во взаимоотношениях, я припоминаю, но теперь вы обе взрослые, и пора забыть детские обиды. Это все в прошлом. Ей недавно исполнилось восемнадцать, и она уже начала неплохо концертировать, пресса отзывалась тепло. Мы с Луи чрезвычайно довольны ею. И к тому же у нее появился постоянный поклонник — очень состоятельный молодой человек, дипломат, большее время проживающий за границей, навещающий Францию только по праздникам. Так что Луиза приедет в Куртавенель ненадолго, будет проводить время с ним. Можешь не тревожиться на сей счет.

У меня из глаз покатились слезы.

— Вы такая добрая, мадам Виардо... Стали мне второй матерью... Можно вас поцеловать?

Рассмеявшись, та ответила:

— Боже мой, ну и сантименты! Вся в отца! Сделай милость, поцелуй, если тебе так хочется. — И подставила атласную щечку, пахнущую лучшим, дорогим кремом для лица, но сама в ответ не поцеловала, только вытянула губы, как бы имитируя поцелуй. — Ну, так что решаем? Встретим Рождество вместе?

— Я была бы счастлива.

— Вот и договорились.

4.

О, это чудесное Рождество 1859 года! У меня в табели только положительные оценки, даже ни одной *assez bien*, только «хорошо» и «отлично», и мадам Аран подарила мне по случаю праздника небольшой наборчик шоколадных конфет, самых моих любимых. Виардо прислали за мной коляску, и мы едем по зимнему Парижу, по его мокрым от тающего снега мостовым, в свете праздничной иллюминации, мимо разодетых гуляк и витрин магазинов, где идет предпраздничная торговля. Музыка играет, весело! Сердце замирает от грядущего счастья: 1860 год должен принести мне много, много нового! Написав отцу, получила от него краткое письмо-

цо, где он поздравлял меня с Рождеством Христовым и вселял надежду на скорую встречу — обещал приехать во Францию по весне; и еще сказал, что намерен забрать меня из пансиона, поселить с собой (под приглядом бонны) и вплотную заняться моей личной жизнью. Ха-ха! Замуж не хочу, не пойду еще лет по крайней мере пять. А потом видно будет.

Снег пошел густой, и как будто бы из тумана, из облака проступили башенки Кутавенеля. Сколько у меня с ним связано — и хорошего, и не очень! Сколько еще будет связано в предстоящем!..

Да, мадам Виардо оказалась права: видела я Луизу за все Рождество только мельком, раза два, и один раз в сопровождении ее жениха — Эрнеста Эритта. Он был ниже нее на целую голову, полноват и весьма серьезен. Но одет изысканно. И курил толстую сигару. На невесту смотрел с явным восхищением. Дай ей Бог! Не держу зла за прошлые наши размолвки. Просто замечу про себя: ох, непросто ему придется с ее зловредным характером, ох, непросто! Впрочем, если уж он — дипломат-профессионал, то сумеет сглаживать острые углы.

А зато с малышами никаких проблем не возникло. 8-летняя Клоди была чистый ангелок, светлая душа, голос-колокольчик. Замечательно рисовала, словно настоящий художник — тут же усадила меня в своей комнате и карандашом набросала портрет — просто копия! Пусть немного карикатурно — ну, так что с того? — я ведь никогда не заблуждалась насчет своей внешности. Мы с Клоди очень подружились.

Марианне было на два года меньше. Молчаливая и немного замкнутая. На меня смотрела вначале букой. Были слухи (знала через Луизу), что она моя сводная сестра по отцу. Я смотрела внимательно, но не находила ни капли сходства. Научила ее играть в подкидного дурака и раскладывать пасьянс. Правда, мадам Виардо на меня рассердилась за приобщение дочери к картам («Лучше бы в шашки или шахматы!»), но потом простила. Кстати, в шашки играли тоже, только не с Марианной, а с Клоди, шахматы для нее были трудноваты.

Ну а Полю исполнилось только два с половиной, он почти что не говорил, больше экал, мэкал и мычал, а когда не понимали его лепетания (очень часто), злился и орал в голос. Маль-

чик был назойливый и капризный. Совершенно точно решила, что уж он-то не мой брат: никакого сходства — ни внешне, ни внутренне. Очень ему тогда нравилось на качелях качаться. И, когда его родичей рядом не было, он качался под моим наблюдением.

Все дарили друг другу маленькие подарки. У меня денег было мало, так что я смогла купить лишь один красочный набор рождественских открыток, каждому члену семьи Виардо по открытке, а свои пожелания написала от руки. Мне мадам Полин от себя и от мужа подарила небольшие сережки с крохотным бриллиантиком, Марианна — рождественский домик, склеенный собственноручно, а Клоди — мой портрет в ее исполнении, и уже не карандашом, а красками.

Украшали елку, перебили несколько шариков, но смеялись весело, и никто не сердился. Вечером в сочельник сели за постный стол, а в само Рождество разговлялись уже как следует. 25 декабря посетили мессу и потом пробовали сладости из кондитерской. Весь Куртавенель был украшен праздничными фонариками, елочными гирляндами и как будто бы сам походил на елку. Посетившая нас Луиза и мадам Виардо исполняли на фортепьяно разные потешные песенки, а мы все танцевали и дурачились.

Отдыхали с Клоди на диване, хохотали и обмахивались бумажными веерами. Девочка сказала:

— Хочешь, покажу тебе мой альбом?

— Да, конечно. Я была бы рада.

— Только это тайна.

— Почему тайна?

— Потому что никто не знает о нем. Ты будешь первая.

— Ох, какая честь!

— Нет, не смейся. Ты сейчас поймешь, почему.

У себя в комнате вытащила с полки шляпную коробку и, достав шляпку, извлекла из-под нее небольшой альбом в сафьяновом переплете с золотым обрезом. Протянула мне. Я его открыла почему-то с волнением... И не зря: с первого листа на меня смотрел мой отец. Это был его портрет, сделанный Клоди акварелью. Но так живо, так похоже!

Рядом с ним я прочла его отзыв (почерк узнала сразу):

«Дорогая моя маленькая Диди! Ты великолепно. Мой портрет в твоём исполнении просто восхитителен. Я тебя люблю. Твой Тургель».

Девочка, сияя, заглядывала мне в глаза:

— Видишь, видишь? Он меня любит. И, когда я вырасту, мы поженимся.

Я стояла в недоумении.

— В самом деле?

— Как иначе? Он меня любит, я его тоже, и ничто нам не помешает.

— Даже разница в возрасте?

— Тридцать четыре года? Это ерунда. Мне когда шестнадцать исполнится, то ему будет пятьдесят — очень хорошо.

А потом нахмурилась:

— Или будешь против?

— Уж не знаю, право... очень неожиданно...

— Ты не хочешь стать моей падчерицей? Да не бойся, я как мачеха обижать не стану!..

Звонко рассмеялась:

— Глупая, не переживай, я же пошутила. Ничего такого не будет. Просто так, рождественские фантазии...

Я, признаться, вздохнула с облегчением, но при этом подумала: «Ай, ай! И французы, и русские говорят недаром — “в каждой шутке есть доля правды”. Можешь не обманывать, милая Клоди!» И с тех пор вольно или невольно наблюдала за ними — папой и Клавдией; и чем старше становилась она, тем их отношения делались загадочнее... А когда он отвел ей часть своего шале — якобы под ее живописную мастерскую... Но не буду пока забегать вперед.

5.

После праздников наступают будни, и с тяжелым сердцем я покинула Куртавенель, так повеселивший меня в то прекрасное Рождество, и на той же самой коляске возвратилась в свой пансион. Не хотелось ничего делать — ни учиться, ни молиться, ни болтать с товарками на различные пустяковые темы. Лишь бы дотянуть до весны, до приезда

отца, до переселения к нему! Интересно, а какую бонну он мне наймет? Вдруг мы не поладим? Ожидания перемен все не шли у меня из головы.

Между тем Катрин Вилье продолжала у нас учиться, мы нередко виделись, сохраняли хоть и не дружеские, но вполне приятельские отношения, и она периодически сообщала мне свои семейные новости. Первое: Сара и Жерар действительно поженились, и она ждет ребенка. Далее: не без помощи денег Тургенева изготовили протез, и теперь историк ходит на нем, хоть и с палочкой, но без костылей. Третье: им пришло наследство от бездетной умершей тетушки, и теперь их материальное положение много лучше.

Я вполне искренне радовалась за супругов Вилье. Правда, правда. Ведь, в конце концов, он не признавался мне в любви и не делал предложения — в чем его вина? Сара — тем более, столько лет была лучшей моей подругой. Пусть они найдут свое счастье. Просто видеться с ними не хотелось. Раны еще болели. Время не вылечило их...

Вдруг приходит письмо от Сары. Вот оно:

«Дорогая Полетт, здравствуй. Знаю от Катрин, что не держишь на меня зла. Все произошло так внезапно, что сама я едва опомнилась, стоя с Жераром в мэрии, где был узаконен наш брак. Жизнь — престранная штука и порой выбрасывает такие коленца!.. Не сердись, пожалуйста. Сердцу не прикажешь: полюбив Жерара, я перепугалась, понимая, что развитие наших с ним отношений может больно тебя ранить. И держала свою любовь в тайне. Но когда и он обратил на меня внимание как мужчина, я уже не могла таиться. И теперь у меня под сердцем — плод взаимной нашей любви. Значит, угодно так Богу.

Дорогая Полетт, приходи в гости. Оба примем тебя с распростертыми объятиями. Очень не хочу, чтобы дружба наша кончилась разрывом. В жизни так мало тех, с кем ты чувствуешь себя хорошо, и терять их невыразимо больно. Приходи в это воскресенье!

А тем более есть у меня до тебя интересное дельце. От Катрин я слышала, что мсье Тургенев собирается взять тебя из пансиона, поселить с собою под присмотром бонны. Ну, так

вот: я хотела бы предложить на эту роль свою тетю Иннис. Ей исполнилось 35, и она необыкновенно положительный человек — знает шесть европейских языков, музицирует и неплохо рисует, разбирается в литературе, географии и истории. Муж ее скончался года два назад, а детей у них не было. Очень бы хотела вас познакомить. Если вы подружитесь (в чем я не сомневаюсь), то отец твой мог бы взять ее к себе на работу. Уверяю: вы не пожалеете!

Любящая тебя всем сердцем

Сара».

Я не знала, что и подумать. В первый момент не хотела идти к Вилье, все во мне протестовало, видеть их не испытывала желания. Но потом постепенно привыкла к этой мысли, и чем ближе было воскресенье, тем сильнее возникала потребность навестить подругу. Да еще эта тетя Иннис — вдруг действительно мы поладим? Отзыв Сары много для меня значит. Чем искать какую-то бонну на стороне, лучше положиться на рекомендации близкого мне человека. Злого она не посоветует, я не раз в этом убеждалась. Словом, в воскресенье, испросив разрешения у мадам Аран, покатила на извозчике к бывшей мадемуазель Уотсон, ныне мадам Вилье. Сердце колотилось где-то в затылке. Как мы встретимся? Что сумеем сказать после пережитого?

Вышло все прекрасно и просто: обе бросились на шею друг дружке, завизжав от радости. А Жерар смотрел на нас со счастливой улыбкой.

Пили чай с бисквитами, испеченными Сарой. У нее животик был уже достаточно виден, но она порхала по комнате, абсолютно не обращая внимания на него. Муж, когда курил, открывал полубалкон и пускал дым на улицу. Изменились они не слишком за последние месяцы — он, пожалуй, несколько поправился (видимо, с бисквитов своей супруги), а она немного осунулась, отдавая все жизненные соки будущему ребенку. За столом непринужденно болтали. Я рассказывала, как провела Рождество в Куртавенеле. А Жерар, ничтоже сумняшеся, демонстрировал новенький протез, задирая штанину, и показывал, как он может на нем пританцовывать.

Тут пришла мадам Иннис. Я по-разному представляла ее себе, но совсем не так, как увидела на самом деле: крупной, полной и совершенно рыжей. Да еще и с зелеными глазами — вылитая прямо Лиса Патрикеевна! Говорила по-французски с чуть заметным английским акцентом (например, не грассировала, а произносила «р» глубоко гортанно). Устремив на меня хитрый взгляд, сразу заулыбалась:

— Вы похожи на отца своего, мадемуазель Полинетт.

Я удивилась:

— Разве вы с ним знакомы?

— Нет, конечно, но в его книжке видела портрет.

— Вы читаете моего отца?

— Да, и по-русски тоже. — Эту фразу она сказала по-русски, но с невероятным акцентом. — Он большой писатель, я считаю, лучше Диккенса и Теккерея. Чем? Безукоризненной правдой. Наши оба — баловники, шалуны, сочиняют, резвясь, все их персонажи во многом гротескны. А отец ваш пишет — как фотографирует. И еще чувствуется боль его, боль за русских, о которых рассказывает. А у наших никакой боли и в помине нет: милые английские господа, полностью довольные жизнью. Все хи-хи да ха-ха, даже когда изображают ужасы.

С ней было очень интересно беседовать. На любые темы. С легкостью переходила на политику, образование, положение женщин, а потом вдруг на живопись и театр. Говорила громко, напористо. Цвет лица изумительный. Вся такая пышечка, как бисквит у Сары.

Засиделись до пяти часов вечера — мне пора было возвращаться в пансион к ужину. И мадам Иннис вызвалась меня проводить. Мы решили пройти пешком, благо погода стояла теплая, сухая, настоящая мартовская. Тетка сказала про племянницу:

— Я так рада за Сару! У нее глаза светятся от счастья. Он, конечно, вертопрах порядочный, этот Жерар, как и все мужчины-французы его возраста, но, по-моему, ее любит.

— Да, мне тоже так показалось.

— А у вас, дорогая, есть ли кто на примете?

Я смутилась:

— Совершенно никого. Папа обещал заняться моей личной жизнью. На кого он укажет, за того и выйду.

Дама хмыкнула:

— Даже без любви?

Я ответила ей по-русски:

— Стерпится — слюбится.

— Как сие понять?

Попыталась перевести на французский. Англичанка, поняв, вздохнула:

— Нет, не знаю. Ну а если не «слюбится»? Терпишь, терпишь — а никак не выходит?.. Я согласна: пылкая страсть очень быстро проходит, будни и рутина ее убивают, и семья может развалиться. Трезвый расчет тоже важен. Но совсем без любви? Нет, не знаю.

— Вы любили своего мужа?

У нее взгляд сделался туманен.

— Да, и сильно. Видимо, никого уже так не полюблю. Он служил в нашей церкви. И читал великолепные проповеди. Я могла его слушать без конца. Действовал на меня, как гипнотизер. — Усмехнулась: — Как это по-русски? «Заговаривал зубы».

— Отчего он умер?

— От туберкулеза. Слабые легкие, влажный климат... Вместе мы прожили три с половиной года. Я потеряла ребенка на четвертом месяце беременности. А потом и Джозеф скончался... Так не повезло!..

Я пожала ее запястье:

— Ничего, вы еще встретите свое счастье. Вы такая красивая, добрая. Да любой мужчина вами очаруется!

Иннис рассмеялась:

— Даже ваш отец?

Улыбнулась в ответ:

— Это вряд ли: предан только одной мадам Виардо.

— Неужели? Сколько лет ему теперь?

— Сорок два исполнится в этом году.

— О, совсем нестарый. Это хорошо.

Мы переглянулись и снова рассмеялись. Мне она действительно была симпатична.

Папа появился в конце апреля и приехал совершенно разбитый: начал полоскать горло еще в Петербурге, а в вагоне поезда его продуло, так что кашлял, грохоча, на весь Куртавенель. Да, пока не нашел себе (и мне) подходящую квартиру в Париже, жил опять у Виардо. А за мной прислали коляску в воскресенье — отпросившись у мадам Аран на недельку, поспешила к отцу на встречу.

Он сидел в кресле с замотанным шарфом горлом, бледный, похудевший и почти весь седой. Выглядел не на сорок, а на шестьдесят.

Бросилась к нему, обняла и поцеловала. Ощутила его жар — явно была температура.

— Почему ты сидишь, а не лежишь?

Произнес хрипло:

— Сидя кашлять легче... Ничего, ничего, тут за мной все ухаживают. И в особенности — Клоди с Марианной. Девочкам нравится играть в докторов... Под присмотром Полин, конечно.

— Хорошо, я теперь беру твоё лечение в свои руки.

Слабо улыбнулся:

— О, тогда я встану на ноги в течение трех дней!

Шутки шутками, но действительно улучшение пришло быстро, и уже в следующую субботу мы прогуливались с ним под ручку в парке Куртавенеля. Я вздохнула:

— Завтра в пансион возвращаться... Так не хочется!

— И не надо, — ответил он. — Напишу записку мадам Аран, что задерживаю тебя у себя, а потом, когда стану выезжать, рассчитаюсь с ней полностью. Пансионы твои закончены. Наступает взрослая жизнь.

Я прильнула щекой к его плечу и поцеловала. О мадам Иннис мы уже говорили с ним чуть раньше, он не возражал, но хотел познакомиться вначале. Первая их встреча, помнится, состоялась три или четыре недели спустя после переезда отца из Куртавенеля в Париж. Снял себе квартиру на улице Риволи (рядом с Тюильри) на четвертом этаже: небогато, но вполне сносно. Шесть небольших комнат: две его (кабинет и спаль-

ня), общая гостиная с пианино и карточным столом, комнатка для меня, комнатка для бонны и каморка для прислуги. Два туалета. Скромная, но приятная ванная. Все прилично и очень функционально.

Для знакомства с мадам Иннис был накрыт небольшой фуршет: легкие закуски, фрукты, вино. Папа сказал: «Если опоздает, это будет знаком, что она человек непунктуальный, неорганизованный и не слишком годный для опеки моей дочери». Англичанка пришла минута в минуту: не успели пробить часы в гостиной, как у входа раздался звон колокольчика (было впечатление, что она нарочно стояла у дверей, чтобы позвонить вовремя). Мы с отцом рассмеялись.

Вроде бы весеннее солнышко заглянуло к нам: рыжие волосы, светло-зеленое платье и такого же цвета шляпа, совершенно лисьи глаза, кремовое легкое пальто, сумочка и перчатки. Впечатление грандиозное. Я на месте отца тут же в нее влюбилась бы.

Он отвесил церемонный поклон. Вежливо поцеловал руку. И помог снять пальто.

— Милая квартирка, — оценила она. — Только подниматься на четвертый этаж трудновато.

Папа взмахнул рукой легкомысленно:

— Мы пока что люди нестарые, и полезно для здоровья.

Уроженка Туманного Альбиона согласилась:

— Да, британцы тоже помешаны на физических упражнениях — утренняя гимнастика, плавание, бокс, конные прогулки... Можно только приветствовать. Правда, я сама заниматься этим ленюсь, честно говоря.

— Ленитесь? Прискорбно.

— Вероятно. Но ведь вы нанимаете для дочери бонну, как я понимаю, а не шефа футбольной команды?

Улыбнувшись, отец вновь поцеловал ей руку. И кивнул:

— Принято.

Вскоре обстановка совсем разрядилась, и беседа потекла непринужденно. Иннис вела себя просто, не высокомерно, но и не подобострастно — то есть была сама собой. Это подкупало. Папа был явно очарован. И, когда прощались, сказал:

— Если вы по-прежнему согласились бы переехать к нам, чтобы опекать мою дочь, я бы с удовольствием заключил с вами договор.

Иннис слегка присела в некоем подобии книксена:

— Я была бы рада, мсье Тургенев.

— На какую сумму вы рассчитываете, мадам?

— На любую, мсье. Опекать дочь великого писателя я готова даже бесплатно.

— О, какая неприкрытая лесть! Но приятная, черт возьми. Хорошо, договоримся, я вас не обижу. А когда вы могли бы приступить к своим обязанностям?

— Да хотя бы завтра.

— Превосходно. Завтра ждем к обеду.

Будущая бонна тут же упорхнула, лишь оставив после себя облачко парфюма. Я взглянула на отца:

— Значит, она тебе понравилась?

Он стоял покрасневшийся и почти сияющий.

— Да, да, безусловно. Чудо, а не женщина.

Иронично прищурилась:

— Уж не хочешь ли ты сказать, папá?..

Приобняв меня за талию, звонко поцеловал в щеку:

— Поживем — увидим, девочка, поживем — увидим...

КЛОДИ

В год, когда Полинетт и Луиза вышли замуж — чуть ли не одновременно — мне уже исполнилось 13. Я была совсем сформировавшимся подростком и вела дневник, правда, уже утраченный, но события того времени помню превосходно.

Первой о замужестве объявила Луиза, и ни для кого эта весть не стала неожиданной, так как она и мсье Эритт были давно вместе, ждали только окончания ее учебы, а когда выяснилось, что сестра в положении, дело решилось в считанные дни. Я на свадьбе не присутствовала, так как накануне сильно отравилась (видимо, домашней колбасой, съеденной в гостях у соседей), врач промыл мне желудок, и угрозы жизни не было никакой, но лежала пластом, не могла пошевелить даже

пальцем. Но особого огорчения от того, что их бракосочетание прошло без меня, не испытывала: я терпеть не могу этих многочасовых бессмысленных церемоний. Брак зарегистрировали в мэрии, а затем обвенчались в храме, и, по отзывам, все прошло безукоризненно, если не считать того, что Поль во время венчания описался. (Он вообще рос нервным мальчиком, писался во сне и наяву чуть ли не до 10 лет.)

А у Полинетт венчания не было, так как он католик, а она ортодокс (русские говорят — «православная»), только регистрация в мэрии. Там присутствовало много гостей, от семьи Виардо — я и Марианна (мама с папой находились в Баден-Бадене, а Луиза с мужем сразу после их свадьбы уехала в Берн, где Эрнест служил в посольстве Франции).

Собственно, застолье происходило в замке Ружмон у маркиза де Надайка. Надо рассказать предысторию чуть подробнее.

Значит, Тургель дружил с Проспером Мериме (восхищался его новеллами, в том числе «Кармен» — опера Бизе появилась много позже), а Проспер, наоборот, был в восторге от русской литературы, перевел на французский «Пиковую даму» Пушкина, «Ревизора» Гоголя и к тому же написал предисловие к французскому переводу «Отцов и детей» Тургеля (книжка вышла за год до свадьбы Полинетт). Ну, так вот. Мериме познакомил русского приятеля с бывшей своей возлюбленной Валентиной Делессер (вместе любовники прожили лет пятнадцать, а расставшись, продолжали поддерживать хорошие отношения). Валентина — вдова крупного банкира, никогда не нуждалась в деньгах и всегда вела довольно бурную светскую жизнь. Дочь ее Сесиль (не от Мериме, а от мужа) первым браком была за археологом и путешественником де Валоном, утонувшим во время катания на лодке в их имении. Но Сесиль горевала мало и буквально через год вышла за маркиза де Надайка, тоже весьма небедного господина: он имел в Ружмоне замок и стекольную фабрику.

Для чего эти все подробности? Чтобы стало ясно, как возник на горизонте Тургеля будущий его зять. Словом: на стекольной фабрике де Надайка управляющим работал молодой человек — Гастон Брюэр. И когда Тургель на парижских рау-

тах появился со своей дочерью, сердобольные дамы начали подыскивать ей жениха. В результате и всплыла фигура Гастона: Валентина и Сесиль стали прочить его в мужа Полинетт.

Их познакомили. Но как будто вначале оба друг другу не понравились. Он такой неулыбчивый, мрачноватый тип, волосы прилизаны, глубоко посаженные глаза и всегда недовольно сложенные губы. Но трудился на фабрике честно, со старанием, и хозяева отзывались о нем крайне положительно. А она, конечно, не красавица, хоть и не лишена некоторой женственности, но зато неглупа и весьма начитана. Нет, как пишут в романах, электрическая искорка меж ними не пробежала. Познакомились — и расстались на несколько лет; он не проявлял никакого интереса, в гости не набивался, не ухаживал и прочее; а она наслаждалась взрослой жизнью (после пансиона) под крылом у отца. Вместе с ними жила ее гувернантка (бонна) англичанка Иннис, но, скорее, как старшая подруга — относились друг к другу очень тепло. Вместе ходили по музеям, выставкам, концертам, делали покупки и гуляли в Булонском лесу. Говорили, что Тургель был вначале в нее влюблен, даже подумывал жениться, но дела увлекли его в Петербург надолго.

В это время Россия переживала трудные времена: царь отменил крепостное право, и, как будто бы можно только радоваться свободе, но всю землю у помещиков не отнял, и вчерашние крепостные все равно были вынуждены пахать на того же прежнего хозяина. В общем, все остались страшно недовольны. Тут еще поляки стали бунтовать, Герцен в Лондоне — на их стороне, а Тургель дружил с Герценом, и в полиции не замедлили раскрутить дело — еле он сумел откреститься, доказать свою непричастность к бунтовщикам, а потом и вовсе уехал из России. Думаете, к дочери и к Иннис в Париж? Как бы не так: к мамочке моей в Баден-Баден.

Маме тоже было непросто: певческий голос ее садился, и она решила уйти со сцены, ограничив свою музыкальную деятельность преподаванием вокала и сочинительством опереток. А Тургель писал к ним либретто. Словом, ни о какой женитьбе на Иннис и не вспоминал.

Но не тут-то было: Иннис и Полинетт нагрянули к нему в Баден-Баден. Главное, неожиданно и без спроса. Наш Тур-

гель очень рассердился. А еще сразу вспыхнуло соперничество Иннис и мамы. Англичанка потребовала окончательного выбора: или Виардо, или она. Можно без труда догадаться, с кем остался Тургель.

Иннис и Полинетт в гневе покинули Баден-Баден, возвратились в Париж. Безутешная англичанка предлагала своей воспитаннице ехать с нею в Лондон, но несчастная Полинетт побоялась окончательно разрывать с отцом, написала ему покаянное письмо, он ее простил и прислал денег; словом, бонна отбыла на Британские острова одна.

Но и Полинетт осталась одна — ехать в Баден-Баден не хотела из-за новых скандалов с Виардо. И тогда, конечно, вспомнила о Гастоне. Мериме, Валентина Делессер и ее дочь Сесиль вновь устроили им свидание. И на этот раз все пошло как по маслу — к свадьбе. Да и то: ей уже 23, по тогдашним меркам — старая дева, а ему за 30, тоже пора обзаводиться семьей. Мать его, Тереза Брюэр, всю ему плешь проела: «Надобно жениться, надобно жениться...», — правда, не была в восторге от русской невестки, но, как говорится, на безрыбье... В общем, это был альянс не по любви, а по расчету. Впрочем, все сначала складывалось неплохо...

Разумеется, и Тургель прикатил из Баден-Бадена, пригласил на торжество Марианну и меня, мы поехали с ним в его коляске в Ружмон (это от Парижа на юго-восток, в Бургундию, в сторону Дижона). Несмотря на февраль, было сухо и тепло, солнышко светило, даже кое-где появлялась первая травка. У Тургеля был торжественный вид, он считал, что выполнил основную функцию родителя — вывез дочку из России, где она, незаконнорожденная, вечно бы жила ущемленная, воспитал, обучил, замуж выдает. Свадебный подарок его был роскошен — 150 тысяч франков. Говорил, что Гастон на эти деньги сможет выкупить у Надайка фабрику и наращивать дело самостоятельно. Жить молодые собирались на первых порах в Ружмоне, в доме Терезы Брюэр. Я сказала: «Новую жизнь лучше начинать отдельно от родителей». А Тургель ответил: «Безусловно, но купить им еще и дом я не в состоянии, у меня, в конце концов, свои планы». (О его планах, где, как оказалось, присутствую и я, расскажу чуть позже.)

Вскоре на горе увидели замок де Надайка — раза в три больше Куртавенеля, настоящий оплот средневековых рыцарей, даже остатки рва вокруг. Мост, конечно, уже не подъемный, а обычный.

Въехали в ворота. Встретить нас вышли хозяин и хозяйка — господа де Нададь. Несколько минут мы и они расшаркивались друг перед другом. Появились и молодые в сопровождении Терезы. Выглядела мать довольно противно — длинный острый нос и такие же глубоко посаженные глаза, как у сына, — настоящая крыса. Ох, сожрут они бедняжку Полинетт, косточки схрупают и не подавятся!

Вскоре начали собираться в мэрию Ружмона (церемония была назначена на три часа пополудни). Все расселись в несколько колясок и покатили. У Гастона был вид провинциального франта, он сидел в коляске напыщенный, а высокий цилиндр явно ему не шел, вызывая внутренние усмешки. Я подумала: и вот с этим типом наша Полинетт будет вынуждена ложиться в постель? Бр-р. У меня мурашки бегали по коже.

Мэрия была в центре городка, как положено, с башенкой с часами. Сняв пальто, я и Марианна заглянули в дамскую комнату, чтобы привести себя в порядок. Появилась тут и Полинетт. Марианна сказала:

— Выглядишь счастливой. Ты довольна?

Глядя на себя в зеркало, дочь Тургеля ответила:

— Да, конечно. — Помолчав, добавила: — Пусть он не красавец, ну так русские говорят, что с лица не пить воду. Главное, что ко мне относится хорошо. Наконец-то разомкну порочный круг: я — папá — Виардо. Стану независимой.

— Стало быть, «порочный»? — удивилась я.

Будущая мадам Брюэр вспыхнула:

— Разве нет? Я не лезу в папину душу — раз ему так нравится, пусть живет как хочет. Но меня всегда это угнетало. Так хотела, чтобы он женился на Иннис! Чудо, а не женщина!.. Но увы... Нет, не знаю...

Я заметила:

— С точки зрения здоровой логики, ты права. Но у гениев многое не по логике. Твой отец — гений и не может быть, как

все. Вероятно, если бы не любовь к моей матери, он не написал бы свои шедевры, кто знает?

Наши рассуждения прервала Тереза, заглянувшая в дамскую комнату.

— Полинетт, девочки, что такое? Все вас ждут. Время без двух минут три.

Мы засуетились и побежали.

Мэр Ружмона — полный усатый дядька с лентой через плечо — в небольшой нравоучительной речи рассказал об ответственности мужа и жены друг перед другом, потому как семья — дело непростое, государство покоится на здоровых семьях и так далее. Наконец спросил молодых, сочетаются ли они по доброй воле, нет ли каких препятствий к браку (например, ранее заключенных браков или болезней) и еще что-то, получил положительные ответы, попросил расписаться в книге и торжественно объявил их супругами. Новобрачные обменялись кольцами и поцеловались. У Тургеля на глазах были слезы. А Тереза стояла, как каменный истукан. Выпили по бокалу шампанского, поднесенного служащими мэрии, и на тех же колясках возвратились в замок, где в большой зале были накрыты праздничные столы.

Впечатление от залы оставалось мрачноватое: несколько масляных светильников и горящий камин — в общем, полутьма. Для средневековых рыцарей эта обстановка, вероятно, выглядела нормальной, но во второй половине XIX века все-таки хотелось бы больше света — например, газового. А вот кушанья оказались неплохи, мне особенно понравилось мясо молодого барашка на косточке. И вино сносное. Каждый из мужчин (господин де Надаик, а потом Тургель и Гастон) поднимались и говорили спичи-тосты. Тема, естественно, одна — счастье молодых. Де Надаик превозносил своего управляющего, упирал на его деловые качества и порядочность — мол, с таким мужем Полинетт как за каменной стеной. У Тургеля катились слезы, он просил прощения у дочери, что не мог уделять ей должного внимания, и желал поскорее помянчить внуков. А Гастон всех благодарил за внимание и честь, оказанные ему и его молодой жене.

На десерт подавали кофе и пирожные. Мы с Марианной спели на два голоса несколько старинных испанских свадебных песен в обработке нашей матери, Полинетт же аккомпанировала нам на рояле. Наконец отпустили новобрачных по понятным новобрачным делам, взрослые устроились играть в карты, мы ж с сестрой вскоре пошли спать в свои комнаты (из-за позднего времени ночевали в замке). Я довольно быстро уснула (видимо, под воздействием выпитого вина), а потом проснулась среди ночи и ворочалась долго, размышляя надо всем увиденным и услышанным. Эта свадьба Гастона и Полинетт выглядела, в сущности, не особенно празднично. Не читалось счастья на лицах молодых. Вроде бы не триумф любви, а какая-то торговая сделка. Или поступок от безысходности... Дал бы Бог, чтобы я ошибалась. Может, со временем попривыкнут друг к другу?..

Я решила, что моя свадьба будет совсем иной — настоящим весельем, с танцами, смехом, играми. (Кстати, в мечтах моих вовсе уже не фигурировал Тургель — то были детские, наивные фантазии, как порой дочка хочет в будущем выйти замуж за своего отца. Нет, нет, только не Тургель! Сам же он, как выяснилось, думал иначе...)

Серое февральское утро заглянуло в окна робко, словно извиняясь. Кое-где на траве лежал снег. Было не холодно, но немного зябко.

Собрались на завтрак все какие-то сонные. Молодые вышли позже других и смотрелись довольно бледно, отвечая на шутки вялыми улыбками. Нет, определенно и брачная ночь их не окрылила. Только де Надайк попытался растормошить гостей и рассказывал какие-то глупые истории из своей боевой юности. Наконец Тургель объявил, что ему и девочкам Виардо (то есть нам) надо уезжать. Из приличия маркиз предложил задержаться еще на день, вместе поохотиться (зная его любовь к этому способу времяпрепровождения), но писатель был непреклонен, уверяя, что в Париже много срочных дел. Мы уселись в коляску и, тепло простившись с хозяевами и молодоже-нами, укатили прочь.

По дороге я спросила Тургеля о его впечатлениях. Он ответил не сразу, погруженный в свои размышления.

— Понимаешь, Диди, — тяжело вздохнул, — это лучшее, что я мог предложить моей дочери. Кем бы она была в России? Белошвейкой, как ее мать, приживалкой в богатом доме? А теперь, пусть и без любви, но замужняя дама — мадам Брюэр, муж стоит на ногах крепко. А любовь — что любовь? Это для поэтов и музыкантов. Люди нетворческие не должны витать в эмпиреях.

Марианна сказала:

— Я бы не смогла без любви. Лучше остаться старой девой.

Мы с Тургелем весело рассмеялись.

— Ну, тебе, милашка, в девах остаться не грозит.

И как в воду глядели: на два года раньше меня обручилась она со своим женихом. Правда, потом рассталась, и вышла за другого... Но негоже забегать в рассказе вперед. А пока что скажу одно: наша жизнь в конце 60-х годов двигалась вполне предсказуемо — мы выросли, а родители старились, непоседа Поль с детства проявил талант скрипача, и ему прочили блестящее будущее. Что касается Полинетт, то она, по слухам и ее письмам, первое время жила в замужестве сносно, если не считать придинок свекрови, упрекавшей невестку в том, что никак не может подарить ей внуков. А потом франко-прусская война 1870 года и Парижская коммуна сильно изменили наши планы...

ПОЛИНЕТТ

1.

Долго не могла я привыкнуть к новому моему положению мужней жены. Оказалось, все мои знания, что получены были у домашних учителей Виардо, а потом и в двух пансионах, совершенно не применимы в жизни семейной — ни история с географией, ни правописание, и иностранные языки, и музыка, математика и литература; приходилось вспоминать только те навыки, что привиты мне были в детстве у приемных родителей: шить, стирать, убирать комнаты, покупать продукты, стряпать... Для чего тогда я переселялась во Францию из Рос-

сии? Пусть не образованная, как парижские барышни, я могла бы там найти свое настоящее счастье, на родной почве и среди людей, думающих, как я... Но увы, увы, ничего поменять уже невозможно, жизнь сложилась так, как сложилась, как желал отец... Он, конечно, хотел облагодетельствовать меня, совершил все из лучших побуждений, полагая, что простой быт в деревне не для дочери барина, писателя, надо окунуть ее в цивилизацию. В результате выдернул из привычной обстановки, бросил в чужую. Получилось: я уже и не русская совсем, постепенно и необратимо забывая язык и обычаи, но француженкой стать тоже не смогла, потерялась, не ведая, для чего живу и к чему стремлюсь. Дети могли бы занять мои мысли, сделаться смыслом существования, но никак не получалось их выносить, дважды происходили выкидыши, я страдала, а Гастон и Тереза злились на меня и ругали, словно я нарочно прерывала беременность. И молиться даже было негде: православные храмы в Ружмоне, конечно, отсутствовали, приходилось ходить в католический, но душа оставалась не на месте, я привыкла с детства обращать свой взор на иконы, а не на скульптуры...

Нет, Гастон меня по-своему любил, часто защищал перед матерью и с большим удовольствием предавался плотским утехам по ночам, говоря (полушутя-полусерьезно), что иметь жену много выгоднее, чем платить каждый раз непотребным девкам. Я смиренно принимала все его ласки. А по праздникам подносил хоть и недорогие, но все же подарки — то колечко, то брошку, то сережки...

Я поддерживала переписку с отцом и Сарой — пусть не регулярную, раз примерно в полтора-два месяца, но весьма настраивавшую меня на смирение и покой. Сара родила мальчика, и они с супругом окрестили сына Жак (по-английски — Джек) — в честь покойного отца Жерара. Очень были счастливы. А отец мой делился своими литературными успехами, впечатлениями от критики вышедшего в России романа «Дым», об установившейся дружбе с Гонкуром и, само собой, о семье Виардо. У Луи назревали крупные неприятности со стороны властей (он открыто выступал против перехода от республики к империи, называя Наполеона III полным ничтожеством), и пришлось им уехать в Баден-Баден, срочно, по дешевке про-

дав Куртавенель. А когда разразилась франко-прусская война, напутавшая всех, думали они бежать еще дальше — чуть ли не в Россию. Но, по счастью, Наполеон III быстро пал, а потом пала и Парижская коммуна, обстановка начала успокаиваться, и отец вместе с Виардо думал о возврате во Францию.

Но зато у Сары вышло все ужасно: беспокойный Жерар, несмотря на свою инвалидность, усидеть не смог дома и примкнул к коммунарам, а когда начался их разгром, вышел с оружием в руках на баррикады. И пропал без вести. Видимо, был убит, хоть и тела его не нашли среди покойных... Безутешная моя маленькая подруга оставаться в Париже больше не хотела и уехала с сыном в Лондон к тете Иннис — та была теперь хозяйкой частной школы (созданной в основном на деньги, заработанные у моего отца) — и пошла преподавать тоже...

Нас, провинциальных жителей Бургундии, ни война, ни коммуна никоим образом не коснулись. Мы, понятное дело, переживали, опасаясь, что пруссаки займут Ружмон, и готовились к обороне (а маркиз де Надаик уверял, что его замок неприступен и, укрывшись в нем, мы сумеем выдержать год осады), но германские войска наступали в основном на Париж и Дижон, оставляя нас в неприкосновенности. Из Италии на подмогу французам прибыл Гарибальди и командовал войсками около Дижона, то сдавая город, то потом опять занимая. В общем, мы спаслись, слава Провидению.

А когда мирный договор с Пруссией был подписан и в Париже провозгласили Третью республику, наша семья радовалась не столько из-за этого, сколько из-за того, что я вновь оказалась беременной. И Гастон, и Тереза стали относиться ко мне много лучше, избавляли от тяжелых работ по дому, я лежала много по совету врачей и питалась правильно. Бог услышал мои молитвы: по весне 1872 года родила девочку, окрещенную Жанной (в честь моего отца: ведь Иван — по-французски Жан).

2.

Написала отцу, сообщила, что сделала его дедом. И ждала ответного письма. Но ружмонский почтальон мсье Жамэ каждый раз на мои вопросы разводил с сожале-

нием руками, соответствуя своей фамилии¹. Я не знала, что и думать: может, с папой что-то случилось? Может быть, в обиде? Или же его нет вообще в Баден-Бадене и уехал в Россию? Даже плакала порой в огорчении.

Вдруг в передней шум. Что такое? Появляется свекровь с кривоватой улыбкой на устах (улыбаться широко никогда не умела), говорит: «Ну-ка, посмотри, кто к тебе приехал!» И из-за спины у нее возникает отец! Господи, вот счастье-то было!

Совершенно седой, как 70-летний старик (а на самом деле только 53). Но глаза веселые и счастливые. Обнял меня крепко, оба мы прослезились. Долго смотрел на Жанну в кровати. А потом сказал:

— Вылитая матушка.

И действительно, чем-то напоминала покойницу Варвару Петровну. Я подумала: «Внешне — пусть, лишь бы характером не пошла в прабабку!»

Папа привез целый сак² с подарками — девочке, мне и Брюэрам, да еще и денег дал. И Тереза с Гастоном тоже не знали, где и как его усадить, чем попотчевать. Словом, радость была великая.

Посетили замок де Надайка, ужинали у маркиза и играли в карты (как всегда, в их любимый безик). Папа остался ночевать в гостевой комнате, а Гастон и я возвратились к себе домой. На другой день де Надайк и отец охотились в окрестных лесах, подстрелили косулю и за ужином лакомились олениной. А потом он уехал обратно в Баден-Баден. На прощанье обрадовал:

— Скоро будем видеться чаще. Думаем с Виардо прикупить усадьбу вблизи Парижа и потом туда перебраться.

Я, помедлив, произнесла:

— Только не обижайся... Не могу не спросить: снова ты и они — все вместе?

Он смутился, даже покраснел.

— Понимаешь, дочка... Их семья — вроде как и моя семья... мы привязаны друг к другу... и не можем врозь... — А потом прибавил: — Да и деньги на усадьбу даю я.

¹ *Jamais (фр.)* — никогда.

² Сак — дорожный мешок.

— Ах, вот как? Чья ж она тогда будет фактически, эта усадьба?

— Собственница — Полин. Я — пожизненный пользователь. — Помолчав, заверил: — Я построю себе небольшое шале там же, но отдельно. То есть жилье свое, только рядом...

Я, вздохнув, покачала головой:

— Ах, папá, папá...

Он поцеловал меня в щеку:

— Не печалься, деточка. Все в порядке. Каждый человек со своими причудами. Я иначе не могу. Пробовал иначе — не получается. Думай о своем: о дочурке, о муже... И о том, что в любой момент можешь рассчитывать на мою помощь и поддержку.

— Благодарна тебе, папá...

Мы поцеловались, обнялись, и он уехал.

Я представить себе не могла, что в его планах по устройству шале был еще один человек — Клоди.

МАРИАННА

1.

Годы, проведенные нами в Баден-Бадене, были не так уж плохи, если не считать переживаний по поводу военных действий Пруссии. Но война громыхла где-то далеко и никак не касалась мирного, полусонного Баден-Бадена. Правда, мама по делам уезжала в Лондон, взяв с собой 12-летнего Поля, а отец и мы с Клоди оставались на месте; с нами был и Тургель, лишь к концу войны он отправился в Англию и вернулся потом вместе с мамой и братом. Поля отдали в лицей в Карлсруэ (принц Баденский, убежденный, что Поль — его сын, всячески ему помогал). Брат капризничал, не хотел ехать, дулся на маму и однажды крикнул ей: «Ты же знаешь, что я сын не принца, а Тургеля!» — и за это получил звонкую пощечину. Мама произнесла ледяным тоном: «Твой отец — Луи Виардо. Этого достаточно». Кое-как брат смирился. А тем более что Тургель обещал ему: за хорошее поведение и учебу он получит в подарок скрипку Страдивари. Так и порешили.

Мы с сестрой жили в Баден-Бадене тихо-мирно до того времени, как в меня не влюбился Габриэль Форе, ученик Сен-Санса, друга моей матери. Габриэль был призван во время войны в армию и участвовал в обороне Парижа; месяц, раненый, провалялся в госпитале, а потом сочувствовал Парижской коммуне, больше на словах, чем на деле, и разгром коммунаров обошел его стороной. Перебрался в Швейцарию и однажды приехал в Баден-Баден навестить своего учителя Сен-Санса. Тут-то мы и встретились.

Что сказать? В первый момент он не произвел на меня никакого впечатления: бледный, узкокостный и сутулый, с длинными висячими усами и бородкой — маленьким клинышком. Говорил как-то непонятно, вроде его язык заплетался за широко расставленные зубы. Но когда он сел за рояль... заиграл одну из пьес своего сочинения... совершенно преобразился! На щеках заиграл румянец, загоревшиеся глаза метали молнии, и усы даже стали топорщиться! Я, конечно, шучу немного, но на самом деле поразил всех нас и чеканным опусом, и своим внешним видом. Но ни о каком романе с ним я и не мечтала (мне тем более только исполнилось тогда 18). А вот Габи на меня запал, что говорится, с первого взгляда...

Вскоре от него из Швейцарии пришло письмо. То есть написал он не мне, а Сен-Сансу и, сказав, что очень мною увлекся, попросил передать мне записочку. Что Камиль и сделал. Со словами: «Вы, мадемуазель, наповал сразили моего подопечного. То, что не смогла сделать прусская пуля, оказалось под силу вам. Не хотите ли стал его музой? Вот послание от него». Я прочла:

«Милостивая государыня! Не надеясь на взаимность, я дерзаю предложить Вам мою дружбу. Если Вы ответите, я отвечу тоже, а потом, Бог даст, и заеду навестить. Искренне восхищенный Вашей красотой, Габриэль».

Я, конечно, вначале посоветовалась с мамой, сестрой и Тургелем. Вот что они сказали.

Мама:

— Поступай, как знаешь, девочка, как подсказывает твое сердце. Если Габи симпатичен тебе — почему бы и нет? Он, конечно, беден, как церковная мышь, но зато талантлив, а та-

лант — это капитал, и, когда станет знаменитым, сделается богат. Переписка, в конце концов, ни к чему серьезному тебя не обязывает.

Клоди:

— Напиши, конечно. Хоть какое-то развлечение в жизни. Если бы Форе предложил дружбу мне, я бы непременно откликнулась. Разница в возрасте — это чепуха. Сколько лет ему? Двадцать семь, двадцать восемь? Замечательно: и не стар, и не слишком молод. Мне всегда нравились мужчины старше меня. Напиши обязательно.

Тургель:

— Дорогая Мари, ты уже совсем взрослая и должна решать сама. Я в таких делах не советчик. Посоветовал моей Полинетт выйти за Брюэра и теперь не знаю, верно ли поступил. Нет, она, безусловно, получила статус и живет безбедно, но, боюсь, он не тот человек, кто бы мог составить ее счастье. Слишком провинциален и ограничен. Слишком приземлен. А Форе производит хорошее впечатление, человек творческий, с фантазией. Думаю, что был бы интересен тебе. Но решай сама.

В общем, написала. Он откликнулся с воодушевлением и вложил в конверт кроме листка с ответом и листок с нотами — это был романс, посвященный мне. Очень трогательный. Мы с Клоди исполняли его много раз и смеялись, и резвились, как дети. Настоящая переписка завязалась у нас ближе к лету 1873 года, а по осени он приехал в гости: весь такой торжественный, расфуфыренный, настоящий жених. И усы закручены кверху — смешно!

Мы гуляли с ним в парке, я взяла его под руку. Габи произнес:

— Ах, Мари, я с ума схожу от любви к вам. Вы мой идеал. Согласитесь выйти за меня замуж?

Мне, конечно, радостно было на душе от этого признания, я сама уже испытывала к нему нежные чувства, но приличия требовали ответить не сразу. Я сказала:

— Дорогой Габриэль, в принципе, вы мне симпатичны. Но давайте не будем слишком торопиться. Испросите благословения моих родителей. Если они не против, обручимся и будем считаться женихом и невестой. А когда я созрею для семей-

ной жизни — скажем, через годик, — и когда вы устроитесь на приличную службу, снимете жилье и так далее, сможем обвенчаться.

Он упал передо мной на колени и расцеловал мои руки. Мама и папа дали согласие на обручение.

2.

Франция залечивала раны после войны, и семья наша захотела возвратиться к родным пенатам. Но Куртавенель был давно продан, и вообще нельзя войти дважды в один поток — прошлое должно оставаться в прошлом, не тревожить настоящего, надо двигаться в будущее. После долгих поисков мама и Тургель сделали свой выбор: им понравилось поместье на земле Ля Шоссе, в 45 минутах езды от Парижа, на берегу Сены. Называлась усадьба Буживаль, а потом в обиходе мы называли нашу виллу Ле Френэ¹ — по большому количеству этих деревьев в парке. А Тургель пожелал выстроить в 50 метрах от виллы свое шале — двухэтажный деревянный дом (сам нарисовал его облик, чтобы здание напоминало его усадьбу в Спасском-Лутовинове в России). С нетерпением ждали окончания ремонта и возможность переехать. В Баден-Бадене все уже наскучило, сердце рвалось на Родину. Но вселились капитально лишь весной 1875 года.

Мы ходили восторженные целую неделю, не могли наглядеться на эти комнаты, парк, аллеи, беседки... И благодарили Тургеля — это он давал деньги, записав собственником маму. Гениальный Тургель. Бескорыстный Тургель. До седых волос сохранивший юношескую влюбленность в Полину Виардо...

Как отец относился к их любви? Совершенно спокойно. По-дружески. Он любил свою жену, видимо, не меньше русского приятеля и практически позволял ей всё. А со временем, я думаю, и возможная ревность утратилась: в 1875 году ведь ему исполнилось 75, ноги плохо слушались, голова кружилась, и ему легче было лежать, чем ходить. Так что зачастую мама появлялась в Париже или с нами, дочерьми, или с Тургелем.

¹ Les Frénes (фр.) — ясени.

Не успел Тургель как следует обустроиться в своем шале, как пришло известие от его дочери: у нее родился мальчик, получивший имя Жорж Альбер. Тут же дедушка поспешил в Ружмон и вернулся оттуда возбужденный, радостный. Все его сомнения относительно несчастливого брака Полинетт развеялись, он увидел сложившуюся, дружную семью; у Гастона дела на фабрике шли неплохо, он ее выкупил у Надайка, управлял сам, и продукция не залеживалась на складе. Полинетт смотрелась тоже прекрасно, расцвела после двух родов, говорила только о детях, превратившись в совершенную курицу-наседку. Ну, так что такого? Каждому своя доля.

Но зато мои матримониальные дела совершенно разладились. Я и Габриэль все еще считались женихом и невестой, но не поженились ни год, ни два спустя после обручения, переписывались редко, виделись еще реже. Дело в том, что до нас, Виардо, тогда еще в Баден-Бадене, докатились слухи о его романе с некоей Мари Фермье, дочкой скульптора, и хотя Габи уверял, что на самом деле это наветы, у него ничего там серьезного, я решила отложить свадьбу. Он обиделся и на время прекратил нашу переписку, месяца на четыре. В то же самое время начал за мной ухаживать Виктор Дювернуа, пианист, из известной музыкальной семьи (дед — композитор, а отец и брат — певцы), приходивший к маме на салонные вечера. Мы к тому времени переехали уже в Буживаль, и у нас нередко собирался весь цвет бомонда Парижа. Летом выезжали на пикники в Сен-Жерменский лес. Не страдая от отсутствия мужского внимания, я уже перестала думать о Габриэле. Да любила ли я его вообще? Думаю, что вначале — да, мне он приглянулся, прежде всего своим талантом и скромностью; но потом расстояние между нами (и не столько географическое, сколько духовное) увеличивалось с каждой минутой, и ничто уже не могло нас объединить. Наконец, в конце 1875 года Габриэль мне прислал письмо, где довольно сухо сообщал, что помолвка наша утрачивает силу, ибо нет больше чувств, а тем более он как честный человек должен обвенчаться с Мари Фермье, ждущей ребенка от него. Так наш роман, в основном эпистолярный, был бесславно окончен.

Как ни странно, я какое-то время все-таки грустила, никого не хотела видеть. Но потом постепенно события в нашей семье помогли мне отвлечься и забыть Форе навсегда.

Первое: отношения Клоди и Тургеля, завершившиеся бегством последнего в Россию.

И второе: мой уже настоящий, а не платонический роман с Дювернуа, завершившийся свадьбой.

Ну, и, наконец, третье: Поль и его ужасные эскапады.

КЛОДИ

1.

Мы перебрались в Буживаль в октябре 1874 года, и шале Тургеля возводилось еще. Он следил за всеми мелочами строительства, как придирчивый инженер, и ругался с рабочими, если те волюнили, угрожая им не заплатить. Наконец, по весне 1875 года наш великий русский переселился в свой новый дом. Пригласил нас на маленькую экскурсию. Мама отмахнулась: «Нет, потом, потом, ученица ко мне придет через четверть часа», Марианна валялась с больным горлом, и пошла я одна. Шли по ясеновой аллее, было немного ветрено, и Тургель то и дело придерживал шляпу, чтобы та не слетела. Говорил, что нет ничего комичнее наблюдать за мужчиной, бегающим за своей улетевшей шляпой. Я сказала, что смех этот низшего порядка: так смеются над тем, как на улице, поскользнувшись, падает прохожий, или когда у клоуна в цирке падают штаны. Помолчав, писатель ответил: «Вероятно, да. Я владею юмором плохо. Иногда пошутить могу, но в моих книжках юмора почти нет». — «Вы же не юморист», — возразила я. «Дело в другом. Дело в видении мира. Я воспринимаю мир большей частью трагически. А вот Пушкин большей частью шалил, шутил». — «Но ведь вы же пишете либретто к маминым оперетткам. Там немало шуток». — «Это жанр такой. И потом в оперетках юмор иного свойства — ближе к падающим штанам у клоуна».

Вид на его шале открывался превосходный: зеленеющие ясени, мягко шуршащие кронами, островерхая крыша в черепице и ажурные решетки вокруг балкона и террасы. Узкие высокие окна и двери. Полосатые стены. Сразу захотелось взять этюдник, чтобы написать пейзаж. Я поделилась с Тургелем своим впечатлением. Он сказал лукаво:

— О, а что тебя ждет внутри!

— Что же? — Сердце мое забилося в предвкушении чуда.

— Поднимайся, увидишь.

Мы вошли в большую гостиную на нижнем этаже. Карточный столик, невысокий диван, пианино... И мольберт в углу!

Удивилась:

— Вы рисуете? Я не знала.

— Это для тебя, Диди. — Посмотрел на меня так, что я опустила глаза, не выдержав его взгляда.

— Для меня? Как сие понять?

Он ответил:

— Я хочу, чтобы ты здесь работала. Превратила гостиную в свое ателье. Я тружусь у себя в кабинете наверху, ты внизу — а потом вместе пьем чай. Разве не идиллия?

Улыбнулась не без ехидства:

— Вы неисправимый романтик, Тургель.

Он вздохнул:

— Есть немного... Ну, так что, согласна?

— Надо подумать.

Поднялись на второй этаж. Милый кабинетик и спальня. А с балкона открывался великолепный вид на окрестности, парк и нашу усадьбу. Наверху дышалось легко, воздух был такой сладкий, словно смазанный кремом. Я почувствовала его руку у себя на талии. Удивленно заглянула ему в лицо. Он, ни слова не говоря, мягко поцеловал меня в краешек губ и щеки, уколол бородой и усами.

— О, Тургель, что вы делаете? — прошептала я, вне себя от ужаса.

— Ничего, ничего, — ласково произнес писатель. — Это всего лишь невинный поцелуй...

— Нет, не совсем невинный... И потом... я не понимаю...

— Успокойся, девочка, я же ни о чем не прошу. Просто видеть тебя каждый день, работающей у меня в гостиной, пьющей чай на балконе и щебечущей о своих заботах... Больше ничего.

— Точно — ничего?

— Обещаю.

— Да, но мама... Вы всю жизнь любите ее... Разве нет?

— Безусловно, да. И любить не перестану до конца дней моих. Но ведь ты — ее часть. Никакого противоречия.

— Значит, вы меня любите, потому что я часть мамы?

Он помедлил.

— Трудно объяснить. Мне и самому не совсем понятно. Я люблю и тебя, и маму, и Мари, и Луи, и Поля... Вы моя семья. Вот и все.

Отвернувшись от него, посмотрела вдаль.

— Вы великий человек, и любовь ваша льстит любому... Только я хочу, чтоб меня любили не как часть чего-то, а как целое, без оглядки на кого бы то ни было.

— Разумеется, Диди, — отозвался Тургель печально. — Ты еще встретишь человека, кто полюбит тебя, как того заслуживаешь.

Снова повернула к нему лицо:

— Значит, это не вы?

Кончики его губ опустились книзу:

— Ну, конечно, нет. Был бы на двадцать лет моложе... А теперь? А теперь только восхищаться тобой на расстоянии. И порой невинно целовать в щечку. Ты позволишь?

— Позволяю.

Но внезапно мы бросились в объятия друг к другу и поцеловались пылко, горячо. А потом, словно испугавшись этого порыва, тут же отстранились. Я проговорила:

— Всё, всё, мне пора идти.

— Хорошо, иди, — согласился он, сам в немалом смущении.

Я сбежала вниз по ступенькам и, не помня себя от страха, устремилась прочь от шале. С твердой решимостью, что ноги моей больше здесь не будет.

Но уже на другое утро собралась работать за мольбертом у Тургеля в гостиной.

Всю весну 1875 года длилась наша сказка. Он действительно больше не пытался поцеловать меня так, как тогда на балконе, только изредка прикладывал губы или к щеке, или к виску. Наблюдал за мной с восхищением. Это внимание мне льстило, повышало самооценку. Я уже не боялась ходить к нему в шале. Иногда появлялась позже — он уже работал у себя в кабинете. Я кричала снизу:

— Доброе утро, Тургель!

Слышала в ответ:

— Доброе, доброе, Диди. Начинай, скоро я спущусь.

Наши чаепития на балконе никогда не забуду — мы болтали обо всем без утайки, он рассказывал о своих сердечных привязанностях в России, так и не ставших чем-то серьезным, я делилась своими страхами и надеждами. Это не были отношения дочери и отца, ученицы с учителем, исповедника и его прихожанки; но, с другой стороны, чисто дружескими тоже не могли бы считаться; я бы назвала их «дружеской влюбленностью» — *l'amitié amoureuse* — то есть больше, чем дружба, но не выходящая за рамки дружеского общения. Он меня опекал и лелеял, как Бог-Отец. Я была, словно Дева Мария. Не хватало лишь непорочного зачатия...

Но, конечно, так не могло продолжаться долго. Мама все разрушила. Заподозрив неладное, строго меня спросила, оказавшись со мною наедине:

— Что вы делаете с мсье Жаном в его шале?

Я пожала плечами:

— Ничего недостойного, мамá. Я пишу этюды внизу, он творит у себя наверху. А потом на балконе чаевничаем.

— Поклянись, что ничего более.

— Всем святым клянусь. — И перекрестилась.

— Хорошо, поверю. Тем не менее не могу не заметить, что со стороны это выглядит крайне неприлично.

— Отчего, мамá?

— Ты не понимаешь? Молодая девушка каждое утро посещает дом неженатого пожилого мужчины. Просто какой-то нонсенс.

— Ты считаешь, молодой девушке не дано дружить с пожилым мужчиной?

Мать поморщилась:

— Да, теоретически допускаю... Но я знаю жизнь. Рано или поздно это все равно кончится постелью.

— Ах, мамá!..

— Да, моя наивная. Правде надо смотреть в глаза.

— Обещаю: в нашем случае этого не будет.

— Обещай мне другое: ты прекратишь к нему ходить.

— Нет, пожалуйста! — Я сложила руки молитвенно.

— Ты должна. Я требую. — И смотрела на меня гневно.

Может, ревновала? Или просто опасалась за мою честь?

Но и я оказалась непреклонна:

— Обещать не стану. Не хочу.

— Нет, я требую, Диди.

— Дай собраться с мыслями... Я тебе скажу позже.

— Так и быть, подумай как следует.

Неизвестно, как бы сложилось все в дальнейшем — или она бы смягчилась и мои посещения шале продолжались бы еще долго, или я уступила бы ее воле, но моя мать пошла дальше и имела аналогичный серьезный разговор с Тургелем. Он, в отличие от меня, не оправдывался и не заверял ее в платоническом характере наших отношений, а сказал задумчиво (знаю это с ее слов): «Может, в чем-то ты и права. Может, лучше действительно положить этому конец, во избежание необратимых последствий... А тем более мне пора в Россию — там скопилось много дел. Я уеду скоро. И вернусь, наверное, к концу года. Время все расставит по своим местам». И, склонившись, поцеловал ее руку.

Утром, дня через два, ничего не зная об их разговоре, я пошла в шале, но наткнулась на закрытую дверь. А садовник, мсье Фернан, подстригавший поблизости кусты, пояснил:

— Так они уехали вчера пополудни.

— Как уехали? Почему уехали?

— Не могу знать, мадемуазель Клоди. Только собрались в одночасье, я видел. И с большими саквояжами — видимо, надолго.

— Даже не простился...

Села на скамейку и, закрыв ладонями лицо, разрыдалась.

ПОЛИНЕТТ

1.

Мы с Терезой недолюбливали друг друга с самого начала — ей казалось, что Гастон достоин лучшей пары, нежели я, и лишь деньги моего отца как-то примиряли свекровь со мною. А когда родились дети (ее внуки), несколько смягчилась, не ругала меня за глаза и в глаза, как прежде. Но сквалыжный характер никуда не денешь — все равно бурчала себе под нос: то ей не то, это не так, руки у меня растут не оттуда, ничего не умею — ни приготовить, ни навести порядок, ни нашлапать малышей за проказы. А Гастон никогда не вмешивался в наши перепалки, если же Тереза обращалась к нему: «Ну, скажи, скажи, что она не права!» — соглашался всегда: «Да, Полетт, ты, по правде говоря, не права». Их было двое против меня одной — дети маленькие не в счет.

И вообще у Гастона с матерью наблюдалась некая подсознательная связь, неразрывная и прочная: и она молилась на отпрыска, и сынок подчинялся ей во всем. Оба не могли друг без друга. Муж Терезы и отец Гастона бросил их много лет назад и завел новую семью, а со старой не общался, не давал ни сентима на воспитание их ребенка. Женщина служила в замке де Надайка горничной, получала гроши, и они едва сводили концы с концами. Но сумела вырастить сына, дать ему минимально необходимое образование и устроить на стекольную фабрику. Здесь он сделал для себя неплохую карьеру — за каких-то десять лет из простого рабочего-стеклодува превратился в мастера, а затем в помощника управляющего, а затем в самого управляющего. По работе у него был цепкий ум и хорошая деловая хватка. Но зато в быту, дома, оставался тем же самым маменькиным сынком, что и в детстве. Дома палец о палец не ударил, только отдыхал и пил легкое вино, за него мы делали все с Терезой. К детям Гастон относился без особой приязни — нет, любил, конечно, все-таки наследники, продолжатели рода, человеку положено размножаться, вот и он не хуже других, но ни книжек им не читал, ни во что с ними не играл, большей частью прогоняя их от себя: «Всё, всё, идите,

папа устал на фабрике и ему надо отдохнуть». Впрочем, отдадим должное: никогда не наказывал, не бил, даже голос не повышал; большей частью смотрел равнодушно.

Вскоре после рождения Жоржа Альбера и ко мне совершенно охладел, начал спать отдельно, а потом я узнала, что мой муж хороводится с некоей Ирен Матье, молодой вдовушкой из нашего Ружмона, и как будто бы она от него беременна. Растерявшись, обратилась за советом к Терезе: что делать? Но она, как всегда, стала защищать сына: мол, мужчины все ходоки, это в их природе, а Гастон весь пошел в отца, неумного по женской части, надобно смириться во имя детей. У меня на сердце лежал камень. Ведь забрать малюток и уйти от неверного супруга тоже не могла: а на что тогда жить? Сесть на шею отцу совесть не позволяла.

Положение усугубилось неожиданной болезнью Терезы. Жаловалась на боли в желудке, таяла на глазах. Врач сказал: это язва — но на самом деле (сообщил Гастону конфиденциально) это был рак. Вскоре она слегла, и заботы все по дому полностью легли на меня. Я сбивалась с ног и спала по три-четыре часа в сутки, а унылые, непрерывные стоны свекрови, днем и ночью, доводили меня до безумия. Обезболивающие плохо ей помогали. Вскоре она превратилась просто в скелет, обтянутый кожей, и в начале марта 1880 года умерла у меня на руках. Появившийся Гастон рухнул перед ней на колени и заплакал в голос. Это был единственный человек на свете, им любимый по-настоящему.

2.

После ухода матери муж вообще перестал приходить домой: говорил, что все ему напоминает о покойной, и его сердце разрывается от горя, — он фактически переселился к Ирен Матье. Но по-прежнему содержал меня и детей.

Понемногу я стала оживать, заводить свои порядки в доме и существовать по собственному разумению. Иногда приходили деньги от отца. Мы поддерживали с ним хоть и не частую, но регулярную переписку — где-то раз в два месяца обяза-

но, — он интересовался жизнью внуков и рассказывал о своих литературных успехах, иногда присылал вышедшие книжки, на французском и на русском, хоть по-русски я читать и думать разучилась вовсе.

Жанна ходила в школу, с удовольствием училась, внешне очень напоминала свою прабабку, но характер имела незлобивый, легкий. Пятилетний Жорж Альбер с детства был прирожденный артист — без конца крутился перед зеркалом, строя рожицы и изображая кого-то, без труда запоминал любые стихи, а потом с выражением их декламировал, умиляя взрослых. Я не могла нарадоваться на них.

Но, как говорят, беда не приходит одна: у Ирен Матье были трудные роды, в результате умерли и она, и ребенок. От такого удара мой Гастон, только-только оправившийся от смерти матери, впал в совершенное безумие — беспросветно пил, а затем ходил по городу, бормоча что-то несуразное. Разумеется, и делами фабрики прекратил заниматься напрочь.

Как-то посреди ночи стал ломиться к нам в двери, испугав меня и детей. Я вскочила, выбежала в переднюю, но не открывала, умоляя его уйти, успокоиться, приходить утром, выспавшись. Он рычал, изрыгал проклятия, обещал перебить нас всех, потому что именно мы виноваты в его несчастьях: до женитьбы жизнь в семье Брюэр текла безоблачно. Наконец, устал и, пообещав с нами разобраться потом, продолжая ворчать, не спеша удалился. Я же не сомкнула глаз до рассвета.

Но ни днем, ни вечером, ни на следующую ночь муж не появлялся. Я уже подумала с облегчением, что гроза миновала, да не тут-то было: раздобыв ружье, он стрелял в наши окна. А поскольку при этом снова не вязал лыка, никуда и ни в кого не попал. На стрельбу приехала полиция, и его забрали в участок. Видимо, там ему всыпали как следует, потому что неделю спустя он ходил с разбитой физиономией. А заведя меня на улице, подошел мрачный, пахнувший алкогольным и табачным перегаром, и, не глядя в глаза, глухо произнес:

— Забирай детей и проваливай. Вы мозолите мне глаза. Рано или поздно все равно вас прибью. Уезжайте лучше, от греха подальше.

— Да куда ж мы денемся, Гастон? — стала увещевать супруга. — На какие шиши будем жить? Ладно, ты не любишь меня, я давно смирилась, но ведь дети — твоя родная кровь. Чем они виноваты?

Он ответил зло:

— Я не знаю. Мне все равно. Я вообще не уверен, что это мои дети.

Я была потрясена:

— Ты с ума сошел?! От кого еще, как не от тебя! Взял меня девочкой, и принадлежала только тебе!

— Нет. Не верю. Мы с тобой не венчаны в церкви, значит, не обязаны друг другу ничем. Клятвы не было перед Богом. Значит, нет и веры.

Поняла, что спорить с ним бесполезно. У него в голове что-то повредилось. Чтобы избежать худшего, надо соглашаться.

— Хорошо, будь по-твоему, мы с ребятами соберемся и уедем. Ты нас больше никогда не увидишь. Только дай хотя бы месяц на сборы.

Муж отрезал:

— Ишь чего захотела! Больше недели я не выдержу. И тогда пеняй на себя.

— Десять дней!

Неожиданно он затрясся от ярости:

— Замолчи, дура! И не выводите меня из себя. Радуйся, что даю неделю, а не убиваю на месте!

Я отступила:

— Да, да, спасибо большое. В следующую пятницу мы уедем.

Успокоившись, пробурчал:

— Так-то вот, паскуда. И не спорь со мной. Как сказал, так оно и будет.

Слава Богу, у меня оставались кое-какие деньги, присланные отцом. Уложив в сундук самые необходимые вещи и одевшись потеплее (на дворе стоял январь 1882 года), я с детьми на наемной карете выехала из Ружмона куда глаза глядят. А глаза глядели на Дижон, где мы остановились, чтобы перевести дух и отправить слезное письмо Ивану Сергеевичу.

Он ответил немедля, обещая на днях приехать в Дижон, несмотря на плохое самочувствие. И действительно, вскоре появился — бледный, исхудавший, опираясь на палку. Говорил, что очень болит спина, это межпозвоночная грыжа (говорят врачи), и нужна операция, а пока он держится на одних лекарствах. Было совестно, что я отвлекаю отца от лечения своими заботами.

Отдохнув с дороги, папа немного повеселел и сказал, что решил поселить меня с детьми в Швейцарии, на Женевском озере, — благо ехать от Дижона всего ничего.

— Я приеду сам туда на лечение по весне, — сообщил о собственных планах, — там хорошие доктора и живительная природа. После операции быстро восстановлюсь.

— Мне так грустно вновь садиться тебе на шею, — вздыхала я. — А теперь и с двумя детьми.

Он махнул рукой:

— Прекрати, пожалуйста, что за счеты. Ты моя дочь, а они — мои внуки. На кого еще должен тратить деньги?

У меня с языка чуть не сорвалось имя Виардо, но смогла смолчать.

Наняли карету и отправились на новое место жительства — через два с половиной часа дороги были уже на француско-швейцарской границе, а еще час спустя въехали в Лозанну. Здесь мы сняли небольшую квартирку с видом на озеро — на втором этаже, три комнатки. Папа заплатил за полгода вперед.

Он сидел в кресле — утомившийся, нездоровый, а вокруг него сустились внуки: Жанне 10 лет, а Альберу — 7, — веселились, прыгали, путешествие им понравилось, оба были полны новых впечатлений.

У отца на губах играла слабая улыбка:

— Вот на старости лет наконец-то обрел семейный уют: дочка, внуки... Никуда уезжать не хочется!..

— Так не уезжай, — предложила я. — Будем вместе коротать времечко. Ты займешься своим здоровьем, мы тебя в лечебнице станем навещать. А потом и дома ухаживать. Вот бы было славно!

Он печально вздохнул:

— Да, конечно... Только не могу. Должен ехать.

— Почему? Я не понимаю. Отчего «должен»? У тебя никого нет на свете роднее нас. И никто тебя не любит так, как мы.

Но наткнулась на его отсутствующий взгляд. Точно так же смотрел Гастон, уверявший, что дети не от него. Взгляд упряма, взгляд одержимого какой-то идеей человека. Спорить с такими бессмысленно.

Папа произнес:

— Там мое шале... Я к нему привык... Там моя душа...

— Господи, помилуй! — вырвалось у меня. — С кем ты там? Дочери Полины вышли замуж, и у них своя жизнь. У Диди маленькая дочка, ей не до тебя, а Мари на сносях... Поль? Он все время в разъездах, на гастролях. А когда не на гастролях, пьет и гуляет. Толку от него? А Луи, говорят, дышит сам на ладан. Остаётся Полина... но она... — Я запнулась и замолчала.

— Да, Полина... — повторил Тургенев, и лицо его неожиданно просветлело. — Мне никто не нужен, кроме Полины... Неужели я предам ее на краю могилы?

— Папа, папа! — Я уже кричала, вне себя. — Что ты говоришь? Отчего «предам»? Поселиться с собственной дочерью и внуками — вовсе не «предам». Мы тебя любим, ты ведь наше солнышко, мы — твоя частичка, а она... ей всегда нужны были только твои деньги!

Ах, зачем я это ему сказала? Сковырнула корочку на зияющей ране. Побледнев, он затрясся и прохрипел:

— Дура! Дура, что ты знаешь о жизни и о любви? Ты, никогда никого не любившая со страстью? И не смей судить. Потому что Марианна у нее от меня. Слышишь, от меня! Я уверен, я уверен точно. Ха-ха, будто бы тебе не нужны мои денежки? Будто бы не хочешь заграбастать все, когда я умру! Лучше бы молчала, ей-богу. Уходи с глаз моих долой. Не хочу видеть.

Я заплакала и упала перед ним на колени, умоляла простить за нечаянную фразу, сказанную по глупости. Он молчал, только раздувал ноздри в гневе. Вновь проговорил:

— Уходи, Полетт. Я хочу посидеть один.

А когда мы с детьми проснулись на другое утро, обнаружили, что отец уехал. Лишь оставил на столе пачку денег. Это был разрыв. Больше мы не виделись никогда.

ПОЛЬ

1.

Я Тургеля обожал с детства. И считал отцом. Пусть не кровным — э-э, какая разница! — но духовным определенно. В детстве он возился со мной и рассказывал русские чудесные сказки. Вместе мы дурачились, хохотали, представляя наших приятелей, приходивших в гости, и высмеивали их слабости. А потом, когда я подрос, очень часто играли в оперетках моей матери на его либретто. Самые лучшие воспоминания прежних лет.

Не хотел чрезвычайно ехать в Карлсруэ на учебу. Но когда Тургель пообещал мне за хорошее поведение подарить скрипку Страдивари, с ходу согласился. Он сдержал слово: правда, формальным покупателем и дарителем выступила мать, но фактически деньги давал Тургель. (Кстати, это в наши времена скрипки Страдивари на вес золота, а тогда хоть и стоили дорого, но не баснословно.)

Был у меня период юношеского разгула — я пустился во все тяжкие, пил, курил, в том числе и кое-что покрепче табака, и любил проводить время с двумя, а то и с тремя любострастницами. Пребывал в каком-то чаду. И никак не мог остановиться. Лишь однажды Тургель мне сказал... Не кричал, как мама, не критиковал, как Луи Виардо, а спокойно, грустно произнес:

— Понимаешь, мальчик... Бог дает нам жизнь... Для чего-то, для чего мы не знаем, ибо замыслов Его никому понять не дано, но какая-то высшая цель имеется... Ведь недаром говорят, что талант — дар Божий... И когда человек плюет на свой талант, не работает и не развивает его, он тем самым пренебрегает Божьим промыслом. Он идет против Бога! И тогда пощады не жди... У тебя талант музыканта, скрипача. Не пренебрегай этим даром. Не растрачивай жизнь на глупости. Нет, никто не запрещает получать мирские удовольствия — удовольствия на то и существуют, чтобы ими наслаждаться. Но не делать гедонизм смыслом бытия. Главное — талант, остальное приложится... Извини за такой длинный монолог и тон проповедника. Просто я хочу, чтобы ты не вывалял свой талант в грязи. Можно не отмыться потом...

Как ни странно, эти простые, незатейливые слова глубоко запали мне в душу. Я подумал, что действительно: мне уже перевалило за 20, а решительно ничего полезного на земле не сделано; вот умри я теперь — и что? — что останется от меня, нынешнего, кем запомнюсь людям — хулиганом, гулякой, женолюбом? Вспомнят ли меня добрым словом? И не сразу, конечно, а постепенно, осознание истины стало озарять мою жизнь. Развернулась концертная деятельность, я сначала выступал как скрипач, а потом и как дирижер... Вскорости женился, сделался отцом двух очаровательных крошек... Впрочем, я теперь не о том, а о Тургеле. Может быть, он один стал для меня авторитетом. Или — один из немногих, уважение к которым я пронес до седых волос. До поры, когда рассказываю об этом.

Приезжая к родичам в Буживаль, видел, как он стареет. А когда в январе 1882 года, разругавшись со своей дочерью, убежавшей с детьми от мужа-тирана в Швейцарию, наш Тургель вовсе слег, я не мог смотреть на него без сердечной боли. Он считал (и врачи его уверяли): это межпозвоночная грыжа; но все знали, видели, что дела много, много хуже — речь идет о неизлечимой болезни...

2.

Умерли они оба почти одновременно — с разницей в несколько месяцев: 82-летний Луи Виардо и 65-летний Тургель. Оба уже не могли самостоятельно двигаться — их возили на креслах-каталках. И однажды выкатили навстречу друг другу, чтобы те смогли попрощаться навек. Мама, рассказывая об этом, горько плакала. Ведь она любила двух своих мужчин — каждого по-разному, но любила...

Первым умер Луи в первых числах мая 1883 года, а в начале сентября — Тургель. Провожал последнего весь цвет образованного Парижа, было море цветов и проникновенные прощальные речи наших классиков. Тело по железной дороге отправили в Петербург.

Я не мог сопровождать гроб с покойным: нарушение графика запланированных концертов мне грозило немалыми неу-

стойками; отказалась и мама, говоря о плохом самочувствии; так решили, что поедут средняя и младшая сестры со своими мужьями. (У Клоди был супругом знаменитый издатель Жорж Шамро, а у Марианны — композитор Виктор Дювернуа.) Ехали они в том же самом поезде, что и Тургель (гроб — в багажном отделении). Возвратившись через пару недель из России, обе рассказывали о том, как полгорода собралось на похороны, люди несли цветы и плакали, но зато сами сестры Виардо встретили достаточно прохладный прием — и со стороны элиты, и со стороны простых горожан: многие не понимали, кто они такие и какое отношение имеют к усопшему. По себе знаю: Петербург — город неприветливый (если ты не вселенская звезда), равнодушный, чопорный, как его гранитные набережные и кованые решетки; а погода и вовсе отвратительная всегда, непонятно, как одеваться; это очередная прихоть Великого Петра — возвести столицу на комариных болотах...

В общем, сестры говорили о Петербурге с неприязнью.

Не успели улечься страсти, связанные с кончиной Тургеля, как возникли новые — после вскрытия его завещания.

3.

Первое: ни моя матушка, ни другие родичи даже не удосужились сообщить Полинетт, что жила в Швейцарии, о кончине ее отца. И она, соответственно, не приехала попрощаться, а узнала о происшедшем только из газет, с опозданием. Черт-те что!

И второе: не могу понять, по какой причине — то ли он действительно так обиделся на свою наследницу, то ли был уже слишком нездоров, что лишался разума, — но, по оглашенному завещанию, Полинетт не получала от него ни сентима. Все имущество, движимое и недвижимое (в том числе в России), все издательские права отдавались Полине Виардо.

Я, когда узнал, просто онемел. При очередной встрече с матерью говорю:

— Ну, положим, наш старик плохо отдавал себе отчет в том, что делает. Но ведь мы-то с тобой люди здоровые и к тому же христиане — надо пожалеть женщину без средств, да еще

с двумя несовершеннолетними детьми — добровольно уступить часть наследства. Или хотя бы ей назначить пенсию — до того, как дети не станут на ноги.

Мать взглянула на меня, как на сумасшедшего. Говорит:

— Уступить? Этого еще не хватало. Раз он так решил, значит, так и будет.

Я заволновался, говорю:

— Нет, ну, погоди, погоди. Полинетт — его единственная признанная дочь и имеет право хоть на крохотную долю наследства...

— Поль, не городи ерунды, — отмахнулась она. — Дочка незаконная, никакого права у нее нет. Ни один суд не сможет опротестовать завещание.

— Да при чем тут суд, мама? Я прошу уступить по-человечески, из гуманных, христианских соображений...

Но моя родительница оказалась сделанной из стали.

— Поль, не лезь не в свои дела. Занимайся музыкой. Как-нибудь разберемся без тебя.

Я ответил ей не без гнева:

— Нет, прости, совесть не позволит мне самоустраниться, бросить Полинетт в трудную минуту. Пусть она некровная мне сестра, но и нечужой человек, ибо не чужим был Тургель. Я сегодня же поеду в Швейцарию, помогу деньгами...

— Личное твоё дело, — огрызнулась мать.

— ...а потом вместе обратимся мы к адвокатам — раз не хочешь по-хорошему, то действительно будем судиться.

У мадам Виардо вспыхнули в глазах злые огоньки, как у хищника. Мать проговорила:

— Будешь со мной судиться?!

— Раз не хочешь решить по-человечески...

— Ты посмеешь бросить мне вызов?!

— Да, посмею. Раз в тебе нет ни капли сострадания.

— Негодяй! — крикнула она. — Прочь из моего дома! Ты не сын мне больше!

Поднимаясь и уходя, я лишь только покачал головой:

— Ах, к чему такие испанские страсти? Ты давно не на сцене, мама. Надо быть проще и отзывчивей. А великая Жорж Санд не узнала бы в тебе нынешней прежнюю свою Консуэло.

— Убирайся! — прогремело мне вслед. — Гадкий, неблагодарный мальчишка!

Этому «мальчишке» было уже в ту пору 27.

4.

Полинетт я нашел в Швейцарии совершенно подавленной и растерянной. Дети и она жили на последние крохи, продавая кое-какие драгоценности и вещи, за квартиру задолжали за несколько месяцев. Мне пришлось заплатить за них, дать наличных денег. Подавать в суд на Виардо дочь Тургеля не хотела категорически, еле удалось ее убедить. Впрочем, все юристы говорили в один голос, что надежды отсудить часть наследства нет практически никакой — все права у моей матери.

Дали объявление в местной газете — сообщали, что мадам Брюэ-Тургенефф приглашает желающих на частные уроки французского языка и литературы, рисования и музыки. За неделю, что я был в Лозанне, набралось шесть учеников. Полинетт слегка оживилась, увидав хоть какую-то перспективу в жизни. Главное, что меня поразило в ней, это ангельская покорность судьбе, ни малейшего осуждения — ни ее отца, ни моей матери. Смысл был такой: он велик, Тургенев, он творец, а значит, богоравен; нам, простым смертным, не дано понять ни Бога, ни богоравных; если Тургенев так решил, значит, и Богу так угодно; это крест, который ей нести до конца.

Бедная Полинетт! С самого рождения никому не нужная, вроде куклы в руках злых детей, отрывающих у нее ручки, ножки... Неприкаянная Полинетт. Никогда не имевшая ни любящей семьи, ни уютного дома, ни Отечества. Как былинка на ветру. Вроде бы на ней висело проклятие рода Лутовиновых...

А с другой стороны, чем я лучше нее, к примеру? Так и не знающий, кто мой настоящий отец? Выросший практически без любви и ласки матери? Чуждый всему семейству Виардо? Как и Полинетт, если бы она или я не родились, ничего не изменилось бы в мире, и Тургель, и Виардо не были бы ни счастливее, ни несчастнее. Совершенная никчемность нашего

бытия. Пустоцветы. Будто бы герань в горшке на окне, полностью зависима от тех, кто ее поливает...

Суд мы проиграли. Полинетт прожила еще 34 года — существуя на деньги от своих уроков, — а когда дети повзрослели, возвратилась во Францию, где узнала о смерти Гастона, но повторно замуж уже не вышла. Умерла в Париже в 1918 году.

Как ни странно, в это же время отдала Богу душу и моя старшая сестра Луиза: обе они были одного возраста, и росли вместе в Куртавенеле, и скончались в возрасте 76 — 77 лет.

Годом позже умерла Марианна.

А чуть раньше — Клоди.

Мать едва не успела справить свое 90-летие — умерла в Париже в 1910 году.

Я пишу эти строки в Алжире — мы с родными убежали сюда от фашистской оккупации Франции в 1940 году. Мне уже 84, дни мои тоже сочтены. И, оглядываясь назад, думаю: что осталось от нас, от всех, от любви, которую мы все переживали? Ноты нашей музыки. Фотографии. Книги Тургеля. Наши потомки...

Так ничтожно мало!

Но от многих других зачастую не остается и этого.

ДЯДЯ ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ

Историческая повесть

1.

Сашка сидел с ногами на кровати (благо хоть туфли снял) и, приткнувшись плечом к подушке, вяло листал какую-то французскую книгу. Было жарко: все-таки начало июля. Из распахнутого окна доносился перестук копыт по булыжной мостовой, иногда лай собак, но негромкий, тоже вялый. Пахло свежим хлебом (от ближайшей булочной лавки) и чуть-чуть речной водой (это от близкой Яузы). В доме тихо — послеобеденный сон.

В дверь его комнаты мягко поскреблись. Заглянула Лёля — старшая сестра. Совершенная девушка уже — без пяти минут 14, скоро замуж. Очень походила на мать — смуглое лицо, ворох темных кудряшек. От отца взяла голубые глаза и насмешливые губы.

— Ты не спишь, голубчик? — ласково спросила.

Сашка потянулся.

— Нет, как видишь. Но, пожалуй, сосну часок — зной меня сморил. — Бросил книжку рядом с собой. И зевнул, прикрыв рот ладонью.

— Я тебе такое скажу, от чего верно не заснешь.

— Да неужто? Кто-нибудь за тебя просватался?

Лёля фыркнула:

— Ой, какие глупости, этого еще не хватало. Речь не обо мне, а как раз о тебе.

— Кто-то за меня хочет замуж?

— Перестань шалить. Дело чрезвычайно серьезное. Ты не едешь поступать в Иезуитский коллегium.

Отрок быстро сел.

— В самом деле? Точно знаешь?

Иезуитский коллегиум в Петербурге каждый год набирал дворянских детей, обучая их главным необходимым предметам — от латинского языка и Закона Божьего до езды на лошади, фехтования и танцев. Заведение было закрытое, строгое, но образование давало прекрасное. Правда, с католическим уклоном, понятно. Это смущало прежде всего бабушку, истинно православную, и она выступала против.

— Бабушка своего добилась?

— Нет, не бабушка, но папá передумал сам. После посещения Малиновского. Знаешь ли его? С дядей Васей завсегда и в Аглицкого клуба.

— Знаю, знаю.

— Ну, так вот: брат его родной, тоже Малиновский, в Петербурге только что государем назначен возглавлять наш коллегиум, схожий с иезуитским, только православный. Будет называться Лицей. И располагаться в Царском Селе.

— И меня отдадут туда?

— Есть такая мысль. Коль экзамен выдержишь.

Сашка спрыгнул с кровати.

— Выдержу, выдержу! Вот увидишь, выдержу. Я не я буду, ежели не выдержу. — Он забегал по комнате. — Не хотел к иезуитам. С ними от тоски сдохнешь. Да небось и секут еще за провинности всякие.

— Нешто наши сечь не станут?

— Э-э, да наши пусть секут, все-таки свои люди!

Встал напротив сестры, посмотрел тревожно.

— А когда ехать-то?

У него тоже были голубые глаза и кудряшки, но светлее, чем ее. А зато кожа более смуглая. Как-то знаменитый поэт Иван Дмитриев, живший по соседству, дядечка простой и веселый, весь рябой от остатков оспы, увидав пятилетнего Сашку, так сказал: «Вылитый арапчик!» А ребенок неожиданно ответил, оскалившись: «Хоть и арапчик, но зато не рябчик!» Дмитриев покатился со смеху.

— Ехать, думаю, что скоро. В августе экзамен.

— Кто ж поедет со мною? Маменька на сносях, да и Лёвка хворает, бабушка сама нездорова, а папá весь в своих делах...

— Разве что дядя Вася? — быстро предположила сестра.

Брат уселся рядом с ней на кровати. Помолчав, сказал:
— Было бы неплохо. Он смешной чудака. Мы с ним хорошо ладим.

2.

Дядя Вася — то есть Василий Львович Пушкин, старший брат «папá» (стало быть, Сергея Львовича) — представлял собой тип жуира и бонвивана, а по-русски — веселого, беззаботного барина, жизнелюба. В 1811 году, о котором речь, дяде исполнилось 44 года. Это был грузноватый, лысоватый мужчина с длинным носом и немного кривыми тонкими ногами; зубы его, от рождения мелкие и некрепкие, то и дело ломались, он их при содействии лекаря выдергивал, и теперь во рту имел не больше десятка; и когда Пушкин-старший говорил, капельки слюны попадали в собеседника, что, конечно, многим не нравилось. Но сердиться никто не сердился — добряку, остряку, хлебосолу, бескорыстной душе — дяде извиняли все его забавные недостатки.

Дядя был поэт. Он печатался в прессе, а стихи его расходились в списках. Так же, в списках, циркулировало в обществе самое лучшее его сочинение — сатирическая поэмка «Опасный сосед». Главный герой поэмы — бражник и женолюб Буянов — отправлялся в нелегальный бордель, выпивал, уединялся с одной из прелестниц, но возникшая в притоне всеобщая драка не дала осуществиться его блудливым желаниям, и Буянов постыдно ретировался... По цензурным соображениям напечатать фривольного «Соседа» не было возможности. Но тогдашняя читающая Россия знала Буянова очень хорошо.

Дядя женился в 1795 году, будучи еще подпоручиком Измайловского лейб-гвардии полка, взяв невесту на 12 лет моложе себя. Ею оказалась юная Капа Вышеславская, только что вышедшая в светские салоны Москвы. Пушкин взял ее практически штурмом — завалил цветами, без конца сочинял стихи на французском и на русском, а мундир военного завершил атаку: девушка, плохо разобравшись в своих чувствах, быстро дала согласие на брак. И отец ее, тоже военный, тоже гвардеец, но Семеновского полка, возражать не стал.

Но медовый месяц пролетел быстро, и семейная жизнь начала буксовать: он служил в Петербурге, а она оставалась в Москве и скучала, и маялась от безделья, занимаясь только рукоделием, музицированием и чтением дешевых французских романов. Чем кончается подобная жизнь молодой красавицы? Правильно: дамочка влюбляется в первого попавшегося красавчика.

Новым предметом сердечной страсти Капитолины оказался бывший сослуживец Василия и Сергея Пушкиных по Измайловскому полку, некто Иван Мальцов. Он был высок, обаятелен и очень богат: по наследству ему достались фабрики стекла в Гусь-Хрустальном. Вспыхнувшая страсть поглотила обоих, и Василий Львович, появившись в Москве после отставки в чине поручика, с удивлением обнаружил у себя на затылке наставленные рога. Юная парочка не таилась: бросилась в ноги обманутому супругу и просила о снисхождении. Старший Пушкин расчувствовался, обнял обоих и сказал, что любовь священна, он не держит зла, потому что и сам грешен, не всегда ведя в Петербурге целомудренную жизнь. Стали думать, что делать. Ведь расторгнуть венчание — дело сложное, хлопотное, долгое. Для развода требовался веский аргумент. И великодушный Василий Львович вызвался взять вину на себя: это он, он изменял супруге, и его надо покарать за прелюбодейство. С тем и подали бумаги в консисторию.

А пока суд да дело, дядя Пушкин поехал развеяться — совершил путешествие в Европу. Взяв с собой камердинера Игнатия и кухарку Груню, он отчалил из Петербурга 22 апреля 1803 года и проследовал по маршруту Рига — Гданьск — Берлин — Париж. По Парижу его водил Карамзин, и они даже побывали на аудиенции у тогдашнего Первого консула Французской республики Наполеона Буонапарте. На вопросы, последовавшие дяде в дальнейшем на Родине, как ему показался Наполеон, дядя отвечал с кислой миной: «Ничего особенного. Слишком уж позер. Он, как я, брал уроки актерского мастерства у великого трагика Тальма».

После Франции была Англия, и затем по морю возвращение восвояси. Вывез из Европы книги в небывалом количестве, чем составил свою знаменитую библиотеку.

Тут и дело о разводе подошло к исходу: 22 августа 1806 года появился указ Священного синода — брак расторгнуть по причине прелюбодейства супруга. Мужа неверного покарать семилетней церковной епитимьей с отправлением оной в монастыре в течение полугода, а затем — под приглядом духовника. Ну и главная кара за неверность: простодушному Василию Львовичу запрещалось отныне венчаться до конца жизни.

Надо сказать, что вначале он отнесся к этим невзгодам легкомысленно, по обычной русской традиции: где наша не пропадала, ничего, мол, переживем! Но когда старший Пушкин по-настоящему влюбился, незавидное его положение проявилось со всей очевидностью.

А влюбился он так, как и подобает истинному поэту: с первого взгляда и до потери пульса. Заглянув однажды в лавку Ворожейкина на Пятницкой (у купца была торговля шелком), чтобы выбрать себе материал на новые галстуки, дядя вдруг узрел через приоткрытые двери конторы юную особу в шелковом же платье. Это была богиня во плоти — тонкая талия, ослепительно-белая улыбка и огромные синие глаза. Обомлев, Пушкин-старший обратился к купцу Ворожейкину, явно запинаясь:

— Александр Николаевич, дорогой, кто сия сильфида у вас в конторе?

Рассмеявшись, купец ответил:

— Да сестренка моя младшая, Нюшка. Хороша, да?

— Ах, мой друг, я буквально ею ослеплен.

— Впрямь красавицей сделалась. Вроде раньше ничего такого, а к шашнадцати годкам стала загляденье. После смерти родителей наших я ей за отца буду.

Дядя произнес:

— Александр Николаевич, сделайте, дружок, одолжение: познакомьте нас.

Тут купец уже посерьезнел:

— Да зачем вам это, уважаемый Василий Львович? Вы человек степенный, в годах, звания дворянского и не нам чета. Посему ни за что не женитесь. А для баловства и всяких там игрищ Нюшку не отдам. Девушка она чистая, непорочная и найдет свою судьбу с кем-нибудь ей под стать.

Но Василий Львович загорелся уже вовсю и такое сокровище уступать непонятному третьему лицу ни за что не хотел. Он проговорил:

— Вы напрасно мне не доверяете, Александр Николаевич. Я как человек благородный и возвышенный думаю только о возвышенных чувствах. Поиграть бедной девушкой, опозорить и бросить — не в моих правилах. Коли Анна Николаевна согласится на знакомство со мною, обещаю никак ей не навредить. Пусть сама решает: примет мою протянутую дружескую руку — буду счастлив, а не примет — навсегда исчезну из ее жизни.

Ворожейкин посопел и ответил сдержанно:

— Хорошо, сударь, потолкую с сестренкой на сей предмет.

— Я приду завтра за ответом, — резюмировал Пушкин и откланялся.

На другое утро он явился в шелковую лавку ни свет ни заря, расфуфыренный и взволнованный. Александр Николаевич вышел к нему неспешно, мрачный, хмурый, губы под усами плотно сжаты, борода какая-то разлохмаченная. И сказал басом:

— Токмо никакого приданого ей не дам.

Дядя, оживившись, отрицательно мотнул головой:

— Никакого приданого мне за ней и не надобно.

— И на полное ваше содержание.

— Разумеется.

— И покроете мне убытки, кои неминуемо понесу, так как вынужден буду взять работника вместо нея.

Не моргнув глазом, тот спросил:

— Сколько?

Ворожейкин почесал в бороде, прежде чем назвать требуемую сумму, — опасаясь прогадать, но, с другой стороны, и боясь перегнуть палку. Наконец выдохнул:

— Ну, не менее полтыщи серебром.

— По рукам!

«Надо было тыщу попросить», — пронеслось в голове у Александра Николаевича, но накручивать цену он уже не решился.

Наконец состоялось знакомство Анны Николаевны и Василия Львовича. Девушка смотрела на него без стеснения, даже

с любопытством, и в глазах ее мелькали игривые искорки. Попростому осведомилась:

— Значит, приглянулась я вам, ваша милость?

Он воскликнул:

— «Приглянулась» — не то слово! Я сражен, я убит наповал вашей красотой!

Ворожейкина рассмеялась:

— Нешто нет среди светских дам, образованных и воспитанных, не таких, как я, покрасивше и полюбезней?

— Полноте, сударыня, разве дело в воспитании и образовании? Годик-другой у меня в дому — и научитесь нужным политесам; почитаете книжки — и постигнете многие премудрости. Дело наживное. А зато душа ваша — чистая, открытая, доброта и отзывчивость в лице, молодость и женственность дорогого стоят. В светских дамах редко такое сыщешь. Сплошь манерницы да жеманницы, слова не скажут в простоте. Я устал от них.

— Я и по-французски совсем не знаю, — повздыхала она.

— Это даже лучше. Русские должны общаться по-русски.

— А родные, близкие и знакомые ваши уж не станут ли презрительно ко мне относиться? Надсмехаться и зубоскалить? Мол, купчиха пошла на содержание к благородному...

Но Василий Львович даже рассердился:

— Перестаньте, Анна Николаевна, о пустом тревожиться. Никому до нас с вами дела нет. Заживете у меня в доме в качестве жены и подруги, стану вас любить и лелеять, развлекать, смешить, вывозить в деревню, угощать, ублажать и заботиться. А про светских зубоскалов забудьте. Пусть перемиывают нам косточки. Если мы с вами будем счастливы, остальное не имеет значения. Верно говорю.

Ворожейкина покусала губки, отчего показалась ему еще милевиднее, бросила на Пушкина добрый взгляд.

— Что ж, Василий Львович, будь по-вашему. Я согласна. Как написано в одной умной книжке, лучше сожалеть о том, что сделано, нежели грустить о том, что не задалось.

Дядя улыбнулся:

— Несомненно, так. Сколько времени нужно вам на сборы, голубушка?

Девушка пожалала плечами:

— Да немного, наверное. Завтра к утречку буду уж готова.

— Значит, до утра! — И, склонившись, поцеловал ее невесомые пальчики.

Наконец-то Василий Львович сделался настоящим семьянином; после переезда Аннушки в его дом, после бурных ночей и наполненных лирикой дней он узнал, что станет вскоре отцом. Под конец 1810 года родилась его дочка, окрещенная Маргаритой. Дать ей свою фамилию он не мог по известным всем причинам, посему записали в метрике просто — «Маргарита Васильева».

3.

Предложение брата, Сергея Львовича, ехать в Петербург с племянником, Александром Сергеевичем, дядя воспринял, как всегда, живо и с энтузиазмом. Благостно расплылся:

— Да какие сомнения, Серж, с удовольствием возложу на себя эту миссию. Я и сам подумывал навестить нашу Северную Пальмиру. И литературные, и масонские дела накопились. Грех не воспользоваться okazjiей.

— Экипаж наймем.

— Да, возьму ямскую карету на четверых.

— Отчего же на четверых? — удивился Сашкин папá.

— Аннушку с ребеночком я одну не оставлю. Да и в Петербурге она не была ни разу, осчастливлю лапушку. А четвертым — известно, кто: мой Игнатий. Как я без него? Он слуга, камердинер и с Маргошкой посидит, если что, вместо няньки. Доверяю ему, словно бы родному.

— Да, пожалуй, пожалуй.

Тут же позвали Александра. Он явился сияющий, зная о грядущей поездке и уже придумав целый план своей новой жизни в Царском Селе и Петербурге, без пригляда родителей. Бархатный костюмчик на нем выглядел слегка маловатым и довольно детским — назревала необходимость сшить одежду по возрасту.

— Ну те-с, мон шер фис¹, дядюшка не против сопроводить тебя. И останется в Петербурге до начала твоей учебы в Лицее — вплоть до октября. Если, конечно, выдержишь экзамен, и тебя зачислят.

Отрок повторил недавнее:

— Выдержу, выдержу, я не я буду, коль не выдержу!

— Хорошо, старайся. И не опозорь рода Пушкиных.

— Не тревожьтесь, папá.

Вставил слово и Василий Львович:

— И смотри, у меня чтобы не проказить. Я хоть человек добрый, снисходительный, но досужего баловства да и непотребств всяких ни за что не спущу. Сразу предупреждаю.

— Ах, мон онкль², — отозвался племянник, — что за глупости, я ведь не ребенок уже и умею себя вести.

— Поживем — увидим.

Начались традиционные хлопоты накануне поездки. Сашке сшили новую пару нижнего белья, две сорочки, длинные панталоны, белый в полоску жилет, несколько шейных платков, курточку-пиджак из сукна и картуз. Разумеется, низкие сапожки и туфли. В этом одеянии он смотрелся достаточно модно и довольно-таки по-взрослому, впрочем, детское лицо, чрезвычайно подвижное, несерьезное, все равно оставляло впечатление некоей ребячливости, явно говорило: обладатель подобной внешности может в любой момент отмочить что-нибудь из ряда вон выходящее.

Заглянувшая к Пушкиным тетя Лиза — Елизавета Львовна, младшая из сестер папá, замужем за богатым помещиком Сонцовым, подарила племяннику 25 рублей серебром. И сказала: «Это на орехи тебе. Обучайся как следует. Ты надежда нашей семьи».

От нее не отстала и другая тетка — Анна Львовна, старая дева. К ней в свое время сватался поэт Иван Дмитриев, их сосед, но она ему решительно отказала. И осталась девой. Так же, как и он, кстати: оставался холостяком. Тетя Аня подарила Сашке 10 рублей и поцеловала в висок.

Бабушка Мария Алексеевна оказалась щедрее и вручила внуку 35. Строгая, дородная, говорила она низким грозным

¹ Мой дорогой сын (фр.).

² Мой дядя (фр.).

голосом и командовала в доме всей прислугой. Много лет назад, будучи уже не слишком юной невестой, вышла замуж за отставного капитана морской артиллерии Осипа Абрамовича Ганнибала — сына «арапа Петра Великого». Но семейная жизнь у них как-то не сложилась — вскоре после рождения общей дочери Наденьки молодые расстались. Осип окончил дни свои в родовом имении Михайловское на Псковщине.

Бабушка воспитывала внука Александра с самого его детства. Поселившись в доме у Пушкиных и увидев, что ее внук в 4 года говорит только по-французски (от своих родителей и от гувернеров), стала обучать его русской речи. Вместе с няней, бывшей крепостной, а затем вольноотпущенной Ариной Родионовной Яковлевой, пела ему русские песни и рассказывала русские сказки. И была против, чтобы он поступал в Иезуитский коллегиум.

— Сашенька, — напутствовала она, — будь благоразумен и своих наставников слушайся в Лицее. Он под патронажем самого государя-императора. Кланяйся ему от меня при случае. Мы знакомы с ним, да и деда моего, Ржевского, фаворита Петра Великого, тоже наверняка помнит. Уж не говоря про Абрама Ганнибала. Должен относиться к тебе особо.

— Поклонюсь непременно.

— И не забывай писать мне письма. Не прошу каждую неделю, но раз в месяц — сам Бог велел. Я молиться за тебя стану.

— Благодарствую, бон-маман¹, — поклонился внук.

В то же время мамá, Надежда Осиповна, урожденная Ганнибал, ныне Пушкина, не дала сыну ни копейки, но зато наставлений прочитала на сто рублей. Смуглая, высокая, в свете носила прозвище Belle Créole — Очаровательная Креолка. Несмотря на то, что рожала часто, сохраняла стройность фигуры. Из рожденных ею на тот момент шестерых детей выжили только трое — старшая Ольга, средний Александр и младший Лев. И была беременна седьмым чадом. Посему всё на свете ее раздражало, и к отъезду Сашки отнеслась она как-то легкомысленно, даже безучастно. Шестилетний Левушка занимал ее мысли больше.

¹ Бабушка (фр. разг.).

Обругав неумение среднего сына хорошо одеваться, хорошо танцевать, хорошо говорить и не делать глупостей, так сказала:

— И пожалуйста, прекрати воображать, точно ты какой-то особенный, выдающийся, гений и любимец богов. В нашей семье поэт один — дядя Базиль, этого достаточно. Надо не в эмпиреях витать, как он, а занять свое верное место в жизни. Чин приобрести в Министерстве внешних сношений. В результате стать, например, посланником России пусть и в небольшой, но приличной стране, например, Греции или Португалии. Лучшего для тебя, мой друг, я и не желаю.

— Постараюсь, мамá.

А папá тоже был в делах и, хотя необходимые деньги выделил на поездку и на проживание в Петербурге, обещая потом добавить по почте, находился в обычном рассеянном состоянии духа, вроде не от мира сего. Выслушав чадо накануне отъезда как-то отстраненно, глядя в сторону, возвратился к действительности только после того, как сын ему поведал, что от теток и от бабушки получил на дорогу в общей сложности 70 рублей. Что-то подсчитав, Сергей Львович произнес:

— Я добавлю тридцать, чтобы вышло сто. Но боюсь доверять тебе подобную сумму. Отдадим деньги дяде. Он тебе станет выдавать по необходимости.

Сашка согласился.

Засветло 16 июля вместе с бабушкой и сестрой он отправился в церковь Богоявления в Елохове на заутреню. Женщины на хорах пели очень чисто, проникновенно, а зато поп читал Святое Писание как-то скороговоркой, половины слов, да еще по-церковнославянски, не понять. Пушкин-младший слушал его вполуха, стоя перед ликом Николая Чудотворца и прося его о защите в дороге, шевеля губами беззвучно. Кланялся и крестился вслед за бабушкой.

Подошел на исповедь. У святого отца при взгляде вблизи оказались красные прожилки на носу и щеках и глаза какие-то подозрительно мутные. «Пил вчера, собака», — догадался Сашка, но сумел удержать улыбку.

— Грешен ли ты, сын мой? — спросил священнослужитель с хрипотцой в голосе.

— Так, по мелочам, отче, — без утайки ответил отрок. — Иногда сквернословлю и бываю несдержан. Иногда не слушаю старших.

— Сквернословие есть не мелочь, но большой грех, — с осуждением покачал головой исповедник. — Все дурные слова — от лукавого. И непослушание — грех. Но уже хорошо, что осознаёшь. Должен постараться не грешить впредь, а былые грехи отпускаю тебе.

Сашка поцеловал его серебряный крест.

После причащения вышли на улицу. Было семь утра, и не так жарко. Но Немецкая слобода уже шевелилась, открывались лавки, бегали приказчики, ведра звякали о борта колодца. Пушкины жили близ Немецкой улицы около Яузского моста в полудеревянном-полукирпичном доме. Он принадлежал графине Головкиной, управляющим у которой состоял Иван Васильевич Скворцов, бывший сослуживец Сергея Львовича, и помогший их переселению. Дядя Вася обретался неподалеку — в Харитоньевском переулке — и уже оттуда должен был заехать в наемном экипаже за племянником. Времени в обрез — уложить последние вещи, выпить чаю на дорожку, попрощаться со всеми.

Лёля робко плакала, утирая слезы платочком.

— Ты чего, ты чего? — теребил ее брат. — Не на век расстаемся же: отучусь и приеду.

— Ах, за эти годы мало ли что случится!

— Отчего непременно плохое? Может, только хорошее?

— Если бы, если бы!..

Забежал в детскую и поцеловал Левушку. Тот смотрел на Сашку испуганно, мало что понимая. А любезная Арина Родионовна в домотканом платочке тихо перекрестила бывшего питомца, прошептав со слезами в голосе: «Господи, храни ты!»

Не успели сесть к самовару, как подъехал экипаж с дядей. Он вошел в столовую в дорожном сюртуке и высоких сапогах, озабоченный и неласковый. Попенял всем:

— Некогда чай распивать, надо ехать.

— Только половина восьмого, что за спешка, Базиль? — удивился Сергей Львович, глядя на карманный хронометр.

— Мы должны вовремя прибыть в Клин, где потом заночуем. У меня все рассчитано, Серж. А иначе и в неделю не

уложимся, право слово. — Чуть смягчившись, добавил: — Не оставим Сашку голодным, не волнуйтесь: Анна Николаевна напекла пирожков в дорогу целую корзинку. С мясом, рыбой, яйцами, ягодами.

— Я люблю с вишнями! — рассмеялся племянник.

— Значит, с вишнями будут твои.

Все-таки по чашечке удалось выпить и уже потом побежать к выходу. У ворот двора поджидала карета — на высоких колесах с деревянными ободами (шин еще не знали), но зато на рессорах для смягчения тряски; корпус для пассажиров походил на яйцо с небольшим окошечком, занавешенным пестрой тканью, и складными ступеньками; место кучера — под навесом-козырьком, чтоб не мок в непогоду; экипаж был наемный и возничий наемный — лишь до Клина, а потом его должен был сменить новый; кучер сидел на козлах в темно-синем низком цилиндре с пряжкой спереди, в синем же кафтане с медными пуговицами, бородатый, хмурый, погруженный в свои ямщицкие думы. Рядом курил трубочку дядин слуга Игнатий Хитров и смотрел, как другие слуги привинчивают к запяткам Сашкин сундук.

Пушкины высыпали на двор, начались прощальные поцелуи, благословения и объятия. Женщины рыдали, даже мамá смахивала с ресниц редкие слезинки. Все напутствовали героя — он кивал, обещал писать. Дядя подгонял, наконец племянник, Василий Львович и Игнатий забрались в карету. Там сидела Анна Николаевна в сером закрытом платье, но без шляпки, и держала на коленях 8-месячную Марго; будучи женой незаконной, Вороржейкина в доме Сергея Львовича никогда не бывала, чувствуя себя не такой, как они, и поэтому не вышла даже поздороваться. Девочка у нее на руках спала, не подозревая, что ее сейчас повезут далеко-далеко, к Финскому заливу.

— Доброе утро, — прошептал Сашка, чтобы не будить двоюродную сестру, не решив пока, как ему называть дядину подругу — «тетя», «Анна Николаевна» или просто «Аня» (разница в возрасте у них была только пять с половиной лет).

— Доброе, доброе, — покивала та. — Хорошо, что вёдра. В дождь по нашим дорогам ездить — страх!

— Да уж, — поддержал ее мысль Игнатий; он был чисто выбрит, но с усами; от него пахло табаком. — Помнится, ездили мы с барином в ихнюю деревню Болдино, года три назад. И как раз приключились страшные дожди. Так в дороге завязли и едва не утопи — ей-бо. — Тяжело вздохнул. — А зато по европам, помнится, едешь — будто по паркету, ни тебе колдобинки, ни ухаба — вот умеют же люди! Нам до Европы далеко.

Дядя довольно резко оборвал их беседу и сказал в окошко, сквозь которое можно было общаться с кучером:

— Трогай, трогай, голубчик. Солнце высоко уж.

Через Красные ворота выехали к Сухаревке, а затем через Марьину Рощу и Останкино в сторону Тушина.

Глядя на дорогу сквозь раздвижные занавески, дядя произнес:

— Где-то здесь стоял лагерем Тушинский вор.

— Кто таков? — спросил Сашка.

— Как, ты не знаешь? — удивился Василий Львович. — Грех не знать русскую историю. Ну, Бог даст, выучишь в Лицее. — Помолчал немного. — Дело было два столетия тому как. После смерти царя Иоанна Васильевича Грозного, а потом Федора Иоанновича и Бориски Годунова началась у нас великая Смута. Стали возникать самозванцы, говорившие, что они — сыновья Грозного. То есть наследники престола. Вот один из них — и этот, Тушинский вор. Но конец у всех был один — смерть собачья.

Анна Николаевна, прошептав: «Господи, помилуй!» — осенила себя крестом. А племянник воскликнул:

— Прямо греческая трагедь!

— Совершенно верно, — согласился Пушкин-старший. — В нашей истории пруд пруди таких сюжетов. Взял любой — и пиши драму. Жаль, что нет пока Еврипида или Эсхила русского.

Сашка посмотрел на него внимательно, но смолчал.

Двигались ни шатко ни валко — где-то 8 верст в час¹. Сделали небольшой привал в лесочке вскоре после Черной Грязи — на траве расстелили ковер и, рассевшись на нем, хорошо

¹ Примерно 17 км/час.

закусили. Анна Николаевна, уединившись с Марго в карете, покормила ее грудью. Девочка смотрела на всех спросонья, иногда неожиданно улыбалась, иногда вдруг сдвигала бровки. Долго-долго разглядывала кузена. Он не выдержал, высунул язык. Это ей почему-то не понравилось, и она расплакалась. Дядя хохотал.

К трем часам пополудни подкатили к Клину.

4.

Породок был маленький и довольно пыльный. На торговой площади много подвод с товарами. Впереди виднелась пожарная каланча, а за крышами — купола храма и колокольня. Развернулись около какого-то постоянного двора.

Первым вылез Игнатий и пошел узнавать насчет мест. Вскоре возвратился:

— Говорят, есть три комнаты — две на верхнем этаже и одна на первом. И за всё про всё до завтра запросили полтину.

— Хорошо, согласен, — покивал Василий Львович, — распорядись, голубчик. Мы устроимся на втором, а ты снизу. Приходи потом за вещами.

Расплатились с кучером, тот просил набросить 20 копеек на хлебное вино, дядя дал 10. Новый кучер — ехать до Твери — должен был прийти завтра утром.

Сашкина комната очень его порадовала — деревянная кровать, столик, стул, рукомойник с тазом и свеча в подсвечнике. На окне красовался горшок с геранью. За окном виднелась река Сестра.

Дядя заказал обед из трактира в номер, но племяннику в жару не хотелось есть — похлебал окрошку и слегка пожевал кусок расстегая с вязигой. Пушкин-старший сказал:

— Отдыхаем часок-другой. А затем я намереваюсь отправиться в гости к своему давнему приятелю по Измайловскому полку Бурцову. Он отличный малый, хоть и домосед. Если хочешь, дружок, я с собою тебя возьму. — Видя кислое лицо Сашки, с хитрецей заметил: — У него две прелестных дочери — старшей лет четырнадцать, а другой, я думаю, около двенадцати.

Пушкин-младший тут же согласился.

Дом Бурцова был неподалеку от церкви Успенья Пресвятой Богородицы и напротив дома городничего. Милый особняк в один этаж. Деревянные ворота. Во дворе — хозяйственные постройки.

Встретить именитых гостей вышел сам хозяин — совершенно лысый, но с пушистыми бакенбардами, в фиолетовом фраке и кремовых брюках со штрипками. Трижды облобызался с дядей. Произнес со смехом:

— Что-то ты располнел, Базиль. Много кушаешь жирного, наверное?

— Грешен, грешен — жирного и мучного, и сладкого.

— Наживешь подагру.

— Это уж как Бог даст.

Познакомил друга с племянником. Рассказал, что везет его в Лицей.

— Дело хорошее. Я своего Николеньку тож отдам в Лицей, когда вырастет. Не пушу по военной части, нечего ему сабелькой махать, мы люди мирные.

— Так тебя можно с сыном поздравить? Я не знал, Антоша.

— Третий год уже, слава Богу. Не нарадуемся, глядя на него.

Сашку познакомили с дочерьми. Младшая, Ольга, походила на куколку, голубые глаза-пуговицы, розовые щечки, светлые кудряшки. А зато старшая, Татьяна, хороша не столь, но в ее задумчивых карих глазах с поволокой был замечен ум. Дядя предложил:

— Напиши им в альбом что-нибудь.

Молодой человек смутился:

— Уж не знаю, право. Разве что по-французски...

Старшая сказала:

— Сделайте одолжение, мсье Пушкѳн.

Принесли альбом с золотым обрезом и перо с чернильницей. Сашка уединился в уголке гостиной, думал, кряхтел и кушал опушку пера. Наконец вписал несколько строчек, перевод дословный которых выглядит так:

Тоскою, одиночеством томим,
Влачился я в ночи, не разбирая дорог.
И вдруг передо мною зажглись два солнца:
Первое — Татьяна и второе — Ольга.
И свет этих солнц озарил мне душу,
И я воскрес, и вспыхнул сам,
И мне захотелось жить, смеяться, любить,
И я полюбил весь Божий мир, ставший отныне и моим.

Барышни, прочитав, хлопали в ладоши и называли Пушкина-младшего гением. Пушкин-старший тоже сиял.

Засиделись до девяти вечера. Наконец начали прощаться: завтра рано вставать, чтобы ехать дальше, и хозяевам тоже надо от гостей отдохнуть. Сашка, прощаясь, обратился к Татьяне:

— Разрешите написать вам письмо с дороги?

Та застенчиво улыбнулась:

— Буду рада получить от вас весточку. Непременно отвечу.

По дороге на постоянный двор дядюшка спросил:

— Что, понравилась?

А племянник с живостью ответил:

— Очень, очень. Я почти влюблен.

— Видишь, а идти не хотел. Счастье и несчастье подстерегают нас в самых неожиданных обстоятельствах, мой дорогой.

Сашка у себя в номере, взбудораженный, возбужденный новым знакомством, долго не мог уснуть.

5.

Утром новый возница не пришел, и Игнатий отправился на почтовый двор, чтобы выяснить, что произошло. Оказалось, тот вчера так напился, что никак до сих пор не мог протрезветь. Как его ни будили, он не понимал ничего и ругался скверно. Разумеется, о поездке с ним не было и речи.

Слава Богу, удалось отыскать еще одного, не занятого, хоть и молодого, лет, наверное, двадцати, но вполне вменяемого кучера. На вопрос, довезет ли барина с семьей до Твери, даже

удивился: «Что ж не довезти? Тут дорога прямая, ехай не хочу. Пятьдесят верст без малого. К двум часам пополудни доставим».

Но, пока чай попили, вещи сложили, собрались, погрузились, было уж без пятнадцати десять. Сашка, плохо спавший ночью, то и дело клевал носом. И Марго расхныкалась, Анне Николаевне еле удавалось ее успокоить, как она начинала снова. Даже дядя занервничал: «Аннушка, голубушка, сделай что-нибудь — у меня уже голова гудит от этого визга». Женщина вздыхала: «Что-то беспокоит малютку. Видимо, животик. Был с утра в небольшом расстройстве». — «Этого еще не хватало. Коли расхворается — вся поездка насмарку». — «Может, обойдется». Напоила девочку рисовым отваром, приготовленном еще на постоялом дворе, и Марго затихла.

— Волгу, Волгу переезжаем!

Сашка вздрогнул от того, что Василий Львович ткнул его в плечо.

— Все на свете проспишь, племянник. Волга — посмотри.

За окошком виднелись берега, поросшие камышом, ласточки, снующие над своими гнездами в круче, и огромная гладь реки. Лодки, парусники, баржи — все это деловито двигалось взад-вперед, словно по широкому тракту.

— Красота, — согласился отрок, протирая глаза. — Кушать скоро будем? Что-то я немного оголодал.

— Переправу минуем — там и расположимся. Искупаться не хочешь? Я от пота взмок.

Сашка сразу проснулся окончательно.

— Ух, да я за милую душу.

— Значит, по рукам. И пока Аннушка будет снедь готовить, мы и окунемся.

Дядя в полосатых подштанниках выглядел довольно комично, пузо было круглое, полужидкое и болталось при ходьбе из стороны в сторону. Сашка шагал в прибрежной воде на тонких ногах, как цапля. Наконец Пушкин-старший, зайдя по пояс, охая и ахая, бросился в волны и поплыл по-собачьи, только хохолок на макушке прыгал вверх-вниз. Вслед за ним поплыл и племянник, пару раз нырнул, а потом выныривал, фыркал и плевался. Дно было глинистое, скользкое. От души

поплескавшись, вылезли на берег. Вытерлись полотенцами и в кустах сменили мокрое белье на сухое. Не спеша оделись.

— Манифик, манифик!¹ — восклицал по дороге Василий Львович; раскрасневшийся и взбодренный, он как будто помолодел, даже приосанился. — И усталость, и тревоги как рукой сняло. Вот она, волжская водица что делает. Омовение — великая вещь. Омовение — очищение во всех смыслах.

— Да, приятно.

— Нет, не просто приятно: почитай, что у всех народов имеются обряды, связанные с водою. Иудеи, магометане, христиане — все, все. А старинные купальские празднества? Потому как вода — не просто жидкость. Где вода — там жизнь.

Их беседу прервали крики, доносившиеся с поляны, где они расположились. Выйдя из-за деревьев, оба увидели, как Игнатий лупцует молодого возницу.

— Стойте, стойте! — еле удалось их разнять.

Драчуны тяжело дышали и смотрели друг на друга волками.

— Что случилось?

Камердинер ответил, перекатывая на скулах желваки:

— Висельник, сквернавец... дрянь такая... Ишь, чего удумал — к Анне Николаевне приставать!

— То есть как это «приставать»? — изумился дядя.

— Не желаю говорить гадости такие. Пусть расскажет сам.

Парень, утирая кровь, капавшую из носа, глухо пробурчал:

— И рассказывать нечего. Что ему в голову взбрело? Просто помогал доставать съестное. Разве это грех? Не успел оглянуться — налетел на меня, как коршун...

— А за локоть ея нешто не хватал?

— Дык они ножку подвернули, я и поддержал.

— Врешь, поганец, я видел!

— Аннушка, скажи, — обратился Василий Львович к своей подруге. — Было, не было?

Та, пунцовая, замахала руками:

— Ах, оставьте меня в покое! Чадо потревожите. Ничего не ведаю, ничего не было.

¹ Превосходно! (фр.)

Разобидевшись, Игнатий сказал:

— Что же вы, уважаемая Анна Николаевна, дураком меняставляете перед барином? Нешто я слепой, зряшно его побил?

— Вот выходит, что зряшно, — отозвался кучер, чувствуя, что его сторона берет. — Извинения теперь попроси.

— Да пошел ты! — Камердинер отвернулся и присел на пенек, ссутулившись. Трубку закурил.

— Полно, полно, голубчик. — Дядя потрепал его по плечу. — Померещилось, поди. Ну и на старуху бывает проруха. Не сердись. Виноватых нет.

— Да я сам видел, вот вам крест, барин!

— Хватит, замолчи. Подкрепись — и забудь.

— Не хочу, не стану.

Возчик же от пищи не отказался и с большим удовольствием слопал кусок телятины, хлеб и яблоко, выданные ему, а потом запил квасом.

Сашка подсел к Игнатию, протянул ему булку. Произнес вполголоса:

— Ладно, съешь, приятель. Я тебе верю. А ему — ни капли.

Камердинер посмотрел на Пушкина-младшего с благодарностью:

— Вы меня один понимаете, барич. — Отломил кусок калача и не слишком охотно сжевал.

— Так-то лучше будет. Это правда, Игнатий, что ты стихи на досуге сочиняешь?

Опустив глаза, головой качнул:

— Да с чего вы взяли, Александр Сергеевич? Кто вам наболтал сие?

— Слухами земля полнится.

— Вовсе не стихи... так, безделицы...

— Почитаешь после?

— Совестно, ей-богу.

— Вечером, в Твери, загляну к тебе в гости, вот и почитаем: ты мне свои, я тебе — свои. Правда, я пишу больше по-французски, ну да и по-русски кое-что отыщется.

— Ох, не знаю, не знаю, право.

Заморив червячка, погрузились в карету и продолжили путь.

6.

Постоялый двор, на котором они остановились в Твери, был намного солиднее клинского. Сняли четыре комнаты на одном этаже: две, смежные, для Василия Львовича с женой и ребенком, а другие, поменьше, для племянника и слуги. В номере у Сашки вместо огарка в подсвечнике оказалась целая масляная лампа, на конторке — перо и чернильница, а в углу — платяной шкаф и зеркало. Правда, вид из окна был уже не на реку, а на шумную торговую площадь — с соответствующими запахами от груженных телег, сена и бесчисленных лошадей. Ну, да Бог с ними, вечером базар поутихнет, и прохлада, тишина освежат его.

Вместе с дядей отправился на почту: тот ждал писем из Петербурга от своих собратьев «вольных каменщиков» — масонов. Да, Василий Львович был масон: год назад петербургская ложа «Соединенных друзей» приняла его в свое лоно. Вместе с композитором Кавосом написал он несколько песен, воспевающих Родину, императора и масонское братство. Но теперь собирался уйти в другую ложу — «Елизаветы к добродетели», более скромную, но более строгую, и к тому же ритуалы в ней происходили на русском языке (в первой — только по-французски). Сашка спрашивал у Пушкина-старшего, для чего это нужно — быть масоном, в чем главный смысл. Дядя отвечал довольно туманно:

— Понимаешь, дружок, люди — существа стадные, в одиночестве пропадают, разве что Робинзон на острове смог преодолеть все невзгоды, впрочем, обретя вскоре Пятницу. Вот и мы, люди слова и дела, жаждем войти в какое-то сообщество. Да, ходил я, хожу в Аглицкий клуб обедать, провожу время, болтаю, но серьезного сообщества там нет. А масоны — сила. По всему свету. Все поддерживают друг друга. И готовы выступить сплоченно за идеи справедливости.

Пушкин-младший предположил:

— Словно якобинцы, выходит?

— Боже упаси! — испугался дядя. — Мы не карбонарии, хоть среди якобинцев было много масонов. Мы не воины, а строители — каменщики. Строим новую мораль, новые традиции в дружеских кругах просвещенных людей. Понимаешь, масоны суть элита каждой страны. Лучшие умы. С лучшими идеями. Кстати, государь, Александр Павлович, тож масон.

— А когда мне можно будет вступить к вам?

Улыбнувшись, Василий Львович ответил:

— Повзрослей, отучись — и тогда уж. Коли станешь достоин — лично поручусь за тебя.

Тверь казалась не менее пыльной, чем Клин, и повозки, проезжая по главной улице — мимо Путевого дворца Екатерины Великой — поднимали такие клубы, что смотреть и дышать было невозможно несколько минут кряду. Бегали собаки. За деревьями и лужайками парка различалась набережная, местный Променад, и степенная Волга катила синие волны куда-то в бесконечность, как Лета.

В помещении почты было жарко и пустынно. Молодому служащему за стойкой минуло не больше семнадцати-двадцати, он смотрел на вошедших с некоторой тревогой и недоумением. Дядя получил письма, сел на лавку, распечатал, начал изучать. Сашка от делать нечего попросил четвертинку бумаги и, подумав, принялся сочинять; он писал по-французски, это получалось у него без ошибок; вот подстрочный перевод:

«Несравненная Татьяна Антоновна, разрешите выразить Вам глубочайшее почтение мое. Наша давешняя встреча все нейдет у меня из памяти. Сердце мое ранено. И при первой же okazji к Вам пишу.»

Мы теперь в Твери. Добрались благополучно, даже по дороге искупались в Волге. Что за прелесть эта Волга, настоящая русская река, от которой веет былинной стариной. Интересно, что обозначает сие название? Схоже с волком, но, скорее, ближе к волхвам. С третьей стороны, сбрасывать нельзя со счетов древнего славянского бога Волоха (Волоса, Велеса). Не забудем, впрочем, и небесный рай у варягов — Валгаллу. Кстати, не исключено, что у всех этих слов единый корень изначально.

Низкий поклон сестрице Вашей, Ольге Антоновне, батюшке и другим домочадцам. Чем Вы заняты ныне? Вспоминаете ли меня? Буду счастлив, если мне ответите. Можете писать на почту Новгорода Великого, где мы будем дня через три (ящики почтовые скачут нас резвее раза в два), потому как адреса моего в Петербурге я пока не знаю.

*С самыми светлыми чувствами к Вам
Александр П.».*

Попросил у дяди денег за бумагу, конверт и отправку (марки еще не изобрели). Тот, конечно, начал ворчать, что такие траты подорвут бюджет семьи, но племянник напомнил о своих ста рублях, выданных родичу просто на хранение, и Василий Львович сдался. Вскоре вышли на свежий воздух.

— Что там ваши масоны? — спросил отрок.

— Ждут меня не дождутся. Собираются избрать ритором логи.

— Что сие означает?

— Ритор, говоря по-русски, вития. Он готовит братьев к посвящению, разъясняет смысл нашего учения и символики. Цензурирует речи братьев. Должность почетная и ответственная.

— Но ведь вы бываете в Питере только наездами — сможете ли справляться с обязанностями?

— В том-то и вопрос.

Заглянули в трактир, выпили смородинового квасу, дядя сделал заказ на ужин — чтобы принесли к нему в номер.

Неожиданно наткнулись на взволнованного Игнатия, торопливо идущего по двору. Камердинер перекрестился:

— Слава Богу, вы здесь. Анне Николаевне дурно.

— Дурно? Отчего? — обомлел Пушкин-старший.

— Не могу знать. Голова ея закружилась, чуть не уронили ребенка — еле подхватил. И теперь лежат бледные. Попросили идти искать вашу милость.

— Так идем скорее.

Обнаружили молодую женщину в номере уже не лежащую, а сидящую, впрочем, все еще слабую. Начала извиняться:

— Не серчайте на меня, дорогой Василий Львович, что пришлось потревожить и прервать прогулку вашу. Всё уже вроде обошлось. Видно, от жары это.

— Нет, сейчас я пошлю за доктором.

— Ах, прошу вас, не надо, не смешите людей. Да и денег жалко.

— Для тебя, душенька, мне не жалко никаких денег.

Через четверть часа камердинер притащил седоватого господина в очках, с небольшим саквояжиком в руке. Господин представился Федором Георгиевичем Штраубе, ординатором местной больницы. Выгнав посторонних в смежную комнату (то есть мужа, племянника и Игнатия с девочкой на руках), он уединился с Анной Николаевной и держал ее минут двадцать. Наконец появился нахохленный и сосредоточенный. Дядя встал:

— Что, что, скажите, Федор Георгиевич, любезный? Плохо или хорошо?

Врач взглянул на него сквозь очки и проговорил медленно:

— Так, скорее, хорошо, чем плохо. Есть отдельные неблагоприятные показатели, но, я полагаю, молодой организм с ними справится. — Произнес торжественно: — Поздравляю, милостивый государь: что-нибудь к весне, я думаю, сделаетесь отцом.

Дядя ахнул:

— Как?! Неужто?! Господи, помилуй! Вот так новость! — Он схватил доктора за оба запястья. — Согласитесь с нами отужинать. Не отказывайтесь, право. Я пошлю за самым лучшим вином, что найдут здесь!

Штраубе кивнул:

— Что ж, пожалуй. У меня визитов больше на сегодня не намечается.

Ели, пили от пуза. Сашка осоловел от пищи и единственной рюмочки вина, разрешенной ему дядей. И пошел к себе в номер подремать. А проснулся около девяти вечера, вспомнил, что обещал заглянуть к Игнатию, почитать свои и послушать его стихи.

Постучал в комнату к слуге. Тот ответил не сразу и каким-то не своим, свалывшимся голосом, но потом открыл. Был довольно пьян и смотрел на барина смурным взором. Пробубнил:

— Полноте, Александр Сергеевич, что за блажь вам вступила в голову? Никакие и не стихи, а частушки. И к тому же со словами богохульными.

— Ух ты! — У подростка загорелись глаза. — Ну, теперь уж точно от тебя не отстану, не уйду, пока не споешь.

Камердинер тяжело завздыхал:

— Вот ведь угораздило... Проходитя, конечно, не стоять же теперь в коридоре. Выпить не желаете? У меня, конечно, не такое барское вино, как Василий Львович заказывали, но берет быстро.

— Ладно, выпью.

В сущности, у Игнатия оказалась просто водка, но не слишком крепкая — как сказали бы мы теперь, градусов 18-20, — а тогда это называлось «хлебное вино». Сашка опрокинул в себя стаканчик, резко выдохнул и заел квашеной капустой. Сразу повеселел.

— Ну, давай пой свои частушки.

— Право, не могу — совестно дурными словами уши пачкать ваши. Это ж сочинено не для бар. С мужиками да бабами выпьем на посиделках — и частушками потешаемся.

— Вот и меня потешь теперь. Да не бойся: все твои «богохульные словеса» я давно и сам знаю.

— А не скажете потом на меня барину? Мол, ребенка приобчал к непотребству?

— Не скажу, не скажу, свято обещаю.

Повздыхав еще, выпив чарочку для разгона и для храбрости, камердинер выдал:

Как у нашего Ванятки
Оторвался ... на грядке:
Больно сильно им махал,
Когда галок разгонял!

Сашка хохотал так, что едва не свалился под стол со стула. Хлопал себя по ляжкам и повторял: «Оторвался!.. Галок разгонял!..» — и опять смеялся до упаду. Слезы вытирал.

— Ух ты, дьявол, — наконец произнес, отдышавшись. — Чуть живот не лопнул. Надо ж так смешить! Ну, Игнатий, ты и даешь!

— Да неужто пондравилось? — удивился слуга.

— Прелесть что за частушка. Просто прелесть! Это не просто шутка, это суть русского народа, суть его души — плоть от плоти — жизнь простая. Не «парле-ву-франсе», «эскюзэ-муа», а такая сермяга, сила, и мужицкий гумор настоящий. Понимаешь, да?

Тот сознался:

— Честно говоря, не особо. Ить частушка и есть частушка, что с нея взять? Дурим просто. Потешаемся. Никакой такой русской сути я не знаю.

— Ладно, спой еще.

— Так другие ишо срамнее.

— Ну, тем лучше.

Засиделся у Игнатия допоздна, а когда возвратился к себе в номер, долго потом записывал в небольшую тетрадку те частушки, которые удалось запомнить. Продолжал усмехаться. Говорил сам себе: «Вот, вот оно, как надо! Натуральный язык русский. И Крылов так пишет — просто и без зауми. Он как слышит — так и пишет. Это правильно». Прикорнул на кровати, даже не раздевшись, и мгновенно уснул.

7.

Поутру очередной возница появился вовремя, осмотрел и обстукал карету и посетовал, что левое заднее колесо с небольшой трещиной. «Для порядка надо бы поменять», — пояснил. «До Торжка-то доедем?» — с беспокойством спросил Василий Львович, ибо не хотел терять времени. «Можа, и доедем, можа, нет. Как Бог даст», — скреб в затылке кучер. «Как-нибудь дотяни, голубчик, а в Торжке уж на колымажный двор». — «Воля ваша, как скажете».

Погрузились к половине десятого утра. Анна Николаевна чувствовала себя сносно — капельки, прописанные ей доктором Штраубе, явно помогали. И Марго не плакала. Сашка, сидя напротив Игнатия, глядя на него, поначалу хихикал, вспоминая вчерашний вечер, но, когда увидел недоуменное лицо дяди, сразу посерьезнел.

Дядя ж находился в прекрасном расположении духа, декламировал собственные стихи, а потом сказал, что, если родится мальчик, назовет его Лев.

— Как, опять Лев? — удивился племянник. — Есть мой брат Левушка, названный в честь деда. Два кузена Льва — не много ли?

Пушкин-старший почему-то начал сердиться.

— Понимаешь, твой отец и мой младший брат Сергей Львович смог меня опередить: первый произвел сына и назвал его Львом. Перешел мне дорожку. Ну, да не беда. Чем больше на Руси будет Львов, тем лучше.

Сашка хмыкнул, но перечить не стал.

Треснутое колесо лопнуло прямо посреди моста через речку Тверцу, но уже недалеко от Торжка, и печальнее событие не смогло отравить настроение наших путешественников. Вскоре Игнатий, посланный на ближайший постоялый двор, возвратился с двумя подручными и тележкой, на которую погрузили скарб и поволокли к месту их дальнейшего обитания. А возница потащил карету в ремонт. Дядя напутствовал его:

— Уж, пожалуй, голубчик, сделай побыстрее. Мы в Торжке на ночлег останавливаться не станем. Отдохнем, перекусим, а потом и снова в дорогу. Очень бы хотелось до темноты добраться до Вышнего Волочка.

— Постараемся, барин.

Но, конечно, на Руси спешки не бывает. Как в народе говорят: хороша она только в ловле блох. А карета — это ж вам не какая-нибудь арба. Тут спешить не след. Надо покумекать, подобрать колесо, подогнать, опробовать. И перекурить. Настоящие мастера не суетятся. Поспешишь — людей насмешишь. Уронить в грязь свое достоинство, репутацию нельзя.

В общем, экипаж был готов только к половине шестого вечера. Дядя нервничал, говорил, что все равно в Торжке не останется, надо ехать, ничего страшного, пусть и к ночи, но доскачут до следующей остановки в дороге. Возражать ему никто не посмел.

Взвинченное состояние Пушкина-старшего волей-неволей передалось и другим путникам: Анна Николаевна, сильно подуставшая, жаловалась на головокружение, дочка у нее на руках куксилась, Саша постеснялся есть вишни, купленные у торговки на выезде из Торжка, так как некуда было в карете сплевывать косточки, а Игнатий ворчал, что забыл на постоялом дворе свою трубку. Все нуждались в отдыхе.

Наконец в вечерних сумерках показались очертания Вышнего Волочка — города по обеим берегам канала, взятого в гранит, — он соединял реки Цну и Тверцу, — виделась крыша Путевого дворца Екатерины Великой и традиционные луковки церквей. Раньше, когда канала не было, корабли волокли по суше, и отсюда название поселения. Петр Первый приказал прокопать канал — первое такое гидротехническое сооружение на Руси. И с тех пор значение Вышнего Волочка как заметного торгового, перевалочного пункта на пути из Москвы и Твери в Новгород и Петербург много возросло.

Постоялый двор был шумен, многолюден, и нашлась всего одна свободная комната. У Василия Львовича настроение окончательно испортилось, он велел Игнатию идти в ночь и не возвращаться без арендованных сносных апартаментов. Камердинер, чертыхаясь про себя, вывалился на улицу. Но, по счастью, не прошло и трех четвертей часа, как явился он радостный и в сопровождении статного мужчины в цилиндре. Им оказался домоуправитель предводителя местного дворянства Милюкова. Он сказал:

— Петр Иванович приглашает вашу милость заночевать у него в усадьбе. Он поклонник вашего поэтического таланта. И почтет за честь.

Дядя просиял:

— Господи, помилуй! Как же он узнал? Ты донес, Игнатий?

Тот застенчиво улыбнулся:

— Волею обстоятельств, барин... Я зашел в соседний трактир, дабы разузнать, где еще тут сдаются комнаты. Мне и посоветовали заглянуть к Филимон Михалычу. — Он кивнул на домоуправителя. — А они уж пошли к хозяину. В общем, все устроилось в наилучшем виде.

— Просто удивительно! Ну, конечно, мы примем приглашение.

Милюков, несмотря на поздний час, вышел встретить гостей самолично — хоть и не при параде, но и не в домашнем; было ему на вид около 40, и отменная выправка говорила о его военном прошлом.

— Милости прошу, милейший Василий Львович, — с чувством пожал руку Пушкина-старшего предводитель дворянства. — Рад безмерно. Мы читаем ваши стихи в журналах. Вы — один из первейших русских поэтов рядом с Дмитриевым, Жуковским, Крыловым. Жаль, что мы не знали о вашем визите загодя, не смогли подготовиться достойно.

— Ах, какие пустяки, право. — Дядя весь светился. — Мы ведь ненадолго — едем в Петербург, и наутро рассчитываем отбыть.

— Ну нет уж, — заявил Милюков решительно. — Просто так мы вас не отпустим.

— То есть отчего же?

— Вышневолоцкое дворянство не простит мне, коли отпущу вас без устройства литературной гостиней. Многие разъехались на лето по своим имениям, но семей восемь-десять в городе имеются. Соберемся завтра вечером у меня в доме, перекусим, чем Бог послал, и послушаем ваши сочинения. День-другой — не помеха в вашей поездке, а зато у нас — видное событие в жизни.

Поклонившись, Василий Львович ответил:

— Не могу, не имею права отказать вашей милости. Ваша доброта и внимание к моим скромным заслугам в литературе не позволят мне отплатить за радушие и гостеприимство черной неблагодарностью. Разумеется, я согласен. Гран мерси, жё сюи трез ёрё!

— Э муа осси!¹

Сашке выделили милую комнатку, выходящую окнами в сад. Из растворенных рам доносился запах цветущего табака. Вне себя от усталости, Пушкин-младший сбросил с себя одежду и, не умывшись даже с дороги, занырнул в постель.

¹ — Большое спасибо, я счастлив.

— Я тоже (фр.).

Утром, за завтраком, Петр Иванович с удовольствием представил гостям супругу — очень красивую молодую даму, звавшуюся Прасковьей Васильевной. Лет ей было на вид 25. Очень стройная, несмотря на рождение двух детей, с удивительными пепельными волосами, небольшим носиком и пунцовыми алыми губками. Сашка, увидав ее, просто обомлел. Сердце его сладостно забилося. А влюбленность в Танечку Бурцову из Клина моментально растаяла.

От мадам Милюковой шел какой-то свет, вся она блистала — элегантностью, грациозностью, вежливостью, лаской. Говорила мужу: «Петечка» и смотрела на него с обожанием. Он ей говорил: «Просюшка» и всегда улыбался. Это выглядело очень трогательно.

Просюшка сама разливала чай из самовара. Потчевала приезжих. Но порой и покрикивала на какого-нибудь зазевавшегося слугу.

Милюков спрашивал у дяди:

— Мсье Пушкѳн, в Петербурге у вас свой дом?

— Нет, увы, я живу в столицах внаѳм. Мы люди небогатые, в сущности, хоть и душ имеем немало. У меня, например, около полутора тысяч.

— О, прилично.

— Но работают они скверно, управляющие воруют. Нам едва-едва хватает на безбедную жизнь.

Петр Иванович сетовал:

— Да и то верно: что в столицах хорошего? Суѳта одна. То ли дело у нас, в провинции: может быть, и нравы не столь изысканны, мода приходит с опозданием, но зато живем тихо, мирно и в свое удовольствие. У меня, правда, есть дома и в Москве, и в Твери, и в Петербурге, но бываю там редко. Большею частью обрѳтаюсь в Вышнем Волочке или у себя в именье Поддубье. По столичной улице, бывало, идѳшь — и, пардон, ни одна собака с тобою не поздравствуется; здесь же выхожу из парадного — справа и слева: «Здрасье, Петр Иваныч!», «Здравия желаем, Петр Иваныч!» — все кругом уважают, ценят. Сам собою любиѳшься.

Гости и хозяева рассмеялись.

Поболтали об обстановке в стране и Европе, дядя не преминул рассказать, как он видел в Париже Наполеона.

— Думаете, будет война? — интересовалась Прасковья Васильевна. — Говорят, Буонапарте зол на нашего царя-батюшку за отказ выдать за него одну из великих княжон.

— Говорят, что зол, — соглашался Василий Львович, — но, я думаю, это еще не повод для войны. А вот то, что Россия не присоединилась к континентальной блокаде Англии, много больше задело французов. Так что все возможно. Но, надеюсь, Наполеону тем не менее достанет ума не затевать вторую кампанию, не закончив первую, гишпанскую. У него в Гишпании очень, очень дела плохи. Там поднялся простой народ. А когда поднимается весь народ, регулярной армии делать нечего.

Днем хозяин и дядя вышли в свет — наносить визиты по городу, а племянника взять не захотели, он и не тужил, впрочем, справедливо рассчитывая пококетничать с дамами — Анной Николаевной и Прасковьей Васильевной — при отсутствии их мужей. Сашка сидел в гостиной на диванчике, делал вид, что читает книжку на французском, а на самом деле наблюдал за грациозной хозяйкой, взявшей в руки шитье и устроившейся около окна. На другом диванчике возлежал белый шпиц Жюльен (в обиходе — Жулька) и с тревогой смотрел на гостя. После некоторого молчания Милюкова спросила:

— Едете ли вы учиться с желанием?

Опустив книгу, отрок улыбнулся:

— Несомненно, мадам. Даже и не потому, что именно учиться — это дело важное, кто бы спорил, но я счастлив потому, что могу начать жить самостоятельно, без опеки нянек и гувернеров. И опять же не потому, что мне было дома плохо, а наоборот — слишком хорошо. Как в оранжерее, где искусственный климат и всегда тепло. Пусть на воле порой морозы, стужа, но невзгоды закаляют душу и тело. Чтобы многого достичь, надо иметь силу воли.

Дама посмотрела игриво:

— Вы амбициозны, мсье?

— О, не то слово! Я хотел вначале пойти в гусары, а потом в Московский университет, чтобы стать историком, но судьба

мне предначертала Лицей. Что ж, тем лучше. Царское Село, близость ко двору открывают многие возможности. Я могу до-расти до канцлера. Или вице-канцлера. Почему бы нет? Маменька считает скромнее — стать посланником России где-нибудь в Португалии. На худой конец и это сгодится.

У хозяйки вырвался тяжкий вздох:

— Грандиозные планы, можно позавидовать.

Пушкин удивился:

— Вам? Завидовать мне?! Вы, должно быть, шутите, Прасковья Васильевна? Вы богаты, умны, с видным положением в обществе, вы красивы и одеваетесь модно. Можно ли при этом завидовать неприкаянному подростку, только ищущему себя?

— Да, — ответила она грустно, — очень даже можно. Вы имеете жизненные планы. Выучиться, кем-то стать значительным, покататься по миру. У меня же все давно расписано на полвека вперед: дом, семья, глупый провинциальный бомонд, выезды в деревню, сплетни, мелкие заботы, глупые забавы. Угасание моей красоты и моей души в этом бесконечном болоте. Катастрофа! Тоска! — Слезы потекли по ее щекам.

Сашка, полный сострадания и обуреваемый чувствами, бросился к мадам Милюковой, рухнул перед ней на колени, взял за обе руки. Прошептал с пафосом:

— Полноте, не плачьте, умоляю вас. Ваши слезы ранят мое сердце. Если б мог, я бы предложил вам бежать вместе в Петербург, но, увы, это не в моей власти. Вот окончу Лицей — и тогда...

Дама улыбнулась сквозь всхлипы, провела ладонью по его щеке:

— Вы такой милый мальчик... и такой смешной...

Отрок оскорбился, отпрянул:

— Я смешон, по-вашему?

— Нет, нет, в хорошем смысле. Просто мне бежать некуда — с вами или без вас — муж, семья, и, в конце концов, от себя-то не убежишь! От реальной жизни не убежишь. Надо жить так, как угодно Провидению.

Пушкин встал с колен:

— Зарекаться грешно, мадам. Я окончу Лицей и приеду в Вышний Волочок — там и станем решать, что делать.

Успокоившись окончательно, протянула ему руку:

— Хорошо, мой друг. Приезжайте лет через пять. Я согласна.

Он поцеловал ее пальчики, а она другой рукой распустила его завитки на затылке. Тут уж беспокойный шпиц на диване не выдержал и, заливисто лая, бросился защищать хозяйку — он вцепился зубами в правую штанину Сашки и, рыча, начал яростно мотать головой, силясь оттащить гостя. Милюкова попыталась отогнать собаку:

— Фу, Жулька, фу! «Фу!» — я тебе сказала! Как тебе не стыдно? Вот сейчас получишь! Прочь пошел!

Но животное удалось усмирить только с помощью Анны Николаевны, растревоженной криками и лаем. Шпица выставили за дверь, Сашка с грустью осматривал свои брюки:

— Вот ведь жалость какая — потрепал, негодник. Даже если зашить — видно будет. В люди выйти неловко.

— Ничего, ничего, — успокоила его Ворожейкина. — Я сумею подштопать так, что комар носу не подточит.

— К вечеру успеете? — продолжал переживать он. — Мне бы очень хотелось посетить литературный салон.

— Непременно успею, не волнуйтесь, Александр Сергеевич.

— А не выпить ли чаю? — предложила хозяйка. — Время — полдень. До обеда еще четыре часа.

Гости с удовольствием согласились. Статус незаконной жены омрачал жизнь Анны Николаевны в Москве — при контактах с родственниками Пушкина, но в провинции, где подробности личной жизни Василия Львовича совершенно не знали, помогал купеческой дочке чувствовать себя уверенно и общаться с мадам Милюковой на равных, просто и с достоинством. Сашка, мало говоривший с ней раньше, до поездки, с удивлением обнаруживал в названной «тетке» много положительных черт — добрый нрав, но без простодушия, наблюдательность и житейскую сметку, понимание шуток; да и с виду была удивительно привлекательна; честно говоря, сидя за столом и гоняя чай, сравнивая молодых женщин, он не знал, можно ли одной из них отдать предпочтение; обе

были не его дамы, обе принадлежали другим мужчинам, но воображение заставляло думать, что ему тоже помечтать о любви красоток не грех — только помечтать, но поэты часто путают окружающую действительность с фантазиями... Анна Николаевна плохо говорит по-французски, не читала ни Руссо, ни Вольтера, из печатных изданий выбирает только журналы мод, но при этом превосходная рукодельница, кулинарка и поет неплохо, музицирует ладно. Сашка мог бы в нее влюбиться, если бы не дядя. Впрочем, что дядя? Скоро он умрет, и прелестная молодая вдовушка... Ах, нельзя даже думать так, даже мысленно желать дяде смерти. Получается — Прасковья Васильевна? Он окончит Лицей и приедет за ней в Вышний Волочок. Вызовет мужа на дуэль... Надо практиковаться в стрельбе, а не то бывший ротмистр Милюков сам его застрелит...

— Александр Сергеевич, вы не слушаете меня? — обратилась к нему супруга предводителя вышневолоцкого дворянства.

Пушкин-младший вздрогнул и едва не расплескал чай.

— Эскюзе-муа, я задумался...

— Анна Николаевна рассказала, что вы тоже, как дядя, пишете стихи. Это правда?

Он слегка потупился:

— Ну, не так, как дядя... Дядя — настоящий, признанный поэт и печатается в журналах, прожектирует собрать отдельную книжку... Я же — так, пока баловства ради.

— Не хотите сегодня вечером тоже декламировать что-то из своего?

Сашка испугался:

— Я? При зрителях?! Господи, помилуй! Лучше умереть.

— Полноте, голубчик, будут все свои, строгих критиков у нас нет. А подумайте, как бы вышло интересно: вы есть продолжение дяди, правопреемник и наследник таланта. Славная династия Пушкиных.

Отрок спросил Ворожейкину:

— Как вы полагаете, Анна Николаевна?

Та ответила без раздумий:

— Полагаю, Василий Львович был бы только рад. Он весьма положительно к вам настроен, говорит — вы большой талант и у вас блестящее будущее.

Молодой человек вздохнул:

— Может, вы и правы — почитать было бы неплохо... В пандан¹ дяде... Но я плохо помню их наизусть, а все рукописи дома остались... Нет, не знаю!

Весь остаток полдника он сидел в задумчивости, совершенно забыв о том, что влюблен в Прасковью Васильевну и отчасти — в Анну Николаевну.

9.

На салон собрались кроме Пушкиных и хозяев человек десять вышневолоцких дворян, в том числе и городничий — Николай Никитич Сеславин, молодой еще человек, лет примерно 35, небольшого роста, но широкий в плечах. Он приветствовал Василия Львовича горячо, взяв его руку сразу в обе свои ладони, а потом тряс несколько мгновений. Говорил: «Мы весьма наслышаны... мы не избалованы вниманием знаменитостей — едут мимо, и никто не хочет задерживаться даже на сутки. Рад сердечно вашему решению...»

После того как все расселись в гостиной — окна настежь ввиду жары, дамы с веерами, а мужчины время от времени промокали лицо носовым платком; слуги разнесли прохладительные напитки, — Милюков еще раз всем представил Пушкина-старшего и просил его почитать свои стихи. Дядя раскланялся почтительно и сказал, что безмерно рад выпавшему случаю познакомиться с лучшими людьми знаменитого Вышнего Волочка и весьма тронут проявленным ими вниманием. После дежурных реверансов приступил непосредственно к чтению. Он читал наизусть, не спеша, размеренно, нараспев, больше заботясь о ритме, чем о смысле. Начал с давнего своего стихотворения «К Камину», а потом перешел к более поздним — «К Лире», «Вечер», «Скромность». Публика хлопала с воодушевлением, но племяннику, честно говоря, нравилось не всё: втайне он считал, что стихи родича слишком многословны

¹ Продолжение (фр.).

и не очень музыкальны, дядя подражает классике XVIII века, главным правилом которой было следование «высокому стилю», разговорной речью пренебрегали, полагая ее «низкой» и непоэтичной. Но одна басня Пушкину-младшему показалась безукоризненной. Вот она:

ГОЛУБКА И БАБОЧКА

*Посвящается моей милой сестрице
Лизе Пушкиной, в замужестве Сонцовой*

Однажды Бабочка Голубке говорила:
«Ах! Как ты счастлива! Твой Голубок с тобой!
Какой он ласковый! Как он хорош собой!
А мне судьба определила
Совсем иначе жить: неверный Мотылёк
Все по лугам летает —
То Незабудочку, то Розу выбирает,
А я одна сижу». — «Послушай, мой дружок, —
Голубка отвечала, —
Напрасно, может быть, пеняешь ты ему.
Не ты ль причиною тому,
Что счастья не сыскала?
Я правду говорю. Любимой нежно быть
Здесь средство лишь одно: умей сама любить!»
Элиза милая! Пример перед тобою:
Люби — и будешь век довольна ты судьбою!
Супруг твой добр и мил. Он сердца твоего,
Конечно, цену знает:
Люби и почитай его!
Там счастье, где любовь — оно вас ожидает!

И племянник, хорошо зная тетю Лизу и ее семью, хлопал дяде вместе со всеми от души. Декламация длилась минут сорок, а потом Василий Львович сказал:

— Добрые друзья, не желаю злоупотреблять вашим расположением ко мне. Я хотел бы завершить свое выступление. Только напоследок, на закуску, если можно так выразиться,

я желал бы предоставить слово моему племяннику Александру. В мае нынешнего года он отпраздновал свое двенадцатилетие. И теперь, по решению семейства Пушкиных, я везу его в Петербург для вступления в созданный его величеством Царско-сельский Лицей. Мать его, а моя невестка, Надежда Осиповна, в девичестве Ганнибал — внучка того самого знаменитого Абрама Петровича Ганнибала. И, на мой взгляд, Александр вобрал в себя лучшие таланты русского и абиссинского народов... Мальчик мой, прочитай для высокого нашего собрания что-нибудь из своего, сделай одолжение...

Сашка встал, вышел на середину гостиной, поклонился. Был он одет, скорее, по-детски, нежели по-взрослому, в курточке и рубашке апаш; порванные шпиром брюки мастерски зашиты Анной Николаевной. Худенький и немного неуклюжий, он смотрел на всех взволнованными голубыми глазами; смуглая кожа и копна кудряшек выдавала его африканские корни. Отрок проглотил комок в горле и проговорил нетвердым голосом:

— Господа, я действительно, как и дядюшка, на досуге пишу стихи... Но они все несовершенны... и к тому же на французском языке... Честно вам признаюсь: до пяти лет я не говорил по-русски абсолютно, лишь стараниями бабушки моей Марии Алексевны и няни... Впрочем, Бог с ними. Просто объясняю, отчего по-французски... Я прочту вам стихотворение, сочиненное мною третьего дня в городе Клину, для альбома девиц Бурцовых, дочек сослуживца моего дядюшки. И заранее прошу извинить мое литературное дилетанство...

Он декламировал те стихи о «солнцах» из Клина, «озаривших его душу». Вышло очень мило. Публика смеялась и хлопала, а Сеславин выкрикнул: «Браво, браво! Новому пииту России виват!» Выглядело это по отношению к 12-летнему мальчику очень забавно. Ведь никто не знал, что пройдет совсем немного времени, и... Впрочем, это уже другая история.

Дядя поздравил Александра с превосходным дебютом. Тот, конфузясь, благодарил. Подошла и Прасковья Васильевна:

— Мон шер ами, вы были неподражаемы! Но скажите, в самом деле вы влюбились в одну из Бурцовых?

Сашка еще более смутился, начал лепетать, что сначала был влюблен натурально... в тот момент... но теперь, в Вышнем Волочке, все переменялось...

Милюкова смотрела на него иронично, а потом, наклонившись, по-матерински поцеловала в щечку. И подросток, наклонившись, поцеловал ей руку. Не замедлив подумать: это знак, она хочет, чтобы я вернулся к ней после Лицея; да, придется практиковаться в стрельбе из пистолета...

Всех пригласили к ужину. Но у Пушкина-младшего аппетита не было, он сумел улизнуть из-за общего стола после третьей перемены и укрыться у себя в комнате. Половину ночи его трясло.

10.

Выехали засветло, даже не позавтракав и успев проститься с хозяйкой накануне вечером, а хозяин все-таки вышел проводить, — дядя торопился, ведь поездка уже не укладывалась в неделю. До Валдая скакать было шесть часов. Там предстояло помыться в знаменитых валдайских банях, ознаменовав тем самым больше половины дороги, а потом уж двигаться непосредственно к Великому Новгороду. От которого через Чудово и Тосну — путь прямой к Петербургу.

Сашка поначалу клевал носом, а когда переехали через Березайку, сразу проснулся и сказал, что неплохо было бы перекусить. Но Василий Львович ответил: нет, нет, некогда сейчас, дотерпи до Валдая еще чуток, там и поедим как следует, отдохнем, попаримся. И прочел племяннику небольшую лекцию о Валдае: патриарх Никон (тот, с которого начался раскол в Церкви), лично выбирал место для Иверского монастыря на одном из островов здешнего озера, приговаривая: «На небе — рай, а на земле — Валдай»; а еще город славен знаменитыми валдайскими колоколами и колокольчиками; а еще своими фигуристыми красавицами. На последнее утверждение Анна Николаевна не преминула заметить: «Нешто вы, дорогой Василий Львович, предпочтете мне нынче фря валдайскую?» Дядя поспешил развеять ее сомнения: «Ах, как можно, Нюшенька любимая, ты моя единственная, свет в окошке. — А потом до-

бавил: — В баню мы с тобою вместе и пойдем, там такие есть, для семейных пар». Сашка благоразумно молчал. Думал о своем и Игнатий, глядя в каретное окошко куда-то вдаль; в Вышнем Волочке он купил себе новую трубку, но она была еще мало прокурена и не доставляла ему удовольствия, как старая.

В город въехали вскоре после полудня. Постоялый двор был большой, рядом с путевым дворцом Екатерины Великой, и по раннему времени номеров свободных оказалось достаточно. Хорошо позавтракав, путники легли отдохнуть, а Василий Львович отправил Игнатия справиться насчет бань, нужно было договориться о двух — для четы хозяев и для племянника с камердинером. Дядя так и сказал слуге: «Направляю Александра Сергеевича под твою опеку. Он в подобных мыльнях еще не бывал, и, пожалуй, братец, сделай так, чтобы все выглядело пристойно. Ты меня понимаешь? Он пока младенец, и не надо ему вкушать плодов со Древа Познания прежде срока». А Хитров при этом развел руками: «Понимаем, барин, как не понимать! Не тревожьтесь зряшно: оградим барича от валдайских безобразий».

Баню для Василия Львовича и его возлюбленной затопили тут же, рядом с постоялым двором, и они отправились париться первые, поручив Маргошу заботам камердинера. А вернувшись, чистые, румяные и веселые, отпустили его и Пушкина-младшего во вторую, до которой топать пришлось минут десять по кривым улочкам, убегавшим к озеру.

— Отчего нельзя было остаться в той же, где дядя? — удивился племянник.

— Да какая ж там баня, — сморщился слуга. — Шику много, а пару мало. Разве только помыться — удовольствия никаких. Да и то сказать: для семейных пар предназначено, для проезжих благородий.

— А у нас теперь?

— А у нас попроще, да позанимательней будет. Сами, барич, скоро увидите.

Подшли к калитке ладного деревянного дома, утопающего в зелени. Позвонили в колокольчик. На крыльце появилась дебелая баба в цветастом сарафане; волосы ее были убраны под платок, завязанный на затылке. Широко улыбаясь, поплыла навстречу, грациозно покачивая широкими бедрами; грудь

ее огромная, словно два арбуза, сильно колыхалась при ходьбе. Звали хозяйку Дуня.

— Заходитя, заходитя, гости дорогие, — ворковала она, отпирая калитку. — Заждалися ужo. Двум другим отказали путникам, ожидаючи вас.

— Ничего, не обидим, — успокоил ее Игнатий, пропуская барича вперед. — Дочка-то появится?

— А то как же ж, коль уплочено, — подтвердила Дуня. — Дочка для их благородия, а уж я-то с тобою.

Сашка до конца не понимал, о чем речь, но догадывался смутно и от предвкушения чего-то необычного и запретного тихо обмирал.

Вышла дочка — чуть постарше Сашки — худощавая и немного бледная, белая коса ниже пояса. Посмотрев на Пушкина-младшего, быстро опустила глаза. Мать сказала ей:

— Простыни неси да мочалки, вслед за нами в баню ступай. Да не медли, дура, господа долго ждать не станут.

Оказались в предбаннике, стали раздеваться, а хозяйка мыльни деликатно удалилась в моечную, притворив за собою дверь. Сашка оголился, но подштанники снять не захотел. Камердинер сказал:

— Все, все снимайте, барич. Тут стесняться неча. Это баня, так заведено.

— Как, при бабе и девке? — изумился отрок.

— Ну, само собою. Ить они привычные, ремесло это ихнее, тем и живут. Думаете, сами они одетые будут? Черта с два.

И как подтверждение этих слов вышла из парной Дуня в одном переднике, прикрывающем часть ее груди и срамное место. Молодой человек сконфузился окончательно, чувствуя, что сердце бьется где-то у него в шее, отдаваясь во всем теле.

— Проходитя, проходитя, — позвала хозяйка, томно улыбаясь. — Венички запарены, все готово. А вместо господского мыла есть у нас заваренная и выпаренная зола. Отмывает чисто!

В моечной было душновато от пара, но потом Сашка попрыг к теплomu и влажному воздуху, задышал глубоко и ровно. Между тем Игнатий подошел к двум деревянным бадейкам, находившимся возле печки, и попробовал рукой воду. Покивал:

— Самое оно.

Взял одну из них и спросил барича:

— Александр Сергеевич, ну — благословясь?

— Что? — не понял тот.

— Орошаем с Божьей помощью. — И, ничтоже сумняшеся, окатил подростка теплой водой с головы до ног.

Отрок задохнулся от неожиданности, хлопал мокрыми ресницами, а Дуняша и камердинер хохотали от удовольствия. Наконец начал улыбаться и Пушкин.

Тут вошла дочка — тоже голая и в одном переднике. Разложив мужчин на лавках, обе начали натирать их мыльным поташом, а потом споласкивать и хлестать веничком. Поддавали пару.

— Как тебя зовут-то? — обратился Сашка, искоса глядя на свою обнаженную банщицу.

— Феодорой кличут, — отвечала та. — Или проще — Феня.

— Не срамно ли тебе, Фенечка, голых мужиков парить?

— Что же в том срамного? — удивлялась она. — Коли Бог создал нас такими, значит, и не стыдно. Дело-то житейское.

— Так ведь пристают, поди, мужики к тебе?

— Всякое бывает, — согласилась девушка. — Все живые люди. Отчего не побаловать плоть и душу? Никому не заказано. А тем паче что на все расценки имеются.

Отрок переваривал сказанное и сопел негромко под ударами березовых прутьев. Но потом не удержался и все же спросил:

— А родитель твой не препятствует этому твоему ремеслу? Не серчает? Сам-то он кто?

Фенечка хлестнула его со всей силы, вроде разозлившись:

— Да какой родитель, Господи, помилуй! Я и знать его не знаю с малолетства. Мы вдвоем с матушкой живем, банями и кормимся.

— Ну а если замуж кто тебя позовет? Не захочет ведь, чтобы ты чужих мужиков по-прежнему мыла?

Молодая банщица дернула плечами:

— Путь вначале позовут — а там видно будет.

После парной, по примеру Игнатия, прыгал в прохладную воду озера, берег которого начинался возле самой бани, и опять парился. В полном изнеможении пил в предбаннике клюквенный квас. Было хорошо, чисто на душе.

Фенечка подала ему деревянный гребешок, помогла расчесывать кудри на затылке. И сказала вдруг строго:

— Что вы пялитесь, ваше благородие, на мои титьки? Рано вам ишо.

Опустив глаза, он проговорил не без раздражения:

— Так прикрылась бы тогда. Что трясешь ими у меня перед носом?

— Вас одену, а потом сама.

— Без тебя оденусь, можешь уходить.

— Как прикажете, барин. — И, накинув на себя простыню, быстро удалилась.

Сашка, одеваясь, сердился — на нее, на себя и вообще на все.

Вскоре из помывочной появились разгоряченные Дуня и Игнатий. Весело общались друг с другом, похохатывали, дурачились. Тоже пили квас.

— Может, что покрепче, Игнатушка? — спрашивала она ласково.

— Нет, благодарю, Дунюшка. Барича должен проводить к постоялому двору. Обещал хозяину, что не допущу безобразия. Ну, а как они учуют от меня запах? Нареканий не оберешься. Я уж просто посижу у тебя в палисадничке, трубку покурю. Этого достаточно.

Возвращались в сумерках. Камердинер, судя по всему, был доволен жизнью, потому что время от времени крякал и произносил: «Хорошо!.. Истинно, что на небе — рай, а на земле — Валдай!» Пушкин съехидничал:

— Вижу, что Дуняша по вкусу тебе пришлась.

Но слуга не отреагировал никак, видимо, стесняясь развивать эту скользкую, во всех смыслах, тему.

У себя в комнате Сашка, облачившись в домашнее, запалил свечу, сел за стол и довольно быстро набросал у себя в тетрадке, где записывал и частушки Игнатия, первое свое длинное стихотворение по-русски. Были там строки и про местных

красавиц, и про баню, и про «колокольчик, дар Валдая» — те, которые он позднее в разных сочинениях вставит в другие собственные стихи.

Утомившись, бросился в постель и заснул безмятежно.

11.

Новгород Великий поднимался из-за Волхова крепостной стеной местного кремля, куполами Софийского собора и высокой колокольней. Волхов был плавен и могуч, по нему двигались неспешно барки и челны, а зато Торговая сторона подвижна, шумна и незатейлива. Постоялый двор находился тут же, не переезжая реки. Наши путешественники въехали на него во второй половине дня (от Валдая пришлось скакать чуть ли не восемь часов, с перерывом на короткий обед и отдых в Крестцах), ухали, распрямляя затекшие поясницы. Девочка на руках у матери хныкала.

— Отдых, отдых! — объявил дядя, сам полуживой после длинного переезда. — Никаких сил уже не хватает. Черт меня дернул взять наемный экипаж — думал, выйдет спокойнее, а оно, получается, слишком долго. На почтовых были бы уже в Питере.

— А малышка-то на почтовых? — упрекнула его Анна Николаевна. — Растрясли бы дитя совсем.

Посмотрев на дочь, Василий Львович смягчился:

— Тоже верно. В общем, куда ни кинь, всюду клин.

Но, придя в себя, закусив и соснув, он обрел прежний бодрый вид и позвал племянника прогуляться с ним по Софийской стороне, заглянуть на почту.

— Да куда ж вы пойдете на ночь глядя? — стала беспокоиться Ворожейкина. — Так и почта, поди, уж закрыта. Нешто нельзя завтра с утрачка?

— Мы возьмем Игнатия для сопровождения. Он у нас здоров кулаками махать в случае угрозы. Человек надежный.

— Хорошо, но недолго, ладно? Я же тут умом тронусь, ожидаючи вас в тревоге.

— Да часок, не боле.

Солнце заходило, и в низинах белел туман. Зубчатые стены старого городища погружались в сумерки. Деревянный настил моста, по которому шли наши путники, чуточку поскрипывал.

— Новгород — «Новый город»! — вдохновенно воскликнул дядя, наслаждаясь открывавшейся панорамой. — Соль земли Русской. Рюрик здесь правил. Юный Володимер Святой с дядей Добрыней. А потом Добрыня со товарищи Новгород крестили огнем и мечем.

Сашка усмехнулся:

— Получается, что мы с вами, как Владимир с Добрыней: вы мой дядя, а я племянник.

Пушкин-старший потрепал его по курчавой макушке:

— Только мы мирные, никого жечь и сечь не собираемся. Мы поэты. Мы глаголом жжем сердца людей.

Отрок восхитился:

— Жжем сердца? Превосходно сказано.

Вскоре выяснилось, что Василий Львович на самом деле собирался идти вовсе не на почту и не просто пройтись по городу, а в питейный дом Селифана Собакина. Пояснил: Селифан варит лучшую на Руси медовуху. И покинуть Новгород, не отведав этого нектара, этой мальвазии — то есть божественного напитка, — было бы преступно. Камердинер согласился: да, «Собакин дом» — лучшее заведение такого рода.

— А позвольте и мне пригубить? — сразу заволновался Пушкин-младший.

Дядя успокоил:

— Непременно позволим. Небольшой стаканчик. Худа с него не будет.

Дом Собакина находился в подвальчике, и, открыв двери, сразу ощутили аромат хмеля, меда и хлебных дрожжей. Разумеется, не без дыма табака: тут курить разрешалось. Несколько зальчиков заведения были напрочь заполнены шумными посетителями, но проворный половой, встретив вновь прибывших и увидев, что они «из благородных», кланяясь, проводил в отдельный кабинетик — маленькую комнатку, вход в которую закрывала занавесь из пестрой плотной ткани. Улыбаясь щербатым ртом, принял заказ: две большие кружки и один стаканчик для отрока — послабей и пожиже. Убежал, продолжая кланяться.

Дядя начал снова восхищаться:

— Стены-то какие, а? Зрите: потолок сводчатый, кладка древняя. Старина! Может, князь Ярослав самолично здесь пировал. Он хромым был. С детства. Но как ратник воевал со всеми на равных.

Сашка задал вопрос:

— Так ведь, я читал, что могила его в Киеве, в Софийском соборе. Значит, он и в Киеве правил?

— Да, потом и в Киеве. После смерти отца своего, все того же Володимира Святого, что Русь крестил. Русскую историю надо знать. Русские люди знать обязаны. А для сочинителей — это кладезь сюжетов, хоть любой бери — и уже готовый роман или же поэма.

Тут явился халдей с медовухой на подносе. Ловко расставил перед посетителями. Пожелал приятного питья.

Будущий лицеист сделал осторожный глоток. Желто-коричневый непрозрачный напиток был сладок, терпок, с дымком, и как будто вовсе без алкоголя. Выпить его, казалось, можно целую бочку.

Вроде отвечая на его мысли, Пушкин-старший сказал:

— Медовуха эта — вещь коварная. Пьешь, пьешь — ни в одном глазу. А потом встать не можешь — онемение членов происходит, руки-ноги не слушаются.

— Надо знать меру, — согласился Игнатий, погружая усы и верхнюю губу в кружку.

Сашка ополовинил стаканчик и повеселел. Потянуло на разговоры. Он спросил:

— А скажи, Игнатий, только без утайки: взял бы ты в жены Дуню валдайскую?

Камердинер чуть не поперхнулся:

— Вы шутить изволите, барич? Я давно забыл про эту Дуняшку. Нет, конечно, баба она приятная, справная, и отзывчивая во всем. Ну, так что с того? Пошалили — и будя. Разбежались в разные стороны. У нея таких проезжающих — пруд пруди. Да и я женат, между прочим.

— Как — женат? — остоленел отрок. — Ты женат? Я не знал. Где ж твоя жена? Детки есть?

Тот ответил не сразу, продолжая медленно тянуть медовуху.

— Да на что вам, барич?

— Просто любопытно. Судьбы русские узнавать. Как роман читаешь.

— Эхе-хе, «роман»! — Он вздохнул невесело. — Это вам не книжка, где придумано все, это жизнь людская. Ничего там нет любопытного. Вот хоть вы скажите, Василий Львович.

Дядя, оторвавшись от своих мыслей, несколько мгновений осознавал, что хотят от него, а потом кивнул:

— Отчего бы не рассказать, Игнатушка? Я послушаю с интересом тож.

Камердинер еще более насупился:

— Будто сговорились... «Расскажи, расскажи»... Что рассказывать?... Тятя мой, Гаврило Степаныч, женил меня больно рано, мне пятнадцати еще не исполнилось. А невесте — двадцать. Липке, значит. Липочке. Девка статная да пригожая, врать не буду. Работящая. Только мне, в четырнадцать лет, что с нею делать-то? Ничего не знал, как слепой кутенок... Ну, а тятя — прости, Господи, — тут как тут. Это он не мне невесту, это он себе полюбовницу присмотрел. Начал жить с ней чуть ли не в открытую. А никто не пикни — сразу в глаз — то ли мне, то ли матушке... Все отца боялись, чистый самодур. Липка-то, известное дело, вскоре понесла. Ясно, от него. И в положенное время родила мальчонку. Ванькой окрестили. Записали, что мой сын. А какой он мой, коли я с женой ночевал за все время раза три, да и то из них раза два нескладно... Уж не знаю, чем бы дело кончилось — то ли я папашу прибил бы, то ли он меня, — только померла наша барыня — Ольга Васильевна, матушка, стало быть, Василия Львовича и Сергея Львовича. Поделили они наследство, деревеньки наши, я Василию Львовичу отошел, он и взял меня во служение в дом. А потом и в Москву забрал. Я с тех пор при его милости неотлучно — даже с Божьей помощью побывал в европах. О как! — Завершив историю, камердинер запил ее остатками медовухи.

Сашка не преминул спросить:

— Нет, постой, постой — что же, с той поры ты ни разу не виделся ни с женою, ни с сыном?

Посопев немного, тот ответил:

— Отчего не виделся? Виделся. Года два тому ездил я на похороны матушки моей... Померла, сердешная, от худой бо-

лезни — царствие ей небесное! — Он перекрестился. — А Василий Львович отпустили меня милостиво на четыре дни. Ну, на погребение, ясное дело, не успел, постоял только на могилке свежей. А в поминках участвовал. Да. Там и были все. С тятей поздоровался, даже обнялись мы по-родственному. Он смахнул слезу для приличия, я — по-настоящему... Постарел, поседел, собака. Но на девок-то зыркает по-прежнему, старый черт. Липка раздалась во все стороны — баба бабой. Родила еще двух ребяток, Машеньку и Николеньку. На меня же обратно записали. Эхе-хе! Многодетный папаша, едрён-ть! Ванька уж большой — скоро девять. Головастый, шустрый. И меня тятенькой назвал. Я аж прослезился. Смех и грех, корочей.

Дядя взял еще по кружке медовухи, а племяннику отказал — для юнца, мол, хватит и стаканчика. Тот и не особо печалился. За беседами время пролетело стрелой — посмотрев на хронометр, Пушкин-старший неожиданно обнаружил, что уже половина двенадцатого ночи. Надо было возвращаться на постоялый двор — Анна Николаевна, верно, извелась уже в ожидании мужчин. Начали вставать, а Василий Львович чуть не повалился на спину — ноги отказали от алкоголя. Еле удержали его с двух сторон — Сашка слева, а Игнатий справа. Вывели неспешно на свежий воздух.

Новгородская ночь была превосходна: тихо, безмятежно, черное небо в звездах, пахнет травой скошенной и речной водицей. Летняя прохлада.

Продышавшись, дядя протрезвел и пошел самостоятельно, правда, чуть покачиваясь, и слуга был готов подхватить его под руки в любой момент.

— Вы не понимаете, — лопотал Василий Львович по причине непослушного языка. — Думаете: ну, поехали, ну, приехали, посидели в кружале, выпили медку — чепуха, мол. Не-ет, друзья мои, то не чепуха. Много лет пройдет, Сашка вспоминать будет — и поездку нашу, и разговоры, и посиделки... Ибо это уже история. Часть истории! Ну, а выйдет так, что окажется он или Левушка — брат его или кто еще из нашего семейства, знаменитой личностью, эта поездка и вовсе приобретет иные черты. Будут говорить: был великий человек Василий Львович, поэт, он другого великого человека — Александра Сергее-

вича — вез в Лицей, и они в питейном доме Собакина нализились, как свиньи... Ха-ха-ха! Так и будет, верно. Так и скажут. Нализились, да, ну и что плохого? Потому как и великие люди могут иметь маленькие слабости. Нам ничто человеческое не чуждо. Гениальны в одном — мы во всем остальном простые смертные...

Еле довели его до постели. Анна Николаевна, конечно, разохалась, разохалась, попеняла всем, что не углядели за барином и позволили ему нахлебаться, как какому-нибудь сапожнику. Дядя хохотал, когда его раздевали.

Пушкин-младший у себя в комнате быстро записал в тетрадь весь рассказ Игнатия и уже потом, раздевшись, быстро задул свечу.

12.

Утром не уехали, потому что дяде было плохо после вчерашнего. Он стонал от головной боли, проклинал свою легкомысленность и торжественно обещал больше никогда ни грамма медовухи в рот не брать. А к полудню ему полегчало, и Василий Львович с аппетитом позавтракал. Быстро приободрился и сказал, что, поскольку до Чудова добираться три часа, не больше, можно выехать и после обеда. Там заночевать и уже на рассвете — по прямой дороге в Питер, без любых задержек. И отправил Игнатия разузнать о возчике. А пока с племянником поспешил на почту.

— Вновь на почту?! — вскинула брови Анна Николаевна.

— Правда, правда на почту, — успокоил ее Пушкин-старший. — Обещаю вести себя смирно и быть паинькой.

— Под мою ответственность, — сказал Сашка.

Дама улыбнулась:

— Ежели под вашу, Александр Сергеевич, я спокойна.

Все переглянулись и рассмеялись.

Новгородская почта располагалась в то время на Софийской стороне, в кремле, в здании губернских присутствий, в полуподвале. Лестница была довольно крутая, и спускавшиеся по ней вынужденно держались за поручни, чтобы не свернуть себе шею. За конторкой сидел хмурый господин в мундире по-

чтовой службы, неизменном еще со времен Павла I, и смотрел на вошедших исподлобья. На вопрос, есть ли что для Пушкиных, он, ни слова не говоря, стал копаться в шкафу, больше похожим на высокий комод, и к приятствию дяди и племянника вытащил из стопки маленький конверт. Дядя рассмотрел его и сказал с удивлением:

— Это для тебя, Александр! — И отдал послание Сашке; а потом спросил почтаря: — Больше ничего?

— Никак нет, ваша милость.

— Ладно, держи на чай.

— Благодарствую-с.

Отрок между тем трепетно разъял склейку с сургучом. Разумеется, то была весточка из Клина, от Татьяны Бурцовой. Вот что она писала (в переводе с французского):

«Милостивый государь Александр Сергеевич. Были мы с сестрой очень рады, получив от Вас письмо из Твери. Ольга и я также с теплотой вспоминаем нашу встречу, а подругам показываем Ваши стихи в альбоме, все ими восторгаются, говорят, что Вы гений, коли в эти годы сочиняете уже так складно. Очень рады за Вас.

Завтра уезжаем в деревню на месяц. Это хорошо: город надоел. А в деревне, на природе, будем ходить на речку и в лес, забавляться на свежем воздухе, пирогами лакомиться с ягодами и грибами, ездить в гости к соседским помещикам. К нам наверняка пожалует мсье Басаргин — отставной военный; он, сказать по правде, тайно в меня влюблен и лелеет надежду года через два, как исполнится мне 16, попросить у папеньки руку мою и сердце. Я пока не решила, дать ли ему согласие, время покажет.

Мы желаем Вам приятного путешествия и благополучного прибытия в Петербург. Будем счастливы, если Вы напишете нам оттуда. Низкий поклон Василию Львовичу и его семейству.

*Искренне Ваши
Татьяна, Ольга».*

Пробежав послание раза два, Сашка со злостью чуть не смял его.

— Что, дружок, плохие вести? — посмотрел на него Пушкин-старший.

— Басаргин! — выпалил подросток. — Тайно в нея влюблен! Жаждет добиваться руки и сердца!

— А Татьяна что же?

— А она пока не решила.

— Вот и славно, рано еще печалиться.

— Как же не печалиться, дорогой дядя? Ну как согласится? Нет, я вызову его на дуэль.

— Господи Иисусе! Этого еще не хватало.

— Непременно, непременно стреляться. Я уже решил.

— погоди, дружок. Ты же говорил, что стреляться будешь с мсье Милюковым из-за Прасковьи Васильевны?

Отрок слегка опешил. И пробормотал:

— Да? И с ним? Значит, буду с обоими.

— Это невозможно. Ты уж определись, кто тебе милее — мадемуазель Бурцова или же мадам Милюкова.

Сашка воскликнул со слезой в голосе:

— Я не знаю!.. Вы смеетесь надо мной, дядя, а мне больно!

Приобняв племянника, Василий Львович ответил:

— Настоящий поэт — все красавицы мира тебя волнуют!.. Ну, пошли, пошли к постоялому двору — скоро ехать.

Возвратившись, они столкнулись с Игнатием и каким-то мохнатым мужиком в извозчицком одеянии, ждущими их возле номера Пушкина-старшего. Камердинер сказал:

— Вот Макар предлагает вашей милости за двойную плату доскакать до Петербурга нынче же к ночи.

Дядя удивился:

— Как сие возможно, Макарушка? Путь неблизкий, десять часов как минимум, коль без остановок. А у нас малое дитя, рисковать не станем.

Весь заросший волосами возникший — лишь глаза сверкают — начал бормотать из-под бороды и усов, словно бы из бочки:

— Риска никакого, ей-бо. Я дорогу знаю. Докачу без тряски. Если выедем в три часа, то к полуночи верно будем в Питере.

— Нет, не уговаривай. Нам, конечно, задерживаться не след, но такая сумасшедшая гонка тоже ни к чему. Заночуем в Чудове, а наутро, благословясь, двинем дальше, самое позднее во втором часу пополудни прибудем, нам уже места оставлены в трактире «Бордо». Нет, голубчик, предложение твое мне не по душе.

Помрачнев, кучер поклонился:

— Ну, как знаете, барин. Я хотел, как лучшей. А на нет, как говорится, и суда нет.

— А до Чудова — что, не довезешь?

— Извиняйте, не поеду до Чудова, мне резону нет за такие копейки горбатиться. Нанимайте кого другого. — И, опять поклонившись, нахлобучив шапку, ушел.

Тяжело вздохнув, Василий Львович сказал:

— Что ж, ступай, Игнатий, и ищи другого. Надо выехать не позже пяти часов.

— Слушаю, ваша милость.

И уже в номере Анна Николаевна, встретив Пушкиных, закудахтала возбужденно:

— Слава Богу, что вы ему отказали, этому Макару. Он мне с первого взгляда не понравился. Смотрит, аки волк. У него смерть стоит за плечами.

— Фу, какие глупости, Аннушка. — Дядя поцеловал ее в щечку. — Просто нам не надобно в такие скачки пускаться. Я обязан довезти вас и Сапку без лишних приключений. Здравый смысл диктует, а не бабьи твои фантазии.

Та надула губки:

— Можете считать, как желаете, только это не фантазии, а правда. Объяснить не могу, но чую. Ведь у нас не даром фамилия Ворожейкины, от «ворожбы».

— Хорошо, хорошо, — улыбался Василий Львович, — я согласен: ты не ворожея, но чуть-чуть ворожейка!

Пообедали провизией, доставленной из трактира, между тем Игнатий привел другого возчика, молодого парня — рыжего, в веснушках, на которого Анна Николаевна сразу согласилась, говоря, что этот их не подведет. Настроение было легкое, быстро погрузились и отчалили в половине пятого, а к восьми вечера оказались уже на постоялом дворе села Ям-Чудово.

Разместились, заночевали и наутро только хотели ехать дальше, как Игнатий принес невероятную весть, сообщенную ему новым кучером: прошлой ночью на тракте Чудово — Тосна сверзилась с моста и разбилась насмерть карета, все погибли, а на козлах ее сидел тот самый Макар. Наши путники в страхе перекрестились. Побледневшая Анна Николаевна тем не менее с гордостью заметила:

— Вот вам и «бабьи фантазии», Василий Львович.

Дядя, продолжая креститься, пробормотал:

— Провидение нас спасло. Слава те, Господи!

А племянник невесело пошутил:

— Чудом нас спасло Чудово!

13.

По дороге остановились только в ямской слободе Тосна, где перекусили, отдохнули часок и уже к полудню проскочили Софию — станцию почтовую, где обычно меняли лошадей те, кто ехал в почтовой карете. Глядь — уже Петербург замаячил своими предместьями! Добрались с Божьей помощью.

Небольшая гостиничка «Бордо» находилась на набережной Мойки. Дом принадлежал портновскому мастеру Мейеру, а сдававшиеся номера оказались в четырехэтажном корпусе, выходящем окнами на реку. Комнаты им снял заранее их московский сосед Иван Дмитриев (он периодически возвращался на государеву службу, в этот раз император назначил его, ни много ни мало, министром юстиции, и поэтому стихотворец жил не в Москве, а в Петербурге), и конкретно «Бордо» рекомендовал друзьям молодой гусар и поэт Денис Давыдов. Никаких проблем с устройством не возникло, и портье был вежлив, улыбался учтиво, коридорный же мальчик помогал Игнатию перетаскивать вещи. Дядя с ходу написал записку Ивану Ивановичу о своем прибытии и послал с тем же мальчиком к Дмитриеву. А пока велел приводить себя в порядок, дожидаясь обеда.

Комната Сашки была очень неплоха: потолок высокий, по краям в лепнине, на полу паркет и ковер, стол, кровать, по-

доконник широкий — можно сесть с ногами, за окном замечательный вид на купол Исаакиевского собора. «Боже мой, — восхищался отрок, стоя у окна, — я в Петербурге! На пороге чего-то важного в жизни, может, самого главного. Предо мною открыты все дороги. Надо выбрать верную. Помоги мне, Господи!» — и расцеловал свой нательный крестик.

Не успел он улечься на кровать, чтобы отдохнуть, как явился Игнатий с просьбой заглянуть к дяде — дескать, Пушкины сегодня обедают у Дмитриевых. И Василий Львович, весь из себя уже по-питерски важный, чопорный, озабоченный, подтвердил: в половине четвертого у Ивана Ивановича и его родителей. Величаво сказал: «И води себя подобающе, никакого баловства, никаких шуточек-прибаutoчек московских, это Петербург. От Иван Ивановича многое для тебя зависит: он приятель министра просвещения Разумовского и директора Лицея Малиновского. Если за тебя поручится — примут без препон. Ясно, дорогой?» — «Понимаю, конечно, дядя, чай, не маленький», — и помчался к себе в номер намываться, собираться, прихорашиваться.

Дмитриев был холост, своего дома не имел, и ему отвели в Министерстве юстиции пол-этажа казенных апартаментов. А поскольку располагалось Министерство в бывшем дворце Шувалова, фаворита давней императрицы Елизаветы Петровны, то жилье вышло более чем роскошное. У сановника гостили его родители, жившие обычно в деревне, у себя в имении на Волге, им обоим уже за 70, а министру юстиции и поэту — 50. Выше среднего роста, худощавый, подтянутый, выглядел он достаточно моложаво, часто шутил и улыбался. Встретил своих московских соседей очень по-доброму, впрочем, без объятий и поцелуев, руку Сашке пожал крепко: «Вот как вырос арапчик наш!» — усмехаясь. Пушкин-младший побоялся повторить свою давешнюю рифму про «рябчика».

За столом распоряжалась маменька хозяина — добрая старушка в кружевном чепчике и большими мешками под глазами. Папенька, тоже сухопарый, как сын, большей частью молчал и смешно причмокивал, когда ел, а в конце обеда и вовсе уснул. Говорили о семействе сестры Дмитриева, Катерине, замужем за морским офицером, о жаре, стоящей этим летом

на Волге, следствие которой — выжженные поля и недород, о Наполеоне, о возможной будущей войне. Наконец, полакомившись десертом (грушами в сахарном сиропе), Пушкины и Иван Иванович перешли в гостиную.

— Как сестрица ваша, Анна Львовна? — вроде между прочим спросил министр о своей давнишней безответной любви. — Все такая же злючка или же с годами стала помягче?

— Да она и не злючка вовсе, — защитил свою родственницу Василий Львович. — Просто своенравна чуть-чуть и по молодости не хотела ни за кого замуж. А теперь уж куда? Так и осталась старой девой... Но вообще живет в свое удовольствие — и в Москве, и в деревне, любит племянников — деточек Сержа и мою Марго. Сашке вон дала на орехи десять рублей ассигнациями.

— Хорошо, — кивнул Дмитриев.

Дядя свернул разговор на литературу:

— Продолжаете сочинять или времени нет?

У Ивана Ивановича покривилась верхняя губа:

— Время можно выкроить, да желания нет. Как отрезало. Ей-бо. Да и неудобно, знаете: государев человек, во главе министерства, а строчит сатиры про пороки того же государства — это как-то несообразно. Да и вряд ли мне Крылова в басенном жанре превзойти. Он любого заткнет за пояс — потому как талант! Вот, казалось бы, что откуда берется? Увалень, тюфяк, гедонист, столько лет писал посредственные пьески. И нашел себя в баснях! Полуграмотная Россия знать не знает, кто такой Дмитриев, а Крылов у любого приказчика на слуху и на языке.

Помолчали. Дядя произнес неожиданно:

— Если кто-то и заткнет Крылова за пояс, как изволили выразиться, то вот он — Александр Пушкин, мой племянник.

— Неужели? — вскинул брови министр иронично. — Тоже пишет басни?

Сашка покраснел и потупился.

— Басни пока не пишет, мал еще, а в альбомы барышням сочиняет филигранно. Ну-тка, зачти, что ты накарябал в Клину Бурцовым.

— Мне неловко, дядя.

— Не робей, дружок, покажи себя во всем блеске.

— Скажете тоже — «блеске»? Ведь Иван Иванович — столп российской словесности, а я кто?

— Нет, прочти, прочти, сделай одолжение, — попросил уже сам хозяин.

Повздыхав и поерзав на стуле, отрок продекламировал свой недавний опус по-французски. Дмитриев сидел удивленный. Наконец обронил:

— Да неужто сам сочинил? Или все-таки дядя прилагал руку?

— Сам, сам, — объявил с горячностью Василий Львович. — Чем угодно могу поклясться, я услышал уже в готовом виде. Представляете?

— Да-а, мон шер ами, это очень, очень недурственно, — согласился Дмитриев. — Жаль, что не по-русски. Мы должны сочинять по-нашему — как Державин, как Жуковский и Карамзин, как Крылов, наконец. Как Василий Львович. Кстати, я наслышан о вашей поэмке... этакой... фривольной... кажется, «Любострастный сосед»?

Пушкин-старший самодовольно расплылся:

— Нет, «Опасный». «Опасный сосед».

— Дайте почитать.

— А желаете, воспроизведу? Я его наизусть знаю целиком.

— Неужели? Был бы рад послушать.

Дядя повернулся к племяннику:

— Прогуляйся, дружок, это не для твоих ушей.

Сашка заупрямился:

— Полно вам, дядюшка, нешто я не знаю вашего «Соседа»? И у нас в доме слышал, как вы читали, да и в списке мне Лёля приносила.

— Лёля приносила? В списке? Ах ты Господи! Вот позор-то какой!

Дмитриев рассмеялся:

— Вы чудак, право слово, Василий Львович: сами написали, а теперь стыдитесь. Что же там такого запретного? Ну, читайте, читайте.

Неплохой артист, тот продекламировал с выражением, очень комично изображая всех своих персонажей. А веселый

Иван Иванович хохотал заливисто, хлопая себя по коленкам. И в конце бросился пожимать поэту руки:

— Браво, браво! Это настоящий шедевр!

Раскрасневшийся дядя благодарил.

А когда под вечер уже прощались, Дмитриев, провожая гостей в прихожей, произнес тепло:

— Вам спасибо большое за ваш визит. Очень вы меня развлекли, отвлекли от насущных дел. — С чувством пожал руку Сашке. — Ну, мон шер ами, вырастай большой. Я на заседании Совета министров должен видеть Разумовского. И замолвлю словечко за тебя.

Пушкин-младший быстро поклонился и сказал от волнения по-французски:

— Был бы самым счастливым человеком, мсье.

Он похлопал отрока по плечу:

— Ладно, ладно, сочтемся славою.

14.

Прожили в гостинице «Бордо» меньше двух недель — тамошний владелец заломил цену в 23 рубля за месячный постой, и Василий Львович посчитал, что ему это слишком дорого. При посредничестве друзей отыскал себе другую квартиру, тоже на Мойке, но с другой стороны от Невского, в доме купца Кувшинникова. Тот запросил за апартаменты в четыре комнаты лишь десятку в месяц, что вполне устроило Пушкина-старшего. Но, конечно, антураж был попроще — и фасад без архитектурных изысков, и внутри без паркета и ковров. Скромно, неприхотливо, непритязательно. Но жить можно. Даже клопов не много.

Дядя сновал по своим масонским и литературным делам, и практически всегда без племянника, Сашка большей частью скучал, лежа у себя в номере, иногда гулял с Игнатием в Летнем саду, иногда к ним присоединялась Анна Николаевна с Марго, но хотелось посмотреть Петербург как следует, походить вдумчиво, подолгу, а ему одному отлучаться не позволяли. Говорили: «Потом, потом, только не теперь». А когда потом? Если он поступит в Лицей, сразу переедет в Царское Село, если не

поступит — сразу возвратится в Москву, толком не увидев Северную столицу. Было чрезвычайно досадно.

Неожиданно дядя анонсировал: завтра едем на экзамен к графу Разумовскому Алексею Кирилловичу, быть во всем парадном, чистым, ладным и желательно жизнерадостным. Пушкин-младший сразу оробел и, представив себя пред очами самого министра народного просвещения, грозного, по слухам, нелюдимого и очень взыскательного, даже потерял аппетит. Как ни уговаривала его Анна Николаевна выпить чашку куриного бульона иль отведать бараньей котлетки с гречневой кашей, отказался напрочь. Только воду пил в больших количествах.

Утром пробудился едва ли не в четыре часа, вспомнил о грядущем экзамене и почти что подскочил на кровати от ужаса. За окном уже брезжило. Сашка бегал по комнате лишь в ночной рубашке, умывался, причесывался, то и дело восклицая нервно: «Боже, для чего мне такие мучения?.. Не хочу быть посланником... не хочу Лицея... ничего не хочу... жить в глуши, в Болдине, в Михайловском — лишь бы меня никто не трогал!.. Ах, зачем, зачем я приехал в Петербург?!» На крючке висел его выходной костюм, вычищенный Игнатием. Одеваться было еще рано. Выглянул из номера: у его двери стояли туфли, надраенные коридорным. Взял их к себе. Опустился на колени и молился долго, глядя на небо за окном. Стал немного спокойнее.

Около семи постучал Игнатий — разбудить барича. И увидел его, целиком одетого. Удивился:

— Как, уже готовы? Вы не спали, что ль?

— Спал, спал, но мало.

— Полноте волноваться, Сан-Сергеич, точно барышня какая перед свадьбой. Чай, не на войну отправляетесь.

— На войне было бы не так страшно. Там скакать да шашкой махать — многого ума не надо.

— Не скажите: ум нужен везде. На войне тем паче, чтоб живым остаться.

Сашка съел за завтраком только одно куриное яичко «в мешочек», ломтик сыра и выпил чашку кофе со сливками. Чуть повеселел. Дядя ему сказал:

— Не тревожься, дружок, я уверен, что все пройдет, как по маслу. Про тебя уж говорено — нужными людьми нужным людям. Все необходимые бумаги представлены, и по родословной в том числе. Так что экзамен — большей частью формальность. А нарочно топить никто и не станет, здесь не те порядки.

Пушкин-младший, ничего не сказав, только перекрестился.

Шли пешком, так как дом Разумовского находился поблизости — на Фонтанке, между Семеновским и Обуховским мостами. За оградой кованой был обширный двор, весь в зеленых кронах деревьев. Поднялись по широкой лестнице, устланной ковром, и зашли в залу перед кабинетом министра. Там уже сидели первые посетители — взрослые с подростками, вероятно, тоже будущими лицеистами. Выделялся седой сердитый старик в форме адмирала, рядом с ним притулились на стульях два юнца, явно братья, тоже лет 12—13. Дядя сразу подошел к ним:

— Петр Иванович, голубчик, разрешите засвидетельствовать вам мое почтение.

Адмирал покивал, приподнявшись:

— Здравия желаю, многоуважаемый Василий Львович. Вот привез моих внуков — Ванечку да Мишеньку. Вы, я вижу, тож?

— Да, племянника Александра. Сашка, познакомься, дружок, со своими будущими однокашниками. Очень рекомендую: знаю семейство Пущиных много лет.

Пушкин-младший, шаркнув ножкой, крепко пожал им руки. Ваня был чуть повыше и чуть постарше, круглолицый, серьезный, как дед. Миша — ниже, но зато в плечах шире, и улыбчивей.

— Да когда ж начнут? — в нетерпении спросил адмирал. — Я не мальчик им всё утро провести в предбаннике. Затекла спина. Мне под девяносто уже, кстати говоря.

— Алексей Кириллович, по слухам, едет от императора, скоро будет.

А министр все не появлялся, Пущин-дед шумел, но, по счастью, появился дядя Ивана и Михаила — брат их матери, и колючий старик, поручив ему внуков, шаркая подошвами и стуча

палкой, важно удалился. Посетители вздохнули с некоторым облегчением.

Наконец, Разумовский пожаловал, с ним — директор Лицея Василий Малиновский и директор департамента Министерства просвещения Иван Мартынов. Все они уселись в кабинете хозяина особняка, и туда из зала начали вызывать по одному претендентов на звание лицеиста. Шли по алфавиту, и Пушкина пригласили раньше Пущиных.

Он вошел и встал напротив стола, тоненький, как церковная свечка. Смуглое лицо было бледновато, и в глазах тревога.

Разумовский смотрел придирчиво, повернув голову чуть набок, и слегка жевал тонкими губами. Малиновский, напротив, очень доброжелательно кивал и, сцепив пальцы, быстро-быстро вращал большими друг вокруг друга. А Мартынов сидел с нейтральной физиономией, мыслями совсем в ином месте.

— Здравствуй, Пушкин, — громко произнес Алексей Кириллович.

— Здравствуйте, ваше превосходительство, — поклонился отрок несмело.

— Мне сказали, ты стихи сочиняешь, как Василий Львович?

Сашка покраснел:

— Нет, ну, дядя — мастер; я только начинаю.

— Так прочти что-нибудь свое.

— Можно по-французски?

— Сделай одолжение.

Он декламировал запись в альбоме девиц Бурцовых.

Разумовский хмыкнул, а Мартынов неожиданно отозвался:

— Очень, очень бойко, надо сказать. В такие годы мало кто смог бы столь игриво... — Но потом осекся и смолк.

Разумовский продолжил:

— Значит, по-французски и пишешь, и говоришь. А по-русски пробовал сочинять?

— Делаю попытки.

— А кого любишь в русской литературе?

Сашка приободрился, эта тема была ему близка.

— Безусловно, Жуковского, Батюшкова, Карамзина. Дмитриева, конечно. И Крылова.

— А Державина?

— Гавриил Романович — столп, как его можно не любить!

— Ломоносова читал оды?

— Да, читал. Но они такие... выпренье... и не слишком трогают.

Согласившись, министр пояснил:

— Он ученый и стихи пишет, как ученый, — больше разумом, нежели душой. Мой отец, Кирилла Григорьевич, будучи тогда президентом Академии наук, очень к нему благоволил. И хотел назначить вице-президентом, только матушка-императрица не разрешила, ибо прислушивалась к немцам-профессорам... а они клевали Ломоносова.

Малиновский добавил:

— С истинными талантами так нередко случается: современники не всегда ценят их должным образом...

— Но вернемся к Пушкину, — сдержанно улыбнулся Разумовский. — А какие науки тебя прельщают?

— Очень люблю историю. Географию тоже. А вот к точным наукам сердце не лежит, говоря по правде.

— И напрасно. Точные науки важны. Математика учит стройности мышления. И законы физики, химии надо знать... Ну, да это дело наживное. А скажи, Пушкин, кем ты видишь себя в будущем?

Сашка слегка пожал плечами:

— Трудно загадывать, ваше превосходительство. Ежели идти по дипломатической части, то мечтал бы сделаться посланником России в небольшой, но важной для нас стране.

Алексей Кириллович коротко кивнул:

— Что ж, похвально, похвально... Есть ли у вас еще вопросы, господа? Ну, тогда ступай, Пушкин. О решении нашем ты узнаешь позднее.

Коротко поклонившись, отрок вышел. Сразу почувствовал, что сорочка его насквозь промокла. И на лбу выступили капли. Он достал из кармана носовой платок, начал утирать.

Подскочил тревожный Василий Львович:

— Ну, дружок, рассказывай, что да как.

Молодой человек вздохнул:

— Вроде бы неплохо. Доброжелательно. Попросили стихи прочесть. Вероятно, Дмитриев рассказал... Я прочел. Говорят: бойко и игриво.

Дядя улыбнулся:

— Это добрый знак.

Их обступили другие экзаменующиеся, завалили вопросами. Было видно, что почти все сильно нервничают.

Вышел старший из братьев Пущиных, тоже утирающийся платком. Любопытные бросились к нему:

— Ну, прошел? Что сказали?

— Как и остальным: о решении сообщат позднее.

Опустился на стул рядом с Пушкиными. Глухо произнес:

— Не возьмут — и не надо. По военной части пойду. В армии — там проще.

Сашка повторил услышанное от Игнатия:

— В армии тоже думать надо, чтоб в живых остаться.

У Ивана в глазах возник интерес к собеседнику; посмотрев придирчиво, он сказал:

— Вы, я слышал, у Кувшинникова живете?

— Да, на Мойке.

— Мы соседи, значит. Заходите в гости. Можем вместе прогуляться в Летнем саду.

— Я бы с удовольствием.

— Значит, договорились. — И они на прощанье крепко пожали друг другу руки.

День спустя получили известие: Пушкин принят в Лицей. А потом и Пущин рассказал о последствиях их вступительного экзамена: оба брата признаны достойными, но, ввиду небольшого количества мест в учебном заведении, может быть зачислен только один; на семейном совете Пущиных положили идти старшему, Ивану.

Сашка простодушно обрадовался:

— Я безмерно рад! Вы мне симпатичны, Иван. И попросим, чтобы наши комнаты были рядом.

— Я согласен. А хотите, будем с вами на «ты»?

— Разумеется. Я и сам хотел это предложить.

Оба рассмеялись, как дети.

Здравствуйте, Татьяна Антоновна. Не сердитесь, что долго не писал, будучи уже в Петербурге: неопределенность моего положения отвлекала мысли, да и понимание, что Вы неизвестно когда возвратитесь из деревни, не способствовало моей торопливости. Но теперь иное: с удовольствием сообщаю Вам, что зачислен в Лицей и могу считаться персоной, приближенной к Его Величеству — мы ведь будем жить в Царскосельском дворце, где вполне возможно встретиться и с самим императором, и с великими князьями! Не подумайте, что я хвастаю, просто радостные чувства переполняют меня, и обуревает желание с кем-то поделиться.

Все последние дни погружен в подготовительные к учебе хлопоты: с нас снимали мерки, чтобы шить форменную одежду, головные уборы и обувь, а на будущей неделе предстоит поездка в Царское Село — осмотреть место будущего нашего пребывания и принять участие в репетиции открытия, ведь его обещает посетить царское семейство во главе с Александром Павловичем. Страшно необычайно, но, с другой стороны, и празднично на душе.

Напишите, пожалуйста, как Вы поживаете, как сестрица Ваша? Хорошо ли провели время в деревне? И не слишком ли Вам докучал мсье Басаргин, будь он неладен?

Весь сентябрь, предположительно, я останусь еще в Петербурге, так что можете писать просто: Санкт-Петербург, I Адмиралтейская часть, дом купца Н. Кувшинникова, мне. Жду с нетерпением Ваш ответ.

С пожеланием всего наилучшего

Александр».

«Милостивый государь Александр Сергеевич. Мы с сестрою только вернулись из имения в Клин, как нам подают письмо от Вас! Это был приятный сюрприз. Очень Вам благодарны за внимание Ваше — Вы теперь лицо в окружении государя, но не забываете нас, скромных жителей российской глубинки. Мы гордимся выпавшей нам честью.

Время в деревне провели мы не так весело, как хотелось бы: Ольга подхватила простуду и лечилась долго; но погоды

стояли чудесные, все-таки успели насладиться теплом, сказочным лесным воздухом и дарами природы. Даже удили с деревенскими рыбу — это было незабываемо!

Что касается мсье Басаргина, то, по слухам, он уже сделал предложение нашей соседке, и у нас не появлялся ни разу, — мы и не печалились.

И сестра, и я, мы желаем Вам, уважаемый Александр Сергеевич, всяческих удач и здоровья. Будем счастливы получить от Вас новую весточку. Низкий поклон Вашим близким.

Кланяемся, Ваши

Татьяна, Ольга».

16.

В Петербурге осень развернулась вовсю, часто капал дождь, дул прохладный ветер, гнавший по Неве студеные волны, а открытие Лицея все откладывалось и откладывалось. Пушкин и Пущин сильно подружились за это время, часто приходили друг к другу в гости и гуляли вместе с Анной Николаевной и ее дочкой или же с Игнатием. Сашка балагурил, при любом удобном случае целовал свою названую «тетушку» — в ручку, в щечку, а один раз даже в губки, вызвав этим бурю негодования и угрозу пожаловаться Пушкину-старшему; отрок обещал присмиреть и старался сдержать слово, а она перестала злиться, обратила все в шутку и не ябедничала дяде.

Дядя пропадал у друзей, сочинял новые стихи, а в одну из ясных сентябрьских суббот нанял ялик и в сопровождении Ворожейкиной, дочери, племянника и Вани Пущина плавал до Крестовского острова и обратно; всем поездка очень понравилась, и ее потом долго вспоминали с удовольствием.

Наконец, нарочный привез официальное письмо за подписью Мартынова из Министерства просвещения: лицеисту Пушкину А.С. и сопровождающим его родственникам надлежит прибыть в Царское Село на торжественную церемонию открытия 19 октября 1811 года к 8 утра; форма одежды — парадная.

Все заволновались, начались сборы, и Василий Львович справедливо рассудил, что отправиться надо заранее,

18-го числа, и заночевать в царскосельских номерах. Дядя сказал, что поедет один с племянником, нечего беременной даме и ребенку растрясаться туда-сюда, но Игнатия с собой взял — без слуги, как без рук.

Выехали после обеда в наемном экипаже. День стоял холодный, чуть ли не морозный, впрочем, без дождя или снега. Сашка при параде (в синем мундире с красным воротником, шитым серебряными петлицами, белых панталонах, белом жилете и белом галстуке, на ногах — ботфорты, а на голове — треуголка), кутался в плащ и периодически вздрагивал — больше от волнения, нежели от холода. А зато Василий Львович в новом рединготе и цилиндре чувствовал себя превосходно, что-то напевал и все время приобладрял отрока, говоря, что бояться нечего, главное, что он принят, и дальнейшая жизнь у него безоблачна, только успевай стричь купоны. Александр подавленно молчал.

Разумеется, мест в трактире не оказалось — все были заняты приехавшими лицеистами с их родными, но Игнатию удалось снять на сутки небольшую комнату у какой-то старушки, что жила неподалеку от дворцового парка: дядя вместе с племянником, а слуга — в людской. Зарядил дождь со снегом, и гулять по городу не хотелось. Камердинер доставил из трактира горячих щей, и повечеряли втроем скромно, но со вкусом, даже позволили себе по кружечке портера (взрослые) и три четверти стакана — подростку. Спать легли рано, в половине одиннадцатого, чтобы пробудиться к шести утра. После темного пива им спалось неплохо.

Около восьми были уже во дворцовой церкви: взрослые — в притворе, там, где священник, против алтаря, дети — на хорах. В ходе обедни и водосвятия все усердно крестились и бесчисленное число раз кланялись со словами: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Около десяти часов перешли в здание Лицея, на второй этаж, в конференц-зал. Посреди находился стол, покрытый красным сукном с золотой бахромой, спереди него — высочайшая грамота, дарованная Лицею. Лицеистов поставили в три ряда справа от стола, а при них находился директор Малиновский, гувернеры и инспекторы; слева встали профессора и чиновники из администрации заведения.

Остальное пространство зала занимали кресла для публики (со второго ряда сидели высшие чины и сановники Петербурга, а за ними — родичи лицеистов; первый ряд назначался для августейших особ).

Разумовский в темном мундире с красным стоячим воротником и красной лентой через плечо оглядел собравшихся критическим взором, одобрительно кивнул и вышел в соседнюю залу, приглашая его величество. Вскоре появился Александр I вместе с обеими императрицами (матерью, бывшей принцессой Вюртенбергской, в православии — Марией Федоровной, соответственно, вдовой Павла I; и своей женой — бывшей принцессой Баденской, в православии — Елизаветой Алексеевной), братом — великим князем Константином Павловичем, и сестрой — великой княжной Анной Павловной. Самому государю было 34 года, он сиял здоровьем и силой, только ранние залысины старили его несколько; добрая улыбка не сходила с ярко-красных сочных губ царя. Тихая, скромная царица выглядела бледной на его фоне и слегка отрешенной. А зато вдовствующая императрица отличалась бойкостью и смотрелась хозяйкой положения (ей в ту пору минуло 52). Константин, моложе брата на 2 года, шел слегка вразвалочку, и лицо его не выражало ни радости, ни печали. А 16-летняя Анна пребывала в цвете первой молодости и бросала на окружающих ласковые взгляды (года два назад сватался к ней сам Наполеон Бонапарт, но ему отказали ввиду тогдашнего несовершеннолетия великой княжны). Собственно, сам Лицей затевался Александром I для того, чтобы дать хорошее обучение своим младшим братьям — Николаю и Михаилу Павловичам, и поэтому под учреждение был выделен флигель императорского дворца в Царском Селе; но в последний момент их мать, Мария Федоровна, резко передумала, заявив, что негоже великим князьям запросто общаться с прочими лицеистами, хоть и дворянами; в общем, царевичам наняли частных педагогов, а Лицей упразднить и переносить не подумали, так и оставили, как намечено было изначально.

Поприветствовав всех собравшихся, Александр Павлович со своим семейством сел на кресла в первом ряду; вместе с ним устроился и министр просвещения Разумовский.

Вышел и остановился перед столом возглавляющий департамент министерства Иван Мартынов; он надел очки и дрожащим от волнения голосом зачитал высочайший манифест об учреждении Лицея и дарованную ему грамоту (а согласно ей выходило, что Лицей — единственное учебное заведение в России, где в уставе был прописан запрет на телесные наказания).

Вслед за ним выступил директор Василий Малиновский; речь его была длинна и скучна, в зале начали откровенно зевать.

Но зато третий оратор — профессор политических наук Александр Куницын, говоривший бодро, страстно и без бумажки, взбудоражил всех программой воспитать лицеистов настоящими патриотами России, сыновьями Отечества, цель которых — благо Родины, за которую готовы жизнь отдать. Многие отметили, что, в отличие от Мартынова с Малиновским, тот ни разу не упомянул государя (как потом говорили, это императору очень понравилось, молодой монарх не любил словоблудий и явной лести; за свою речь на открытии Лицея педагог Куницын был в дальнейшем награжден Владимирским крестом).

После выступлений стали вызывать лицеистов по одному: каждый, выйдя перед столом, молча кланялся самодержцу.

Наконец ответное слово взял Александр I. Он был краток: поблагодарил всех, начиная с Разумовского, и затем пригласил обеих императриц осмотреть помещения Лицея. Вслед за царской семьей потянулась публика, а воспитанников отправили в столовую на обед. Угощали супом и пирогом. Вскоре в столовой оказалось и царское семейство. Император шел, о чем-то беседуя с министром. А Мария Федоровна с ходу отведала лицейское угощение. Неожиданно она подошла к одному из отроков, оперлась на его плечи, чтобы он не вставал, и спросила с явным немецким акцентом: «Корош ли суп?» С перепаугу тот ответил ей по-французски и почему-то в мужском роде: «Уи, мсье!» Вдовствующая императрица только улыбнулась и пошла дальше; а беднягу сокурсники называли с тех пор ехидно «мсье».

Константин Павлович, стоя у окна с Анной Павловной, щекотал ее и щипал за ушко; девушка отмахивалась веером; подозвав своего крестника, лицеиста Гурьева, брат царя стиснул двумя пальцами его щеки, а третьим вздернул нос и сказал сестре: «Вот, рекомендую тебе эту моську. Ты смотри, Костя, занимайся прилежно». — Молодой человек сконфуженно кивал.

Царская семья удалилась. Разумовский в одном из залов угощал обедом высших сановников, а в другом зале педагогов из Петербурга и чиновников Лицея потчевал Малиновский. Все закончилось уже при свечах.

Между тем за окном шел обильный снег. Лицеисты в свете иллюминации выскочили на улицу и со смехом стали играть в снежки. На балконе горел щит с венцом императора. А на ужин дали сладкий десерт.

Пушкин и Пущин поднялись по одной из лестниц на четвертый этаж, где располагались дортуары (комнаты лицеистов), общим числом 50. Пущин жил в номере 13, Пушкин — в 14-м.

— Ты доволен? — обратился Иван к другу.

Сашка ответил с вялой улыбкой:

— Да, конечно... Но устал чертовски. Кажется, усну прямо на ходу.

— Спать, спать! В шесть уже подъем.

— Знаю, помню. Праздники кончились. Начинаются будни...

— Лишь от нас зависит, чтобы будни стали, как праздники.

И они на прощанье обнялись по-братски.

17.

«Дорогой мой Серж. Наконец-то могу я порадовать тебя совершившимся фактом: сын твой Александр — лицеист, приступил к занятиям, я его изредка навещаю, и дела у него идут своим чередом. Словом, ответственную миссию, возложенную на меня тобою и бесценной Надеждой Осиповной, я осуществил с честью — Саша

был доставлен к месту учебы благополучно, поступил и устроен теперь лучшим образом. Слава Богу!

Должен тебе в двух словах описать местопребывание твоего отпрыска. Под Лицей отведен внушительный четырехэтажный флигель дворца, где ранее проживали великие княжны, но теперь они выданы замуж и разъехались, кроме Анны Павловны, пребывающей со своими фрейлинами тут же, но, конечно, в иных палатах. Нижний этаж занимает хозяйственная часть и квартиры инспекторов, гувернеров и иных чиновников при Лицее. На втором — столовая, медицинский пункт, аптека и больничные койки, если кто-то из воспитанников занедужит, а еще конференц-зал с канцелярией. Далее, на третьем этаже, классы для занятий и перемен, библиотека, комната для газет и журналов; из библиотеки можно через хоры придворной церкви выйти в главное здание дворца. На четвертом этаже — дортуары и квартира одного из гувернеров. В комнате Александра (думаю, в остальных тоже) стол для умывания, зеркало, стул, железная кровать и комод для белья, а в углу — конторка с чернильницей и подсвечником со щипцами. Освещение в Лицее ламповое, мебель штофная. На ночь в коридоре четвертого этажа ставят ночники во всех арках, и дежурный дядька ходит взад-вперед. Смена нижнего белья два раза в неделю, а столового и постельного — раз в неделю (чистотой заведует особая кастелянша).

Распорядок дня таков:

в 6 часов подъем, утренняя молитва в церкви;

от 7 до 9 — классы;

в 9 — утренний чай и прогулка во всякую погоду до 10 часов;

от 10 до 12 — классы;

от 12 и до 1 часа пополудни — прогулка, в час — обед;

от 2 до 3 часов — чистотисание или рисование;

от 3 до 5 — классы;

в 5 часов — чай и прогулка до 6;

далее — повтор выученных уроков;

в половине девятого — ужин, а затем разрешается побегать и поиграть в мяч;

в 10 вечера — молитва и сон.

Утром к чаю — белая крупитчатая булка, а к вечернему чаю — половина ея; на обед три блюда, а на ужин — два. Объявляют меню в понедельник на целую неделю, и по вкусу блюда можно менять. Сашка говорит, что к обеду дают даже полстакана портера.

Ходят за лицеистами несколько дядек (чистка формы, сапог и уборка в комнатах) ...

В целом впечатление мое более чем удовлетворительное, за племянника я спокоен. Он и сам обещал написать вам в самое ближайшее время.

Я веду жизнь настоящего петербуржца — деловые и дружеские встречи, посещение редакций и литературных салонов, званых обедов и театров. Думаю вернуться в Москву после Рождества Христова (Анне Николаевне предстоит разрешиться от бремени в марте, и она желает быть в это время в Первопрестольной, у родных пенатов; и Марго еще подрастет, так что после крещенских морозов думаю отправиться).

Низкий поклон драгоценной Надежде Осиповне, Лёле, Левушке и, конечно, Марии Алексеевне. Дай вам Бог счастья и здоровья.

Любящий вас всех
Василий П.».

«Дорогой Базиль, здравствуй. С нетерпением ждал твоего письма, непрестанно думал о вас в Петербурге, как вы там справляетесь с Александром, и проч.; но теперь, слава Богу, в полном ведении обо всем. Преисполнен благодарности, дорогой брат, за твои благодеяния — что бы я без тебя делал! Ты наш ангел-хранитель. Право, никто бы не помог моему сыну, как ты, с истинно отеческой любовью и заботой. Я в долгу пред тобою. И уверен, что Сашка тоже не забудет до конца жизни, как устроил ты его судьбу.

А у нас, увы, печальная новость. Наденька в конце октября разрешилась от бремени замечательным мальчиком, окрещенным 4 ноября Михаилом, но прожил он только 17 дён и представился вскоре после крещения. Царствие ему небесное! Как ты знаешь, это седьмой наш ребенок, из которых выжили

только трое. Видимо, Бог не даст нам больше детей, да и то: Наденьке уже 36, и рожать с каждым годом все трудней и трудней. Пребывает она в постоянной депрессии, плачет, молится, кушает с большой неохотой, и Марии Алексеевне стоит немалых трудов потчевать ее. Лёля и Левушка, слава Богу, здоровы, кланяются вам и мечтают следующим летом посетить Петербург, чтобы навестить брата. Я держусь из последних сил, думами только о своих здравствующих детках. Поцелуй от меня Анну Николаевну и Марго.

*Любящий тебя брат
Сергей».*

18.

После описанных нами событий прожил Василий Львович Пушкин 20 лет без малого. Столько всего вместили эти годы! Прежде всего, конечно, наполеоновское нашествие, а затем позорное бегство французов. По годам Василий Львович записаться в ополчение уже не мог и войну пережил в тылу, в Нижнем Новгороде и своем Болдине, вместе со всем семейством Пушкиных. Но стихи патриотические писал от души. Возвратился в спаленную и восстающую из пепла Москву осенью 1813 года. Обнаружил, что вся его обширная библиотека, собиравшаяся им всю жизнь, полностью сгорела...

Занимался масонскими делами и с такой же страстью вместе с друзьями организовал литературный кружок «Арзамас». Почему Арзамас? Очень просто: лучшими гусями в ту пору на Руси считались арзамасские; а поскольку к обеду на их литературные посиделки жарили арзамасского гуся с яблоками, то и общество решили назвать соответственно. Вообще они шалили, балагурили, дали каждому веселое прозвище, взятое из баллад Жуковского: сам Жуковский звался Светлана, Вяземский — Асмодей, Батюшков — Ахилл, Денис Давыдов — Армянин, а Василий Львович — Вот (позже — Вот-Я-Вас, позже — Вотрушка), а когда в «Арзамас» дядя привел племянника Александра, дали ему прозвище Сверчок.

«Арзамас» был оплотом «западников», то есть выступал за европейский стиль в литературе и жизни, защищал само-

го главного «западника» — Карамзина и литературно воевал со славянофилами во главе с Шишковым, говорившими, что у Руси особый путь, нам не след подражать англичанам, французам и прочим немцам.

Дядя, приобщая племянника к «Арзамасу», помогал Александру печататься, приводил в светские дома, очень им гордился и нередко шутил: раньше говорили, что Александр — родственник поэта Василия Пушкина, а теперь будут говорить, что Василий Пушкин — родственник поэта Александра Сергеевича (и как в воду глядел!).

Дядя выпустил сборник своих стихов, подарил друзьям и упрочил авторитет известного литератора.

Годы шли. Сашка на последних курсах Лицея подружился с расквартированными в Царском Селе гусарами, посещал их пирушки, выучился курить и, конечно, все другие запретные плоды познал тоже... Он давно не вспоминал ни мадемуазель Бурцову, ни мадам Милюкову — дело прошлое, — а тем более что Татьяна в 1814 году вышла замуж за генерала Гриневича...

Как отнесся Василий Львович к издевательскому началу «Евгения Онегина»? Все ведь знали басню Крылова «Осёл был самых честных правил...», а тут — «Мой дядя самых честных правил...»! Пушкин-старший только посмеялся, конечно. Знал, что Сашка его любит. Даже под влиянием «Онегина» сам начал сочинять повесть в стихах «Капитан Храбров», но закончить не успел...

19.

Чувствуя приближение смерти, тяжело страдая от приступов подагры, он, само собой, беспокоился о судьбе Анны Николаевны, маленького Льва и любимой Марго — брак ведь их не был узаконен, дети же фактически считались внебрачными, не могли наследовать своему отцу... Приходилось идти на разные юридические ухищрения, записать в завещании, что Анна Ворожейкина якобы ссудила ему деньги, и теперь они ей положены к возврату, и так далее. А поскольку и село Болдино не могло ей достаться, бедный Василий Львович выставил

его на продажу, чтобы деньги передать гражданской жене и отпрыскам, только покупателей не нашлось...

Тем не менее близкие его не остались жить в нищете — в общей сложности получили денег более 100 тысяч. И Марго по совершеннолетию не была бесприданницей — вышла замуж за героя войны 1812 года, ранненого на Бородинском поле, удалого гусара Петра Безобразова, и уже он хлопотал по финансовым делам покойного тестя, продолжая получать деньги по заемным письмам. Не пропал и сын — Лев Васильевич Васильев — выучившись, он служил по гражданской части.

После смерти барина вольноотпущенный Игнатий Храбров возвратился к себе в деревню и остаток жизни провел в семье названного сына — Ванечки...

20.

Умер дядя, Василий Львович Пушкин, в среду, 20 сентября 1830 года. Около постели его стояли близкие, в том числе племянник — Александр Сергеевич — и сестра — Елизавета Львовна Сонцова с мужем, а еще их друг и соратник Петр Вяземский. Все с печалью смотрели, как священник совершает обряд соборования. Неожиданно дядя открыл глаза и вполне четко произнес: «Боже, как скучны статьи Катенина!» Окружающие замерли в изумлении. Кто такой Катенин? Вспомнили, что тот — один из славянофилов, оппонент Василия Львовича в бурной литературной полемике. Александр сказал: «Дядя до последней минуты остается настоящим бойцом!» А минута действительно была последняя — Пушкин-старший умер прежде, чем священнослужитель закончил свои действия...

Упокоили Василия Львовича на погосте Донского монастыря. Все расходы на погребение (620 рублей) взял на себя племянник. (Кстати, памятную сотню, что давали родичи маленькому Саше «на орехи» накануне его поездки в Петербург, дядя так и заиграл...)

Годовщину смерти Василия Львовича в «Арзамасе» отметили ватрушками («вотрушками»), в каждую из которых было вставлено по лавровому листу.

ЧУДНЫЕ МГНОВЕНЬЯ МИХАИЛА ГЛИНКИ

Историческая повесть

УВЕРТЮРА

1.

На обед, как обычно, дали борщ и картошку с маслом. Масло пахло свечным салом, и Мишель то и дело морщился. А зато неунывающий Левушка ел за обе щеки и нахваливал, потому что никогда не страдал от отсутствия аппетита. Брат ему приносил гостинцы, и веселый отрок их съедал тут же, в его присутствии.

За окном была весна 1820 года. Снег уже стаял, обнажив коричневую землю, мокрую и грязную, зелень еще не проросла, и деревья в саду стояли голые, вроде бы смущенные своей наготой. За стволами виднелась беседка на пригорке и нужник, скрытый обычно зарослями кустов. На ветвях качались и чирикали беззаботные птички.

Миша снова поморщился и отставил тарелку:

— Не могу больше.

Посмотрел на Вильгельма Карловича, евшего тут же, машинально накалывая на вилку желтые кусочки картофеля и возя ими по растопленному маслу. Гувернер отозвался на реплику воспитанника рассеянно:

— Да, да, как желаете. Пейте чай, Михаил Иванович.

Кюхельбекер всех своих подопечных называл на «вы» и по имени-отчеству.

К чаю полагались сладкие сухарики.

Левушка спросил полупшепотом:

— Можно я твою картошку доем?

Доедать друг за другом в Благородном пансионе не полагалось, это считали моветоном, и ослушника, бывало, строго отчитывали. Но Вильгельм Карлович думал о своем, а другие гувернеры, за другими столами сидевшие, не смотрели в их сторону, так что мальчики ловко поменялись тарелками, и никто ничего не заметил.

Миша отхлебнул чаю и опять поморщился: тот был слишком уж горяч и совсем бледен — черт его знает, чем экононом разбавлял заварку, сеном, что ли?

Мишино прозвище было Мимоза. Вроде бы не неженка, руки сильные, плечи крепкие, но страдал и ежился ото всех житейских мелочей — сквозняков, раскаленной печки, громкого смеха, гулко-го топота, резких слов, неприятных запахов, пресной пищи. По ночам ему вечно было жарко, и ночную рубашку, мокрую насквозь, приходилось менять два раза. А зато днем неизменно зяб и предпочитал носить шерстяное нижнее белье. Левушка и другие товарищи поначалу над ним посмеивались, но потом привыкли и не задирали.

Вышли из-за стола в половине первого пополудни. Впереди был послеобеденный сон или просто свободное время до двух часов. Миша, Левушка и Вильгельм Карлович (в обиходе просто Вилли, для друзей — Кюхля), не спеша одевшись, двинулись к себе в левый флигель: основная масса учеников обитала в дортуарах в правом флигеле, только некоторые — на квартирах у своих гувернеров в левом, как и наши мальчики. Кюхельбекер находился в родстве с Мишей, ведь родная сестра Вильгельма, Устинья Карловна, замужем была за двоюродным братом Мишиного отца. А со старшим братом Левушки, Александром Пушкиным, Кюхельбекер дружил с лицейских времен.

Кюхля третий год вел уроки русской словесности и латинского языка в этом пансионе при Петербургском университете. Мальчики жили хоть и на квартире у гувернера и имели каждый по клетушке, но вели жизнь чрезвычайно скромную, лишних денег ни у кого из них не водилось, Мишины родители даже нередко задалживали за учебу сына, отчего тот всегда переживал. По воскресным дням вместе с Кюхельбекером заходили на обед к Пушкиным — их семейство жило неподалеку, в небога-

том квартале, именуемом Коломной, — это от пансиона через Фонтанку по Калининскому мосту. Часто с родителями обедал и Александр — худощавый, длинноносый, быстрый в движениях и словах. Братья были очень похожи — оба смуглые, курчавые и голубоглазые. Но кудряшки у старшего много гуще и темнее. Младший, 15-летний, выглядел добряком, простаком, старший — неизменно себе на уме и шутил ехидно.

Он к Мишелю вначале относился свысока, снисходительно, чаще вовсе не замечал, но, когда тот однажды сел за фортепьяно и симпровизировал на тему «Камаринской», хохотал до упаду и хлопал. Говорил: «Глинка, ты волшебник, ей-Бо, всех прославишь нас своею музыкой. Будут спрашивать: кто такие Пушкин, Кюхельбекер? Это же поэты эпохи Глинки!» Миша обмирал и, пунцовый, опускал глаза долу.

Был он тайно влюблен в старшую сестру Пушкиных — Ольгу. Не красавица, Ольга Сергеевна подкупала милым взором, плавностью движений, ласковым и нежным голосом. К братьям относилась тепло, Левушку часто тормошила, как маленького, а зато с Александром, сидя в креслах в укромном уголке залы, увлеченно болтала на самые разные темы — от литературы и театра до светских сплетен. То и дело из уголка раздавался смех — то ее, то его, то обоих, громкий, и тогда *татап*, Надежда Осиповна, отвлекаясь от игры в карты, говорила им по-французски: «Тише, дети, тише, надо вести себя чуточку скромнее».

Миша однажды сочинил романс на слова Батюшкова, написав к нотам посвящение: О.С.П. Начиналось стихотворение так:

Тебе ль оплакивать утрату юных дней?
Ты красоте не изменилась,
И для любви моей
От времени еще прелестнее явилась...

Но сыграть и спеть в доме Пушкиных постеснялся, а потом и вовсе, разозлившись на самого себя, изорвал произведение в клочья. И рыдал в подушку, чтобы не услышал никто.

Александр как-то сказал сестре полупшепотом:

— Ты не замечала — Миша-маленький глаз с тебя не сводит?

Ольга хмыкнула:

— Замечала, конечно. Что ж с того? Это льстит мне.

— Замуж за него не пошла бы?

Та поморщила носик:

— Шутишь, видно? Лишь бы уколоть бедную сестренку.

— Нет, а в самом деле? — продолжал потешаться брат. — Из хорошего рода Глинок, даром что лях. Не богат, но и не беден. Разница у вас небольшая — около семи лет. Молодые мужья часто нравятся зрелым барышням.

— Прекрати! — с гневом приказала девица. — Ты выходишь за рамки приличий. И уже не смешно.

— Будет, Лёля, не кипятись. Не желаешь — не надо. Просто больно смотреть на страдания одаренного вьюноши.

Глинка не знал об этом разговоре, но однажды твердо решил вытравить влечение к Ольге из души и сердца. Две недели не ходил на обеды к Пушкиным, каждый раз придумывая новую причину. Уговаривал себя: «Старая дева — двадцать три года, для чего она мне? И с лица дурнушка. И суждения часто поверхностны, легкомысленны. Нет, она не достойна быть моей музой. Надо позабыть Ольгу навсегда». Но потом не выдержал и опять пошел в гости.

А спустя месяц, в тот счастливый солнечный день весны, о котором мы начали рассказ, не успели Миша и Левушка скинуть шубы у себя в светелках и прилечь отдохнуть, как услышали дробный стук каблуков по скрипучим деревянным ступенькам. Лева выглянул и увидел брата:

— Саша, ты?!

— Да, потом, потом, — бросил старший, с чрезвычайно озабоченным видом, не снимая картуза. — Кюхля дома?

— У себя, кажись.

— Хорошо, отлично. — И мгновенно скрылся в комнате Кюхельбекера.

Выглянул и Миша:

— Что произошло?

— Не сказал. Но какой-то дерганый. Видно, неприятности.

И действительно: вскоре Левушка сообщил другу под большим секретом, что его брат утром приходил по вызову на аудиенцию к генерал-губернатору Петербурга графу Милорадовичу и был вынужден выслушать гневные попреки в недостойном для государственного служащего поведении (Пушкин служил секретарем в Коллегии иностранных дел). А именно: в написании сатирических эпиграмм на графа Аракчеева («Всей России притеснитель, губернаторов мучитель...»), на архимандрита Фотия («Полуфанатик, полуплут...») и даже на самого государя-императора. Якобы Милорадович кричал с перекошенным лицом, топая ногами: «Я тебя в Сибирь засажу! В Соловецкий монастырь!»

Миша побледнел:

— Что же будет теперь, Левушка?

Тот печально тряхнул кудряшками:

— Ох, Мишель, не знаю, не знаю. Начали хлопотать, до Жуковского дошли и Карамзина, обещались помочь — но рассчитывать ни на чью милость невозможно...

Кюхельбекер тоже лепту внес в хлопоты о Пушкине — побежал к их лицейскому другу Горчакову, ставшему чуть ли не правой рукой канцлера Нессельроде, в свою очередь имевшего сильное влияние на Александра I. В общем, помогло: автора эпиграмм закатали не в Сибирь, а всего лишь в Кишинев, в канцелярию наместника Бессарабской области генерала Инзова. Хотя и ссылка, конечно, но на юг, в теплые края.

Он устроил прощальный вечер в доме у родителей, хорохорился, говорил, что, согласно Вольтеру, все, что ни случается, к лучшему: новые места, новые впечатления, жизнь таборных цыган, южные песни — это его очень занимает. Но глаза были грустные, да и смех не такой жизнерадостный, как прежде. Попросили Мишу сыграть на фортепьяно, а потом Пушкин прочитал две главы из своей поэмы «Руслан и Людмила», взятых для печати в «Сыне Отечества». Обещал, что поэма целиком выйдет скоро отдельной книжкой. А потом вдруг засобирался и в десятом часу уехал, говоря, что его ждут играть в карты на квартире у Дельвига.

Градус настроения в доме Пушкиных сразу снизился, Ольга плакала, а Надежда Осиповна вскоре ушла в свою ком-

нату. Левушка успокаивал сестру, а потом вдруг повернулся к Глинке:

— Ну, хоть ты ей скажи, Мишель, что не все так скверно.

Миша покраснел и пролепетал:

— В самом деле, Ольга Сергеевна, я уверен, что поездка эта не таит в себе ничего ужасного. Солнце юга напитает Александра Сергеевича, укрепит его дух и тело. Он вернется к нам посвежевший и обновленный.

Пушкина взяла его за руку и сказала, проникновенно глядя в самые глаза:

— Вы, Мишель, такой добрый. Я благодарю...

Он проговорил быстро:

— Восхищение мое вашим братом и вами безгранично...

Ольга ничего не сказала, просто, наклонившись, прикоснулась тонкими, нежными губами к его щеке.

Этот дружеский, материнский поцелуй он запомнил на всю жизнь.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

1.

Анна Петровна Полторацкая, из семьи полтавских помещиков, выдана была о семнадцати годах замуж за генерал-майора Керна. Разница в возрасте у них была 35 лет, так что о любви речь вообще не шла. Просто отец ее, Петр Полторацкий, посчитал это лучшей партией для дочери, а она побоялась ослушаться. Генерал, заслуженный вояка, бравший еще Очаков и Измаил под командованием Суворова, а затем сражавшийся на полях России и Европы с Наполеоном, говорил зычным голосом, хохотал над солдатскими шутками и любил пропустить по маленькой. Впрочем, нрав имел не паскудный, пошумев, быстро остывал и порой даже извинялся за свою грубость. Поначалу к юной супруге относился он очень трепетно, с небывалой для ветерана нежностью, но капризам не потакал, зорко контролируя все расходы по дому.

Вскоре вместе с мужем Анна Керн оказалась в Полтаве — там его полк участвовал в смотре, проводимом самим Алексан-

дром I. Царь узрел молодую генеральшу на балу и не отходил от нее весь вечер. Что у них там в дальнейшем произошло, не берусь предполагать, но один факт неоспорим: после смотра государь прислал генералу Керну подарок — 50 тысяч рублей вместе с приглашением посетить Петербург.

А потом выяснилось, что она беременна, и, когда готовилась стать матерью, написала его величеству робкое письмо, где покорнейше просила сделаться восприемником (то есть крестным отцом) будущего младенца. Ясно, что заочно. Император милостиво согласился.

Родилась дочка — окрещенная вскоре Екатериной. Генерал Керн посчитал ее своей собственной.

Помня о приглашении царя, покатили в столицу. Знали, что монарх по утрам прогуливается по набережной Фонтанки, и воспользовались этим: Анна проехала мимо в экипаже. Он ее заметил, узнал, церемонно раскланялся. Их общение сразу возобновилось. В качестве благодарности самодержец назначил Керна командиром бригады в Дерпте, а его жене подарил изукрашенный бриллиантами фермуар (застежку к ожерелью), изготовленный специально на заказ в Варшаве, стоимостью в 6 тысяч рублей ассигнациями. Виделись они и в Риге, на маневрах, после чего Анна снова забеременела.

Так в семье Керна появилась вторая дочка, тоже Анна.

2.

С Пушкиным генеральша Керн познакомилась в Петербурге, за год до его высылки на юг, в доме у Олениных на Фонтанке.

Тетка Анны Петровны, Елизавета, замужем была за Алексеем Олениным, тайным советником, президентом Академии художеств и директором Императорской публичной библиотеки. (Между прочим, у него библиотекарем подвизался баснописец Иван Крылов.) В доме у них собиралось просвещенное общество, литераторы и художники, затевали домашний театр, карты не жаловали, а зато играли в лапту и шарады. Пушкин веселился со всеми, хохотал, дурачился.

Саша Полторацкий, будучи кузеном Анны Петровны, их представил друг другу. Александр Сергеевич впился в нее глазами и подобострастно расшаркался, а потом поцеловал ручку.

— Я читала ваши стихотворения в списках, — улыбнулась она.

— Да? Какие же? — удивился поэт.

— Уж не помню точно. Кажется, там были такие строки: «Любви, надежды, тихой славы недолго нежил нас обман...»

— «...исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман», — продолжил он, усмехнувшись. — Вы надолго в Петербург?

— Нет, увы, послезавтра направляемся с мужем в Дерпт, к новому его назначению.

— Ах, как жаль, как жаль, мадам. Но надеюсь, встретимся еще в будущем.

— Все возможно, мсье. Тетка моя, Прасковья Осипова, а по первому мужу Вульф, ваша соседка по Псковщине: у нея Тригорское, а у вас Михайловское. Верно?

— Совершенно верно. Только я на Псковщине не бываю часто. Иногда летом, от делать нечего.

— Так бывайте чаще. Бог даст, увидимся.

— Стану жить надеждой, — снова поцеловал ей руку.

После игры в фанты Керн уехала. Пушкин вышел проводить ее до кареты. Говорил, что не забудет эту встречу вовек. Дама улыбалась загадочно.

Но прошло более шести лет, прежде чем они повстречались вновь.

3.

В жизни Анны Петровны за эти годы много что случилось: назначение Керна комендантом Риги, их разрыв, возвращение в дом ее родителей, неожиданный роман с соседом по имению — Аркадием Родзянко. До своей отставки он служил в Петербурге, в Егерском полку и печатал стихи в журналах, был накоротке знаком с Пушкиным, с кем имел переписку. От Родзянко Анна и узнала, что поэт выслан

в Кишинев; что, когда следовал на юг, в Киеве простудился, искупавшись в Днепре, заболел пневмонией и провел в постели несколько недель; что потом, опекаемый семейством Раевских, ехавших через Киев в Крым и на Кавказ, оказался с ними в Бахчисарае. После Кишинева была Одесса, а потом отставка от государственной службы и всемилостивейшее разрешение возвратиться к родным пенатам, впрочем, не в Москву или Петербург, а в имение Михайловское на Псковщине. Анна Петровна это запомнила.

Неожиданно умерла от простуды младшая ее дочка — Анечка. Мать какое-то время пребывала в прострации, но потом кое-как успокоилась и сказала родителям, что решила вернуться к мужу в Ригу. А на самом деле повернула в дороге не на северо-запад, к Прибалтике, а взяла курс на север, в Псковскую губернию.

4.

Дом Прасковьи Александровны Осиповой в Тригорском был одноэтажный, деревянный, вытянутый, как сарай, потому как являл собой старую полотняную фабрику, переделанную под жилье помещиков. На террасе по вечерам пили чай из самовара. В зале на столике раскладывали пасьянсы, кто-то музицировал, часто читали вслух прозу и стихи. Но зато парк был великолепен, хорошо обустроен, чист, и дорожки посыпаны мелким гравием.

Собственно, Прасковья Александровна приходилась Анне Керн не кровной родственницей, будучи женой ее дяди, Николая Вульфа. Подарила ему пятерых детей, а затем, овдовев, вышла замуж за Ивана Осипова, от которого тоже рожала дважды. Кроме этого, воспитывала падчерицу — дочку Осипова от первого брака. А потом овдовела во второй раз.

Словом, летом 1825 года в доме у нее в Тригорском процветало целое женское царство: кроме самой хозяйки имения две старшие дочери — Анна и Евпраксия, две младшие дочери — Маша и Катя, и падчерица Александра (по-домашнему — Али-на). Первым было 26 и 16, соответственно, младшим — 5 и 3, Александре — 20, а самой Прасковье — 44. Пушкин, прихо-

дя к ним в гости, к своему удовольствию, попадал в девичий питомник и оказывал внимание всем — разумеется, мадам Осиповой по-сыновьи, маленьким девчушкам — по-отечески, а трем девушкам — больше, чем по-братски. Что греха таить: в той или иной степени он флиртовал с тремя сразу. И они отвечали ему взаимностью. (Скажем в скобках, всех троих он потом включит в свой известный «Донжуанский список», но реальное сближение с ними у него произошло позже, а пока, под суровым приглядом маменьки, это были только платонические игры в любовь, чистое кокетство с их стороны и сплошная лирика с его.)

Совершенно другое дело — неожиданно свалившаяся племянница Осиповой, Анна Керн. Генеральша — дама замужняя и фигура самостоятельная, находящаяся в разрыве с генералом. Тут себе позволить можно многое. Опыт Родзянко это подтверждал.

И конечно же, тригорские барышни ни в какое сравнение с Анной Петровной не шли. Те — послушные маменькины дочки, целомудренные, очень простодушные, милые, изящные, но не более того. А она — настоящая красавица, с непередаваемым обаянием! Небольшого роста, талия точеная, несмотря на рождение двух детей. Ручки, пальчики — словно из фарфора. Удивительные глаза цвета ультрамарина. Тонкий носик, пухлые пунцовые губки. И великолепный заразительный смех. В 25 своих лет — далеко не глупа и вполне начитана, с неплохим французским, с музыкальным слухом и неженской, острой наблюдательностью. Говорить с ней было одно удовольствие.

Как от Керн не потерять голову? Пушкин потерял.

Вспоминал их давнишнюю первую встречу у Олениных: да, тогда она его обаяла тоже и надолго запала в сердце, но теперь, повзрослевшая, окончательно оформившаяся, настоящая дама, будоражила его воображение, заставляла волноваться, как мальчика, и сводила с ума. Он решил, что будет обладать ею непременно. Потому что иначе рисковал взорваться, разлететься на куски, словно бомба на Бородинском поле.

Александр Сергеевич, как обычно, завоевывая дам, в ход пускал главное свое боевое оружие — поэтический дар. От его полушутливых и не слишком притязательных по смыслу,

но удивительно гармоничных и музыкальных строчек, чаще на французском, занесенных барышням в альбомы или же подаренных им на листочках в виде тайных записок, не смогла устоять еще ни одна. Пушкин этим пользовался умело. Это была такая тонкая, интеллектуальная игра, занимательная, забавная, будоражащая душу и ум, характерная больше для светского общества XVIII, галантного, века, но ведь он и сам выходец из него, появившись на свет в 1799 году!

Пушкин писал чаще по утрам, только пробудившись, лежа еще в постели в ночной рубашке, — рядом с кроватью на его столике непременно лежала стопка бумаги, возвышалась чернильница, пузырек с песком (вместо промокашки) и стаканчик с ловко очиненными гусиными перьями. Няня приносила только что заваренный кофе (кофе и вино присылал ему из Питера неизменно услужливый Левушка)...

— Как спалось нынче, батюшка?

— Хорошо, няня, хорошо. Погоди, не мешай, мысль спутнешь.

— Все, молчу, молчу. Творожок свеженький отведайте, а к нему медок вот.

— Няня! Прочь пошла — отвлекаешь.

— Ухожу, батюшка, не серчайте, уж не гневайтесь, коли что не так...

Вспомнил встречу у Олениных. Давнее свое впечатление — вспышку удивления и радости при явлении Анны. Нужно только отыскать словосочетание — емкое и красивое, характеризующее обаяние Керн. Как это было у Жуковского — и в стихах, и в статейке о Мадонне Рафаэля? «Гений чистой красоты». Хм-м... Лучше и не скажешь. Что, если... *Pourquoi pas?* Где Жуковский, а где Анна Керн! Вряд ли она читала в «Полярной звезде» впечатления мэтра о живописи. Даже если читала — ничего страшного, я скажу, это моя литературная шалость. А зато как удачно выйдет: красота Керн — красота Мадонны!

Я помню чудное мгновенье...

Кажется, «чудное мгновенье» — тоже из Жуковского. Ах, теперь не важно. Коли начал шалить — так шалить во всем.

...Передо мной явилась ты —
Как мимолетное виденье,
Как Гений чистой красоты...

Строчки ложились на бумагу быстро и нервно — все-таки писать полусидя-полулежа не совсем с руки. Но ведь он потом перепишет набело. Главное — не спугнуть Музу.

...И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

Вот как получилось: божество — Мадонна — Керн. Уж не слишком ли? Но ведь ей же понравится. Грубая лесть всегда нравится.

Э-э, да тут еще одна цитатка случилась — из «Эды» Баратынского. Ну, да Бог с ним! Это ж не для печати — личный, интимный мадригал. Завоюет Керн, а потом разорвет и выбросит. И никто не узнает, и никто не осудит.

Но не заподозрит ли Анна Петровна в сем насмешки? Если разобраться, опус-то вышел с некоторым комизмом. Не без внутренней иронии. Тот, кто знает вкус поэзии, непременно уловит в бурном нагромождении выпренных слов явное ерничество. И потом — банальные, проходные рифмы: «вновь — любовь», «мгновенье — виденье — вдохновенье»... Пусть, пусть! Главное — поразить ее воображение, победить ее, а уже потом... Победителей не судят!

Пушкин отшвырнул перо и расхохотался. Обожал такие мистификации. Был большой проказник — в жизни и в поэзии.

Целый день обдумывал, как ему лучше поступить. Заявиться к Осиповым и при всех прочесть — нет, не подойдет. Барышни обидятся, к ним тропинки больше не проторить. Да и Керн на людях станет изображать оскорбленную добродетель — дескать, как вы смее, сударь, я жена генерала! Значит, план должен быть иным. Вызвать Анну в сад. По секрету, тайно. Тайны будоражат фантазии дам. Тайное свидание в саду, ночью — в этом ощущается флер гишпанских комедий. Лопе

де Вега, Тирсо де Молина, Кальдерон де ла Барка. Страстный любовник добивается расположения замужней возлюбленной. Хорошо! Надо послать дворового мальчика с запиской к Анне Петровне. Впрочем, нет, мальчик все испортит. Надобно послать Акулину. Девушка смышленная — даром что влезала к нему в окошко для любви и ласки. Ревновать не станет — ей обещано замужество с кузнецом, и она ради этого выполнит с охоткой каждое приказание барина.

Выбрал красивую осьмушку бумаги, начертал размашисто по-французски: *«О, сударыня! Жажду видеть Вас, говорить с Вами нынче вечером на аллее сада, где растет вековой дуб и стоит скамья. Сжальтесь, приходите. Я имею до Вас сюрприз А.П.»*.

Вызвал Акулину.

— Аленький, знаешь ли приезжую барыню из Тригорского?

Промокнула кончиком платка по бокам малиновых губ.

— Как не знать, барин, видела намедни у церкви. С зонтиком от солнышка. Опасаются, видно, загореть. Чай, не барское это дело — под лучами солнышка прокоптиться.

— Ты не рассуждай, дура, а слушай. Вот тебе записка. Побежишь в Тригорское и вручишь ей собственноручно, чтоб никто не видел другой. Ясно, нет?

— Ясно как Божий день: променять вы меня решили на кудлатую эту кралю. Говорили люди, что любовь господская токмо на словах.

— Что ты там бормочешь? О какой о такой любви?

— О любви меж нами. Нешто я в окно к вам не лазила?

— Лазить ко мне в окно — это не любовь, а всего лишь баловство, больше ничего.

— А как понесу я от баловства вашего, что тогда?

— Я же обещал: выдам за кузнеца. Дело-то житейское.

Дворовая девка молчала, пригорюнившись.

— А не хочешь за кузнеца, я найду другую, кто записку в Тригорское снесет.

— Нет, хочу, хочу. Он хотя и немолодой, но мужик справный. И небедный. Очень хочу.

— Ну, тогда неси. Чтоб никто не видел из посторонних. А не то обижусь, милости лишу.

Опустила глазки:

— Сделаю, как велено.

— Хорошо, ступай.

Акулина, Аленька. Сладкая голубушка. Ночи были с тобой жаркие и страстные. Как начнет подмахивать — не остановить! Но куда ты против Анны Петровны, бедная? Все равно что дворняжка против левретки.

В первых фиолетовых сумерках увидал ее из окна:

— Ну, снесла записку благополучно?

Поклонилась в пояс:

— Сделала в лучшем виде, Алексан-Сергеич. Отдала, когда они с книжкой сидели в саду, в одиночку.

— Что она сказала?

— Что сказали? Ничего не сказали. Удивлялись больно. По-первоначалу. А когда зачли, то смеялись звонко. Я ей говорю: передать что хотите барину? Иль ответ напишете? Нет, говорят, не надо. Дескать, они подумают. Думать будут, значить.

Пушкин повеселел.

— Молодец, голубушка. На, держи пятак за труды. Дай, тебя поцелую.

В губы не дала, а подставила только щеку, продолжая дуться. И бубнила: «Вот, теперь “голубушка“, “поцелую“, а до этого — “дура“, “глупая“!..» Но пятак взяла.

Нарядился франтом: с длинными фалдами фрак горохового цвета, воротник фатерморд и жилет в поперечную полоску; панталоны со штрипками. А цилиндр хоть и неновый, купленный еще в Кишиневе, но вполне приличный, модный. Конюху велел седлать Рыжика — жеребца буланого с золотистым отливом гривы. Ногу в стремя — и сам в седло. Помахал рукой няне, вышедшей на крылечко:

— Скоро меня не ждите. Может, и заночую в Тригорском.

А тишайшая Арина Родионовна молча перекрестила его на дорожку.

Подъезжая к Тригорскому, спешился загодя, чтоб никто ничего не заподозрил, привязал коня к дереву. Сам нырнул в парк усадьбы. Было уже довольно темно, а листва и ветки, переплетясь, закрывали почерневшее небо и взошедший месяц. Хоть глаза выколи. Еле он пробрался к дубу и заветной скамейке.

Керн еще не было. Неужели же не придет, и его старания тщетны? Нет, должна, должна. Он же видел ее глаза накануне: в этом взгляде читалось все — благосклонность, любопытство и, конечно, желание. Нет, она, безусловно, гений красоты — тут преувеличение если и есть, то небольшое, — но вот чистой ли? Поручиться трудно.

Сев на скамейку и закинув ногу на ногу, нервно стал трясти кончиком туфли. Тихо, тихо, для чего такие переживания? Надо быть Дон Гуаном до конца. Дон Гуан покорял женщин самоуверенно. Коли хочешь стать Дон Гуаном — прочь волнения и рефлексии!

После «Руслана и Людмилы», после «Бахчисарая» и начала «Онегина» он — один из первых поэтов на Руси. Сам Жуковский признавал его превосходство. Пусть полусхотят, но и не без истины. Соболевский писал, что в Москве и в Питере все о Пушкине говорят в превосходной степени. Дельвиг отмечал тоже. Это неспроста!

Так неужто Керн им пренебержет? Если уж она отдавалась Родзянко!.. Нет, не потому, что он поэт тоже, женщинам от мужчин в первую очередь нужно не такое, но ведь Пушкин лучше — и в поэзии, и в других статьях, эфиопская кровь кое-что да значит!

Прочь сомнения. Анна Петровна к нему придет. Надо только иметь терпение и выдержку. Он дождется.

И дождался!

За деревьями замелькало белое воздушное платье. Кружевной чепец с развевающимися длинными лентами. Белые шелковые туфельки — словно бы пуанты у балеринки.

Он вскочил. Услыхал ее взволнованное дыхание.

Наклонился подобострастно и поцеловал ее руку в шелковой перчатке. Произнес:

— Вы пришли — я благодарю.

Аромат духов. Широко распахнутые глаза.

Прошептала с запинками:

— Вы писали... что хотели бы мне сказать... Что сказать? И какой сюрприз?..

— Я стихотворение сочинил об вас.

— Правда? Неужели? Я не верю своему счастью.

Вытащил из-за пазухи листок. Протянул.

— Ох, такая темь... Не видать ни зги. Можете прочесть наизусть?

— О, конечно, могу.

Начал нараспев:

Я помню чудное мгновенье...

Анна слушала, словно замороженная. После финального аккорда — *«И жизнь, и слезы, и любовь»* — у нее из глаз действительно покатились слезы.

— Господи, вы плачете?

— Так, чуть-чуть... это от радости...

— Значит, рады?

— Как не быть, коли вы мне в стихах признались в любви?

— Да, признался... Я от вас без ума. Все хожу и думаю, точно бы в бреду.

Керн достала кружевной носовой платочек и утерла выступившую влагу.

— Да, и я сама не своя, как приехала... Знаете, что я приехала только ради вас?

— Шутите, сударыня?

— Нет, нисколько. Всем сказала, что направляюсь в Ригу, а свернула к вам.

— Вы разыгрываете меня.

— Всем клянусь, что имею на свете, — дочерью клянусь!

— Нет, не надо, не надо дочерью, и не надо клясться, ибо сказано: «Не клянись ни небом, ни землею, ни головою». Я и так верю.

Обнял ее за талию, и она приникла к нему — пылко и доверчиво. Так они стояли, обнявшись. Наслаждаясь близостью друг к другу.

Александр Сергеевич наклонился и поцеловал ее в губы. Нежные и прохладные. И раскрывшиеся с готовностью.

Он сказал хриповато:

— Я хочу быть сегодня с вами. Подарите мне миг блаженства...

Если бы Пушкин действовал решительно, все могло бы случиться тут же. Но его слова отчего-то ее смутили. Анна отстранилась слегка:

— Нет, нет, только не теперь.

— Почему не теперь? — удивился поэт.

— Я теперь еще не готова... Дайте собраться духом.

Он воскликнул:

— Анна, вы меня убиваете!

— Не сердитесь, пожалуй. Я не говорю: «Нет». Я вам говорю: «Да, да! Только чуточку позже».

Отстранившись тоже, раздосадованный, выхватил у нее из рук осьмушку бумаги со стихами.

— Что вы делаете, сударь? — испугалась она.

— Ничего. Забудьте. Ничего не было. — И хотел порвать.

— Стойте! Умоляю! — В голосе ее прозвучала страшная боль. — Это вы меня убиваете своею досадой... Я ведь вам сказала, что ваша. Я люблю вас. И любить стану вечно... Потерпите еще немного. Обещаю — день, другой — и смогу принадлежать вам всецело.

Пушкин догадался и довольно быстро обмяк.

— Хорошо, согласен. День-другой еще потерплю.

Керн вернула себе стихотворение, спрятала его на груди.

— Так-то будет лучше... Это вы мой гений. И любить вас, и любимой быть вами — благодать Господня.

Он опять ее обнял и поцеловал снова — может быть, не так нежно, но зато совсем по-мужски.

А потом скакал в Михайловское на своем Рыжике, подставляя разгоряченные щеки сгусткам ночного ветра. И в висках кровь стучала: «Любит — любит — любит» и «Моя — моя — моя!»

5.

Да не тут-то было: счастье их разрушила тетушка Прасковья Александровна. Заподозрив неладное, напрямую спросила племянницу:

— Отвечай, Анет, как на духу, где тебя черти нынче ночью носили?

«Доложили уже, — подумала Керн. — Кто-то выследил». И ответила холодно:

— Дорогая тетушка, вы, наверное, подзабыли, кто я и сколько мне лет. Посему вольна поступать так, как мне заблагорассудится. И отчет давать не обязана никому в мире, в том числе и вам.

Осипова зло поджала губы.

— Ошибаешься, душенька. Ты живешь под моею крышей, и, пока я хозяйка здесь, то не потерплю у себя в доме безобразий.

— Никаких безобразий нет и быть не может.

— Это мне решать. Тайные свидания ночью в парке запрещаю. Пушкин — звезда России, это несомненно, но еще и большой жуир. И мое право оградить своих близких от его любовных поползновений.

— Тетушка, вы смешны в своей патриархальности, — хмыкнула генеральша.

— Пусть. Возможно. Мы с твоим родным дядей и моим покойным супругом — Николаем Ивановичем, царство ему небесное! — родились в прошлом веке и приверженцы старых, добрых нравов. Посему вот мое решение: завтра же все мы вместе уезжаем из Тригорского в Ригу.

Анна Петровна ахнула:

— Как в Ригу? Для чего в Ригу?

— Для того. Ты — к законному супругу, Ермолаю Федоровичу, как и собиралась, хоть и на словах, мы — проведать сына моего, Алексея, твоего кузена, не желающего видеться с матерью и сестрами, как отправился учиться в Дерпте, вот уже второй год.

Керн взглянула на нее исподлобья.

— Вот еще придумали. Ни в какую Ригу я не поеду.

— Нет, придется. Коли мы отбудем, дом запрем, и тебе негде будет жить.

— Перееду в Михайловское к Пушкину.

Тетушка всплеснула руками.

— Совесть потеряла? И ума остатки? Генеральша — к холостому мужчине? Или хочешь, чтобы Ермолай Федорович, разузнав о твоей неверности, подал на развод?

Нет, развод не входил в планы молодой дамы совершенно. Чувствуя, что приперта к стенке, что ее принуждают следовать стародавним глупым правилам, что не может больше сопротивляться, заслонила лицо ладонями и заплакала. Всклипывала горько:

— Умоляю... сжальтесь... я люблю Пушкина... я хочу остаться...

Но Прасковья Александровна, получив окончательно власть над жертвой и придя в спокойное состояние духа, отвечала жестко:

— Слушать не желаю. Ты теперь не в себе от романтики и не можешь рассуждать здраво; а потом мне сама «спасибо» скажешь. Словом, решено: завтра в путь.

Анна Петровна рухнула на колени и рыдала уже беззвучно, только плечи ее вздрагивали зябко.

6.

Пушкин же узнал об отъезде тригорских дам день спустя, вновь от Акулины. Подойдя к крыльцу, где поэт распивал чай после бани, дворовая девушка, уперев руки в боки, отозвалась едко:

— Что, не выгорело у вас покрутить любовь с барыней кудлатой?

Александр Сергеевич не понял:

— Что? О чем ты?

— Так покинула она ихний дом заодно с семейством, знамо дело.

— Как покинула? Что ты здесь городишь?

— Ускакали ноне на двух колясках. Сказывали тригорские люди: возвернулась к ейному мужу, генералу. И оставила с носом кой-кого.

— Быть того не может.

— Вот вам крест!

Пушки как был в домашней косоворотке и холщовых штанах, босиком, так вскочил на Рыжика без седла и помчался в Тригорское. Он отказывался верить. Акулина врет по злобе. Так же не бывает — объясниться в любви и сбежать. Или не любила на самом деле? Просто была игра?

Но ведь он же сам затеял эту игру. Разве его стихи — не часть ее? Так ли сам любил Анну Керн?

Или заигрался?

Дом и вправду стоял пустой. Парень, шедший с удочками мимо, вылупил на соседского барина, прискакавшего без седла и в простой рубахе. Чуть не выронил ведро с наловленной рыбой.

— Слушай, братец, а куда делись все ваши господа?

Тот сглотнул и ответил робко, поклонившись:

— Поутру отбыли. Все они, всемером.

— Ключница Серафима где?

— Не могу знать, ваша милость.

Разыскал Серафиму у нее в сторожке, собиравшуюся спать на печи. Напугал, огорошил:

— Никакой записки не оставила барыня для меня?

Женщина крестилась и кланялась:

— Нет, записки не было, точно не было. Но просили, коли ваша милость приедут, передать на словах.

— Ну, так говори. Что ты медлишь?

— Дескать, обещают вскорости вернуться.

— Кто, Прасковья Александровна?

— Нет, ея светлость генеральша, Анна Петровна.

Пушкин встрепенулся.

— Как сказала? Повтори слово в слово.

— Передай, мол, барину михайловскому, Александру Сергеевичу, то есть — вашей милости, что вернуться оне вскорости. До конца лета непременно.

— Так и сказала — «непременно»?

— Истинно так, до конца лета.

Он воскликнул радостно:

— Вот ведь хорошо! — обнял Серафиму и поцеловал в темечко в платке.

7.

В Риге поначалу Анна Петровна присмирела и почти свыклась с мыслью, что отныне ее планида — быть примерной супругой престарелого генерала. Ермолай

Федорович очень удивился возвращению второй половины, совершенно не злился от былых несчастий, сжал в объятиях по-отечески, чмокнул в щечку. И проговорил:

— Ну и слава Богу. Почудила малость, с кем не бывает, и вернулась, словно блудная дочь. — И смеялся собственной шутке долго.

«Блудная дочь» — этот каламбур прозвучал двусмысленно, но мадам Керн предпочла смолчать. Грусть-печаль ей помог развеять подоспевший к маменьке Алексей Вульф, приходившийся Анне двоюродным братом. Он учился недалеко, в Дерпте, но по случаю вакаций прибыл не в казенной форме студента, напоминавшей солдатский мундир, а в обычном светском платье, синем фраке и серых панталонах. Стройный и живой, обладал приятной внешностью и завидным остроумием. До своей учебы жил в Тригорском и накоротке сошелся с Пушкиным, даже оба строили планы бегства ссыльного поэта за границу — вроде бы под видом слуги молодого Вульфа. Но мамаша Прасковья Александровна поспешила поломать их прожекты, срочно отослав сына на учебу.

Анна Петровна в скором времени посвятила Алексея в свою тайну и с волнением прочитала ему, развернув бесценную бумажку: *«Я помню чудное мгновенье...»* Тот одобрил, восхитившись музыкальностью пушкинских строк. Впрочем, романтическая влюбленность мадам Керн в Александра Сергеевича вовсе не помешала студиозусу приударить за своей прелестной кузиной, а она и не возражала. Отношения их зашли очень далеко, и однажды маменька, заглянув ненароком в будуар генеральши, их застала полуголыми в недвусмысленной позе. Вышел грандиозный скандал. Слава Богу, Ермолай Федорович находился в то время на маневрах и ни сном ни духом не прознал о своей рогатости. Просто, возвратившись домой, обнаружил, что и Осиповы, и Вульф уехали. Был в недоумении. Анна Петровна сбивчиво объяснила:

— Алексей с матерью повздорил и умчался первым к себе в Дерпт. А когда я встала на его сторону, то Прасковья Александровна и меня отругала. Собралась в одночасье всем семейством и отбыла обратно в Тригорское.

— Да из-за чего ж сыр-бор разгорелся?

Дама, не моргнув глазом, ответила:

— Я не знаю в точности, но как будто бы из-за денег. Алексей вроде проигрался и просил у матери в долг, а она ему отказала. Слово за слово — ну, как водится...

Генерал неспешно раскурил трубку. Произнес задумчиво:

— Очень, очень жаль. Только все налаживаться стало — и на́ тебе!

— А не согласитесь ли вы, дорогой супруг, также съездить в Тригорское? — неожиданно предложила его благоверная. — И помиримся с мадам Осиповой, и развеемся, отдохнем на природе. Там такие дивные места!

Ермолай Федорович выпустил из ноздрей и губ завитушки дыма.

— А ведь вправду, отчего бы не съездить? У меня по службе никаких срочных дел не предвидится, и на две недельки я вполне смогу отлучиться. В самом деле — съездим! Ты ж моя разумница! — И поцеловал жену в зардевшуюся щечку. А проказница дышала с волнением, плохо веря в свалившееся счастье.

8.

Пушкин едва проснулся, как Арина Родионовна принесла ему кофе и варенье на блюдечке. На подносе няни Александр Сергеевич увидал небольшой конверт.

— Что сие?

— Давеча мальчонка приносил из Тригорского.

— Из Тригорского? От кого же это? Там, поди, и грамотных совсем не осталось. Разве управляющий? Ну, так он писать мне не станет.

Няня сообщила:

— Возвернулись господа, Акулина сказывала.

У поэта заблестели глаза:

— Неужели? Очень любопытно! — Вытащил листок и прочел по-французски:

«Дорогой, любимый, единственный. Сделала все, чтобы вновь увидеться с Вами. Будьте осторожны: тут мой Е.Ф.К. Что-нибудь придумайте. Ваша А. К.».

Он почувствовал, как стучит его сердце. Боже мой! Анна прилетела к нему, окрыленная чувствами. Ах, какой подарок Фортуны!

...И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как Гений чистой красоты!

Он любим и любит. И теперь его мечтам суждено сбыться. Грех вторично упустить такой шанс.

Да, но если с нею муж — «старый муж, грозный муж», — прямо, как в «Цыганах»! — что делать? «Что-нибудь придумайте». А что?

Александр Сергеевич, перебрав несколько романтических вариантов (как то: похищение, бегство, усыпление супруга снотворным), все же остановился на самом прозаическом — взять и явиться в Тригорское как ни в чем не бывало, на правах соседа, познакомиться с мужем и войти в доверие, а тогда уж... А тогда уж — исходя из дальнейших обстоятельств.

Написал записку по-русски:

«Милостивая государыня Прасковья Александровна! Получив известие о Вашем прибытии, жажду засвидетельствовать Вам и всему Вашему семейству полное, глубочайшее почтение. Не дозволите ли мне заглянуть в Тригорское нынче вечерком? Обещаю быть паинькой. Ваш до гроба А.С.П.»

Отослал мальчика с письмом, а спустя какое-то время прочитал ответ:

«Мой любезный Александр Сергеевич, для чего эти церемонии? Приходите запросто. Обещайте что-нибудь прочесть новое свое. Ждем Вас в 6 часов пополудни. Ваша П. Осипова».

Сделав антраша, Пушкин, хохоча и подпрыгивая, стал готовиться к суаре. Правда, дождь полил, и скакать верхом, а тем более идти на своих двоих значило явиться на глаза любимой в виде мокрой курицы. Что ж, пришлось велеть конюху снаряжать коляску с поднимающимся кожаным верхом, а затем приказать ему влезть на козлы на правах кучера.

Но зато расфуфырился по последней моде — если не петербургской, от которой безнадежно отстал, сидючи в глуши,

то по псковской точно. Вывязал галстук а-ля Байрон: вместо того, чтобы приложить спереди на шею, приложил к шее сзади, а потом два конца, вытянув вперед, завязал на большой узел под подбородком; кончики вышли выразительные, игривые. Да и цвет галстука игривый — *scabiosa* («коралловый»). Тросточка, перчатки. Не хватает разве что лорнета. Ну, да это в псковской глубинке будет выглядеть слишком эпатажно.

Как и попросили, появился в Тригорское ровно в шесть. На террасу высыпало все семейство — барышни, хозяйка, дети, Ермолай Федорович в генеральском мундире с эполетами и красным воротником, с орденами Святой Анны и Святого Владимира разных степеней и крестом Святого Георгия, а по правую руку от него — Анна Петровна в шелковом чепце с кружевами, платье из темной ткани с небольшим декольте, сверху накинута по причине дождя кашемировая шаль. Встретили поэта радостными возгласами. Он сошел с коляски, резво обогнул лужу и сказал конюху:

— Заезжай за мною, братец, ближе к десяти вечера. Только не опаздывай, а не то получишь. — И, оборотившись к Прасковье Александровне, сладко улыбнулся: — Разрешите ручку облобызать, мадам.

Барышням целовать руки не полагалось, а вот с генеральшей он расшаркался:

— Анна Петровна, мое почтение. Рад продолжить знакомство.

Заглянул ей в глаза и увидел подтверждение всем своим догадкам. Приложился к пальчикам.

— Уважаемый Александр Сергеевич, я хотела бы познакомиться вас со своим дражайшим супругом.

Обменялись рукопожатием. Ермолай Федорович стиснул его кисть со всей крепостью профессионального вояки, так что Пушкин едва не ойкнул. Но улыбку на лице сохранил. Даже произнес:

— Счастлив, счастлив. Анна Петровна мне рассказывала об вас. Говорит, что с самим Суворовым брали Измаил. А каков он, Суворов, в жизни? Правда, что чудака?

Генерал ответил с удовольствием, вскинув брови и вытянув губы трубочкой:

— Александр Васильевич был гений. Ну а кто из гениев без чудачеств? Он на то и гений. Но его чудачества — это не главное. Главное, что он гений на поле брани. Победителем вышел из всех — да, заметьте, всех своих сражений!

— Совершенная правда.

— Не желаете сочинить что-нибудь хвалебное о Суворове? Я бы мог рассказать вам много интересного.

— Буду рад услышать.

Пили чай с расстегаями с вязигой, а на сладкое — грандиозный открытый пирог с черникой, столь обильно растущей в псковских лесах. Барышни музицировали и пели, Пушкин прочитал новые стихи:

Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуют нежные девы
И юные жены, любившие нас!

После этих слов генеральша отвела взгляд в сторону, чтобы себя не выдать.

...Поднимем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!

Эти слова, напротив, возбудили генерала, он потребовал немедленно соорудить жженку. А пока Алина и Анечка Вульф колдовали над серебряной чашей, сообщил Александру Сергеевичу, как они варили жженку у них в полку: никаких сухофруктов и фиников, разрезали на куски свежий ананас, а глинтвейн готовили из шампанского, белого вина и рома, поливая им сахар. Этим напитком проходили «крещение» офицеры-новобранцы.

Разогревшись обжигающим алкоголем, стали расписывать партию. Ермолай Федорович быстренько сорвал банк, а потом стал позевывать и, спустив половину выигранного, начал жаловаться на свое дремотное состояние. Вскоре, откланявшись, удалился спать. Без него играли еще с полчаса, но устали все и решили заканчивать. Пушкин встал:

— Господа, мне пора ехать. Дождь уже прошел, и коляска возле крылечка. — Посмотрел на Анну Петровну, а потом перевел взгляд на остальных: — До свиданья, милые дамы. Благодарен вам за чудесный вечер.

Барышни и хозяйка стали приглашать его заезжать почаще. Он, конечно же, обещал.

Вышел, сел в коляску, помахал платочком. А когда отъехали, приказал конюху-возничему развернуться и тихонько встать за пригорком около дома. Ждал примерно четверть часа и, когда уже утвердился в мысли, что его догадки оказались беспочвенны, вдруг увидел в свете луны обожаемый силуэт. Керн вскочила в его коляску, запыхавшись, бросилась в объятия, начала целовать в губы, щеки, подбородок, глаза. Только повторяла: «Мой, мой навек!»

Пушкин отвечал ей тем же. А потом, отвлекшись, постучал тросточкой в спину кучера:

— Вот что, братец: отправляйся-ка в Михайловское пешком. Я потом сам доеду.

Обернувшись, конюх расплылся, слез с облучка и, пока кланялся, продолжал гадко усмехаться.

— Я сказал: прочь пошел, болван!

Хмыкнув, парень скрылся.

Александр Сергеевич взял поводья и заставил лошадь, обогнув пригорок, съехать в рощу.

9.

Новое утро было бледноватое и холодноватое, небо в тучах, дождик моросит. Псковское лето недолгое, жарких дней — раз, два и обчелся. А уже конец августа, скоро осень заявит свои права.

Пушкин проснулся в прекрасном расположении духа, вспомнил про вчерашнее, сладко хохотнул, томно потянулся под одеялом. Эк хорошо! Чувствовал себя триумфатором.

Вдруг услышал топот копыт за окошком — непривычный, резкий. Приподнялся на локте, чтобы поглядеть, кто же мог пожаловать в этот ранний час. Не успел сообразить, как услышал громкие голоса за дверью, брань, и в его светелку ворвал-

ся всклокоченный генерал Керн в партикулярном. Он сверкал очами, на губах его была пена. Выкрикнул с порога:

— Сударь, вы подлец!

Александр Сергеевич изменился в лице.

— Как вы смее, Ермолай Федорович, так высказываться на мой счет?

— Смею, потому как знаю доподлинно — все, что произошло нынче ночью между вами и моею супругой.

— Врут. Не верьте.

— Как могу не верить, коль она сама мне сие сказала!

— Как — сама?!

— Так, сама. Заявила, что будто бы любит вас и уходит к вам.

— Неужели?

— Да!

— Что же вы хотите? Стреляться? — Пушкин помрачнел.

— Думал, думал по дороге сюда. — Генерал помедлил. — Но теперь раздумал. Не хватало еще под старость занять на совести смертоубийство русской знаменитости. Уж увольте. Просто заявляю вам: вы подлец и моей жены больше никогда не увидите — увожу ее нынче в Ригу.

Но поэт, соскочив с постели и представ перед визитером в ночной рубашке до пят, что придало разыгравшейся сцене некоторый комизм, объявил с жаром:

— Нет, извольте стреляться! Вы назвали меня подлецом, а снести такое я не намерен. Требую сатисфакции!

Керн поморщился:

— Чтобы я, генерал-лейтенант, дрался на дуэли с жалким штафиркой? Никогда. Прощайте.

— Коли так, то вы сами трус и негодяй.

Ермолай Федорович, ничего не произнося, повернулся к двери.

— Старый рогоносец!

Он взглянул на Пушкина с сожалением, покачал головой и, сказав презрительно: «Сосунок. Мальчишка», вышел.

Автор «Евгения Онегина» опустился на край постели и, ссутулившись, запустил пальцы с холеными ногтями в темные кудряшки. Выть хотелось.

«**А**орогой Александр Сергеевич, драгоценный Саша! Наконец-то смогла сосредоточиться, чтобы написать Вам короткое письмецо. Все эти недели пребывала в полном унынии, даже возникало желание наложить на себя руки, но, благодаря Господу даже не рискнула. А теперь, когда я уверена, что мне предстоит снова сделаться матерью, а ребенок будущий — от Вас, ибо больше не от кого, радостно воспрянула и хочу жить.

С Ермолаем Федоровичем больше никаких отношений. Мы хотя и супруги, но живем в разных комнатах и почти не общаемся. Видимо, пробуду в Риге до весны — все-таки зима здесь мягче, чем в России, а морозы я терпеть не могу, — и затем переберусь в Петербург. Жаль, что Вы еще в ссылке — сняли бы квартирку и зажили бы мы с Вами душа в душу. Что там слышно о Вашем возвращении?

Напишите хоть коротко о себе, о своем здоровье и о планах на будущее. Любите ли Вы меня еще? А писать надобно на главную почту Риги, предъявителю ассигнации № 721846. Я люблю Вас безмерно, с каждым днем все больше. Ваша А.»

* * *

«Аннушка, любимая! Я едва не сошел с ума от радости, получив от Вас долгожданную весточку. Господи, помилуй: мой ребенок! Нет сомнений: это будет девочка, столь очаровательная, как Вы. Впрочем, и от мальчика, похожего на меня, я не откажусь.

Положение мое пока незавидно, никаких перемен — обо мне, видимо, забыли, или не забыли, но считают, что меня лучше поддержать вдали от цивилизации. Ну, да Бог с ними! Я привык и не жалуясь: в тишине и на свежем воздухе плодотворно пишется. Сочинил целый ворох нового. Шлю новинки брату Левушке — он в Петербурге, Соболевский в Москве их пристраивают где могут.

Нашу с Вами тайну я открыл моей любимой сестрице Лёле, и она живо согласилась в Вас участвовать, коль приедете в Петербург. Поселиться сможете у моих родителей, никаких

недоразумений не возникнет, ради будущей внучки или внука обойдутся с Вами, как с родною дочерью. Ну а я, как только освобожусь, прилечу к Вам на крыльях любви, чтоб припасть губами к Вашим ручкам и ножкам.

Берегите себя и будущее чадо. Бог есть любовь, наш ребенок — плод любви, значит, Вседержитель на нашей стороне.

Осыпаю поцелуями вас всю. Вечно Ваш А. П.»

11.

19 ноября того же года в Таганроге умер Александр I, и пошла свистопляска с престолонаследием — царь официальных детей не имел, брат Константин править не желал, но тянул с отречением, брат Николай тоже медлил, не решаясь на серьезные действия, армия присягала Константину, а мятежные офицеры вывели на Сенатскую площадь войска. Пушкин думал примкнуть к восставшим, ибо искренне дружил с половиной из них, в том числе с Кюхельбекером, но Судьба удержала его в Михайловском, охранив тем самым от Петропавловки и Сибири.

Новый царь — Николай Павлович, — несмотря на воинственный нрав и приверженность к строгости во всем, к Пушкину отнесся по-доброму, вызвал из ссылки в Москву и имел с ним беседу в дни коронационных торжеств. Разрешил вернуться в Северную столицу и сказал, что отныне сам будет цензурировать все его творения. Александр Сергеевич радовался возможности возвратиться к родным, но страшился нового своего положения — из обычной клетки император пересадил его в золотую.

Тем не менее все-таки это Петербург, а не деревня: светское общество, театры, многочисленные издательства и журналы, не попавшие в ссылку товарищи, мама с папой, брат, сестра и, конечно, Анна Керн с появившейся от него дочкой. Девочку крестили в церкви Воскресения Господня при Адмиралтейских слободах, крестной матерью стала Ольга Сергеевна Пушкина, в честь которой малышку и называли Оленькой.

Впрочем, действительность оказалась не столь радужной: на вопрос Александра Сергеевича, примчавшегося к родите-

лям на набережную Фонтанки, у Семеновского моста, в дом Устинова, где же Анна Петровна с дочерью, Ольга Сергеевна посмотрела в сторону и ответила сдержанно, что мадам Керн переехала к Оресту Сомову. У поэта вытянулось лицо:

— У Ореста? Отчего у Ореста?

Он прекрасно знал Сомова, хоть и неблизко, — тот писал стихи и рассказы, понемногу печатался, издавал с Дельвигом журнал и работал в Российско-американской компании вместе с Рылеевым, но среди мятежников не числился и из Петропавловской крепости был отпущен.

— Оттого что теперь они живут как муж и жена.

Пушкин сел.

— Как же это? Ведь клялась в любви вечной. Ведь у нас дитя!

Ольга неодобрительно дернула плечами.

— Надо лучше выбирать объекты любви, Сашенька. Потому как не все то золото, что блестит. Предала Керна, предала тебя и еще не раз предаст остальных. Такова натура.

Подбородок его отчаянно задрожал. Слезы потекли. Он не плакал так уже давно, вероятно, с детства.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

1.

Глинка действительно происходил из поляков: предок его — шляхтич Викторин Владислав, жил в Смоленске, находившемся тогда под властью Речи Посполитой, а когда в 1654 году русские вернули город себе, не уехал, принял российское подданство и перешел в православие. Царь Алексей Михайлович сохранил за смоленской шляхтой все их привилегии и гербы.

Будущий отец композитора — Иван Николаевич Глинка — сватался к своей троюродной сестре, Евгении Андреевне Глинке-Земельке, но ее родители оказались против небогатого жениха. И тогда он похитил невесту с прогулки. Родственники бросились в погоню. — но Иван Николаевич загодя разобрал

мост через Десну, и пока преследователи двигались в объезд, молодые успели обвенчаться.

Брак их вышел счастливый — в общей сложности произвели на свет 11 детей. Первым появился мальчик, окрещенный Алексеем, и скончался нескольких месяцев от роду. Михаил Иванович оказался вторым, тоже был болезненный, чахлый, но стараниями мамок и нянек выжил. После него рождались только девочки.

Он вначале воспитывался бабушкой, а затем матерью и гувернантками. От нашествия французов все семейство Глинок убежало из Смоленска в Орел, к другу-помещику, где пробыло до весны 1813 года. Маленького Мишу обучал грамоте местный священник, а французскому языку — бонна. Дядя Афанасий Андреевич, брат матери, жил неподалеку и держал у себя крепостной оркестр. Он отправил лучшего своего скрипача к племяннику — обучать музыке и игре на струнных. С детства мальчик не только музицировал, но еще и замечательно рисовал; иностранные языки давались ему с легкостью.

Поступил вначале в пансион при Царскосельском Лицее, а затем перешел в Благородный пансион при Главном педагогическом институте (чуть позднее — при университете). Здесь-то его гувернером и стал Вилли Кюхельбекер. Вместе с Левой Пушкиным, братьями Тютчевыми, Сержем Соболевским и другими своими однокашниками изучал математику, географию, естественные науки, русскую словесность, философию, право, историю. Овладел пятью языками — кроме немецкого, французского и английского, мертвой латынью и живым персидским. Брал уроки музыки и танца. С удовольствием пел в сводном хоре воспитанников.

После выпускных экзаменов сделался чиновником 10-го класса, титулярным советником. Подвизался помощником секретаря Главного управления путей сообщения. Но, конечно, основным делом его жизни была музыка.

А физически он почти не вырос — всем своим сверстникам еле доходил до плеча. И к тому же сохранил маленькие ножки и ручки. Но зато эти ручки так порхали по клавишам фортепьяно, что никто из слушателей был не в силах сдержать

эмоции — удивление, восхищение, потрясение. Он прослыл в салонах мастером музыкальных импровизаций.

Одевался скромно, но со вкусом. Чай любил с лимоном. Обожал пироги и ватрушки. И хорошее красное вино — пил его немного, но часто. С удовольствием посещал шумные компании, но душой застолья никогда не был. Как и прежде, зяб и ходил по дому в шерстяной кофте.

Вот его описание тех лет: росту мал, но имел широкие плечи и крепкие руки. Волосы темные и глаза карие. Белое, гладкое лицо. Слева на виске бородавка, справа, чуть за ухом, непослушный вихор.

Глинка по-прежнему дружил слевой Пушкиным. В 1826 году тот оставил свою чиновничью службу и подался в военные — поступил юнкером в Нижегородский драгунский полк. Получил боевое крещение на войне с турками и персами.

Глинка иногда бывал в доме его родителей, виделся с Ольгой Сергеевной, впрочем, прежних чувств к ней давно не испытывал. Там же свел знакомство с Анной Керн.

Поселившись в Петербурге и родив дочку Ольгу, Анна Петровна забрала к себе из Полтавской губернии дочь Екатерину. Девочке тогда было 8 лет. Глинка, увидав ее в первый раз, изумился худобе и бледности ребенка. Генеральша сказала:

— Я определяю Катеньку в Смольный институт благородных девиц.

Михаил Иванович, которому тогда было 22, не нашел сказать ничего лучшего, как «достойно, достойно», и слегка погладил мадемуазель Керн по курчавой золотистой головке. Та взглянула на него с добротой.

Мог ли он предполагать, что пройдут каких-нибудь 10 лет, и Екатерина Ермолаевна сделается главной любовью его жизни?

2.

Весть о смерти отца Глинка получил, будучи в Берлине, осенью 1834 года. За границей он жил уже пятый год: выехал для поправки здоровья в Италию, а затем путешествовал по Европе. Познакомился с Беллини и Доницет-

ти, изучал бельканто и полифонию, постигал инструментовку у знаменитого Зигфрида Дена. Встретил в Берлине сестру с мужем, Николаем Геденовым, родственником директора императорских театров. Тот советовал Глинке сочинить оперу на русский сюжет. Говорил:

— Ты бы только написал, с постановкой дело не станет, императорские театры у нас в кармане.

— Да какой же сюжет найти? — сомневался Михаил Иванович. — Разве что сказочный какой-нибудь.

— Не исключено. Например, у Пушкина взять — «Руслан и Людмила». Очень подходяще. Попросить его самого написать либретто.

— Это мысль. Только я в Россию пока что не собираюсь. И не знаю, когда увижусь с Александром Сергеевичем.

Но свояк настаивал:

— Ну, во-первых, ехать необязательно, можно написать. Ты ведь в переписке с Левой Пушкиным. Он и сделается посредником. Во-вторых, ты же сам говорил, что на будущий год истекает срок твоего заграничного паспорта, надо возвращаться за новым.

— Верно, верно, — отвечал композитор задумчиво. — Надо возвращаться... Разве что действительно будущей весной... Не люблю Петербург, дурно он влияет на мое самочувствие.

И — как снег на голову — телеграмма от матери из Смоленска о кончине Ивана Глинки. Вмиг с сестрой сложили вещи и отправились на похороны.

Михаил Иванович был не слишком близок с отцом — он считался «маменькиным сыночком», мать в его жизни занимала огромное, даже, признаться, чересчур уж большое место, для 30-летнего джентльмена, во всяком случае. Слушался всех ее советов. Выполнял их беспрекословно. Да и то: жил фактически на те средства, что она ему присылала из имения. Сам он зарабатывал скудно и нерегулярно.

Тем не менее смерть отца потрясла больное воображение музыканта. Ехал в совершенно подавленном состоянии, беспрерывно вспоминая светлый образ родителя — как они когда-то катались верхом по окрестным полям, как гуляли вместе по Петербургу, как родители приезжали к нему на выпускной бал

в Благородном пансионе... Сам папá был большой фантазер и сибарит. Вечно витал в каких-то эмпиреях. Всем хозяйством дома занималась мамá, и фактически она являлась главой семейства. Но любила супруга очень сильно — он ей подарил столько замечательных дочек и сына Михаила, сделал счастливой как женщину и мать.

В их имении Новоспасское собрались на похороны отца кроме Михаила пять его сестер — Маша, Лиза, Оля, Мила и Наташа. Больше остальных убивалась Маша, самая младшая из всех, — ей в ту пору было чуть за 20. Брат ее поддерживал, обнимал за плечи, гладил по щеке, а она рыдала у него на груди, измочив всю жилетку.

После похорон и поминок Ольга, Елизавета и Людмила вскоре уехали, а Наталья, Мария и Михаил задержались еще на неделю, чтоб отметить девятый день. А затем уж вместе ехали в Петербург. Маша предложила ему первое время скотать у нее с мужем — до того как не снимет себе квартиру. Композитор с благодарностью согласился.

Маша была четвертый год замужем за Стунеевым — управляющим экономической частью (проще говоря, завхозом) Смольного института благородных девиц. Жили они на казенной квартире в Смольном же монастыре, вместе с двумя малолетними детьми. Михаил поселился у них в небольшой светелке с крохотным оконцем, выходившим на двор с помойкой. Собирался найти себе собственное жилье как можно скорее, а затем, оформив новый загранпаспорт, укатить обратно в Берлин.

Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает...

На десятый день после их приезда из Новоспасского в дом к Стунеевым на обед явился брат его — Алексей Стунеев, командир эскадрона в Школе гвардейских прапорщиков, вместе с женой и сестрой жены, незамужней девицей 19 лет отроду. Звали ее тоже Маша, и была она совершенным ангелом: белое точеное личико с голубыми невинными глазками, светлые курчавые волосы и изящные розовые ушки. С мочек свисали серьги с бриллиантиком. «Да неужто я встретил идеал, о котором мечтал всю жизнь?» — с замиранием сердца подумал Михаил Иванович и решил познакомиться с ней поближе. Девушка

оказалась неглупой, знала наизусть Батюшкова, Жуковского и Пушкина, хорошо изъяснялась по-французски и призналась, что обожает романсы Глинки.

— В самом деле? — удивился молодой музыкант. — Например, какие же?

— Например, «Не пой, красавица, при мне». «Не искушай меня без нужды». Но особенно люблю «Ночь осенняя, ночь любезная». Вы — талант. Это все говорят.

— Полно, вы меня смущаете, — улыбнулся он.

— Ах, нисколько, нисколько. В свете только и разговоров о том, что вы вернулись в Россию и теперь одарите нас новыми шедеврами. Утверждают, что намерены написать оперу на русский сюжет.

Михаил Иванович согласился. Маша захлопала в ладоши:

— Это будет чудо, я уверена! Станем вам рукоплескать в театре. — А потом вздохнула, закатив глазки: — Как же я завидую той, что составит счастье вашей жизни!

Он слегка напрягся:

— Отчего ж, Мария Петровна, вы так полагаете?

— Быть женой великого композитора! Первой слышать все его сочинения! Приходить на премьеры его спектаклей и сидеть в ложе рядом с ним! Находиться в блеске его славы! На устах у мира! Разве это не счастье?

Глинка проронил:

— Ох, не знаю, ей-богу... Это только внешняя сторона, поверьте. А на деле — съемные квартиры, деньги из имения поступают нечасто и нельзя жить, как хочется, а еще бывают и хвори, и печальное настроение, и отсутствие вдохновения... Нет, клянусь, быть женой композитора — не такая уж сказка...

Но Мария Петровна не поверила:

— Вы сгущаете краски преднамеренно. Всякие неурядицы можно пережить. И они не станут омрачать бытия великого человека. Ведь его талант — дар Божий. Значит, близость к таланту — это приближение к Богу!

Михаил Иванович был растроган:

— Браво, браво! Лучше и не скажешь.

Между ними вспыхнуло нечто, что заставит его и ее думать о дальнейшем знакомстве. Так оно и вышло: Глинка начал бывать у Марии в семействе, сделал предложение, получил согласие, а потом и благословение собственной матери, и в апреле 1835 года обвенчался.

3.

Пушкиным он встретился у Жуковского — у последнего на ужинах и обедах собиралось любопытное общество, композиторы и поэты. Приходил Крылов и, поев плотно, вскоре засыпал на диване. Вяземский затевал всяческие игры, Гоголь изображал известных вельмож, потешая всех.

Жил Василий Андреевич в Зимнем: будучи наставником цесаревича — Александра Николаевича, находился всегда при нем. Но друзей Жуковского пропускали во дворец без особых препятствий.

Пушкин изменился за последние годы — и особенно после женитьбы на Гончаровой. Не чудил, как раньше, не сорил словами, пил шампанское сдержанно. Положение обязывало: был безоговорочно всеми признанный поэт, к императору вхож, занимался с благословения царя пугачевским бунтом, а в семье — родитель двух детей. Предложение Глинки сочинить либретто к опере «Руслан и Людмила» удивило его приятно, но мотнул головой отрицательно:

— В принципе, конечно, был бы рад поработать вместе, но теперь недосут. Может, через годик-другой.

Неожиданно вмешался Жуковский:

— Михаил Иванович, а возьмите сюжетом историю Ивана Сусанина. Истинно народный герой, православный христианин, отдал жизнь за царя и Отечество.

Глинка растерялся:

— Я бы с удовольствием, Василий Андреевич, но ведь некоторым образом есть уже «Сусанин» — опера нашего композитора Кавоса. Партию Сусанина замечательно исполняет Осип Петров!

Но наставник цесаревича только губы слегка скривил:

— Ах, оставьте, это чепуха, а не опера. Я не выдержал и ушел после третьего акта. Персонажи все ходульные, музыка слащавая... Нужен иной Сусанин — истинно русский, плоть от плоти. Не античный пафосный герой, а простой, скромный, но при этом патриот и великий гражданин.

— Вы взялись бы писать либретто?

— Нет, увольте. Мне теперь не до этого. Предложите барону Розену, он секретарем цесаревича служит. Сочиняет недурные стихи и сюжетом вполне владеет.

— Я и не знаком с ним.

— Коли вы дадите согласие, я переговорю.

— Разумеется. Может быть, держать про запас еще и Кукольника? У него бойкая рука.

— Не советую. Этой бойкой рукой он насочиняет вам пафоса с три короба. Впрочем, если про запас, то можно.

Розен был из остензийских немцев и воспитывался в Эстляндии, так что до поступления на военную службу в русскую армию совершенно по-русски не говорил. И всю жизнь потом в речи его ощущался сильный прибалтийский акцент. Человек неспешный, он любил полулежать на козетке и, куря трубку, рассуждать о течениях в современном искусстве. На свои деньги издавал литературный альманах «Альциона», где печатал Пушкина, Вяземского, Жуковского.

Принял Глинку у себя дома, на квартире у Александроневской лавры на Конной площади, очень дружески, предложил красного вина и сказал, что не пьет иного, от шампанского его пучит, а от водки кружится голова.

— Я человек не очень здоровый, — откровенно сказал барон, — каждый день болит что-то новое. Вот сегодня с утра отчего-то стреляет в правом боку. А вчера дрожала жилка на левой щеке. Целый день не мог справиться, а потом вдруг само прошло. Это все от нервов.

Выслушал композитора как-то отстраненно, непрерывно пыхтя трубкой и прикрыв глаза. А потом негромко проговорил:

— Уважаемый Михаил Иванович, я обманывать вас не стану. Брать из головы и вымучивать слова арий у меня не выйдет. Надо идти от музыки. Набросаем вместе общую схему,

план, действующих лиц и сюжетные повороты. А затем вы отправитесь писать музыку. Пусть не целиком — основные партии. А потом уже я на них сочиню слова. Если вас такой порядок устроит, я готов. Если нет — то ничем не смогу вам помочь.

Заявление было жестковато, но зато без обвиняков. Глинка согласился:

— Что ж, давайте попробуем. Может, вы и правы: загодя написанные слова станут сковывать мое вдохновение. Вот в романсах — иное дело, там стихи главное. А когда сможем приступить?

— Да хоть завтра до обеда. Цесаревич приболел, и работы у меня мало. Приходите с утра пораньше, скажем, в семь часов.

— Эк хватили, Егор Федорович! Петухи еще не проснутся, ей-бо!

— Ну, так что нам до петухов, Михаил Иванович? Мы и сами пташки ранние. А зато голова свежая, ясная, тишина на улице, и по дому никто не мешает. Я встаю-то в пять, но уж вас не хочу неволить, приходите только к семи.

— Что ж, договорились.

«Он смешной чудака, — думал музыкант, покидая дом Розена, — но как раз от чудаков можно ждать чего-то оригинального. Буквоеды и педанты скучны».

Вскоре, с готовым планом оперы, он отправился на два летних месяца к себе в Новоспасское — отдохнуть с молодой женой на лоне природы и посочинять музыку к «Сусанину» в деревенском спокойствии и первозданности.

4.

Анна Керн, покрутив с Сомовым, побывала в близких отношениях с Сержем Соболевским, другом Пушкиных и Глинки, а затем сошлась с незаконнорожденным сыном дяди поэта Баратынского, даже родила от него, но ребенок умер. Вскоре умерла и маленькая Оля, не дожив до своего 7-летнего возраста. Пушкин был уже женат и воспринял новость о кончине дочери без особой грусти.

Да и легкомысленная мать горевала недолго. Подружившись с Дельвигом и его женой, переехала к ним на квартиру. А поскольку супруга Дельвига наставляла ему рога с Алексеем Вульфом, давним любовником Анны Петровны, то сложилась удивительная «семья вчетвером»: Дельвиг жил с женой и захаживал к Керн, Вульф делал то же самое, и все четверо были счастливы. Даже в свете Дельвиг появлялся с обеими дамами, представляя их:

— Софья Михайловна — моя жена. Анна Петровна — жена вторая.

Все смеялись милому чудачеству, но и понимали, что в любой шутке есть доля правды.

Дельвиг вместе с Сомовым издавал альманах «Северные цветы», где держали корректуру обе его дамы. Выпустил одну книжку альманаха «Подснежник», а потом затеял с Пушкиным «Литературную газету». Самым известным его стихотворением стал «Соловей», посвященный Пушкину и положенный на музыку Алябьевым. Глинка играл импровизации на тему.

Та же компания, что ходила к Жуковскому в Зимний, развлекалась и на квартире у Дельвига. Пели, танцевали и играли в шарады. Летом ездили на прогулки за город, даже однажды добрались до финского водопада Иматра. Глинка их сопровождал тоже.

С Анной Петровной у него сложились теплые, чисто дружеские отношения: как мужчина он ее не смог взволновать. Как-то композитор спросил:

— Слышал, будто Пушкин посвятил вам прелестные стихи. Это правда?

Помолчав, Керн кивнула:

— Правда. Разве вы не видели у Дельвига в «Северных цветах»?

— Я, признаться, пропустил. Можете прочесть?

— Отчего ж, могу. — И, слегка прикрыв веки, начала:

Я помню чудное мгновенье...

Он сидел, ссутулившись, сжав переплетенные пальцы и раскачиваясь в такт, как молящийся иудей. А когда стихотворение было завершено, замер, потрясенный. Наконец сказал:

— Это чудо что за строки. Так и просятся на музыку.

Генеральша улыбнулась:

— Ну, так сочините романс, Михаил Иванович.

— Мне нужны слова. «Северных цветов» не найти теперь. Не хотите продиктовать?

Сморщив носик, дама ответила:

— Ах, только не теперь. Вот что: я вам дам оригинал. Коли поклянетесь не потерять.

— Обещаю.

Упорхнув к себе в комнату, принесла вчетверо сложенный листок. Глинка развернул и увидел размашистый почерк Александра Сергеевича.

— Буду хранить как зеницу ока.

Сразу за работу не сел, спрятал рукопись в томике французских стихов, а потом забыл. Отвлекла женитьба и поездка с супругой в Новоспасское.

5.

Деревенский быт, безмятежность, девственность природы вдохновляли его. Он вставал пораньше, умывался колодезной водой, от которой мурашки бегали по всему телу, пил парное молоко, заедая сладким пирожком. И, закутавшись в халат, нацепив турецкую феску, — так обычно ходил по дому, — принимался за ноты. Поначалу все прокручивал в голове и наброски делал грифельным карандашом, часто стирая ластиком, а потом откладывал прочь. Постепенно дом просыпался, начинали бегать дворовые, разжигали самовар, приносили барыне на завтрак только что снесенные куриные яйца, мед, малину на блюдечке. Выходила Маша в просторном пеньюаре и, увидев мужа, звонко целовала:

— Гений, как всегда, за работой. А в медовый месяц трудиться грех.

— Нет, наоборот: ты меня вдохновляешь. Ты моя муза.

Пили чай со сливками, обсуждали планы на вечер — кто придет в гости или же к кому отправятся сами. Появлялась заспанная теща в чепце, жаловалась на боли в спине и бессонни-

цу. Но пила и кушала за троих. Мама Глинки завтракала у себя в комнате — накануне повздорив с Мишиной тещей, не хотела общаться.

Наконец он вставал из-за стола, брал с собой ноты и спускался в сад, в беседку, где и продолжал сочинять. А когда в доме все смолкало — Маша с матерью шли на речку в купальню, возвращался в дом и садился за фортепьяно, чтобы проиграть только что написанное, снова изменял, черкал, переделывал. Некоторые арии и дуэты выходили легко, некоторые выглядели тускло, Глинка злился, рвал нотную бумагу. В целом опера складывалась трудно. Первый акт еще ничего, а второй и третий буксовали.

Да еще и мама беспрерывно пилила — ей не нравилась ни невестка, ни сватья. Говорила, что они обе дамы глупые, жадные, дремучие.

— Ах, Мишель, как ты мог жениться на такой курице? — то и дело ворчала Евгения Андреевна. — Человек совершенно не твоего круга.

— Да при чем тут круг? — огрызался отпрыск, впрочем, без особого чувства. — Молодая, неопытная; повращается в нашем обществе — наберется мудрости.

— Как же, наберется она! Набираться чем, если нет ума?

— Ты несправедлива, мамá. Маша — как чистый лист, я могу на нем написать все, что захочу.

Но родительница только вздыхала:

— Ой, боюсь, что напишешь не ты, а другие, кто побойчее.

Человек впечатлительный, Глинка волей-неволей прониклся словами матери, начинал замечать за женой сказанные и сделанные ею глупости, недалекие суждения и дурные вкусы. Например, не читала ничего, кроме модных журналов, выбирая себе новые платья; допоздна ходила по дому неглиже, неумытая, неприбранная; мыться не любила вообще, баню презирала, лишь споласкивалась у себя в будуаре в тазике; обожала драгоценные побрякушки и печалилась, что супруг дарит ей мало золота и бриллиантов. Лежа на кушетке, часто фантазировала:

— Вот поставят твою оперу в Большом театре, и получишь много-много денег. Сможем снять тогда не квартиру, а этаж, и приобретем приличествующий твоему положению выезд. Станем появляться в высшем свете. На балах, на раутах. Я — в роскошном платье, в золоте. Все меня лорнировать станут, спрашивать: «Это что за красавица такая?» — «Как же, вы не знаете? Это ведь жена композитора Глинки». И меня царь заметит... может быть, приблизит...

— Выдумаешь тоже! — отвечал Михаил Иванович с досадой. — Не хватало еще, чтобы государь сделал из тебя свою фаворитку.

— Ну а что такого? — удивлялась Маша. — Удостоиться такой чести! Мужу фаворитки — тоже и почет, и всякие милости.

— Даже не мечтай. Если это случится, я с тобой расстанусь в сей же миг.

Новобрачная обижалась:

— Вот ведь дуралей. Бука и фетюк. Слишком моральным в наше время небогато живется. Ради блага своего и своих родных иногда можно поступиться нравственными принципами.

— Ни за что, — отрезал Мишель.

Возвратились в Петербург в августе. И действительно сняли — нет, не этаж, но другую, хорошую квартиру на Конной площади, рядом с домом барона Розена. Так создателям «Ивана Сусанина» стало легче общаться. Розен выслушал сочиненные Глинкой музыкальные части и пришел в восторг. Живо взялся за работу, и уже к январю 1836 года опера вчерне была завершена. Разучили ее фрагменты с оркестром Юсупова, партию Сусанина пригласили исполнить Осипа Петрова, певшего и у Кавоса, Антонида дали Анне Воробьевой. Репетиции прошли более чем успешно.

В марте устроили показ 1-го акта в доме Вильегорских. Собралось изысканное общество, прибыл директор императорских театров Гедеонов, Пушкин с супругой, Вяземский, Одоевский и приехавшая из Новоспасского матушка Евгения Андреевна. После апофеоза все кричали «браво!», аплодируя

стоя. Глинка и Розен кланялись. Гедеонов объявил, что берет сочинение для постановки в Большом театре Петербурга. Начались прогоны уже на сцене.

На один из них неожиданно приехал Николай I. Выслушал, похвалил, но сказал:

— Скверно, что в репертуаре будут два спектакля с одинаковым наименованием. Надо изменить. Назовите как-то патриотично.

— «За царя и Отечество», — предложил Гедеонов.

Государь задумчиво покачал головой:

— Да, примерно так...

— Или просто: «Жизнь за царя», — отозвался Розен.

Император просиял:

— Верно, верно. Одобряю. Лучше не придумаешь.

Но уже наступало лето, а в конце сезона премьер не давали. Осенью 1836 года снова начались репетиции, и готовую оперу наконец-то выпустили в конце ноября.

На премьеру собрался весь высший свет, удостоил своим посещением и самодержец. Он сидел с семейством в царской ложе, прямо против сцены. По бокам, в других ложах, — именитые сановники и аристократы. А сидячих мест внизу было всего несколько рядов (назывались они «кресла»), там располагались состоятельные господа невысоких чинов, но за вход заплатившие немалые деньги. Далее, за креслами, отделенными красным шнуром с кистями, находился собственно «партер» — незаполненное ничем пространство, где зрители стояли. Набивалось туда до тысячи человек, и хорошие позиции приходилось занимать за два, за три часа до начала. Но зато билеты в партер были очень дешевы. Впрочем, наиболее дешевые находились на галерке — в райке, на самой верхотуре, выше всех лож. Помните в «Онегине»:

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.

Освещался театр того времени либо фитильными лампами, либо свечами. И хотя на Западе в моду уже входили газовые горелки, в Петербурге побаивались этого новшества и предпочитали все оставить, как было испокон века. Разумеется, «выключать» свет во время действия не представлялось возможным — лампы горели весь спектакль, так что зрители часто палились не на сцену, а разглядывали уборы аристократов в ложах.

Первый акт «Жизни за царя» приняли более чем сдержанно, на других и вовсе царило гробовое молчание — ни хлопка, ни выкриков, и лишь в самом конце, после коды, все, увидев, что Николай I встал и захопал, разразились овацией. Господа артисты и авторы выходили кланяться бесконечное число раз. А потом Глинку позвали в ложу к его величеству, и монарх с чувством пожал ему руку. А наутро в квартире Михаила Ивановича зазвонил колокольчик у дверей, и явившийся флигель-адъютант Львов, взяв под козырек, передал композитору красную бархатную коробочку вместе с благодарственным письмом от царя. Потрясенный Мишель обнаружил под крышкой перстень с топазом в бриллиантах. Так в один вечер Глинка сделался первым композитором России.

6.

Кроме официальных торжеств были еще и дружеские застолья — близкие люди приезжали, поздравляли, выражали свою приязнь. Перед Рождеством собрались на вечеринку в доме Вильегорского. Несколько поэтов сочинили по строфе праздничный канон, музыку к которому написал Одоевский. Вот слова канона:

Пушкин: Слушая сию новинку,
Зависть, злобой омрачась,
Пусть скрежещет, но уж Глинку
Затоптать не сможет в грязь.

Жуковский: В честь столь славных новинки
Грянь, труба и барабан,

Выпьем за здоровье Глинки
Мы глинтвейну стакан.
Вяземский: За прекрасную новинку
Славить будет глас молвы
Нашего Орфея Глинку
От Неглинной до Невы.
Вильегорский: Пой, в восторге русский хор,
Вышла новая новинка.
Веселися, Русь! наш Глинка —
Уж не глина, а фарфор!

Маша настояла, чтобы переехали с Конной площади в центр города. Начала собирать по четвергам светские рауты. Царь назначил Михаила Ивановича капельмейстером Придворной певческой капеллы.

Хор этот существовал еще с XV века, созданный указом Ивана III. С 1837 года возглавлял его Алексей Львов, сочинивший российский гимн «Боже, Царя храни!» и удостоенный за это звания флигель-адъютанта его величества, а еще золотой табакерки, осыпанной бриллиантами. Именно Львов порекомендовал Николаю Павловичу сделать Глинку капельмейстером.

Композитор, правда, думал отказаться — не привык, не хотел становиться государственным служащим, но и Львов, и Маша с тещей настояли: милостью царя не пренебрегают, да и деньги платят хорошие.

— Как же я смогу совмещать работу в Капелле с сочинением новой оперы? — слабо сопротивлялся он. — Пушкин обещал написать либретто к своему «Руслану».

Но ему в ответ льстили: ты гений, сможешь и то, и другое. Михаил Иванович согласился скрепя сердце, продолжая сомневаться, но случилось непоправимое: 29 января от смертельного ранения на дуэли умер Пушкин.

Отпевали его 1 февраля в церкви Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади. Глинка увидал среди молящихся Анну Петровну Керн, подошел, поздоровался. Женщина была вся в слезах. Причитала:

— Как же мы теперь? Вроде солнышко на небе погасло...

Михаил Иванович тяжело вздохнул:

— Да, да, и не говорите... это такая потеря для всех для нас...

Он увидел рядом с ней худощавую бледную девушку лет 18. Генеральша спросила:

— Вы не узнаете? Дочь моя, Катенька. В прошлом году окончила Смольный институт с отличием. Получила от государя-императора десять тысяч рублей на приданое.

Музыкант одобрил:

— Очень хорошо, поздравляю.

Выйдя из церкви, он надел меховую шапку и направился к собственной карете. Обратился к Керн:

— Вас подвезти?

— Было бы чудесно.

По дороге спросил:

— Вы теперь с дочерью живете?

— Да, но Катенька скоро уезжает в Смоленск.

— Отчего в Смоленск? — удивился Глинка, ведь смоленские места — его родина.

— Разве вы не знаете? Генерал Керн — вот уже восьмой год комендантом Смоленска. Станет жить с отцом.

— Понимаю...

Он подумал: если навестить Евгению Андреевну в Новоспасском, можно по дороге заехать в Смоленск и увидаться с мадемуазель Керн. Почему так подумал? Кто ему внушил эту мысль?

Между тем Анна Петровна живо вспомнила:

— Вы не потеряли стихотворение Пушкина обо мне?

Глинка спохватился:

— Нет, нет, как можно, у меня лежит в томике стихов.

— Обещали сочинить романс и не сочинили.

— Непременно сочиню.

Он помог дамам выйти из кареты. Встретился глазами с Екатериной. И почувствовал тонкую иголочку, уколотившую в сердце.

Катя опустила ресницы и присела в книксене.

Михаил Иванович церемонно кивнул.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

1.

Катя до семи лет жила и воспитывалась у бабушки и дедушки в городе Лубны, что в Полтавской губернии.

Городок был маленький, очень провинциальный, население не больше трех тысяч, тысячу из которых составляли евреи. По весне и осени грязь была такая, что в бездонных лужах утонуть могла не только собака, но и лошадь с кучером. Но при этом имелась библиотека и казенная аптека. Назывался городок «Лубны» потому, что его жители издревле промышляли лубом.

Дедушка был предводителем местного дворянства, дом свой подарил богоугодному заведению, а себе выстроил другой, каменный, на окраине, над рекой Сулой, средь березовых и липовых рощ.

Дедушка, желая разбогатеть, брался за любые рискованные предприятия, вкладывал в них деньги, разорялся, горевал, а потом пускался в новые авантюры. Например, он придумал делать из мясного бульона концентрат (то, что мы теперь называем «бульонные кубики») для нужд армии. И ввиду грядущей войны с Наполеоном эта затея выглядела вполне перспективной. Он пробился к самому Александру I, тот его наградил орденом Святой Анны 2-й степени, похвалил, но приказа закупать концентрат не отдал. И сухой бульон, находившийся у дедушки на складе, был захвачен французами, а потом благополучно употреблен ими в пищу.

Катя любила дедушку — доброго, великодушного, одевавшегося с провинциальным шиком, иногда вспыльчивого, часто упрямого, но любившего жену и внучек самоабвенно.

После смерти Анечки (младшей своей дочери) Анна Петровна забрала Катю в Ригу, а потом в Петербург.

В Риге девочка впервые познакомилась с папá — грозным генералом, от которого всегда пахло трубочным табаком, легким перегаром и конским пóтом. Правда, от прислуги Катя слышала, что на самом деле ее отец — Александр I, но ни

капельки не поверила. Ермолай Федорович относился к ней с нежностью, заботливо, целовал, гладил по головке, угощал сладостями. Но родители вскоре расстались окончательно, и мамá, беременная уже Ольгой, вместе с Катей переехала в Петербург.

Здесь они вдвоем прожили недолго — Анна Петровна отдала ее в Смольный институт.

Катя вначале плакала — без заботы и любви близких родичей, оказавшись в чужом городе, в шумном учебном заведении, в строгости преподавателей и классных дам. Петербург ей вообще не понравился — холодом, сыростью, от которых у нее то и дело болело горло. Но потом притерпелась понемногу. И в учебу втянулась. Успевала по всем предметам, но особенно любила русскую словесность, географию, историю, музыку. Певческий голос имела небольшой, но зато слух отменный, позволявший ей не фальшивить. А вела себя скромно, тихо, большей частью молчала, слушая других.

Анна Петровна навещала дочку регулярно и всегда забирала к себе на праздники, часто — просто по воскресеньям. Вместе они ходили в кондитерский магазин, где, смеясь, пили кофе с пирожными, иногда — в зоосад, кунсткамеру или просто гуляли в парке. Правда, мамá каждый раз при этом сопровождал новый кавалер, и вначале Катенька терялась, замыкалась в себе, но, взрослея, начала воспринимать это как должное. Мам не выбирают. У нее вот такая — яркая, душистая, влюбчивая, сотканная из романтизма и суеверий. С этим хочешь не хочешь, а необходимо мириться. Но сама для себя девушка решила: если и полюбит кого, то один раз в жизни и навек.

Маленькая Оля, появившаяся с вывихнутой ножкой и потом довольно сильно хромавшая, вызывала в ней не столько любовь, сколько сострадание. Да и с умственным развитием у сестры оказалось не все в порядке: начала говорить только в три с половиной года, да и то короткими фразами, длинное предложение выстроить не могла. А потом и вовсе вскоре умерла. Катя вместе с матерью была на похоронах, но не плакала.

Выпускные экзамены сдала только на «отлично». И полнейшей неожиданностью сделался для нее подарок Николая I —

10 тысяч рублей на приданое. Может быть, действительно он считал ее своею племянницей? Впрочем, ограничился только деньгами — не назначил фрейлиной императорского двора, как других ее сокурсниц из высокопоставленных семей.

Около года прожила с матерью, но ее, матери, круг общения вызывал в девушке явное неприятие — чуть ли не каждодневные вечеринки, застолья, танцы, пьяный смех, бесконечные романы, — был ей чужд. А когда узнала, что генерал Керн чувствует себя плохо, написала ему, предложила свои услуги по устройству быта и лечению. Ермолай Федорович живо согласился и просил приехать к нему как можно скорее. Анна Петровна не возражала.

Прибыла в Смоленск в марте 1837 года.

Накануне отъезда познакомилась с Глинкой. То есть, вернее, возобновила знакомство (в первый раз увиделись до ее поступления в Смольный). Он, конечно, отличался от других друзей ее матери — не был ни гулякой, ни жуиром, выглядел немножко не от мира сего. И к тому же считался одним из первых композиторов Российской империи. Катя смотрела на него, как на чудо. Но, признаться честно, ни капельки не влюбилась. Он — женатый человек и намного старше ее (на 13 лет), ну а выглядел и вообще лет на 40, много седины в волосах. Нет, нет, Глинка — не герой ее романа.

Оказавшись в Смоленске, обнаружила, что папá плох не так, как ей виделось, сидя в Петербурге, ну, во всяком случае, и курил, и командовал по обыкновению. А провинциальный город умиротворяюще подействовал на нее. Не было петербургской суеты, чопорности, пышности. Люди казались милыми, незатейливыми. Все относились к дочке генерала по-доброму.

Каково же было изумление Кати, услышавшей летом (это был июль 1837 года), что мадемуазель Керн спрашивает некий господин из Петербурга.

— Кто же это? — строго спросил Ермолай Федорович.

— Не имею представлений, папá.

Камердинер разъяснил:

— Говорят, что являются титулярным советником, капельмейстером императорской Капеллы-с. Некто Глинка Михаил Иванович.

(«Он был титулярный советник, она — генеральская дочь...» Впрочем, этот романс будет написан Даргомыжским много позже, 22 года спустя, только ситуация схожая.)

Девушка зарделась.

— Ты его знаешь, Катенька?

— Он знакомый Пушкина и мамá. Автор оперы «Жизнь за царя».

— Как, той самой? Да, слышан, слышан. Что же он хочет от тебя, доченька?

— Затрудняюсь ответить, папá. Видимо, просто изволит засвидетельствовать почтение.

Генерал разрешил:

— Так пускай войдет.

На пороге возник Михаил Иванович в летнем одеянии: фрак цвета беж, пестрый светлый жилет, шелковый платок на шее и телесные панталоны; белые туфли с каблучком, делавшие его повыше обыкновенного. Выглядел намного здоровее, чем в Петербурге.

Коротко кивнул:

— Генерал, не взыщите, что зашел без предупреждения. Я в Смоленске проездом. Еду в Новоспасское к матушке. А мадам Керн попросила передать дочери письмишко. Разрешите мне вручить, Ермолай Федорович? — И достал из-за пазухи конверт.

— Сделайте одолжение, Михаил Иванович.

Глинка подошел к Кате, шаркнул ножкой, предал письмо.

— Не желаете ли выпить чаю? — предложил комендант Смоленска.

— Мерси бьен, мон женераль, я не далее как четверть часа назад выпил на почтовой станции, но, признаться, не могу отказать себе в удовольствии побывать в вашем обществе и принять эту пропозицию.

— Сильвупле, окажите честь. — Сделал приглашающий жест рукой. — Вам теперь накроют.

Катя, прочитав записку, подняла глаза.

— Что мамá пишет? — посмотрел на нее отец.

— Пишет, что здорова, слава Богу, и дела в порядке. А еще как шутку сообщает, что за ней волочится Пушкін-старший.

— Это же какой Пушкин? — поднял брови Керн.

— Это Сергей Львович — батюшка покойного Александра Сергеевича.

Генерал перекрестился:

— Свят, свят, свят! Он ведь в возрасте, должно быть?

— Думаю, под семьдесят, — отозвался Глинка.

— И женат?

— Нет, вдовец. Матушка Александра Сергеевича, урожденная Ганнибал, умерла о прошлом годе.

Ермолай Федорович крикнул:

— Да, чудны́ дела Твои, Господи. Старенький вдовец раскатал губу на нестаренькую мадам Керн. И ведь на дуэль вызывать грешно. И смешно.

— Ах, папá, какие дуэли! — упрекнула Катя родителя. — Ведь мамá пишет это в шутку, понимая, что нет ничего серьезного.

Но военный продолжал бормотать:

— Вот сдалась моя жена этим Пушкиным! То сынок клинья подбивал, то теперь папаша...

— Как погода в Петербурге? — поспешила перевести разговор на другую тему дочка.

Михаил Иванович помахал на себя рукой, как веером:

— Жарко, жарко. Все, кто мог, выехали за город. Так что в Павловске и Царском Селе весь бомонд.

Композитору принесли чашку с блюдцем, и Екатерина Ермолаевна налила ему чай из самовара, возвышавшегося посреди стола.

— Вам со сливками?

— Нет, мерси. Мне с лимоном, если можно.

— Разумеется, мсье Глинка.

Поболтали еще об общих знакомых — в частности, о захозе Смольного института Стунееве, свояке Михаила Ивановича.

— Дмитрий Степанович — благороднейшей человек, — согласилась Катя.

— Я бываю у сестры часто, — выразительно посмотрел на нее визитер; это взгляд явно означал: «Коли будете в Петер-

бурге, можем у них увидаться»; девушка поняла и потупилась. А потом опять изменила тему:

— Интересно узнать творческие планы знаменитого музыканта. Не одарите ли нас новым опусом?

Он ответил задумчиво:

— Да, вот собираюсь в Новоспасском делать кое-какие наброски... Там легко творится, привольно.

— Опера? Балет?

— Безусловно, опера. Я люблю работать со словом. На сюжет «Руслана и Людмилы» Пушкина.

Катя улыбнулась:

— О, «Руслан и Людмила»! Представляю!..

Но зато генерал глухо проворчал:

— Снова этот Пушкин... все с ума сошли от Пушкина...

Михаил Иванович тяжело вздохнул:

— Он мне обещал — царство ему небесное! — написать либретто, но трагедия с дуэлью вмиг смешала карты... И теперь перебираю поэтов. Розен заболел, кукуется. Кукольник отпадает, сказка ему не по зубам. Попытался писать мой конкурник по пансиону Маркевич, но, боюсь, целиком тоже не потянет. Есть еще один претендент — отставной военный Ширков, сочиняет неплохо, бойко — то, что надо, но живет все время у себя в имении под Харьковом и в столицы носа не кажет. Как с таким работать?

— Господи, мало ли в России поэтов! — вырвалось у мадемуазель Керн. — А Жуковский, Вяземский? Наконец, Кольцов!

Глинка отрицательно качнул головой.

— Не хотят, не могут. У Жуковского дела во дворце, Вяземский хандрит после смерти Пушкина, говорит, что больше ничего не напишет, а Кольцов и вовсе болен, у него чахотка.

Все перекрестились. Композитор тем не менее улыбнулся:

— Но не будем о грустном. Жизнь продолжается, мы должны, несмотря на невзгоды, жить, любить и творить.

Генерал живо согласился:

— Очень правильные слова, Михаил Иванович! — разговор об опере был ему скучноват, он молчал все время. — Я вот тоже думаю в отставку уйти. Возраст уже преклонный, хвори

стали мучить, да и служба поднадоела. А еще хочется пожить, насладиться окружающим миром, да и внуков понянчить, Бог даст. — Посмотрел на Катю лукаво, та воскликнула с напускным укором:

— Скажете тоже, папá!

— Нет, а что такого? Дело житейское. Вы-то, наверное, Михаил Иванович, и супруг счастливый, и отец?

Глинка погрустнел:

— Нет, детишек Бог не дал. И с женой часто нелады. Видимо, разведемся скоро.

Керн сочувственно крикнул:

— Да, у каждой семьи свои невзгоды... Значит, будем мужаться, нет другого выхода.

— Будем, будем, Ермолай Федорович.

Вскоре композитор поднялся, чтобы уходить. Распрощались тепло. Генерал сказал, что, пожалуй, после отставки переедет с Катей в Петербург и тогда был бы рад видеть Глинку у себя гостем. Тот заверил, что откликнется с удовольствием.

Посмотрел на Катю. Девушка сказала, волнуясь:

— Да, я тоже, тоже была бы рада...

Михаил Иванович, соглашаясь, тихо улыбнулся.

2.

Старший Пушкин (в мае 1837 года он отметил 67-летие) тяжело пережил смерть супруги, Надежды Осиповны, и сына, Александра Сергеевича, слег, болел. Возвратили его к жизни дети — Ольга, Левушка. Лев Сергеевич рвался во Францию, чтобы вызвать Дантеса на дуэль, и буяна чудом уговорили. Покрутившись какое-то время в Петербурге, он вернулся на Кавказ — там стоял его полк. Лёля тоже потом возвратилась в Варшаву, где жила с мужем, Николаем Павловичем, и маленьким сыном. И опять Сергей Львович оказался один. (Натали Гончарова-Пушкина сразу по завершении траурных событий увезла детей в родовое свое гнездо — Полотняный Завод под Москвой.)

Постепенно придя в себя, Пушкин-старший начал выходить в свет. Принялся ухаживать за Анной Петровной Керн, но,

столкнувшись с ее насмешками, быстро отступил. И однажды, в конце 1837 года, на одном из светских раутов познакомился с Екатериной Ермолаевной. Та приехала в Петербург со своим отцом, вышедшим в отставку в чине генерал-лейтенанта. И не то чтобы она была писаной красавицей — мать намного элегантней и женственней, — но черты правильные, кроткая улыбка и пронзительные голубые глаза. Если верить сплетням, то они достались ей от Александра I. Да, Сергей Львович помнил императора, победившего Наполеона, и глаза у царя в самом деле выглядели похоже. Но не это главное. Девушка была и умна, и начитана, от нее веяло домашним уютом и теплотой. В общем, старикан безнадежно увлекся. Просто потерял голову. Вознамерился сделать предложение.

Но вмешалась появившаяся ненадолго в Северной столице Натали. Резко поговорила с тестем. Так сказала:

— Полноте, Сергей Львович, в ваши годы? Петербург будет потешаться. Скажут, что отец великого Пушкина выжил из ума.

Старикан обиделся:

— Отчего ты считаешь так? Разве мы, пожилые, не имеем права на счастье? Помнишь, как у Сашки: «Любви все возрасты покорны»!

— Ну, так присмотрите себе достойную пару. Лет на пятьдесят хотя бы. Состоятельную, домовитую. Переедете с ней в деревню, скоротаете годы на природе... Взять хотя бы Осипову-Вульф.

— Ни за что! — замахал руками отец. — Я ее боюсь. Всеми помыкает. И потом у нея усы. Целоваться с нею — все равно что с гвардейским офицером.

Натали рассмеялась:

— Да на вас не угодишь, Сергей Львович. Вам молоденькую подавай. Так женитесь на Маше Осиповой, дочке Прасковьи Александровны. Говорят, славная девица.

— Да зачем мне Маша, коли я люблю Катю? — продолжал упрямыться он. — Стану свататься непременно. Но уж коль откажет — иное дело.

Катя не знала, как ей поступить. Огорчать милейшего старика, да еще отца Александра Пушкина, ей казалось совестно, но и дать согласия не могла. Спрашивала у матери.

— Не тревожься, золотая моя, — успокаивала дочку Анна Петровна. — Он ведь будет у меня просить моего благословения. А уж я найду, что ему ответить.

— Только так, чтобы не пошел после этого топиться.

— Я тебя умоляю! — по-малороссийски воскликнула уроженка Полтавщины. — Все устрою так, что еще и благодарить меня будет.

Разодетый по последней парижской моде претендент на руку и сердце Кати появился на квартире у мадам Керн перед Рождеством 1837 года. Скинув в передней редингот и цилиндр, бросив в него перчатки и оставив трость, он предстал перед матерью невесты в темном, заузном в талии фраке, пестрой жилетке и фасонистой кружевной сорочке с шейным платком. Выглядел настоящим франтом. И не дашь 67 лет — 55 от силы.

Поздоровались. Сели.

— Чаю, кофе, Сергей Львович?

— Нет, мерси, я по делу. Вероятно, вы уже догадались, по какому.

— Вероятно, да.

— Что хочу сказать, милейшая Анна Петровна... — Он слегка нахмурился. — Будем говорить откровенно. Я люблю вас...

— Как — меня? — ойкнула она.

— Вас, вас, — подтвердил посетитель. — Не имея счастья быть знакомым еще лично, прочитал стихотворение моего сына «Я помню чудное мгновенье...» — и уже влюбился заочно. А потом вы явились «как Гений чистой красоты», будучи уже на сносях, родилась внучка Оленька — царство ей небесное! — и любил вас как дочь. Но потом, как не стало ни моей дражайшей Надежды Осиповны, ни сыночка Сашки, ни внушеньки, я, конечно, вспомнил о вас и решил...

— Но позвольте, — перебила его матрона. — Я ведь замужем, разве вы не знаете?

— Знаю, к сожалению, — согласился Пушкин-старший. — Посему обратил свой взор на вашу старшую дочку... Катеньку... Понимаю: разница в возрасте и все такое... Я, конечно же, не богат, но и не беден, и она не будет ни в чем нуждаться. Поживем лет пять счастливо — сколько мне судьбою отмеряно? — а потом получит в наследство все, что пожелает. И осо-

бенно, если одарит меня дитем... — Неожиданно из правого глаза Пушкина-отца выкатилась слезка и, скатившись вниз по морщинистой щеке, капнула с подбородка на жилет. — Я хочу взамен Сашки одарить мир новым таким же сыном... Сашка, Сашка! Вертопрах, конечно, и башибузук, но такой вышел одаренный! Главное, ему от меня доставалось на орехи за все его приключения, и никто ж не знал, что ругаю я Солнце всей России! Он и сам не знал. Может быть, к концу жизни только... Повзрослел, посерьезнел... Эта нелепая дуэль... Вы читали в списках стихи «На смерть Поэта»? Говорят, сочинил их какой-то гвардейский прапорщик...

— Лермонтов, — подсказала Керн. — Царь его отправил за это на Кавказ.

Но Сергей Львович пропустил фамилию мимо ушей.

— Там такие строки! Про Дантеса:

...Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

И еще я запомнил:

...Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок...

Мой сын был гений. Я хочу восстановить справедливость и родить еще одного такого же, от Кати. Так благословите же, Анна Петровна! — И старик неожиданно опустился перед ней на одно колено.

— Да Господь с вами, Сергей Львович, — бросилась его поднимать она. — Встаньте, встаньте. Как можно!

— Нет, вначале скажите: вы даете согласие на наш брак?

Пальцы его с холеными ногтями, как и у Александра Сергеевича, явственно дрожали.

— Да, конечно... — отозвалась дама.

Он расцвел:

— Неужели? — И с ее помощью снова сел на стул.

— Да, конечно, я согласна подумать... Все так неожиданно, вы меня огорошили... Нужно время: чтобы Катя привыкла к этой мысли, чтобы я привыкла, чтобы все привыкли... Скоро

Рождество. Мы вернемся к нашему разговору чуточку попозже — например, на Пасху будущего года.

— Ну, до Пасхи я точно доживу, — улыбнулся он.

— Я не сомневаюсь.

Пушкин-старший ушел счастливый, а мадам Керн со вздохом перекрестилась: главное, было сбить накал его страсти, умиротворить, ну а там, к Пасхе, может быть, само как-то утрясется.

Впрочем, вскоре Анне Петровне стало не до того: в ее жизнь вошла новая любовь.

3.

У нее была двоюродная тетя — Дарья Петровна Полторацкая, а по мужу — Маркова-Виноградская. Обе поддерживали теплые отношения, время от времени приезжая друг к другу в гости. В 1820 году тетя родила сына Сашу, а мадам Керн помогала ей нянчить маленького троюродного братца.

Но прошло 18 лет, Саша вырос и поступил в Петербурге в 1-й Кадетский корпус. Дарья Петровна часто писала Анне Петровне и просила ее за ним присматривать. Анна Петровна отвечала: не волнуйся, дорогая, я бываю у него регулярно и подкармливаю, иногда вывожу гулять, он хотя и худ, как громоотвод, но достаточно крепок и не болеет.

В 1838 году Анна Керн была еще очень хороша — и не скажешь, что ей под сорок, кожа гладкая, белая, губки сочные, на щеках прелестные ямочки, а в глазах искорки. Голос мягкий, вкрадчивый, а смех звонкий. Что еще нужно молодому кадету, плоть которого тоскует по женской ласке? Александр Марков-Виноградский оказался без ума от своей очаровательной троюродной сестры. Та, конечно, понимала его к ней чувства, это ей нравилось, и она с ним играла, как кошка с мышкой.

Поиграла — и заигралась.

Пылкая натура мадам Керн сделала свое дело. Не прошло и полугода, как они оказались любовниками. «Что мы делаем?!» — восклицала Анна Петровна, утопая в его объятиях. «Обожаю! — бормотал он. — Ты моя богиня!» Саша действи-

тельно ее боготворил. Согласитесь: быть богиней в чьих-то глазах лестно и приятно.

Может, эта интрижка так и осталась бы интрижкой, если бы не выяснилось, что любвеобильная дама в очередной раз беременна. Чувствуя себя скверно, пролежала почти все девять месяцев. Появившийся на свет 28 апреля 1839 года мальчик, окрещенный в честь Пушкина Александром, был болезнен и хил. Но выжил.

Катя, узнав о новости, сообщила отцу:

— Слышали? Мама́ снова родила.

Генерал глухо выругался по-французски:

— Merde! Скоро сорок, а никак не угомонится.

— Говорят, нуждается. Я ей подарила сто рублей.

— Дело, конечно, твое, дочурка — все-таки твоя мать, хоть и непутевая. Но не слишком транжирь деньги, поднесенные тебе императором.

— Там еще прилично осталось.

— Лично я помогать ей не собираюсь. Так позорит нашу фамилию!

— Развестись не желаете?

— Этого еще не хватало — затевать развод на старости лет. Оказаться в очередной раз посмешищем. Нет, увы, Анна Петровна — крест мой до конца жизни.

Той весною же Катя съездила на выпускной бал своего Института благородных девиц. Повидала многих преподавателей, поболтала с классными дамами и некоторыми старыми подружками. А помощница начальницы заведения — Мария Павловна Леонтьева — предложила ей пойти к ним работать классной дамой. Мадемуазель Керн даже растерялась:

— Уж не знаю, право. Да смогу ли я?

— И сомнений быть не может. Ты такая умница.

— Да захочет ли начальница меня взять?

— Я поговорю с нею. Юлия Федоровна сильно хворает в последний год и переложила на меня многие обязанности. В общем, я уверена, что поддержит.

— А мой папенька? Он ведь тоже в весьма преклонных годах. Может не отпустить от себя.

— Пустяки, душенька. Дома станешь бывать по выходным. И потом вы живете недалеко, и при случае доберешься за четверть часа.

— Вы меня смутили. Я должна взвесить все как следует.

Да, соблазн был велик: превратиться из сиделки, няньки собственного отца в самостоятельную фигуру. Получить интересное занятие в жизни. Не сидеть дома безвылазно неделями. Зарабатывать хоть и небольшие, но необходимые деньги, чтобы сохранить приданое и не спрашивать каждый раз у папеньки на мелкие расходы. Помогать матери с маленьким ребенком в меру сил. Наконец, получить не вызывающий подозрений у отца предлог подружиться с четой Стунеевых. Ведь Мария Ивановна Стунеева — это сестра Михаила Ивановича Глинки... А они не виделись больше года... И хотелось бы явиться ему «как мимолетное виденье»... Он великий человек и необычайно ей нравится...

В общем, дала согласие. Ермолай Федорович тоже, поворчав и посомневавшись, возражать не стал. А зато оказалась против начальница Института — Юлия Федоровна Адлерберг, заявив, что дочери «этой Вавилонской блудницы Керн» не место в классных дамах. Аргументы Марии Павловны Леонтьевой («дочь за мать не отвечает, и Екатерина Ермолаевна — совершенно другой человек») не подействовали. Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы старая начальница, бывшая еще наставницей маленьких детей императора Павла Петровича — Михаила и Николая (ставшего теперь Николаем I), не покинула сей бранный мир. А Леонтьеву не назначили на ее место. Но ее назначили, и она тут же приняла в Институт на работу Катю Керн. 1 октября 1839 года стал ее первым трудовым днем.

4.

Михаил Иванович сильно изменился за эти два года: в волосах появилось много седины, под глазами — мешочки, пролегли морщины от носа к подбородку. Часто пребывал в состоянии недовольства самим собой. С новой оперой дело не клеилось, не было душевного взлета, вдохнове-

ния, посещавшего его в дни работы над «Иваном Сусаниным». Ведь тогда продолжался их с Машей медовый месяц, молодая игривая женщина будоражила его кровь, жизнь казалась наполненной светлыми перспективами. А теперь? Дома — одна тоска. Маша постоянно тянет из него деньги. Сколько ни заработаешь — все мало. Подавай ей четверку лошадей вместо пары и новую карету. О нарядах, украшениях и говорить нечего. А неносная теща всюду лезет. Чуть что — сразу подаст голос. Михаил Иванович, мол, такой непрактичный, вечно в облаках витает и не думает о потребностях молодой жены. А жена о потребностях мужа думает? Это, как видно, волновало лишь его самого.

И на службе в Капелле все непросто складывалось. Флигель-адъютант Львов непрерывно сетовал, что не видит в Глинке подлинного рвения. Деньги получает, а отдачи нет. Надо влить в Капеллу свежую кровь, обновить состав. Еле-еле выгнал композитора из столицы и подвиг на поездку в Малороссию — набирать одаренных певчих. Михаил Иванович путешествовал всю весну и лето 1839 года — посетил Полтаву, Переяславль, Чернигов, Харьков. И привез в Петербург несколько уникальных талантов, в том числе Семена Гулак-Артемовского с удивительной красоты баритоном.

Украина как-то взбодрила Глинку, воздух ее степей, ароматный, пахнувший цветущими травами, абрикосы и дыни, груши и арбузы, жареная, только что выловленная рыбка, исходящая соком, тающая во рту, разумеется, борщ с пампушками и вареники с вишнями, и (скрывать не будем) крепкая горилка, принесенная из погреба в запотевших бутылках, да под сало с розовыми прожилками, да на теплом ржаном хлебushке, — все это вдохнуло в него богатырские силы. Уж не говоря о пьянящих, словно горилка, чернобровых и чернооких малороссияночках... Впрочем, тс-с, молчок, реноме женатого человека портить нам негоже. Что было — то было и быльем поросло.

В Петербурге как-то сразу сдвинулась с места опера «Руслан и Людмила». То, что не успевал сочинить Ширков, дополнили Кукольник и Маркевич. Глинка повеселел, ожил. Подарил жене дорогие сережки. Впрочем, та не оценила, только носик

сморщила: мол, своим девкам в Малороссии покупал такие же? Он обиделся, перестал с ней общаться.

Получил записку от сестры Маши — приглашала в гости. Михаил Иванович с ней не виделся больше полугода и решил заехать. Опоздал к обеду и ввалился посреди второй перемены блюд. Был румяный с мороза и какой-то взъерошенный. Все ему улыбались, а Мария Ивановна Стунеева бросилась целоваться. И потом вдруг сказала, указав на одну из гостей за столом:

— Ты не узнаёшь давнюю знакомую? Это Катя Керн. Ведь она теперь коллега моему Дмитрию Степановичу по Смольному.

Глинка удивился, как она похорошела за время их разлуки: щечки округлились и фигура сформировалась, выражение губ отдаленно напоминало точно такое же у Анны Петровны, а глаза другие — ясные, лучистые; личико могло быть и порозовее, но тогда, в Смоленске, все равно выглядела хуже.

Шаркнул ножкой:

— Мадемуазель Керн... рад возобновлению нашего знакомства...

— Мсье Глинка... рада тоже...

Усадили его напротив нее, он почти не ел и все время разглядывал свою визави, иногда обмениваясь с ней какими-то ничего не значащими репликами.

Обещал быть у Кукольников к восьми вечера, но уйти и расстаться с Катей не было желания. После десерта не уехал, а наоборот — сел за фортепьяно и исполнил свой романс «Сомнение». Он играл лучше, чем пел, голос был глухой, с хрипотцой, но зато всю душу вкладывал в пение. Гости аплодировали и кричали «Браво!» — Катя в том числе.

Михаил Иванович устроился рядом с ней на диванчике. Девушка спросила:

— Скоро ли премьера вашего «Руслана»? Мы все ждем с нетерпением.

Композитор взмахнул рукой:

— Ах, не знаю, нет. Третий год уж мучаюсь, а конца не видно. Гедеонов торопит, хочет дать весной будущего года. Но, боюсь, не успею.

Помолчали.

— Как здоровье Анны Петровны? Я давно не встречал ее в свете.

— Всё заботы о маленьком сыне, стало быть, о моем младшем братце. Мальчик нездоров, и уход нужен постоянный.

— Передайте ей поклон от меня. И скажите, что должок помню, пусть не сомневается.

— Вы о чем? — удивилась Катя.

— Взял когда-то у нее стихи Пушкина, дабы положить их на музыку, только каждодневно откладывал и откладывал... Но теперь точно напишу.

— Отчего теперь?

— Оттого что встретил особу, вдохновляющую меня. — Он дотронулся до ее запястья и слегка пожал.

Покраснев, та промолвила:

— Ах, оставьте, сударь... вы известный сердцеед, и негоже насмехаться над чувствами беззащитной барышни...

— Я — сердцеед? — поразился Глинка. — Да с чего вы взяли?

— Муж красивой молодой дамы... Разве этого мало?

Михаил Иванович помрачнел.

— Молодая дама уж давно живет автономной жизнью... мы в раздоре...

— Тем не менее. При живой жене ухаживать за другими — грех. — Провела рукой по колену, разглаживая складки. — Извините меня, что сказала очевидную истину... Кто такая я, чтобы упрекать вас? Не сердитесь, пожалуйста.

Он кивнул:

— Нет, все правильно сказали. Но поверьте: я не донжуан и не ловелас. Разве между нами быть не может просто дружбы? Разве вы не можете вдохновлять меня чисто платонически, стать моею музой по душевной склонности? Этот романс на стихи Пушкина я хотел бы посвятить вам, а не вашей матушке.

Катя опустила глаза:

— Делайте, как считаете нужным, Михаил Иванович...

— Вот и договорились. — Он опять пожал у нее запястье, а потом быстро встал с диванчика. — Я приду к сестре в следующую пятницу. Вы намереваетесь быть?

— Постараюсь очень.

— И тогда продолжим. А теперь надо ехать. До свиданья, Катенька.

— Оревуар, мсье Глинка.

Почему ушел так скоро? Почему наговорил столько глупостей? Что с ним происходит?

Он и сам не знал.

5.

Между тем всплыл из небытия Пушкин-старший. Он болел какое-то время, жил в Болдино и не появлялся на людях, но в конце 1839 года вновь воспрянул и вернулся к мысли о необходимости повторно жениться. К Анне Петровне больше не поехал, зная от друзей, что она всецело посвятила себя ребенку; путь Сергея Львовича в этот раз пролег на квартиру отца невесты, генерала Керна. Написал ему записку с просьбой удостоить чести и позволить прийти для серьезной беседы. О себе написал по-военному: отставной майор лейб-гвардии егерского полка, удостоенный ордена Святого Владимира, бывший начальник Комиссарской комиссии резервной армии в Варшаве. Получил в ответ суховатое, но все-таки согласие на визит.

Выбрал себе костюм не такой легкомысленный, как тогда, на визит к мадам Керн, строгих официальных тонов, и на шею повесил крест Святого Владимира 3-й степени. Выглядел молодцевато и отчасти чопорно.

Прикатил к дому генерала точно в срок. И взошел по ступенькам резво.

Ожидал, что Ермолай Федорович тоже выйдет к нему при параде, в генеральском мундире с орденами, и немало удивился, увидав того в халате и ночном колпаке. Громогласно прокашлявшись, генерал сказал:

— Извини, забылся навалившимся сном. Ничего, что на «ты»? Братьям по оружию можно. Я солдат Суворова, говорю прямо. Ты же хоть и комиссарская крыса, ну да все одно человек военный. Да и возраста мы почти одного. Сколько лет тебе?

Недовольный этим фамильярным приемом гость проговорил:

— Шестьдесят девять.

— Ну, а мне семьдесят четыре. Выпить хочешь? Мне врачи запрещают, но по рюмочке, я считаю, можно. Водку уважаешь?

— Нет, пожалуй, красного вина.

— Сразу видно статскую натуру. Нешто ты и в армии пил вино?

— Разное бывало, — уклонился от прямого ответа Пушкин-старший. — Мне врачи тоже не советуют, дабы не усиливать кровяного давления.

— В нашем возрасте все возможно, — согласился Керн. — Едем, как говорится, с ярмарки. Думать в пору не о плотском, а о душе. Так о чем-бишь толковать станем?

Парень-слуга притащил на подносе два графинчика и две рюмки, а на блюдечках сыр (к вину) и соленый огурчик (к водке).

— Хорошо, ступай, — отпустил его генерал, — сами разольем.

Выпили, закусили.

— Ну-с, я слушаю тебя, Сергей Львович.

— Видите ли, уважаемый Ермолай Федорович, дело мое сугубо личное, — начал визитер. — Можно сказать, интимное...

— Неужели? — вперился в него хозяин квартиры. — Это не по адресу. Я в интимных делах не дока.

— Тем не менее, Ермолай Федорович, тем не менее. Я задумал жениться.

— Ты с ума сошел на старости лет? — хмыкнул Керн.

— Нет, позвольте... Отчего же вы так?

— Потому что глупо. Потому что женитьба — вообще дело гиблое, по себе знаю, а уж после сорока, а тем паче после пятидесяти... Я женился вон в пятьдесят два года — и теперь проклинаяю тот день и час...

— Ну, в такой сфере никакие примеры неубедительны. У одних эдак, у других иначе.

Генерал вздохнул:

— Хорошо, женись, черт с тобой, я-то здесь при чем?

— А при том, Ермолай Федорович, что от вас именно зависит мое счастье.

Тот налил себе еще в рюмочку, выпил, кхекнул и спросил:

— Уж не хочешь ли ты сказать, что тебе ударило в башку обвенчаться с моею Анькой?

Пушкин-старший не понял:

— Миль пардон, это же с какой Анькой?

— С Анной Петровной, что доводится мне супругой? И желаешь, чтобы я пошел на развод?

— Нет, нет, как можно! — замахал руками визитер. — Речь идет о Катеньке.

Керн опешил:

— О моей дочери?

— Именно, о ком же еще. Я питаю к ней самые ласковые чувства. И хотел бы добиться вашего благословения.

Генерал в сердцах опрокинул в себя третью рюмку и, как видно, захорошел. На его щеках выступил румянец.

Посмотрев на визави неодобрительно, резко выбросил вперед руку и практически ткнул в лицо Сергея Львовича кулаком. Тот вначале отпрянул, а потом разглядел: это не кулак вовсе, а кукиш.

— Вот тебе дулю с маслом, а не благословение! — рявкнул Ермолай Федорович. — Ишь, чего выдумал, старый селадон! На моей Катеньке жениться! А губа у тебя не дура! Взять себе такое сокровище — умница, красавица, говорит на трех языках кряду. Да не про твою честь! Все вы, Пушкины, одинаковы. Чертово семя. Убиенный сыночек за моей ухлестывал Анькой, еле растащили, так папашка нацелился на невинное дитя, да еще посмел выпросить у меня согласие. Не увидишь, как своих собственных ушей. Понял? Разговор окончен.

Оскорбленный отец поэта встал. Губы его дрожали.

— Сударь, ваше поведение отвратительно и ни с чем не сообразно, — заявил он. — Люди нашего круга так не поступают. Не прошу сатисфакции только из почтения к вашим седидам и геройскому прошлому. Но сказать скажу: вы чурбан и невежа, сударь, место вам не в светском обществе, а в казарме.

— Прочь пошел! — крикнул генерал. — Или я спущу тебя с лестницы!

— Хам. Бурбон, — отозвался горе-жених, быстро ретируясь. — Пентюх и кувшинное рыло. — И уже из передней: — Солдафон суворовский!

Керн сорвал с ноги домашнюю туфлю и швырнул ему вслед. Выругался смачно. А потом крикнул не так грозно:

— Фомка, принеси еще водки. Разозлил он меня.

Огорченный Пушкин-старший вновь уехал в Болдино — и надолго. Но мечту сочетаться браком с Катей Керн не оставил. Просто думал, как это лучше сделать без благословения матери и отца.

6.

Глинка долго искал в своих бумагах рукопись Пушкина, а когда отчаялся, обессилев, вспомнил, что она лежит в томике французских стихов. Бросился к книжному шкафу и нашел. Сразу бодрость к нему вернулась, он прочел бессмертные строки и, устроившись за роялем, начал импровизировать. И перед глазами его встала вовсе не Анна Петровна, а наоборот, Екатерина Ермолаевна. Доброе ее личико, теплый взгляд. Будто говорила ему: «Михаил Иванович, вы же видите, как я вас люблю. И молчу только потому, что словами не могу выразить. Но поверьте: кроме вас, никого не желаю видеть рядом с собою». Он свою любовь тоже не мог выразить словами, но зато умел превратить чувства в музыку.

...И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь...

Пальцы музыканта слились с клавишами. Глинка и рояль были одно целое — мысль управляла движениями рук, а они заставляли струны звенеть. Он почувствовал единение с какими-то горными высями, вроде Бог диктовал ему свыше. Музыка звучала великолепно, вдохновенно, пронзительно. Вроде он и Бог слились воедино. Вроде он и есть Бог.

Выхватил чистую нотную бумагу, быстро записал. Пробежал глазами. И заплакал. От переполнявших его чувств. От неясных терзаний. От печальных предчувствий.

Надо сказать, что печальные предчувствия мучили его всегда, с детских лет. Он боялся умереть раньше времени. Умереть и не успеть сделать на земле что-то очень важное. И поэтому в характере Глинки были эти мнительность, нервозность, даже порой пугливость. Ощущал, что Бог наградил его удивительными способностями, что готов на творческий подвиг, на создание шедевров, и тревожился, что случайности, бытовые неурядицы и недуги не позволят себя реализовать. Не позволят выполнить миссию, на него возложенную Создателем. Но, с другой стороны, верил, что коль скоро Бог таким его создал, то удержит от катастроф. И берег себя. Повторяя часто: береженого Бог бережет.

Единения с Богом выпадали ему нечасто.

Но романс на стихи Пушкина вышел истинно божественным. Михаил Иванович понял это сразу. И, читая ноты, плакал от счастья.

От любви к Кате Керн. Он теперь точно знал, что ее любит. Что не представляет своей жизни без нее. Без ее милых глаз и доверчивой улыбки. Бархатного голоса. Без ее естественного кокетства. Без ее тонких замечаний по прочитанным книгам или увиденным картинам, или услышанной музыки. Без ее хоть и женского, но нешуточного ума. Часто удивляла своими познаниями и совсем взрослыми суждениями, словно ей не 22, а давно за 40.

Глинке захотелось тут же кому-то показать свой романс. Но, увы, дома было некому: Маша со своей матерью в середине мая переехала в Павловск, где обычно проводила целое лето; Катя пропадала на выпускных экзаменах в Смольном институте, и они увидятся только в воскресенье; и друзья почти все разъехались — кто в имение, кто на дачу, кто за границу. Разве что сестре Маше? Дмитрий Степанович Стунеев собирался с семейством выбраться в деревню только в июле. Маше так Маше. Он дружил с сестрой — та была младше на 9 лет и всегда смотрела на брата с обожанием.

Михаил Иванович быстро переоделся и отправился в Смольный. И застал Марию Ивановну крайне возбужденной — бегала по комнатам, двигала посуду, бормотала что-то неясное.

— Маша, что случилось? — перепуганно спросил Глинка.
Женщина остановилась напротив и, взглянув на него недобрыми серыми глазами, выпалила:

— Он мне изменяет! Мне! Изменяет! Представляешь?

— Дмитрий Степанович? — не поверил композитор.

— Дмитрий Степанович! Негодяй, предатель. Я нашла у него в бумагах записку... — Развернула клочок бумаги и прочла с издевкой: *«Митя, дорогой. Умираю, умираю от любви. И считаю минуты до нашей встречи. Жду на том же месте в семь. Вся твоя, Л.»* — «Вся его»! Ух, бесстыдница!

— Кто такая «Л.»? — спросил родственник.

— Я почему знаю! Может, Лизка Стефанская, может, Лидка Арно или, наоборот, Дашка Лоскутова-Куракина. Тут на «л» пруд пруди.

— Но, с другой стороны, эта вот записка — ничего более, чем ее признание; мы не ведаем, отвечал ли Дмитрий Степанович ей взаимностью и ходил ли «завтра в семь» на свидание. Надо разобраться вначале.

Но мадам Стунеева только отмахнулась:

— Разбираться нечего, все и так понятно. Он такой отзывчивый. — Опустилась на стул. — А кругом него целый институт молодых, красивых, зреющих, источающих ароматы любви... Каждый кавалер может тронуться, находясь в таком окружении.

Глинка тоже сел.

— Все равно — зряшно обвинять не годится. Если будешь твердо уверена, вот тогда...

— Что тогда? — подняла она глаза. — Разъезжаться? Возвратиться к маменьке в Новоспасское? Не могу, не в силах. Здесь мои подруги, да и дети пошли учиться. Стало быть, простить и закрыть глаза? Тоже не хочу. Ох, не знаю, не знаю, Миша. Ты мужчина, и тебе хорошо, ты нашел в себе силы не замечать.

Михаил Иванович тряхнул шевелюрой.

— Ты о чем?

— Об изменах твоей жены.

— Погоди, погоди... я не понимаю... в самом деле?

— Разве ты не знаешь? Вот чудак-человек! Петербург весь знает, только ты один где-то там витаешь... У твоей жены есть возлюбленный — Николай Николаевич Васильчиков.

Побелевшими губами музыкант спросил:

— Из каких Васильчиковых? Родич председателя Госсовета?

— Именно: племянник. Тож военный.

— И давно у них — то есть у него и моей супруги?

— Это я не знаю... Кажется, второй год.

— То-то я смотрю... — Он осекся, задумавшись. — Многое теперь становится ясным... — Неожиданно встал; на лице его не читалось больше растерянности; брови были сдвинуты. — Что ж, тем лучше. Я подам на развод, а потом женюсь на Катеньке Керн.

Маша посмотрела с сомнением:

— Чтобы вас развели, веские нужны доказательства адюльтера. А без них Синод не позволит.

— Докажу. Сыщика найму. Он добудет доказательства. — Глинка весь дрожал от нахлынувшей злости. — Так меня унижить! И при этом деньги тянуть, тянуть!..

Встав, сестра взяла его за руку.

— погоди, успокойся, Мишенька. Не решай ничего на горячую голову.

Он воскликнул:

— «На горячую голову»! Кто кричал здесь только что про неверного мужа?

Женщина обняла его крепко и сказала сквозь слезы:

— Бедные мы, бедные. Глинки все такие. Не от мира сего. Все нас норовят объегорить.

Композитор поцеловал ее в темечко.

— Ничего, мы наивные до поры, до времени. Коли нас разозлить, можем стены снести на своем пути.

— Слишком много стен...

— Нам не привыкать.

Вскоре он взялся за картуз. Маша удивилась:

— Ты вообще чего заходил-то?

Михаил Иванович лишь пожал плечами:

— Ах, забыл уже. Как-нибудь в другой раз.

Проводив его взглядом, госпожа Стунеева тяжело вздохнула:

— Может, и не стоило ему говорить? Невзначай вырвалось...

А когда к Стунеевым заглянула Катя, то Мария Ивановна, отведя ее в уголочек, рассказала обо всем, что случилось давеча пополудни. Заключила: «Так и бросил — мол, подаю на развод и женюсь на Керн!»

Девушка зарделась:

— Да неужто? Я не верю своему счастью.

— Стало быть, пойдешь за него?

— Коли сделает предложение, непременно пойду.

— Но развод займет много времени. Может, целый год.

— Я дождусь, дождусь. — И, обняв старшую подругу, звонко расцеловала в обе щеки.

7.

Плинка приехал в Павловск поздно вечером — прибыл по железной дороге, первой в России, оказавшись также и на первом в России железнодорожном вокзале, где на самом деле поезда появлялись еще редко, а зато регулярно устраивались музыкальные концерты для публики. Взял извозчика и уже в легких сумерках оказался у дома, что снимали Маша и теща на лето. В комнатах обнаружил одну тещу. Та дремала в кресле у недоразложенного пасьянса на столике. Прогремел с порога:

— Где моя жена?

Теща вздрогнула и проснулась. Вылупилась на зятя:

— Господи Иисусе, Михаил Иванович, напугал до смерти. Разве можно так?

Пропустив ее причитания мимо ушей, повторил вопрос:

— Где моя жена, я спрашиваю.

Дама продолжала ворчать:

— Вот ведь взбеленился: где его жена! Нет, чтоб поздороваться, ручку поцеловать, ни с того ни с сего: «Где моя жена!» Я откуда знаю. Я не сторож ей. Коли муж — сам и должен знать, где его жена.

Глинка произнес ледяным голосом:

— Я догадываюсь, где: с Николай Николаичем Васильчиковым — вот с кем!

Теща сделала вид, что не понимает:

— С кем, с кем? Ничего такого не ведаю. Уходя, сказала, что идет к Казариным. Видимо, там и обретается. Но, я думаю, скоро возвернется. Погуляет, чайку попьет, может, на лодке покатается... Что еще делать здесь, на даче? Жизнь у нас тихая, скучная, обыденная.

— Ну, так я пойду, поищу ее у Казариных.

— Ой, а нужно ли? — сузила глаза дама. — Выйдешь клоуном: «Где моя жена? Я Отелло!» Засмеют же люди. Лучше посиди, подожди — чаю хочешь? Или квасу? Посидим, поболтаем, Маша и придет. Ты чего такой?

Он отставил картуз, сел напротив.

— На развод подам.

Та заулыбалась, не веря:

— «На разво-од»! Ишь, какой проворный. Сразу — «на развод». Кто-то в уши тебе надул всякую глупистику, ты и поверил. Ничего нет на самом деле. Машенька чиста пред тобою, аки агнец. Под моим приглядом. У меня-то не забалуешь, в строгости держу.

— Вижу, вижу, в какой строгости: то ли у Казариных, то ли нет. Только что сказали: «Я не сторож ей». Это и есть «пригляд», по-вашему?

— Ай, не придирайся к словам. А спросонья чего ни скажешь. В общем, не сумлевайся: Машенька с другими не хороводится. Это не по ней.

— Весь Петербург судачит: у мадам Глинка роман с Николаем Васильчиковым.

— Да какой там роман! — усмехнулась теща. — Приходил, да, цветочки приносил, ручки целовал — разве ж это роман? Покатал на лодочке. А оно и не возбраняется. Девка молодая, хочет впечатлений, и куда ей деваться, коли ты с ней гулять не любишь? Дома-то сидеть со мной скучно. Развлеклась маленько. Но без всяких пакостей, я тебя уверяю.

— Вы откуда знаете?

— Я-то знаю, если б что такое случилось, я бы поняла сразу. Материнское сердце — вещун.

— Поглядим еще. — Михаил Иванович хоть и сбавил тон, но пока никаких выводов не сделал. — Чай попью. В горле пересохло.

— Сделаем в момент.

Время было позднее, после чая он прилег на козетку и слегка забылся. В полудреме увидел старую Наину из «Руслана и Людмилы» — отчего-то в образе тещи, ухмыляющуюся и бормочущую невесть что: «Он ворвался, аки вепрь — где, говорит, моя жена?» А как будто бы Маша спрашивала: «Ну, а ты что же?» — «А я что? Отрицала все. Говорю — в гостях у Казариных, ничего больше».

Глинка вздрогнул и понял, что уже не спит, и беседа тещи с Машей происходит в передней на самом деле; говорили они полупшепотом, но его обостренный, тонкий слух позволял ему расслышать каждое слово.

Маша волновалась: «Ну, а он, а он?»

Теща: «Говорит, у нея роман с мсье Васильчиковым. Петербург гудит».

«Ну а ты, а ты?»

«Отрицала все — мол, не верь разным-всяким сплетням».

«Ну а он, а он?»

«На развод, говорит, подам».

«Да неужто так и сказал — подам?»

«Вот те крест, сказал».

Дальше несколько реплик были непонятны, а потом опять раздался Машин голос:

«Ну и пусть. Очень даже рада. Не хочу с Мишкой и не буду, точно».

«Ты чего, сдурела? — зашептала мать. — А на что жить-то нам с тобою?»

«Николай Николаевич меня не оставит. Он уж предлагал бежать и тайно венчаться».

Теща ахнула:

«При живом-то муже? Этак не положено».

«Значит, разведусь, а потом за Васильчикова пойду».

«Ну, гляди, как знаешь. Мишка-то мне тоже не больно по́ сердцу. Малахольный он. Музыкантишка неприкаянный. А Васильчиков — князь. Будешь с ним княгиней, ея сиятельством».

«Главное не это. Главное — люблю я его. Мишку не люблю, а его люблю».

«Ох, “люблю — не люблю” — это все пустое. Это все из книжек. Главное, что князь. Сделаешься княгиней — и сам черт тебе не брат тогда!»

Глинка распахнул двери и зловещей фигурой вырос на пороге. Дамы отшатнулись.

— А, проснулся, Мишенька? — нарочито ласково промялила теща.

— Я давно не сплю и все слышал.

— Что ж ты слышал-то, Господи помилуй?

— Весь ваш разговор. Про развод, про меня и князя Васильчикова.

— Ты о чем, ты о чем? — удивилась Маша. — Что за разговор? Я вошла мгновенье назад, даже «здрасьте» не успела сказать.

— Не успела, да, — проворчала теща. — Ни о чем таком мы не говорили. Это тебе приснилось. Ты же спал? Вот тебе и пригрезилось.

Михаил Иванович сжал кулаки и налился кровью.

— Цыц! Молчать! Дурака из себя делать не позволю!

— Да ты пьян, никак? — догадалась Маша. — Пьяные галлюцинации.

— Не позволю! — прорычал композитор. — Если прежде имел сомнения, то теперь убедился наверняка. Между нами все кончено. Завтра же подам прошение о разводе.

— Все понятно, — неожиданно заявила теща, — он себе нашел новую подружку. Даже знаю, кого — Катьку Керн. Мне тут говорили. Думаешь, к Стунеевым он катается просто так? Нет, у них там тайные свидания. Вот чего! Самого-то рыльце в пушку, а на нас свалить хочет!

— Вы! Вы! — задохнулся в ярости Глинка. — Вы не смее!

— Погляди, какой. Ровно петушок. Все твои наскоки нам не страшны.

— Маменька, пойдёмте. Мы же не холопы, чтоб в передней стоять.

— И то правда, доченька.

Михаил Иванович подхватил картуз и, сказав на ходу: «По-даю на развод!» — выскочил из дома в белую ночь.

8.

Подавать прошение о разводе полагалось в консисторию, а к нему приложить показания как минимум двух свидетелей. Брак могли расторгнуть только в трех случаях: 1) если доказана неверность одного из супругов; 2) если доказана неспособность одного из супругов исполнять свой супружеский долг (по болезни физической или душевной); 3) если доказано, что один из супругов без вести пропал (при его отсутствии не менее трех лет). Если консистория после всех разбирательств (а они длились месяцами, если не годами) выносила свой положительный вердикт, утвердить его должен был Синод, а порой и сам царь (в самых сложных случаях). В общем, разойтись мужу и жене в России того времени было очень долго и хлопотно.

Глинка с прошением не стал торопиться, да и летом работа чиновников протекает ни шатко ни валко, деловая жизнь на нуле. Просто переехал к Стунеевым — благо сестра, помирившись с Дмитрием Степановичем, вскоре выехала с семейством в Новоспасское. Композитор забрал у жены только лошадей (те принадлежали его матери) и обшивку мебели, вышитую его сестрами. Остальное оставил Маше: мебель, драгоценности и карету. Первые дни в одиночестве приходил в себя, попытался работать, но не смог. От жары открывал окна настежь и лежал на диване, обдуваемый свежим ветерком. Думал о себе, о своей странной жизни. Вроде бы все любят, восхищаются его дарованием, а по сути он никому не нужен. Разве что матери. Да и то не так чтобы очень: у нее заботы по хозяйству, и тревожится не только о нем, но еще и о сестрах, об их детях, коих уже с десятков. Катя сидит с отцом, чувствующим себя скверно, ей тоже не до Глинки. И друзья сами по себе.

Маленькой радостью стало письмо от Левушки Пушкина с Кавказа. Сообщал, что их бывший гувернер Кюхельбекер в ссылке женился на дочери местного почмейстера и как будто бы счастлив, ну, по крайней мере, на словах. Сам же Левушка пока не женат, но мечтает в скором времени выйти в отставку и затем бросить якорь где-нибудь на юге, например, в Одессе, ибо в Петербург после смерти брата ни ногой. Говорил, что встречался на Кавказе с Лермонтовым, характеризовал его как колючего молодого человека, со взрывным характером, но необычайно способного к литературе. «Он бы мог тебе пригодиться в качестве либреттиста», — рекомендовал однокашник.

Глинка подумал: «Вряд ли, вряд ли. Дело не в таланте, а в положении Лермонтова — он опальный, после тайной дуэли выслан повторно на Кавказ, и его участие в «Руслане и Людмиле» вызовет у властей и у дирекции театров только недоумение. Если Ширков не справится, то Маркевич и Кукольник помогут».

Как-то вечером он лежал и в который раз перечитывал «Миргород» Гоголя, восхищаясь прекрасным слогом автора, как открылась дверь, и вошел кто-то. Михаил Иванович вначале подумал, что его слуга принес самовар, но почувствовал запах духов и от удивления повернул голову. Перед ним стояла Катя Керн.

Музыкант вскочил и смутился, будучи неглиже.

— Извините. Я в таком виде...

Барышня улыбнулась:

— Это вы меня извините, что без приглашения. Папеньке лучше, и решила вас провести экспромтом.

— Очень правильно сделали. — Он поспешно натянул на себя шлафрок. — Вы садитесь, садитесь. Чаю будете?

— С удовольствием.

— Я сейчас распоряжусь.

А когда вернулся, ласково спросила:

— Гоголя читаете?

— Да, «Тараса Бульбу». Думаю об опере на сей сюжет. Но не знаю, как воспримет публика антураж казацкий и малорос-

сийский. Книга — это одно, а спектакль на сцене — совершенно другое. Да и царь может не одобрить.

— Да, конечно, разделяю ваши сомнения.

Пили чай, а потом Глинка сел за фортепьяно.

— Я давно хотел вам сыграть и спеть... Ваша маменька мне когда-то отдала стихи незабвенного Пушкина, посвященные ей...

— «Чудное мгновенье»?

— Да.

— И неужто вы написали музыку?

— Верно.

— Ох, какое диво! Маменька будет счастлива.

— Мне хотелось бы узнать ваше мнение.

Слушала она с замиранием сердца, а слова «без божества, без вдохновенья» вызвали нечаянные слезы. Представляла молодую маменьку и влюбленного Пушкина у ее ног. И смотрела на Глинку, оживившего эти славные строки, новую жизнь в них вдохнувшего, восхищаясь и плача, и готова была упасть к его ногам тоже.

Прозвучал последний аккорд. Михаил Иванович посмотрел на девушку и, внезапно испугавшись, воскликнул:

— Катенька, вы плачете?!

Бросились друг к другу в объятия.

— Да, простите, не смогла удержаться... Это так восхитительно, гениально!.. — спрятала лицо у него на плече. — Я вам так благодарна...

Он смущенно проводил ладонью по ее волосам, как когда-то при их знакомстве в первый раз. Бормотал взволнованно:

— Счастлив, что понравилось вам...

Ощувив какой-то невероятный прилив нежности, наклонился и поцеловал ее в завиток волос.

Катя подняла голову и взглянула в его глаза вопросительно.

Не сказав ни слова, он поцеловал ее в губы.

Простонав, она обвила его шею тонкими руками, и тогда он крепче сжал ее талию.

Больше они не могли друг без друга.

Это было первое чудное мгновение в их жизни.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

1.

Аа, они любили друг друга, часто виделись — то у него, то у нее. Он играл ей и пел свои романсы, а она читала вслух что-то из журналов — например, «Героя нашего времени» Лермонтова. Наконец-то оба были счастливы. И не замечали течения времени.

Наступил июль 1840 года.

Анна Петровна Керн проживала с маленьким сыном в небольшой квартирке на Дворянской улице на первом этаже. Саша Виноградский тут бывал нечасто, продолжая служить поручиком, Катя тоже заходила раз в месяц, а знакомые и того реже, так что жизнь генеральши оказалась тихой, уединенной, однообразной. Но она не роптала. Думала поехать в августе навестить родных в Лубне, только денег, необходимых на поездку, не могла собрать.

Неожиданно все переменялось.

Зазвонил колокольчик у дверей — Анна Петровна вышла из комнат и увидела Катю, стоящую на пороге. Рядом с ней виднелся дорожный саквояж.

— Уезжаешь? — удивилась мадам Керн.

Девушка грустно усмехнулась:

— Нет, приехала. Примешь?

— Я не понимаю... Что произошло?

— Папенька из дому прогнал. А одной сидеть на казенной квартире в Смольном — силы нет. Можно у тебя пока поживу?

Мать воскликнула:

— Господи, конечно. Буду только рада. Проходи скорее. Папенька-то что это на тебя взъелся?

Сели в комнате друг напротив друга. Дочь вздохнула, опустила глаза.

— Я по своей наивности... рассказала ему...

— Что рассказала?

— Что теперь в тягости ...

— В тягости? — Анна Петровна округлила глаза. — Ты беременна?!

Дочка промолчала, не отрицая.

— От кого?

— Разве так уж важно?

— Разумеется. Этого прохвоста выведем на чистую воду.

Катя покачала головой отрицательно:

— Никого никуда выводить не надо. Он не отпирается и готов признать ребенка. Более того: предлагает вместе ехать за границу.

— А жениться не хочет?

— Он не может, потому как женат. И пока консистория не рассмотрит прошение, сто лет пройдет...

— Да еще и женат! — повторила дама. — Кто же он таков? Я его знаю?

— Очень хорошо знаешь... — снова опустила глаза. — Михаил Иванович Глинка.

Анна Петровна, осознав новость, почему-то весело рассмеялась.

— Что смешного, мамá?

— От кого, от кого, но от Глинки я не ожидала. Он такой тихоня, фетюк... Ничего, дочка, все нормально. С Глинкой мы справимся.

— То есть как это «справимся»? — Катя уставилась на мать вопросительно.

— Для начала пусть оплатит нашу поездку в Лубны. Сашу-маленького и тебя мы откормим на полтавских харчах. Вон какая тощая. И для будущего младенца хорошо — воздух Малороссии вам пойдет на пользу. Фрукты, ягоды. Нет, определенно всё к лучшему.

Дочка возразила:

— Нет, я не хочу брать у Глинки денег.

— Перестань. Что за церемонии? Раз набедокурил — плати. — И опять рассмеялась: — Ну, Михал Иваныч, ну, проказник! Расшалился на старости лет.

— Ой, ему всего только тридцать шесть.

— Так уже не мальчик. Ничего, не переживай.

— Я люблю его.

— Ясное дело, любишь. Он хороший, добрый. Из него вить веревки — одно удовольствие.

— Ах, мамá, как же вам не совестно!

— Я шучу, шучу. В лучшем виде сделаем. Главное, что для блага твоего. Через пару-тройку лет станешь мадам Глинкой. Я тебе обещаю.

Барышня вздохнула:

— Дай-то Бог, большего счастья для себя я не пожелала бы.

2.

Мать писала сыну из Новоспасского:

«Дорогой Миша. Новость, о которой ты сообщил, потрясла меня совершенно. Я, конечно, рада, что появится еще один внук мой, да еще от тебя, но его незаконнорожденность чрезвычайно меня смущает. Нет, я вовсе не ратую за то, чтобы ты охранял свой брак с Марией Петровной — ни ея, ни мать ея, как тебе известно, я терпеть не могу, но сначала надо было бы с ней расстаться по Закону — Божьему и людскому, а потом уже заводить новую семью. В наше время так не поступали. Это все идет от французов, будь они неладны.

Хорошо; что сделано, то сделано; высылаю тебе 7 тысяч рублей, это больше, чем обычно, но, во-первых, урожай собрали хороший, деньги появились, и не нужно экономить на мелочах, во-вторых, у тебя особые обстоятельства — и развод, и рождение младенца, что потребует много лишних трат. Распорядись с умом. Уж до Рождества больше не пришло, а потом видно будет.

Приезжай провести, на недельку хотя бы. Очень я по тебе соскучилась. Чувствую себя еще ничего, но, конечно, не порхаю голубкой, как раньше, быстро утомляюсь. Целый день в заботах, вечером силы нет даже почитать, падаю в постель и мгновенно засыпаю, точно убиенная.

Жду тебя с нетерпением — бабье лето впереди, так тебе бы застать его, погулять по родным просторам. Денег хватит. Соглашайся.

*Любящая тебя всей душою
мама».*

Михаил Иванович отвечал:

«Милая моя маменька. Как я Вам благодарен за присланные деньги! Слово манна небесная, ей-богу! Я купил на них две коляски — на одной Катя с матерью и маленьким Сашей едут в Малороссию, в Лубны, будут там до весны, до рождения моего наследника, дабы не мозолить глаза свету в Петербурге, я ж в другом экипаже еду к Вам в Новоспасское ненадолго, отдохнуть и закончить все-таки моего «Руслана», а потом отправлюсь тож на Полтавщину, поддержать моих славных дам.

Что касемо дела о разводе, то прошение подал, наняты поверенные, документы собраны и процесс запущен. Маша умоляла меня на коленях ей поверить, что она чиста и ни в чем не виновна, но в моей душе не было и тени смятения, проявил неслыханную для меня твердость и сказал, как отрезал. Если бы, конечно, не любил бы мадемуазель Керн и пока не родившегося ребенка, может, поступил бы иначе и простил жену, но теперь другое. Я люблю и любим. Катя хороша необыкновенно, и ее интересное положение совершило с ней прекрасную перемену — так и светится вся. Каждый раз люблюсь.

Словом, маменька, скоро встретимся. Я ведь тоже сильно соскучился — и по Вам, и по Новоспасскому, и по нашим домашним пирогам. Только у добрых жениц добрые пироги. Кстати, Анна Петровна Керн и Екатерина Ермолаевна Керн чудные искусницы в части кулинарии. Кормят меня отменно. Я уверен: Вы и Катя подружитесь, если встретитесь. Думаю, встреча эта не за горами!

Сто раз целую Ваши ручки.

*Любящий Вас сын
Михаил».*

Выехали из Петербурга порознь — чтобы не вызывать никаких подозрений, встретились в Гатчине и затем совместно двигались до почтовой станции Катежна. Здесь им надлежало расстаться: женщины хотели заглянуть к тетушке Прасковье Александровне Осиповой в Тригорское, обязательно посетить могилу Пушкина, а потом уже следовать на Украину; Глинка путь держал прямо на Смоленск.

Было дряблое августовское утро. Станционный смотритель, явно с перепоя, красный, одутловатый, отмечал подорожные документы каким-то офицерам; те, пока суд да дело, пили за столом чай из самовара и смеялись преувеличенно громко, постоянно бросая хитрые взгляды в сторону матери и дочери Керн. Глинка сидел задумчивый, погруженный в себя. Катя есть не хотела: как и было положено в ее состоянии, относилась к большинству из продуктов с отвращением; девушку мутило. Мать кормила маленького Сашу с ложечки протертым яблоком; он капризничал и мотал головой из стороны в сторону, в результате чего пюре размазывалось по его щекам.

Наконец композитор произнес:

— Надо ехать.

Катя посмотрела на него испуганными глазами:

— Михаил Иванович, у меня сердце ноет. Я не знаю, что будет с нами теперь.

Он ответил туманно:

— Кто знает! Всё в руках Божьих.

Анна Петровна не замедлила их заверить:

— Всё будет хорошо. Коль не раскисать и не ныть. Я вот не раскисаю и чувствую себя превосходно.

— Ах, мамá, ты всегда была жизнерадостна, сколько тебя помню.

— Да, вот видишь. Потому как в себе уверена. «Гений чистой красоты» — этак отзываются не о каждой. Знаю себе цену. И не слушаю ничьих наговоров. — Вытерла платком губы Саше. — В самом деле: надо ехать. Семь часов уже.

Глинка подал Кате руку, проводил до коляски. Посмотрел влюблено:

— Сразу напиши, как приедешь. Из Тригорского, а потом из Лубен.

— Обязательно. Стану сообщать обо всех моих настроениях и мыслях.

— Да, подробно-подробно, мне любая мелочь о тебе интересна.

Он склонился и поцеловал ее пальчики. А она дотронулась до его волос, словно запоминая навечно.

Генеральша усадила ребенка рядом с собой. Проронила:

— Ну, пора, пора. Михаил Иванович, Катя!..

Музыкант сжал ее в объятиях и поцеловал крепко. А она всхлипнула на ушко:

— Я люблю тебя.

Он ответил тоже полупшепотом:

— Я тебя — очень...

Подсадил на ступеньку коляски и похлопал по облучку:

— Трогай, братец, трогай.

Развернувшись, экипаж быстро выехал в ворота почтовой станции. Глинка проводил его взглядом, тяжело вздохнул. Чувство надвигающейся беды тоже не покидало его.

Но потом, в Новоспасском, слегка развеялся. Милый отчий дом, маменька, хоть и постаревшая, но такая же энергичная и руководящая всеми, дворовые бабы, крепостные, многих из которых он знал в лицо и по именам, шавка в будке, выездные лошади, пруд и сад, липы вдоль аллей и его беседка, где была написана половина музыки к «Жизни за царя», — все внушало радость и успокоение. Отчего так устроена жизнь: надо бесконечно к чему-то стремиться, что-то преодолевать, добиваться цели, рваться к новым высотам — для чего, в сущности? Есть ли в этом смысл? Коли все равно не уйти от конечного мрака? Может, лучше наоборот, ничего не делать, просто наслаждаться напитками и пищей, солнцем, летним лесом, светом, воздухом, запахом скошенной травы, испеченным дымящимся хлебом и парным молоком, буйством тел в алькове? Бросить всё — Петербург, Капеллу, дело о разводе, поселиться с Катей в Новоспасском и растить дитя, ни о чем больше не заботясь, сделаться, как все мелкие помещики, просто живущие в свое удовольствие и не пишущие музыку, книги, картины? Отчего он не может так? Что за сила его толкает на житейские и творческие муки? Бог? Снова хоть на миг почувствовать себя Богом? Ощутить радость созидания? Да, конечно. Но за это надо платить. Хочешь стать Богом — принимай и муки восхождения на Голгофу. Ибо одно без другого невозможно.

В эти дни сочинялось вдохновенно. За неделю завершил то, что не мог за месяцы, годы. Весь был наполнен звуками. И мелодии рождались легко, только успевай их записывать — покрывая нотный стан быстрыми каракулями. А потом воспро-

изводил за роялем. Мама слушала, утирая слезки: «И в кого ты такой талантливый, Миша?» Он смеялся: «В папеньку и тебя, а в кого ж еще?» Падал на кушетку, заложив руки за голову: опера есть! Состоялась! Много лучше «Сусанина». Глубже. Полифоничней. Мастеровитей. Это будет сенсация, Петербург ахнет в изумлении, только и станет говорить: «Глинка, Глинка». Михаил Иванович расплывался от счастья. В эти мгновения был собой доволен.

Ехать надо не в Лубны, а в Петербург. Гедеонов ждет. Начинать репетиции в Большом. Да и Львов ему пишет: скоро открытие нового сезона, и пора приводить певчих в чувство. Кукольник торопит — у него свои прожекты, но не хочет подводить друга, должен написать все недостающие слова и тем самым завершить общую работу.

Но ведь он Кате обещал. Не поехать в Лубны невозможно. Это выйдет конфуз, страшная обида. Даст ей понять, что карьера для него важнее любви. А на самом деле? Что для него важнее? Глинка затруднялся ответить.

Все решило письмо, доставленное из Лубен. Композитор увидел: почерк не Кати, а ее матери, и заволновался. Не напрасно: Анна Петровна сообщала, что случилось несчастье, Катя поскользнулась на мокрых мостках у речки и упала, началось кровотечение, и ребенок потерян. Приезжать не надо. Катя в депрессии, никого не желает видеть. Бог даст, возвратятся в Петербург где-нибудь к зиме.

Михаил Иванович выпустил бумагу из рук, и она, как птичка, полетав по воздуху, приземлилась возле ножки стола.

Музыкант пробормотал:

— Кончено. Всё кончено.

Сам виноват. Надо было не расставаться с Катей. Он бы спас ее. И ребеночка.

Господи, за что?!

Отчего Бог наградил его талантом сочинения музыки и не дал житейской сметки и практичности, приспособленности к неурядицам быта?

Значит, в этом есть высший смысл, угадать который он не в состоянии. Коли Бог так решил.

Значит, счастье его не в любви, а в карьере.

Быстро-быстро вещи побросав в саквояж, Глинка умчался из Новоспасского в Петербург.

3.

Катя ему писала в ноябре 1840 года:

«Дорогой Михаил Иванович. Не сердись, извини за все. Столько месяцев не могла сесть за стол, чтобы написать. Поначалу провалялась в постели, без желания что-либо делать, в том числе и жить; но забота и любовь окружающих постепенно укрепили мой дух, начала питаться, а продукты здесь превосходные, просто объеденье, и от них невозможно не встать на ноги. Даже повеселела слегка. Маменька права: у 22-летней барышни все еще впереди, и не надо думать о прошлом, надо надеяться на будущее.

В Петербург не приедем, видимо, до весны. Думали пораньше, но внезапно заболел Саша-маленький, а теперь уж, глядя в холода, вовсе боязно.

Как твоя опера? Я надеюсь побывать на премьере. Пусть и в качестве рядового зрителя. Это — как ты решишь. Я смиренно приму твой любой вердикт. Только знай, что чувства мои не иссякли нисколько, я по-прежнему лишь твоя, и никто, и ничто не разубедит меня в этом, ты — мой главный человек в жизни. Дело за тобой. Состоится развод и захочешь обвенчаться со мною — я готова, обещаю, что смогу еще сделать тебя родителем, обещаю, что будешь счастлив. Если ж изменил ты свое ко мне отношение, так тому и быть. Я не вправе роптать и высказывать никакие попреки. Ты — гений, а у гениев свои счеты.

Жду ответного письма с замиранием сердца.

Преданная тебе навсегда

Е. К.»

Глинка отвечал в декабре:

«Дорогая Катя, я безмерно рад, что твое состояние сделалось получше. В самом деле: 22 года — самый лучший возраст, самый расцвет, и негоже убиваться в такие лета. Все еще

у тебя будет — и семья, и дети, ты земной ангел, и Господь Бог не оставит тебя без Своей опеки.

А моя петербургская жизнь грустна. Опера закончена и показана в Дирекции театров, но сезон нынешний полностью уже скомпанован, денег на мою постановку нет и до лета будущего года вряд ли появятся. На душе тоска.

Из Капеллы решил уйти. Это, конечно, какой-никакой постоянный заработок, но издержек больше. Нужно репетировать, обновлять репертуар, подгонять певчих, а они люди разные, половина поклоняется Бахусу, и непросто ими руководить. Надоело!

Я пока поселился у Кукольников — оба брата хоть из Малороссии, но не украинцы, а русины. С ними весело, постоянно кто-то приходит в гости, то Брюллов, то Никитин, то талантливый, но пока еще неизвестный сочинитель Салтыков, помещающий свои опусы под псевдонимом Щедрин. Кроме оперы, вместе с Нестором сочиняем романсы. Бог даст, выйдут потом отдельной тетрадкой.

Никакой ясности с разводом. Дело застряло в консистории и стоит на месте уже полгода. Мой поверенный подкупил служанку моей супруги, и она выкрала у нея (у супруги) письма от Н. В., раскрывающие их связь. Весь эпистолярный передан в консисторию как вещественное доказательство. Уж теперь надеюсь на продвижение.

А вообще хотел бы сбежать в Париж. Отдохнуть от наших неурядиц. И пожить жизнью европейского рантье. Но, конечно, все зависит от моих денежных ресурсов. А они пока на нуле.

Бог даст, весной встретимся. Маменьке поклон.

*Ваш надежный друг
М. Г.»*

На одном из новогодних балов, посвященных приходу 1841 года, Глинку познакомили с Лермонтовым. Оба Михаила были маленького роста, но у композитора части тела пропорциональны друг другу, а кавалерист-поэт отличался слишком крупной головой для убогого туловища и ножек.

Жидкие волосики неуклюже прилизаны. Усики словно бы приклеены.

Михаил Иванович сделал комплимент:

— Я прочел «Героя нашего времени» и пришел в восхищение вашим слогом.

Михаил Юрьевич поморщился:

— Так, безделица. Надо было чем-то занять свободное время, вот и сочинил.

Глинка улыбнулся:

— Вы лукавите, сударь. Сочинительство для вас, я уверен, совершенно не праздное занятие, это сразу видно.

Тот пожал плечами:

— Я не знаю. Может быть. В жизни моей все случайно. Мне и в Петербурге-то теперь находиться не должно. Отпустили на Рождество по причине болезни бабушки. И опять надо ехать на Кавказ.

— Берегите там себя. Вы явились по воле Провидения как на смену Пушкину, и Россия не переживет, коль и вас лишится.

Лермонтов горько рассмеялся:

— Бросьте, переживет, как еще переживет, все переживут. Я скажу больше: будет даже лучше, коль убьют. Ведь у нас при жизни никого не ценят, Пушкина травили, унижали, смеялись, а когда он умер, сразу закричали: «Гений! Гений!» Коль и я уйду, может, и меня увенчают славой.

Музыкант посетовал:

— Вот вы ерничаете так, а слова и мысли могут стать реальностью, и поэтому нельзя наклика́ть на себя беду.

Сочинитель грустно ответил:

— Знаю, знаю, мне уж говорили, что нельзя было трогать тему демона, что с потусторонними силами шутки плохи. Но теперь уж поздно. Я готов к любому исходу моей судьбы.

— Вы, как ваш герой, фаталист?

Тот скривил губы:

— Да, отчасти.

Не успели отшуметь новогодние торжества, как пришло известие, что скончался генерал Керн.

Анна Петровна на похороны, разумеется, не поехала, да и Катю не отпустила: по трескучим январским морозам — разве это мыслимо? Заказали заупокойную в церкви, постояли, поплакали у иконы Архангела Михаила, покровителя всех воинов, свечечки поставили. А потом заказали сорокоуст. Царствие небесное рабу Божьему Ермолаю; он, конечно, был человеком непростым и ершистым, но, само собой, в целом добряком и героем. Мир его праху!

Анну Петровну больше волновали живые, чем мертвые. С Катей, слава Богу, все утряслось, и она пришла в нормальное свое состояние, хоть и сетовала порой, что несчастна в любви; Саша-маленький тоже перестал кашлять — мед, лимоны, грецкие орехи, лук, алоэ, сливочное масло сделали свое дело, и бронхит не перерос ни во что плохое. Главная забота состояла теперь в отсутствии денег. Саша Марков-Виноградский высылал редко и какие-то крохи, Глинка не высылал вовсе; жить на иждивении родичей тоже было стыдно; оставалось одно: хлопотать о пенсии после смерти Керна. Все-таки они с мужем хоть давно и расстались, но развода не оформляли, и она по закону имела полное право на обеспечение. А тем более с маленьким ребенком (пусть и от другого, но кому какое дело?).

Поначалу генеральша попросила похлопотать за нее в Петербурге Глинку, но потом быстро поняла, что из композитора хлопотун никакой, и решила ехать сама. Сына оставляла на Катю.

Барышня просила:

— Ты, пожалуй, узнай о планах известной тебе особы. Не переменил ли он своего ко мне отношения? Коли все устроится лучшим образом, я приеду в Петербург тоже.

Генеральша сказала:

— Мы его испытаем. Я скажу, что к тебе намерен свататься лубнянский помещик Зайончковский и, возможно, все у вас сладится.

Катя испугалась:

— Ох, а надо ли рисковать, мамá? Вдруг Михал Иваныча это сильно заденет?

— Вот мы и проверим.

— Поступайте как знаете. Но не забывайте, что он человек особенный, гений, с ними нельзя, как со всеми.

— Гений он в музыке, так же, как и Пушкин был гений в литературе; а в быту они — простые смертные. Даже иногда хуже. И несноснее.

— Доверяюсь полностью тебе. Счастье мое в твоих руках. Мать поцеловала дочь в щеку:

— Сделаю как надо, не переживай.

В первых числах апреля Катя получила от матери первое письмо:

«Дорогой мой Катёнок, здравствуй. Много новостей накопилось, разного, скажу тебе прямо, свойства, но начну с хороших. С пенсией все устроилось положительно, побывала на аудиенции у военного министра, он заверил меня, что следить будет лично, и не обманул, не прошло и двух недель, как мне принесли с курьером бумагу о благоприятном исходе дела. Якобы сам государь одобрил, исходя из заслуг Ермолая Федоровича на полях сражений во благо Отечества. С мая будут начислять регулярно, а за прошлые месяцы выплатят задним числом. Слава Богу!

А теперь о Глинке. Весь Петербург шумит, и в салонах только и разговоров, что о выходке его благоверной. Эта дура (я иначе не могу ее характеризовать) со своим милым другом Н.В. захотела убежать за границу. Вроде муж и жена. И для этого обманула деревенского попа, не сказав, что она замужняя, обвенчалась заново. Но когда отвезла бумаги на выдачу паспорта, дело вскрылось, и Синод начал разбираться, поп решительно утверждает, что ни сном ни духом, а они кричат, что вообще не было венчания, поп чего-то напутал, будучи пьян смертельно. В ход пустили связи дяди Н.В. Если не замнут, то развод Михаилу Ивановичу обеспечен.

Правда, сам Глинка пребывает в некоем сумеречном состоянии духа, равнодушен к миру, нездоров, апатичен. Я ему сказала о якобы сватовстве г-на Зайончковского, а в его лице хоть бы мускул дрогнул. Говорит: «Значит, Господу так угодно. Может, с ним она будет счастлива». В общем, непонятно, что и думать. Ничего, не расстраивайся, малышка, время

все расставит по своим местам; ты приедешь и поговоришь с ним сама, а там видно будет.

Береги Сашеньку.

Нежно вас обоих целую. Всем родным низкие поклоны.

Ваша маменька».

Прочитав письмо, Катя долго плакала, а когда пытались ее успокоить, иступленно кричала, что не хочет жить. Приглашенный врач констатировал нервное истощение и велел принимать сильное успокоительное. А она смотрела на мир исподлобья и повторяла: «Мне уже ничто не поможет, ничто».

5.

Резинка оформил паспорт для выезда за границу, но на жизнь в Берлине и Париже денег не хватало, и отправился к матери в Новоспасское. Настроение было хуже некуда, делать ничего не хотелось, вдохновение оставило его, видно, навсегда, он лежал, закутавшись, несмотря на лето, в шапке с кисточкой, и смотрел перед собой в одну точку. А Евгения Андреевна, проходя мимо, неизменно ворчала:

— Что ты, словно бука, в самом деле, занимаешься самообразованием? Да, не вышло с Машей, не сложилось с Катей, мало ли других Маш и Кать на свете?

— Что мне до других? — отзывался тот. — Я женат на Маше и люблю Катю, впрочем, может быть, уже не люблю, я и сам не знаю.

— С Машей разведут — снова женишься на ком-нибудь.

— Нет уж, никакого желания. И потом еще не известно, разведут ли. Царь велел наказать одного Васильчикова, но не строго — перевел из гвардии в Вятский гарнизон. А моя благоверная так пока благоверной и осталась.

— Надо хлопотать дальше.

— Надо, надо, только мочи нет.

Лишь письмо от Нестора Кукольника оживило его: литератор писал, что стараниями его Гедеонов нашел деньги на постановку «Руслана», и, пожалуй, в сентябре начнут репетировать. Время привести в порядок всю партитуру, и вообще

в театре ждут приезда Глинки самое позднее к концу августа. Композитор заявил в ответном письме, что скоро будет.

Но известие о гибели Лермонтова на дуэли потрясло его абсолютно. Вспомнил их разговор в Петербурге. И пророческие слова о том, что дурные мысли могут воплотиться. Воплотились! Главное, убит не на поле брани, не от вражеской пули, а от рук одного из близких своих друзей. Вновь дуэль! Вновь погиб поэт, невольник чести! Что за рок преследует Россию?

Ехать, ехать, убежать из этой страны, проклятой Богом. Но куда? Где найти пристанище? За границей лучше? По большому счету, разница небольшая. Умному человеку нет нигде покоя. И с собой покончить нельзя, это не по-божески. Надо взойти на свою Голгофу, несмотря ни на что. Вынести свой крест.

Неожиданно получил письмо от Кати. Вот что она писала:

«Здравствуйте, дорогой Михаил Иванович. Даже не решаюсь обращаться на “ты”. И вообще не знаю, захотите ли прочитать эту весточку от меня. Но решила первой прервать молчание.

Сразу хочу внести ясность: никаких предложений руки и сердца от мсье Зайончковского я не принимала и по-прежнему остаюсь “ничьей невестой”, или, как говорят в народе, “невестой без места”. Месяца два меня лечили от нервов, но теперь состояние лучше, и подумываю даже вернуться в Петербург, вновь пойти на службу в Смольный. А тем более маменька давно просит привезти Сашу-маленького к себе, очень она скучает.

Кстати, не исключено, что мамá обвенчается с Александром Васильевичем Марковым-Виноградским. Инициатива его. Маменька в сомнении: чувства она к нему испытывает самые нежные, и к тому же хорошо записать Сашу-маленького Виноградским, но тогда она лишится титула “ее превосходительства” и, что самое главное, генеральской пенсии. А на что тогда жить? На одно жалованье в Смольном не получится. Есть еще один нюанс: Марков-Виноградский — офицер и, по правилам, должен испросить разрешение на женитьбу от своих командиров, а они могут воспрепятствовать — в силу разницы в возрасте “жениха и невесты”...

Говорили, что Вы грустите. Разделяя Ваши печали, все же призываю не терять надежды на будущее. Что бы ни случилось, мы останемся с Вами верными друзьями до конца века, я — во всяком случае. Верьте в свой талант. Бог поможет нам.

*С самой искренней симпатией
Е. К.»*

Глинка поцеловал бумагу с фиолетовыми чернилами. Прошептал: «Будем, будем верить. Катенька права». И, явившись к матери, объявил с порога: «Еду в Петербург. Сделайте одолжение, распорядитесь насчет лошадей в дорогу».

6.

Дело о разводе приняло неожиданный оборот. На допросе в консистории Маша утверждала (при посредничестве нанятых ею адвокатов, ибо не явилась сама ни разу на допрос — якобы по причине пошатнувшегося здоровья), что во всем виноват... ее муж — Глинка Михаил Иванович! Это он, он подкупил попа, чтобы тот совершил противозаконное венчание, ибо цель композитора — уличить жену в неверности, развестись и жениться на другой. Музыкант оправдывался как мог, но скрывать связи с Катей Керн не стал, и его самого обвинили в прелюбодействе. В общем, все запуталось. Дознаватели консистории взяли с Михаила Ивановича обязательство до конца дела не покидать города. Тот пришел в отчаяние.

В это время как раз прибыла в Петербург мадемуазель Керн. Известила Глинку запиской. Он помчался на встречу.

Перемена, произошедшая в Кате, поразила его. Бледная, худая, с темными кругами у глаз, нервной дрожью в пальцах и блуждающим взором, девушка казалась душевнобольной. Говорила с каким-то придыханием, словно ей не хватало воздуха на целую фразу.

Взяв ее за руки, композитор спросил:

— Боже, ладони-ледышки — нездорова?

Опустив веки, проговорила:

— Да, слегка простыла в дороге. Лихорадит что-то

— Надо лечь. Пить горячий чай с медом.

— Я и так лежу слишком много. Плохо маменьке помогаю.

— Будучи больной, ты ей вовсе не поможешь. Надо вначале подлечиться.

— Да, согласна... Я поправлюсь быстрее, если ты... если вы... согласитесь сказать...

— Что сказать?

— Что еще любите меня. — Подняла испуганные синие глаза; в этот миг и впрямь напоминала Александра I.

Он не знал, что ответить. Правду сказать боялся, чтобы не навредить ее самочувствию, но кривить душой тоже не хотел. И поэтому отделался неопределенным вопросом:

— Катя, дорогая, отчего ты засомневалась? Ты такая славная, добрая и внимательная ко мне. Я безмерно счастлив, что мы друзья.

— Только друзья? — с болью в голосе уточнила девушка.

— И друзья, и больше, — с жаром произнес он. — Ты же знаешь мое бедственное семейное положение. И пока я женат, невозможно... нам... Не иначе, Господь наказал нас за то, что мы с тобою сблизились без венца... не должны повторять роковой ошибки...

Керн скривилась:

— Значит, вы считаете нашу с вами любовь ошибкой?

— Нет, нет, не любовь, а любовную лихорадку, торопливость, с которой...

Катя заявила:

— Я готова бежать с вами хоть на край света. Заведем паспорта и уедем, а, Михал Иванович? В Австрию, в Париж — да куда угодно!

Сжал ее ладони:

— Невозможно, голубушка: я же дал подписку о невыезде. Обхватив голову руками, простонала горько:

— Это заколдованный круг! Я сойду с ума!

Он приобнял ее не сильно:

— Тише, дорогая, не драматизируй. Осенью премьера «Руслана». Мне нельзя уехать, не могу бросить постановку.

В театре не поймут. А за это время в консистории, Бог даст, что-то утрясется. И тогда, возможно, по весне сорок третьего года...

Не поверила:

— Вы нарочно успокаиваете меня, чтобы я не наложила на себя руки.

— Выбрось эти мысли из головы. Надо просто чуточку потерпеть. Время все расставит по своим местам.

Посмотрела на него с болью:

— Не бросайте меня... пожалуйста... я не знаю... я тогда умру...

Прикоснулся губами к ледяным ее пальчикам:

— Успокойся... я же тут, никуда не денусь... буду приходить каждый день... Хочешь, хочешь?

— Да.

— Обещаю. — Но поцеловал не в губы, а в висок, как покойницу.

Первое время Глинка приходил действительно часто, но когда у них на квартире поселился Марков-Виноградский, вышедший в отставку в чине поручика, стал бывать реже. Отношения между ним и композитором сразу не заладились. Михаил Иванович был уверен, что нахлебник — альфонс, пользуется любовью 42-летней Анны Петровны и не хочет зарабатывать сам. Так отчасти и было: Александр Васильевич не работал, говоря, что пока должен отдохнуть от военной службы. А ушел он из армии со скандалом: не сумев получить от отцов-командиров разрешение на венчание, написал в сердцах прошение об отставке. Легкомысленно? Да. Но, с другой стороны, он пожертвовал карьерой и репутацией во имя любви. С этой точки зрения, Виноградского надо не ругать, а наоборот, восхищаться его поступком. Точно так же хочется не хулить, а удивляться силе любви мадам Керн: ради счастья с дорогим человеком отказалась от титула вдовы генерала и денежного пособия за него. Всю свою жизнь искала такого Сашу. Обожающую ее. И готового все время носить на руках — нет, не фигурально, а буквально. Даже Пушкин ограничивался только словами, пусть и гениальными, но словами. А для Маркова-

Виноградского слово и дело соединились в одно. Он уверовал, что ему достался «Гений чистой красоты» — тот, которым восхищались столько необыкновенных мужчин, — и всецело отдался служению своему идеалу. Положил судьбу на алтарь любви.

Летом Анна Петровна, Саша-большой и Саша-маленький укатили из Петербурга в Лубны. Где и обвенчались 25 июля 1842 года. Генеральша Керн сделалась просто мадам Виноградской. Узаконили своего сына. Не имея при этом за душой ни доходов, ни состояний, ни заработков. Кочевали от родича к родичу — и питались, чем Бог пошлет.

Катя никуда не поехала, только перебралась на казенную квартиру в Смольный. Глинка навещал ее редко — хорошо, если раз в неделю. Было ему не до того: репетиции «Руслана» шли полным ходом, тут еще Ференц Лист прибыл в Петербург с концертами, музыканты познакомились, вместе выступали...

А премьера оперы состоялась 27 ноября.

7.

Глинка отговаривал Катю быть на первом представлении — мол, спектакль еще сырой и к тому же заболела певица, исполнительница роли Ратмира (по задумке автора, партия предназначалась для контральто). А потом действительно написал ей в коротком письмеце: *«Милая Катюша, не смогу сегодня заехать, ибо пребываю в глубоком огорчении от премьеры. Это не провал, но недалеко от него. Светская публика пребывала в изумлении, явно ожидая чего-то большего. И Ратмира практически не было — вялые, ученические потуги бедной неопытной Анфисушки. Что я мог поделать? Бог даст, завтра не оскандалимся. А на третье представление обещает быть сама Анна Яковлевна — ей значительно лучше, и тогда уж посажу тебя на первые кресла. Не сердись. Твой М. Г.»*

Отзывы в прессе тоже вышли самые жесткие. Больше всех неистовствовал Фаддей Булгарин в «Северной пчеле», говоря, что опера вообще слабая, «Жизнь за царя» тоже слабая, но тог-

да спасала патриотическая тема, а в «Руслане» глупая сказка Пушкина стала еще глупее, и нелепая музыка ей под стать. И, само собой, совершенно провальна партия Ратмира. Странная идея дать женщине роль мужчины. В этом есть доля извращения.

Впрочем, к третьему, четвертому спектаклю музыканты и артисты разыгрались, вышла Анна Петрова, и Ратмир зазвучал совсем по-иному. Замечательно исполнял партию Руслана Осип Петров (Глинка готовил на эту роль и Гулак-Артемовского, но пока он был только для возможной замены). И к тому же в зале появилась публика рангом пониже, не такие эстеты, как аристократы, собственно, музыка автора и не рассчитывалась на снобов, а должна была отзываться в душах простых людей, — так оно и вышло.

Катя побывала на пятом представлении и действительно сидела в креслах возле сцены. Мощь таланта Глинки потрясла ее. В жизни и быту такой скромный, маленького роста, вечно в своих болезнях (настоящих и мнимых), нерешительный, несамостоятельный, вялый, вдруг в очередной раз явил грандиозную силу духа, вдохновения, озарения; в этой музыке слышалось нечто божественное; только человек, воспитанный на оперных шаблонах XVIII века, мог не разглядеть, не почувствовать новизну и своеобразие этих композиций. Глинка был неподражаем.

Катя плакала и думала, а достойна ли она такого человека? В праве ли претендовать? Но, с другой стороны, Маша Глинка подходила ему еще меньше. Хорошо, что супруги скоро разведутся. Но захочет ли он обвенчаться с мадемуазель Керн? Гении непредсказуемы, уникальны, и от них можно ждать чего угодно.

Михаил Иванович выходил кланяться. Публика рукоплескала и кричала «браво». Кое-кто даже бросил на сцену букет цветов, очень дорогой в декабре. Композитор поднял его и отдал Петровой. Все захлопали еще больше.

Катя села к нему в экипаж. Он смотрел взволнованно, возбужденно:

— Ну, что скажешь, что думаешь?

— Ничего не скажу, Михаил Иванович.

— Как сие понять? — ахнул музыкант.

— У меня нет слов. Я раздавлена, уничтожена вашим гением.

Он расхохотался:

— Будет, будет. А не то возгоржусь.

— Возгордитесь, это хорошо, вы имеете право.

Наклонившись, поцеловал ее руку в перчатке.

Проводил до Смольного, но зайти отказался:

— Нет, поеду к себе, стану отсыпаться. Совершенно не чую ни рук, ни ног. Столько месяцев напряжения! А теперь внутри какая-то пустота...

Под конец решилась спросить:

— Маша Стунеева как-то говорила, что хотите ехать за границу... Это правда?

Композитор нахмурился.

— И уехал бы, коли не подписка да опера. А теперь еще просят перенести и в московский Большой. Там уж я введу Гулак-Артемовского... — Взял ее за руку. — Нет, в ближайшем будущем дальше Первопрестольной не отлучусь. А потом — посмотрим. — Тяжело вздохнул. — Перемены хочется, перемены в жизни. Вновь увидеть Париж, а потом и Мадрид — в прошлый раз не успел доехать. Все начать с чистого листа...

«Значит, без меня, — догадалась Катя. — Я ему не нужна больше».

— Значит, без меня? — повторила она вслух.

Он поцеловал ее в щеку.

— Полно, полно, голубушка. Жизнь покажет. Маменька, и ты, да еще сестрицы — самые близкие мои люди. Вас я никогда не предаю.

— Ну, так я пойду?

— До свиданья, душенька. Я зайду на следующей неделе.

— Буду ждать.

Побежала к воротам Смольного по хрустящему снегу, в свете фонарей. Тонкая фигурка. Любящая душа.

Михаил Иванович, глядя Кате вслед, подумал: «Отчего я всех делаю несчастными? Сам несчастен и других делаю. Надо, надо уехать. Пусть живут как могут. Только без меня».

Тут опять в Петербурге появился Пушкин-старший. Он совсем поседел, сильно похудел, выглядел не так молодцевато, но держал спину ровно и ходил уверенно, правда, с тросточкой, но, скорее, больше для фасона, чем для опоры. Одевался по-прежнему изысканно. И, когда играл в карты, часто выигрывал.

Повидал внуков и невестку, приехавших из Михайловского. Маша и Саша были уже большие — 10 и 9 лет, соответственно, Гриша и Таша — 7 и 6. Натали хотела, чтобы мальчики посещали гимназию, девочки оставались на домашнем воспитании. Доброго разговора не получилось. Гончарова-Пушкина жаловалась на отсутствие средств — пенсии, данной царем, еле-еле хватало на пропитание. А Сергей Львович тоже не шиковал, но и не бедствовал, посулил передать снохе тысячу рублей, но частями. Та, конечно, сочла в душе это недостаточным, а старик и так отрывал от сердца, словом, обе стороны разъехались, не довольные друг другом.

Он узнал от друзей, что у Кати Керн был роман с Глинкой, но о браке речь не шла, и она свободна. У отца поэта снова зародилась надежда. Да, ему уже 72 — ну, так что с того? Чувствует себя сорокапятилетним. И способен еще на альковные подвиги. Ей ведь целых 24 — и напрямую подошла к рубежу, за которым на Руси издревле считают 25-летних старыми девами. Замуж, замуж пора. А родителей в Петербурге нет — папа умер, царство ему небесное, солдафону этакому, мама с новой семьей в Малороссии. Девушка сама пусть решает.

Выяснил, что она изредка посещает салон Карамзиных, где читают новые стихи и поют новые романсы. И набился в гости.

Был февраль 1843 года, на дворе трескучий мороз, а в особняке Карамзиных на Гагаринской улице — хорошо натоплено и уютно. В красной гостиной — самые простые соломенные кресла. Стол с самоваром. Чай разливает старшая дочка покойного Карамзина от первого брака — Софья Николаевна, и ее в шутку называют здесь «Самовар-паша». Мать семейства, мачеха Софьи, 60-летняя Екатерина Андреевна, доводящая-

ся сводной сестрой Петру Вяземскому, тоже весьма радушна; правила салона — говорить исключительно по-русски и не играть в карты.

В этот вечер собравшихся было немного — человек семь, никого Сергей Львович из них не знал и сидел пригорюнившись, так как Катя Керн не приехала. Грустное его настроение не осталось незамеченным, и мадам Карамзина села рядом с ним на соседнее кресло.

— Отчего вы невеселы? Как дела у Левушки?

— Ах, спасибо, спасибо, мон шер, у него все отлично, слава Богу. В прошлом году уволился в чине майора и теперь в Одессе служит на таможне. Сделал предложение Лизоньке Загряжской, родственнице Натали Гончаровой. Он Загряжскую любит с детства, и она его. Словом, скоро свадьба.

— Вот как замечательно! Вы поедете?

— Непременно поеду. Море, юг — я люблю Одессу. И к тому же там когда-то служил Сашка. Обязательно поеду.

— Ну а сами-то не надумали жениться? — больше в шутку спросила Екатерина Андреевна, но Сергей Львович сразу оживился и ляпнул:

— И женюсь, коли вы поспособствуете.

— Я?! — с улыбкой удивилась хозяйка дома. — Чем же я смогу?

— Зазовите к себе Катю Керн. Мне к ней ехать в Смольный институт неудобно, слухи поползут, а она, я знаю, кроме вашего салона, не бывает нигде.

— Нет, порой выходит к Глинке в театр.

Пушкин-старший нахохлился:

— Так у них еще, значит, продолжается?..

— Слышала, что нет. Вроде просто они друзья, не больше. Глинка же пока официально женат, а Катюша жаждет лишь законного брака.

— Правильно. Хвалю. И законный брак должен быть со мною.

— Вы уверены, дражайший Сергей Львович?

— Абсолютно. Я уже и в завещании упомянул ее.

— Неужели?

— Да. Все мое состояние — по частям — Натали, Левушке и Лёле, а мадемуазель Керн — пятьдесят тысяч.

— Господи, помилуй! Более чем щедро.

— Истинный бриллиант должен быть в дорогом обрамлении.

— Ну а коль не согласится выти за вас?

Он взмахнул изящной ладонью:

— Пусть. На все воля Божья. Но уже не изменю завещания и оставляю как есть.

Женщина взглянула на него с восхищением:

— Вы большой души человек! Александр Сергеевич перенял у вас это качество.

Тот кивнул, довольный:

— Несомненно. Стало быть, поможете мне?

— Приложу максимум усилий.

На другое утро по велению мачехи Софья Николаевна написала Кате:

«Душенька, приезжайте к нам завтра вечером: Даргомыжский обещал представить новые романсы. Не исключено, что и Глинка будет. Очень ждем».

Катя клюнула на магическое для нее слово «Глинка» и решила быть. Правда, важные дела в Смольном не позволили ей выйти вовремя, и она явилась на Гагаринскую улицу в половине девятого. Оказалось, что Даргомыжский не пришел по болезни, Глинка «еще едет», но зато Александр Варламов сел за рояль и своим неподражаемым тенором спел романсы на стихи Лермонтова — «Ангел» и «Казачья колыбельная песня», а затем дуэтом с Софьей Николаевной — «Горные вершины». Только Катя села пить чай с клюквой в сахаре, как увидела, что сбоку к ней подсаживается Пушкин-отец в темном сюртуке и пестрой жилетке, пахнувший дорогим мылом.

— Мадемуазель Керн, счастлив видеть вас.

— Здравствуйте, Сергей Львович. Сколько лет, сколько зим. — Но в ее церемонном тоне радости особой не чувствовалось.

— Вы прекрасно выглядите, Катенька.

— Вы мне льстите, мсье. Я уже давно не та барышня, за которой вы когда-то ухаживали.

— Чепуха. Вы клевете на себя. Повзрослели и сделались еще краше. Это во-первых. Во-вторых же, я по-прежнему в вас влюблен.

— Шутите, наверное?

— Нет. Нисколько. Я влюблен пуще прежнего.

— Перестаньте, сжальтесь. Это не смешно.

— Мне и не до смеха. У меня самые серьезные до вас намерения.

— Ах, пожалуйста, только не сегодня. Я ужасно устала нынче.

— Не сегодня, так завтра. Послезавтра. Как скажете. Я не тороплюсь, у меня впереди вечность.

— Хорошо сказано. Реплика, достойная Пушкиных.

Глинка все же не приехал, Катя опечалилась, и Екатерина Андреевна села с ней в дальний уголок — пошептаться по-женски. Рассказала о завещании Сергея Львовича. Керн перекрестилась.

— Представляешь, если он теперь назначает пятьдесят тысяч, сколько выйдет, если примешь его предложение?

— Думать не хочу. Разве дело в деньгах?

— Разумеется, нет, но сама рассуди, как бы ты смогла поправить дела своего семейства — маменьки и маленького брата. Быть женой, а потом вдовой Пушкина-отца! И фактически — мачехой самому гениальному поэту!

— Несомненно, почетно... Но соображения здравые совершенно противуречат моему сердцу. Не лежит душа. И потом, я уверена, Натали Гончарова не допустит, чтобы я отхватила у нея часть наследства.

— Ну, Наталья Николаевна ему не указ. У него всегда были с нею сложные отношения, а тем более после гибели Александра. Дедушка влюблен в тебя и теряет голову.

— Ах, не знаю, право.

— Видела, как он поступил с твоей клюковкой?

Катя изумилась:

— С клюковкой?! А как?

— Ты разжевывала ягодки, а оставшиеся шкурки складывала в розеточку.

— Да, и что?

— Он украдкой их брал и ел.

— Свят, свят, свят!

— Я заметила. Многие заметили.

— Это за гранью моего понимания.

— Надо брать старичка, пока он тепленький... во всех смыслах... — И захохотала.

— Вы смущаете меня.

— Хорошенько подумай.

Неожиданно пришел Глинка. Раскрасневшийся, оживленный, вроде подшофе. Объявил:

— Господа, принимаю поздравления: консистория избавила меня от подписки о невыезде!

Все захлопали. Михаил Иванович пояснил:

— Под предлогом того, что на днях должен ехать в Москву — обсуждать постановку «Руслана» в Большом театре. Гедеонов похлопотал.

— И надолго вы покинете нас?

Он устроился за столом, и Карамзина-младшая налила ему чаю.

— Думаю, на месяц. А потом — как сложится.

Александр Варламов сказал:

— Ах, в Москве за месяц ничего не решается. В ней другие порядки, время течет иначе. Москвичам спешить некуда, там уже не Европа, а Азия. Обязательный послеобеденный сон — то, что в Испании называется *siesta*, — во второй половине дня не отловишь никого из чиновников.

Гости посмеялись. А Екатерина Андреевна элегически возразила:

— Нет, Москву я люблю. В ней такая русскость, дух Руси святой, про которую мы в Питере забыли.

— Петр Великий не терпел Москвы.

— Тем не менее оставался москвичом до мозга костей. Азиатчина у всех у нас в крови. Вон и Карамзин же на самом деле Кара-Мурза — «черный мурза».

Катя смотрела на Глинку и каким-то шестым чувством понимала, что уедет он не просто в Москву — от нее навек. Видела: пытается не встречаться с ней взглядом. Вероятно, принял

уже решение, что не будет с ней больше. Сердце ее щемило, и хотелось расплакаться.

— Михаил Иванович, а сыграйте нам что-нибудь на прощанье.

Глинка вышел из-за стола, промокнув рот салфеткой, сел к роялю. Не спеша кашлянул, прочищая горло.

— Разве что из нового альбома на стихи Кукольника — «Прощание с Петербургом».

Катино сердце сжалось больше. Значит, прощается с Петербургом. Значит, и с нею.

Композитор заиграл и запел глухим голосом:

Прощайте, добрые друзья!
Нас жизнь раскинет врассыпную...
Все так, но где бы ни был я,
Вспомню вас и затоскую...
Нигде нет вечно светлых дней,
Везде тоска, везде истома,
И жизнь для памяти моей —
Листки истертого альбома...

Катя все-таки заплакала, слушая его, слезы капали у нее с подбородка, а она их не вытирала, словно не замечая.

...Есть неизменная семья,
Мир лучших дум и ощущений,
Кружок ваш, добрые друзья,
Покрытый небом вдохновений.
И той семьи не разлюблю,
На детский сон не променяю,
Ей песнь последнюю пою —
И струны лиры разрываю!..

Плакали уже многие, в том числе и сам Глинка. Он достал платок, промокнул им щеки и конфузливо улыбнулся:

— Вот какую грусть на всех нагнал. Извините!

Но ему аплодировали, хвалили, и повеселевший Михаил Иванович успокоился. Посмотрел на Керн. Сдержанно кивнул.

Пушкин-старший обратил внимание на этот кивок и не знал, как к нему отнестись — вроде связь у влюбленных все еще есть, но зато музыкант уезжает, и один, и надолго, получается — связь и в самом деле на исходе. Ревновать? Или смиренно дожидаться своего часа? Он решил: лучше потерпеть.

А прощание Глинки с Керн вышло как-то смазано, вроде несерьезно. Катя только и успела спросить:

— Вы напишете мне из Москвы?

Он отвел глаза:

— Да, конечно. Сразу напишу.

И не написал.

В тщетном ожидании барышня подумала: может быть, откликнуться на любовь Пушкина-отца?

9.

Да, Варламов как в воду глядел: Глинка пробыл в Белокаменной до конца весны, ничего толком не добился, плюнул и, не заезжая в Петербург, поскакал к матери в Новоспасское. Целое лето провел в деревне. А когда возвратился в город на Неве, обнаружилось, что мадемуазель Керн у своей матери в Малороссии. Осенью Михаил Иванович выправил себе заграничный паспорт. Целую зиму никого не хотел ни видеть, ни слышать. Собирался выехать в первых числах мая. И внезапно узнал, что вернулась Катя. Он не мог покинуть Россию, не увидевшись с нею.

Был погожий майский день, небо чистое, только маленькое облачко зацепилось за шпиль Петропавловки, не желая двигаться дальше. От реки уже не шел холод. Люди сняли теплое, меховое и переходили на плащи и накидки. Барышни щеголяли с разноцветными зонтиками.

Михаил Иванович попросил привратницу Смольного института, чтобы та позвала Катю в садик возле входа, заходить внутрь не захотел. Сел на скамейку, погруженный в думы. На ветру трепетали клейкие листочки. Солнце припекало полетному.

Дочка Анны Петровны выпорхнула птичкой — легкая, взволнованная, в строгом платье с белым воротничком — настоящая ласточка. Композитор поцеловал ей руку.

— Вы совсем поседели, — ласково сказала она.

Он слегка ухмыльнулся:

— Седина украшает мужчину. — И добавил с улыбкой: — Хорошо, что не полысел.

— Тоже бы не страшно. Лысые мужчины очень бывают привлекательны.

Заглянул ей в глаза:

— Вы имеете в виду Пушкина-отца?

— Перестаньте, и вы туда же! Все твердят: выходи за него, выходи, не теряй свой шанс. Нет, не выйду. Не могу, душа не приемлет. Он прекрасный старикан — кстати, и нелысый во все...

— ...ну, слегка плешивый...

— Перестаньте, пожалуй! Он прекрасный человек, необыкновенно галантный... да еще отец гения!.. Но душа не лежит... Я, наверное, однолюб...

— Однолюбка, — уточнил музыкант, грустно усмехнувшись.

— Хорошо, пусть так. — Катя сжала его ладонь. — Знайте только: мы расстанемся, вы уедете, каждый затем пойдет своею дорогой; может быть, создадим еще семьи, не исключено; но душа моя навсегда принадлежать будет только вам. Помните об этом. Я всегда молиться за вас стану.

Он привлек ее к себе и уткнулся носом в белый воротничок. Прошептал:

— Катя, Катя... Отчего мы несчастны так?

Девушка ответила:

— Нет, неправда. Я счастлива. Несмотря ни на что. Потому что люблю гения. Потому что гений был и есть в моей жизни. А на гениях — печать Божья. И у каждого свой крест.

Михаил Иванович поразился, как она его понимает. Лучше остальных, лучше всех. И ему нельзя ее потерять.

Искренне волнуясь, сказал:

— Потерпи же еще немного. Скоро ситуация с разводом решится. Я вернусь в Россию, и мы обвенчаемся.

У нее вспыхнули глаза:

— Павду говорите? Не обманываете меня?

— Правду, правду. Буду лишь с тобой — или же ни с кем.

— Верю вам. Стану ждать и надеяться.

— Жди и надейся. Рано или поздно мы соединимся.

Улыбнулась:

— Лучше бы, конечно, рано. Не на небесах.

— Постараюсь.

Долго они стояли, обнявшись. Майский ветерок шевелил волосы обоих. А привратница смотрела на них сквозь стекло парадных дверей Смольного и, расчувствовавшись, смахивала слезинки.

КОДА

Катя сдержала слово: за отца Пушкина замуж не пошла. Он старел, болел, вновь уехал в Болдино, а потом умер в 1848 году.

Анна Петровна Керн-Виноградская до конца дней оставалась верной своему молодому мужу. Он старался как-то подзаработать, поддержать семью, но всегда у него это скверно получалось. В основном скитались по ее родным, жили за их счет, а еще она переводила с французского и печатала кое-что в журналах, но большого дохода получить не могла. Продавала подлинники писем Пушкина. Написала воспоминания о себе и о тех замечательных людях, что ее окружали. Строки мемуаров Анны Керн — уникальное достояние истории.

Как ни парадоксально, первым умер ее муж, Марков-Виноградский, заболев неизлечимым недугом. Это произошло в январе 1879 года. А спустя четыре месяца умерла и Анна Петровна. На 80-м году жизни.

Их единственный сын Александр вырос таким же неустроенным и неприспособленным к жизни, как его родители. Ничего у него не ладилось — ни учеба, ни служба, ни семья. Впав в депрессию, он покончил с собой вскоре после смерти матери и отца...

Весть о своем разводе Глинка получил в 1846 году, будучи в Мадриде. Он объездил пол-Европы, дал концерт в Париже, познакомился с Берлиозом — тот включил в свой исполнительский репертуар каватину из «Сусанина» («В поле чистое гляжу») и лезгинку из «Руслана и Людмилы».

Срок заграничного паспорта заканчивался, надо было ехать в Россию. Долго жил в Новоспасском, снова захотел податься в Париж, но события 1848 года (революция, баррикады!) задержали его в Варшаве. Здесь, в тиши гостиничного номера, им написана увертюра «Ночь в Мадриде» и камаринская для симфонического оркестра. Не давал ему покоя «Тарас Бульба», но на оперу все-таки не решился — сочинил наброски к симфонии.

Возвратившись в Россию, жил у сестры, Людмилы Ивановны Шестаковой, в Царском Селе и писал мемуары. Здесь он и узнал о замужестве Кати Керн. Опечаленный, слег. Сильно болело сердце.

Чуть поправившись, по весне 1856 года убежал в Берлин. Там писал духовную музыку.

В январе 1857 года был на концерте Мейербера — тот играл и произведения Глинки. По дороге домой сильно простудился. Целую неделю держался жар. Но потом Михаил Иванович пошел на поправку, начал вставать с постели, подходить к пианино. 3 февраля у него случился удар и произошла неожиданная остановка сердца. Похоронен был в Берлине на лютеранском кладбище.

Но Людмила Ивановна Шестакова стала хлопотать и добилась перевозки тела в Россию. Эксгумированный гроб упакован был в коробку из картона, на котором для надежности кто-то написал: «Фарфор». Удивительное совпадение! Помните:

...Веселися, Русь! наш Глинка —
Уж не Глинка, а фарфор!

Или не совпадение?..

Катя ждала его десять лет — с 1844 по 1854 годы. Иногда он писал ей из-за границы — чаще из Мадрида, где ему особенно нравилось, где он сочинил бессмертную «Арагонскую хоту», нанял слугу-испанца и учил испанский язык. Но ни слов о любви, ни тем более о женитьбе больше не было; даже после известия о его разводе.

Кате исполнялось уже 36, и она давно махнула рукой на свою возможную семейную жизнь, как ей сделал предложение

адвокат Михаил Шокальский. Катя ему нравилась, а ее душа оставалась к нему равнодушной, но другого шанса жизнь могла не подбросить. И потом — Михаил, имя ее любимое. Можно говорить: «Миша, Мишенька...» — думая совсем о другом...

Два их общих ребенка умерли вскоре после рождения, но потом появился третий — сын, окрещенный Юлием, и он выжил.

После 12-летнего замужества овдовела. Переехала из Петербурга в Тригорское — там хозяйничала ее двоюродная тетка Маша Осипова. Рядом, в Михайловском, обитал сын Пушкина — Григорий Александрович. Он с любовью отнесся к Юлику (все-таки внук самой Керн, «Гения чистой красоты»!), брал его с собой на охоту, научил садовничать и огородничать, наставлял на путь истинный, вместе они ездили верхом. Помогал и Левушка Пушкин — большей частью деньгами.

Возвратилась с сыном в Петербург — отдала его в гимназию, вскоре — в Морской кадетский корпус, а сама подрабатывала гувернанткой в богатых семьях.

Юлик окончил училище с Нахимовской премией, став гардемарином. И легко поступил в Николаевскую Морскую академию на гидрографическое отделение. Сделался офицером, начал службу в Главном гидрографическом управлении, в университете преподавал математику, навигацию и географию, много раз ходил в морские экспедиции, а затем занял пост заведующего секцией морской метеорологии в Главной физической обсерватории. И участвовал в строительстве ледокола «Ермак».

Подарил Кате внука Александра...

Катя весь остаток жизни провела в семье сына, на Английском проспекте в Питере. Умерла 6 февраля 1904 года в возрасте 86 лет. Юлий Михайлович написал в мемуарах: *«До последнего момента была ясна в мыслях и вспоминала Михаила Ивановича постоянно всегда с глубоким горестным чувством. Очевидно, она любила его до конца своей жизни».*

Но сожгла всю свою переписку с Глинкой.

Ах, эти чудные мгновенья, исчезающие навек мимолетными виденьями! Что осталось от них? От всего, от гениев чи-

стой красоты и от просто гениев? Кучка пепла после сожженных писем?

Да. И все же, все же...

Есть стихи и музыка. Память человеческая. Гениальные стихи и музыка умереть не могут.

АПОФЕОЗ

Юлий Михайлович Шокальский — выдающийся ученый-гидрограф, метеоролог. Был председателем Русского географического общества. Написал уникальные труды по картографии, по исследованиям Ладожского озера. Член Вашингтонской академии наук, почетный членкор Королевского географического общества в Лондоне, почетный академик АН СССР, кавалер многих орденов, в том числе и французского Почетного легиона. А у нас — Герой труда. По его предложению введены в СССР часовые пояса.

Умер он в 1940 году, похоронен в Петербурге.

А в Москве, в Медведкове, есть проезд Шокальского.

Интересно, многие ли его обитатели знают, что живут на улице, названной в честь внука Анны Керн, Гения чистой красоты?

РОМАН С КОРОЛЕМ

Повесть-версия

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1.

Николай II записал в своем дневнике 29 августа 1903 года:

«После отставки Витте было скверное настроение. Человек он дельный, умный, но уж больно докучливый. Половину его слов я не понимаю. Без него спокойнее.

Впрочем, остальные еще хуже. Люди все пустые, алчные, думают о своей выгоде, а не об Отечестве. Витте, по крайней мере, не вор. Надо подыскать ему достойное применение.

Дабы успокоиться, привести в порядок мысли и нервы, прогулялся я в парке. Был чудесный день. На скамейке сидела девочка и читала книжку. Увидав меня, испугалась, вспыхнула и вскочила. Я ее успокоил, усадил и сел рядом. Гимназистка шестого класса Мариинской гимназии. Удивительные сине-зеленые очи. И при этом волосы — воронье крыло. Ей 14 лет. Думаю, что вскоре из нескладного угловатого “гадкого утенка” превратится в чудного лебедя. Вот кому-то привалит счастье обладать ею! Пожелал ей счастья. Пылко благодарила».

Значит, знакомство его величества с Нюсей состоялось в конце августа, сразу после возвращения семейства Горенко из Крыма. Постепенно сходил загар, и тепло юга улетучивалось за ним, словно его и не было. И поэтика моря, ветра с запахом волн, обгорелых на солнце плеч, обжигающе холодной воды из колодца, вкуса вяленой рыбы, белого винограда, рыжих персиков, таящих во рту, уступала место прозе северной жизни. Пыльные улочки Царского Села. Серые заборы. Паровозные

гудки расположенного рядом вокзала. И уныние от мысли, что опять посещать уроки, слушаться учителей, гладить воротничок форменного платья. И тревога, тревога за сестер и братьев, все еще болевших чахоткой, — Крым хотя и помогал, но не кардинально; маленькая Рика умерла от туберкулеза, не дожив до пяти своих лет... А еще забота — охлаждение родителей друг к другу; говорили, будто у отца — другая женщина, и, когда дети с матерью уезжают лечиться в Евпаторию, он живет с любовницей чуть ли не открыто...

Тяжело, тяжело!

Нюся часто сидела на подоконнике и подолгу смотрела, как через дорогу, в парке, медленно фланируют люди. Кавалеры с барышнями. Гувернантки с детишками. Думала о своем. Иногда, ранним утром, появлялся мужчина в белой шляпе и с белой тростью. В белом партикулярном платье. Светлая недлинная борода с пышными усами. Светлое лицо, странно напоминавшее многие портреты его величества. Нюся считала, это совпадение. Государь ведь не мог просто, без охраны, как простой мещанин, беззаботно гулять в парке! Господин в белом не спеша присаживался на лавочку, доставал портсигар и закуривал папироску. Вытянув губы трубочкой, выпускал кольца дыма. Получал от этого явное удовольствие. А потом вставал и окурок выбрасывал в урну. Аккуратный, значит.

Если тебе четырнадцать, а душевными муками не с кем поделиться, разве что с Андреем, старшим братом, но ему шестнадцать, у него теперь новые, не детские интересы, то встает вопрос о кумире. Добром, великодушном, ласковом, вместе с тем красивом и сильным. Понимающим всё. И мужчина в белом подходил для этого как нельзя лучше. Нюся в него почти что влюбилась. И мечтала о встрече. И боялась ее.

Представляла так: вот она сидит в парке на лавочке и читает книгу. Появляется Он. Шляпу приподняв, говорит:

— Бонжур, мадемуазель. Я присяду, с вашего позволения?

— Окажите милость, мсье, — отвечает она, чуть подвинувшись.

— Что читаете?

— Так, стихи...

— Чьи?

— Бодлера.

— О-о! Конечно же, по-французски?

— Да.

— Любите стихи?

— Обожаю.

— Сами, поди, пишете?

Засмутившись:

— Нет, как можно... Впрочем, да... иногда...

— Был бы рад услышать.

— Что вы! Ни за что! Мне неловко.

— Отчего?

— Я не знаю. Вы меня смущаете.

— Чем же?

— Всем...

Глупый разговор. Глупые мечты. Нет, она никогда не пойдет рано утром на заветную лавочку, чтобы познакомиться с Ним. Никогда!

И пошла. Правда, не рано утром, а уже в обед, отпросившись у гувернантки. В это время господин в белом никогда прежде не появлялся в парке. Значит, и бояться его не нужно. Просто вот она посидит, почитает Бодлера.

Легкий ветерок шевелил ее волосы. И страницы.

Пахло резедой. Этот аромат умиротворял. И немного кружил голову.

Жаль, что Он теперь далеко, жаль, что Он не слышит запах резеды. Почему страшилась выйти сюда пораньше? Дурочка набитая. Упустила счастье.

— Здравствуйте, сударыня. Я не помешаю?

Даже поперхнулась. И сама себе не поверила. Неужели мечты сбываются?

— Нет, конечно, садитесь, сударь. — И слегка подвинулась.

Был не в белом, а в кремовом. И без трости. А глаза серые лучистые, но усталые, грустные.

— Отчего вы смотрите на меня испуганно? — улыбнулся мягко. — Я ведь не кусаюсь.

— Вы меня смущаете.

— Чем же?

— Тем, что напоминаете государя.

Рассмеялся.

— Да, мне говорили. Но ведь вы не думаете, что я — это он?

— Нет, не думаю. А иначе вообще бы в обморок упала.

— Неужели? Разве император такой страшный?

— Нет, не страшный, но — император! Мысль об этом повергает меня в трепет.

— Вот и хорошо, что у нас с царем только внешнее сходство.

— Хорошо, конечно.

Незнакомец сказал:

— Разрешите узнать ваше имя, милое дитя?

— Нюся. То есть Анна. Впрочем, чаще — Нюся.

— Нюся — лучше. В этом есть что-то доверительное, домашнее... Учитесь в гимназии?

— Да, в шестом классе Мариинки.

— Получается, вам четырнадцать?

— Получается, так... А позвольте узнать имя ваше?

Господин помедлил.

— Ну, допустим, Клаус.

— Ах, вы немец?

— Да, на три четверти.

— И, должно быть, предприниматель?

— Нет, госслужащий.

Сморщила нос горбинкой:

— И не скучно вам ремесло чиновника?

Покачал головой:

— Да, бывает. Но судьба, судьба. От судьбы не скроешься.

— Фаталист, выходит?

— Вероятно. — Посмотрел на карманные часы. — Мне уже пора, к сожалению. Будьте счастливы. — Приподнял шляпу, встав. — И благодарю за веселый наш разговор. Вы развеяли мои печальные думы.

— Значит, вы несчастны?

Он пожал плечами:

— А кто счастлив ныне? Люди смертны — тем уже несчастны.

— А жена, дети?

— Да, жена и дети... — Сухо поклонился. — Извините. Прощайте. — И ушел, заложив руки за спину.

Нюся долго смотрела вслед. И терзалась мыслью: неужели все-таки император?

2.

Наступили будни. Лето, покуражившись еще до двадцатого сентября, вдруг скоростийно скончалось, сразу сделалось мокро, зябко, насморочно, и цветы на клумбах в парке пожухли, листья опадали, и во время прогулок туфли вспахивали лиственный покров, как соха чернозем. Капал дождик. Из-за капель на оконном стекле рыжий парк делался размытым. Господин, похожий на императора, больше не появлялся. Нюсе даже стало казаться, что тогдашняя встреча ей приснилась. Кто он? Клаус? Значит, Николай? Даже сочинились стихи под названием «Санта-Клаус». Прочитав их наутро, Нюся разозлилась и, сказав себе: «Дура, дура!», — порвала листок.

Геометрия, как всегда, давалась с трудом. Катеты, гипотенузы, теоремы, формулы не желали укладываться в ее мозгу. Ад крошечный. То ли дело литература, история, иностранные языки! Интересно и полезно для общего развития. Точные науки вызывали в ней отвращение, еле получалось натягивать по ним «удовлетворительно». Мама качала головой, но ругать не ругала.

И еще хорошо, что давала списывать Валька. Ей геометрия, алгебра, физика, химия даже нравились. А вот сочинения по литературе выходили косноязычные, трафаретные. Так что подружки дополняли друг друга. С хохотом, шутками обводили учителей вокруг пальца.

Валя, Валечка. Нет, не Валентина, а Валерия, но ее в семье звали Валечкой, вот и Нюся приняла это уменьшение. Серд-

це юной Вали оставалось свободно. Для нее кумиром был ее отец, по профессии юрист, с нереальной, театральной фамилией Тюльпанов. Больше похоже на выпретенный псевдоним. Может, предок Тюльпанова выступал в цирке, заменив свое истинное «Иванов» или «Сидоров» на такое звучное наименование? Кто знает! Мать Валерии происходила из Польши и была крещеной еврейкой. У нее всегда что-нибудь болело, и когда Нюся забегала к приятельнице в гости, то всегда видела мамá на кушетке с мокрым полотенцем на лбу.

Нюся поделилась не сразу, долго хранила тайну своего романтического знакомства в парке, но потом неожиданно для себя самой рассказала, вроде полушутя, словно о каком-то курьезе: «Да, представь, был со мной один казус этим летом... Все хотела тебе поведать, только забывала, ха-ха!»

Валечка выслушала внимательно, и в ее иудейских миндалевидных карих глазах появилось выражение иронической снисходительности.

— Боже, ведь ты влюбилась, зая.

Нюся оцетинилась:

— Ты с ума сошла! Он ведь старше меня в два раза, хорошо за тридцать.

— Возраст не имеет значения. «Любви все возрасты покорны». И вообще всегда хорошо, если кавалер старше барышни, — опытнее, мудрее. А с мальчишек наших что за спрос? Вертопрахи, воображалы.

— Это да... Мне, конечно, Клаус понравился как мужчина, но не до такой степени. Он как принц из сказки. Или, лучше сказать, король.

— ...или царь, — улыбнулась Валя.

— Думаешь? — насторожилась Горенко.

— Говорили, он гуляет иногда в парке.

— Может быть... но представить страшно! Я — и царь! Господи, помилуй! Чтобы так вот, запросто?

— Почему бы нет? Ведь цари — тоже люди. Хоть и помазанники Божьи.

— Все равно не верится.

— Больше не встречались с тех пор?

— Нет, ни разу. Даже из окна ни разу не видела.

— Удивляться нечему, если это царь. Он теперь в Питере, обстановка сложная, нам отец говорил, что газеты пишут, зревает конфликт с Японией.

— Воевать на Дальнем Востоке? Да туда, как у Гоголя: месяц не доскачешь.

— Есть для этого паровозы.

Промелькнул ноябрь, Царское Село было все в снегу, начал действовать городской каток, и по воскресеньям Нюся с Валей, иногда с Андреем, старшим братом Нюси, иногда с Алешей, младшим братом Вали, бегали кататься.

А в сочельник — 24 декабря — две подружки с купленными елочными игрушками выходили из дверей царскосельского Гостиного двора: обе такие праздничные, возбужденные предстоящими рождественскими каникулами, в шубках, меховых шапочках, руки у Тюльпановой в муфте, щечки у обеих красные от стужи, носики тоже, пар из розовых губок, — и столкнулись с худощавым молодым человеком в гимназической тонкой шинельке и в фуражке, несмотря на мороз. Смуглое лицо его было словно смазано йодом. И глаза какие-то близорукие, впрочем, без очков.

— Здравствуй, Николя, — улыбнулась Валя. — Тоже за подарками?

— Да. — Голос у него отказался надтреснутый — то ли от простуды, то ли от курения.

— Познакомься, Нюся, — продолжала кокетничать приятельница, — это Николя из седьмого класса Николаевки. Николя, это Нюся Горенко.

Тот уставился на нее вроде бы невидящими глазами. А потом спросил:

— Так Андрей Горенко из нашей гимназии — ваш брат?

— Совершенно верно.

— Симпатичный мальчик. И на вас похож.

— Слышишь, Нюся? Это же скрытый комплимент. Брат — симпатичный, на тебя похож, значит, ты ему симпатична тоже. Он фактически объяснился тебе в любви! — И уже хохотала в голос.

Юноша не смутился, продолжая смотреть на Нюсю, не мигая. Помолчав, сказал:

— Говорят, у вас в Мариинке послезавтра бал-маскарад. Николаевцев тоже приглашали. Я идти не хотел, но теперь приду.

— Видишь, видишь, он теперь придет. Почему «теперь»? Потому что в тебя влюбился.

Неожиданно Нюся оборвала подругу:

— Валя, хватит ерничать. Это не смешно. Приходите, Николая, вместе потанцуем. Вы придумали уже маскарадный костюм?

— Нет, не знаю... Мой кумир — Оскар Уайльд. Я могу одеться в его манере — строгая английская тройка и цилиндр.

Валя все-таки не выдержала и вмешалась:

— Не забудь завить волосы и подкрасить губы. Ведь известно, что Уайльд — педераст.

— Фу, какие мерзости, — сморщилась Горенко.

— Правда, правда, — не унималась Тюльпанова. — Все об этом знают.

— Что ж с того, что он педераст? — снова не моргнул глазом гимназист. — Это личное его дело. Главное, что гений, пишет гениально.

— Ладно, мы устроим уайльдовские чтения как-нибудь в тепле, — закруглила разговор Валя. — Побежим домой греться. Ну, до встречи на маскараде, Николая!

— До свидания, барышни.

А когда они удалились на приличное расстояние, Нюся произнесла:

— Станный, несуразный... вроде не в себе...

— Да еще и стихи пишет. Все поэты — умалишенные.

— Ты считаешь? — отозвалась Горенко.

— Он тебе понравился?

— Издеваешься?

— Ну, понятное дело: у тебя один свет в окошке — сероглазый король, — хмыкнула Тюльпанова.

— Прекрати насмешки.

— Ах, прости, прости, я забыла, что вторгаюсь на священную территорию...

— Как фамилия этого Николая?

— Гумилев.

Предок Гумилева, судя по всему, был семинарист — именно в духовной семинарии те придумывали себе «околоцерковные» фамилии — Вознесенский, Спасский, Рождественский, Покровский — или от аналогичных латинских терминов: в частности, *humilis* значит «смиренный» (вспомним наше «умиление»), и поэтому Гумилев — все равно что Смирнов, Смирницкий...

И отец, и мать Гумилева были из дворян.

Мальчик с детства болел — начиная от астигматизма и кончая туберкулезом. И его лечили то в Крыму, то в Грузии. В Царское Село семья возвратилась в 1903 году. Николая продолжал хворать, пропускал уроки, и его бы отчислили из гимназии, если бы директор, словесник, не поддержал юного поэта. А стихи Николая в самом деле выглядели талантливо.

На рождественскую елку в Мариинской женской гимназии он действительно явился в костюме а-ля Оскар Уайльд, чем весьма шокировал окружающих; не снимая цилиндра, погруженный в думы, медленно бродил меж гостей в поисках Нюси. Наконец обнаружил: та была в костюме Коломбины. Деревянным, скрипучим голосом обратился к ней:

— Здравствуйте, Горенко. Я не знаю, как мне обращаться: Нюся — чересчур по-детски. Можно просто «Анна»?

— Сделайте одолжение, Николай. Не хотите ли сплясать польку?

— Нет, увольте. Бодрые мелодии не по мне. Если не возражаете, вальс.

— Хорошо, дождемся.

Танцевал неплохо, но немного скованно: неизвестно, кого вел — он ее или она его. Раскрасневшись, Нюся сказала:

— Я хочу зельтерской.

— Так идемте в буфетную.

Вытащил из кармана мелочь — этот жест был не слишком оскар-уайльдовский: джентльмен обязан иметь портмоне или, на худой конец, кошелек.

— Сколько стоит зельтерская, милейший? — посмотрел на буфетчика подслеповато.

Тот с лихими, закрученными кверху усиками, улыбаясь, спросил:

— Вам бокал или бутылочку-с?

— Нет, один бокал.

— Вы не будете? — удивилась Нюся.

— Ах, увольте, слишком холодна для меня: несколько глотков — и ангина.

— Полкопейки, — встрял буфетчик.

— Будь любезен, налей.

Девушка пила, Николая покачивался рядом на прямых ногах, с пятки на носок.

— Это правда, что вы пишете стихи? — задал свой вопрос как-то безразлично.

— Валька вам сказала? Болтушка! Иногда пишу. Но все больше рву. Слишком уж бесцветно выходит.

— Дайте почитать.

— Ох, помилуйте, и давать-то совестно: на каких-то клочках, обрывках... Разве что в тетрадку переписать.

— Так перепишите. Знаете, родители обещают мне денег, чтоб издать мои стихи книжечкой.

— Повезло.

Подошел Андрей, Нюсин брат, хоть и старший, но ниже ее по росту. Тоже зеленоглазый, впрочем, не брюнет, а шатен. Был в костюме Пьеро. Говоря, подфуфыкивал — вместо «с» и «з» произносил «ф»:

— Ньюфа, угофти фельтерфкой.

— Да меня самое угощает мсье Николая. Вы знакомы?

— Видимфя в гимнафии.

Гумилев снова вытащил мелочь:

— Я угощаю.

Осушив бокал, мальчик сообщил:

— Пофле бала едем на тройках кататьфя. Фообща недорого. Вы ф нами?

— Мы подумаем.

Набивались в сани всемером, ввосьмером вместо положенных трех-четырех; девушки визжали, кони храпели и копытами глухо стучали по наезженной мостовой. Кучер лихо посвистывал, щелкал кнутом и выкрикивал что-то на своем извоз-

чицком языке. А летящие мимо фонари (освещение в Царском Селе года два как перевели на электричество) превращались в яркую желтую полосу.

Гумилев с трудом удерживал цилиндр за поля, но когда наклонился, чтобы поцеловать Нюсю в щеку, головной убор вырвался из рук, и пришлось останавливаться, чтоб его догнать.

— Если вы боитесь ангин, отчего не носите зимней шапки? — проявила любопытство Горенко.

— Шапки мне как-то не идут.

— Разве здоровье не дороже красы?

— Может, и дороже, но ангина случится все равно, в шапке или без шапки, а зато я выгляжу подобающе, не похож на купчишку.

Проводил ее до дверей — угол Безымянного переуллка и Широкой улицы, дом Шухардиной. Деревяннo спросил:

— На каникулах что делать собираетесь?

— Как обычно: спать, гулять, читать, на коньках кататься...

— А хотите на Турецкую башню влезем?

Чуть ли не подпрыгнула:

— Ой, хочу, хочу!

— Я зайду за вами.

— Завтра, хорошо?

— Безусловно.

Но назавтра от него принесли записку: все-таки ангина, и довольно злая; умолял не сердиться и обещал совершить восхождение на башню после Нового года.

4.

Это «после Нового года» растянулось на два месяца, и поход состоялся только в первых числах марта. Было еще морозно, снежно, но веселое солнышко начало уже мягко припекать, и дубы вокруг башни выглядели проснувшимися после зимней спячки. Башню построили при Екатерине Великой, и на камне, замыкающей арку, высекли надпись: *«На память войны, объявленной турками России, сей камень поставлен 1768 году»*. И саму башню, соответственно, стали именовать Турецкой.

Нюся и Никола миновали арку и вошли в узкий коридор. Повернули направо, оказались на винтообразном пандусе и полезли наверх. Стены были кирпичные, старые, изнутри порытые инеем. Гумилев сказал:

— Башня не такая древняя, как выглядит. В те времена были в моде всякие руины античные, и ее намеренно построили как руину.

— Нас не сдует с верхней площадки? — Нюся поправила шерстяной платок под шапочкой.

— Нет, сегодня тихо.

Поскользнулась и едва не упала, он успел подхватить ее под руку и не отпускал потом, так и вел до самого верха. А она не сопротивлялась, чувствуя его крепкое плечо.

Вылезли наружу. Ветер все же посвистывал, он сметал снежинки с карнизов, сыпал ими в глаза, и от этого приходилось щуриться. Но открывшаяся кругом панорама зачаровывала, пьянила, словно полотно великого живописца: парки, домики, царские палаты, рядом казармы, речка во льду, крыша вокзала, почта... крошечные люди, лошадки... облака... И дышалось легко, празднично, свободно.

— Чудо, чудо! — восхитилась девушка. — Снизу всё не так, снизу всё обыденно, приземлено. А отсюда, с птичьего полета, — сказочно, воздушно. Проза растворяется в дымке, уступая место поэзии.

Молодой человек сказал:

— Так и мы: варимся в житейской белиберде, мучимся, болеем, проклиная себя, окружающую среду. Но лишь стоит подняться вверх, пусть на несколько метров, горизонт раздвинется, ширь тебя поглотит, и тогда поймешь, что мирок твой — чушь, пустяк по сравнению с грандиозным, всеобъемлющим миром. Ближе к небу — ближе к Богу.

Нюся вторила:

— Улететь, улететь из глупого мирка в грандиозный мир!

Он заверил:

— Улетим скоро. Вот окончу гимназию — поступлю в Морской корпус. Мой отец — корабельный врач, я мечтаю о море с детства. Даже не о море, а о путешествиях, дальних странах. Африка! Побывать в Африке — это грандиозно!

Обошли смотровую площадку.

— ...или в Индии, — почему-то произнесла гимназистка. — А потом в Японии... Я бы тоже с удовольствием поплавала по морям-океанам, но боюсь непременной качки. Иногда меня укачивает даже в авто.

Продолжая держать ее под руку, Николя приблизил к ней лицо — при его астигматизме так он видел девушку четче.

— Аня, Анечка... — От волнения голос поскрипывал еще больше. — Там, внизу, я бы не решился... Но под облаками... ближе к Богу... призываю вас принести совместную клятву...

— В чем? — недоуменно спросила она.

— В верности друг другу.

— То есть?

— Сохранять нежность чувств, что бы ни случилось, и, когда повзрослеем, поженимся.

Отстранившись, Горенко прыснула:

— Вы, должно быть, шутите, Николя?

Молодой человек насупился:

— Нет, нимало. Я люблю вас, Анна. Любите ли вы меня тоже?

Это показалось ей так напыщенно, театрально, что она рассмеялась в голос.

— Вас? Люблю? Нет, конечно.

Гумилев побледнел.

— Я противен вам?

— Отчего ж, симпатичны. А иначе не пошла бы к вам на свидание. Но мое отношение исключительно дружеское. Вы мне интересны как человек, а не как мужчина.

Он поник:

— Вы, должно быть, любите другого?

Нюся улыбнулась загадочно:

— Может быть...

— Кто он? — взвился Николя. — Я убью его!

— О, какие страсти! Вы его не убьете. Не посмеете даже прикоснуться.

— Почему?

— Он велик и практически недоступен. Он почти что Бог.

— Значит, я убью Бога!

— Не смешите меня и не богохульствуйте. Не упоминайте имени Его всуе. А иначе — возмездие.

— Нет, убью, убью, — Гумилев твердил, как безумец.

— Перестаньте. Что вы, право? И давайте забудем этот разговор. Или мы поссоримся. Вы хотели услышать мои стихи? Ну, так слушайте.

Молюсь оконному лучу —
Он бледен, тонок, прям.
Сегодня я с утра молчу,
А сердце — пополам.
На рукомоинке моем
Позеленела медь,
Но так играет луч на нем,
Что весело глядеть.
Такой невинный и простой
В вечерней тишине,
Но в этой храмине пустой
Он словно праздник золотой
И утешенье мне.

Николя молчал, осмысливая.

— Ну, что скажете? — посмотрела она с некоторым вызовом.

Тот ответил скрипуче:

— Складно, складно. Для начала очень недурственно. Но изъянов много. Что это за рифма: *моем — на нем?* Детская, *твое — мое*, слишком просто. Слово *глядеть* — просторечное. Надо *смотреть*. Отчего *храмина*, когда — *храмина*? А уж *праздник золотой* — вообще банальность. Вы спешите, ваш отбор случаен. Надо включать голову.

— Разве поэзия — не от сердца? — возразила Нюся.

— Да, конечно, от сердца. В первом своем порыве. Выплеснул на бумагу чувства — хорошо! Но отставил, забыл, через день-другой перечел и, коль скоро не выбросил, начал чистить, править и вылизывать... Словно живописец: маленький этюдик превращает потом в зрелое полотно.

— Но ведь если чистить, вылизывать, можно запросто выхолостить.

— А вот это уже — мастерство, искусство. — Ненавязчиво попросил: — Почитайте еще что-нибудь.

Девушка мотнула головой отрицательно:

— Нет, не хочется.

Заглянул ей в глаза:

— Вы обиделись?

— Нет, ну что вы! Но пойдемте вниз — что-то я озябла на высоте.

И до самой земли молчали.

— Не сердитесь, Анна, — попросил Гумилев подавленно. — Может, я действительно был излишне резок.

Нюся улыбнулась:

— Пустяки, не мучьтесь. Вы писали б так, я пишу иначе. Надо каждому позволить быть самим собою.

— Покоряюсь. Согласен.

— Вот и замечательно. В знак взаимного примирения предлагаю нам перейти на «ты».

Он оттаял:

— С удовольствием, с радостью. А хотите, выпьем на брудершафт?

— Если только чаю.

5.

Между тем Николай II был действительно поглощен войной, разразившейся в конце января на Дальнем Востоке. Преимущество Японии оказалось полным: современный по тем временам флот, дальнобойная артиллерия, концентрация сил плюс идея — утвердить главенство своей державы во всем регионе. У России дела обстояли хуже: флот и артиллерию перевооружить не успели, пушечное мясо двигалось эшелонами еле-еле, телефонная и телеграфная связь плохая, между генералами неизменный разлад, царь не знает, на что решиться... Не было порыва. Без порыва, злости, внутренней решимости каждого — от царя до последнего солдата — выиграть войну невозможно.

Впрочем, летом 1904 года некоторая надежда еще теплилась: несмотря на высадку японцев на Квантунский полуостров, русское командование ловко уходило от генеральных сражений, ожидая идущее подкрепление (сухопутные войска — по КВЖД, а Балтийская эскадра — по морю). В Петербург доносили о победах: мол, еще чуть-чуть, поднажмем, мужички поднатужатся, и дубинушка ухнет, сама пойдет, сама пойдет... Вместо стратегических разработок поголовно молились в церкви.

Царь молился и по другому, не менее важному (а может, и более важному) для себя поводу — о здоровье беременной императрицы. Ждали пятого ребенка в семье. До сих пор у монаршей четы рождались только девочки. Нужен был наследник. Год назад ездили к мощам Серафима Саровского, после чего Александра Федоровна и понесла. Все считали это добрым знаком.

Летом переехали в Петергоф. Дочки купались, а царица полулежала в кресле под тентом и, обмахиваясь веером, наблюдала, как они играют на берегу. Схватки наступили ранним утром 30 июля. Акушеры приготовились загодя, и начало родов не явилось ни для кого неожиданностью. Воды отошли своевременно. А в 15 минут второго пополудни появился младенец мужеского пола. Сразу же министр двора отстучал в Петербург его величеству телеграмму. Радостный Николай Александрович на автомобиле поспешил в Петергоф.

Празднества, молебны длились целый месяц. Эйфория постепенно заканчивалась и закончилась в августе двумя бедами. Первая пришла с Дальнего Востока: русский Порт-Артур оказался полностью отрезанным неприятелем от материка, без каких бы то ни было шансов на освобождение. И вторая беда — из детской цесаревича Алексея: у младенца возникло странно интенсивное кровотечение из пупка; с ужасом врачи констатировали гемофилию — скверную свертываемость крови, — генетическое заболевание, бывшее в роду у императрицы. Государь поседел от горя.

Бросив все дела, он сорвался и уехал в Царское Село. День и ночь беспробудно пил, но, дойдя до точки, все-таки сумел взять себя в руки, вовремя остановился. Силы восстанавли-

вались небыстро. Третьего сентября, накануне возвращения в Петербург, прогулялся в парке. Сел на лавочку возле пруда. Тростью пошевелил траву, слишком рано в том году пожелтевшую. Прошептал голубыми, спекшимися губами:

— Это рок, проклятье. Род Романовых обречен.

Вдруг услышал шорох приближающихся шагов. Царь не вздрогнул и не испугался. Террорист? Бомбист? Ну и пусть. Дед его, Александр II Освободитель, принял мученическую смерть от бомбиста. Не исключено, что и внуку уготована соответствующая судьба.

Но у лавочки вместо террориста появилась девушка в светлом платье. Черные прямые волосы и зелено-синие ясные глаза. Где он видел их?

— Здравствуйте, Клаус. Вы меня не помните?

Клаус? Отчего Клаус? Что-то смутное шевельнулось в его сознании, но никак не могло оформиться в нечто определенное.

— С вами мы встречались год назад — тут же, в парке. Я читала Бодлера...

Ах, ну да, ну да — гимназистка шестого класса. Как она выросла и похорошела за это время!

— Если не ошибаюсь, Нюша?

— С вашего позволения, Нюся. Впрочем, лучше — Анна.

— Хорошо, Анна. Да, я вспомнил. Соболаговолите присесть. Расскажите, как у вас дела, комман са ва?

Пальчиком поправила челку.

— Мерси бьен, все идет своим чередом. А у вас? Выглядите измученным.

Он вздохнул:

— Да, отчасти. Дома и на службе много неприятностей.

— Я могла бы чем-нибудь помочь?

Грустно улыбнулся:

— Вряд ли, вряд ли. Но спасибо за такое участие.

— Вам бы съездить отдохнуть куда-нибудь. В Баден-Баден или на Ривьеру.

— Вероятно, так. Но дела не отпустят. — Дернул себя за правый ус. — Вы со мной бы поехали? — И прищурился с некоторой игривостью.

Девушка покраснела.

— Шутите, наверное?

Клаус глаза прикрыл:

— Да, немного...

— Вот когда всерьез пригласите, я тогда и скажу серьезно.

— Хорошо, подумаю. — Как и в прошлый раз, вытащил из кармана хронометр. — Извините, пора. — Он поднялся и дотронулся до полей шляпы. — До свиданья, Анна.

— До свиданья, Клаус. Приходите завтра на это же место.

Отрицательно повел головой:

— Не приду: через четверть часа уезжаю отсюда в Петербург.

— А когда вернетесь?

— Бог весть.

— Приходите, как только сможете. Буду ждать.

— Ждите, Анна, ждите. Мне теплее станет на сердце от осознания, что меня кто-то искренне ждет.

Коротко кивнул и ушел по аллее, скрывшись за деревьями вскоре.

А она, чувствуя, как слезы застилают глаза, еле слышно проговорила:

— Сохрани вас Господь, Николай Александрович...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1.

Румилев решил покончить с собой. Мысль о самоубийстве тешил он давно, а с тех пор как Горенко отказала ему в очередной раз, превратилась в навязчивую идею. Ничего и никто не держал Николя на этом свете. Жизнь теряла смысл.

Было душное парижское лето 1908 года. От жары не спасали ни сквозняки, ни холодное пиво. Молодой человек лежал полуголый у себя на съемной квартире под открытым окном, ноги закинута на спинку кровати, и курил почти беспрерывно. Легкие откажут? Ну и пусть. Сердце остановится? Так ему и надо. Никаких желаний. Только умереть.

Пять лет коту под хвост. Пять лет метаний, поисков себя и всегдашних фиаско. После гимназии поступил в Морской корпус, как и мечтал, но болезненный организм не справлялся с нагрузками службы-учебы, постоянно сбоил, косяком пошли пропуски занятий, незачеты, хвосты, и в итоге — отчисление позорное. Он хотел стреляться, но родные вовремя подсказали выход: ехать в Париж, в Сорбонну, и учиться по любой из гуманитарных специальностей. Скажем, на этнографа. Изучать народы Африки. Ведь ему этого хотелось всегда. Николя зажегся — Африка, Африка, Абиссиния! Он, этнограф, отправится в Абиссинию, где живут эфиопы, родичи арапа Петра Великого. В Абиссинию — и никуда больше!

Кутерьма Парижа, шумные пирушки, кафешантаны, дерзкие плясуньи без панталон, потрясающие музеи, город как музей, приобщение к великой культуре, улочки, по которым ходили Мопассан, Гюго, Золя, Флобер... Гранд-Опера и Булонский лес... Гумилев воспрянул и почувствовал свежее дыхание. Даже снова начал писать стихи, издавать с друзьями частный литературный журнальчик «Сириус»...

Да, за эти пять лет он писал неровно. То стихотворения шли одно за другим, то случались месяцы бесплодности, отвращения к перу и бумаге... Вышел первый его сборник, изданный на средства родителей, — «Путь конквистадоров», 76 страниц, 300 экземпляров. Экземпляр был послан Горенко в Евпаторию. Но не Нюсе, а ее брату. С Нюсей он тогда был в разрыве...

Впрочем, девушку понять можно: тяжело перенесла расставание матери и отца и кончину сестры Инны.

Инна в 1904 году вышла замуж за студента Петербургского университета Сержа фон Штейна. Оба были счастливы и устраивали у себя на квартирке в Царском Селе «журфиксы» — вечеринки по средам, где друзья общались и читали стихи. Там-то Нюся и познакомилась с этим светским щеголем — Голенищевым-Кутузовым. Тот немного напоминал Николая II, только выше и помоложе. Барышня влюбилась, Голенищев не замечал, и его холодность распаляла ее еще больше. Гумилев хотел с ним стреляться, вызвал на дуэль, но аристократ, смеясь, отказался, уверяя, что между ним и Горенко ничего нет и быть не может. Николя тогда чуть-чуть успокоился...

А потом от туберкулеза умерла Инна. И мадам Горенко, разведясь с мужем, увезла оставшихся детей — Анну, Ию, Виктора и Андрея — на житье и лечение в Евпаторию. Расставание было грустное: Гумилев молил о любви, а она твердила, что не может жить без другого. «Голенищева?» — наседал Николя с дрожью в голосе. Но она сохраняла молчание... Он тогда поклялся, что забудет о ней навсегда. А потом не выдержал и послал сборник...

Видимо, надеялся на признание. Видимо, считал: Нюсю растревожат и расшевелят его вдохновенные строки. Он оттачивал их, словно на токарном станке. Техника безупречна. Да, она прочтет и полюбит. Будет сражена его гением.

Николя не знал по молодости лет: женщина, влюбленная в строки, очень редко становится праведной женой; и наоборот — праведной жене строки гения безразличны по большей мере, преданные женщины любят гениев не за гений...

Нюся промолчала. Ей действительно было не до него: по решению матери, переехала с гувернанткой в Киев к тете, маминой сестре, — отучиться в выпускном классе гимназии. Гумилев узнал об этом из письма Андрея и решил, едучи в Париж, завернуть в город на Днепре. Появился на пороге ее квартиры с необъятным букетом роз. Нюся ахнула: «Ты? Сюрприз!» — и как будто бы нечаянно чмокнула его в щеку. Он спросил: «Выйдешь за меня, как вернусь из Парижа?» И она ответила: «Выйду».

Это было счастье! Длившееся полгода. Напечатал ее стихи у себя в «Сириусе». И мечтал о свадьбе. Возвратился в Россию, чтобы отбывать обязательную воинскую повинность, но его освободили по здоровью. Устремился в Крым, где опять собралась вся семья Горенко (Нюся, получив аттестат зрелости, собиралась поступать на Высшие женские курсы, а пока поправляла здоровье). Радовалась приезду Николя и читала ему новые стихи. Гумилев удивлялся происшедшей в ней перемене: обретала женственность, плавные движения рук и корпуса, поворачивала голову по-царски. Прежняя домашняя киска превращалась в пантеру.

Шли по берегу моря, он читал ей Блока, а она молчала, низко наклонив голову. Взял ее ладонь, нежно произнес:

— Ну, так ты не передумала выходить за меня?

Дрогнули ресницы, веки взмыли вверх:

— Разве я давала согласие? — губы сложены иронично. — Ты не перепутал?

Молодой человек опешил:

— Как, а в Киеве, у твоей кузины? Да она свидетель — хоть ее спроси.

Отвела глаза:

— Да, припоминаю... Это был порыв, под наплывом чувств... Но теперь? Не уверена... Я пока в сомнении...

Николя вспылил: ты имела время подумать с мая месяца. Сколько можно меня терзать? Прекрати ребячиться. Ведь тебе уже восемнадцать!

— Прекратить ребячиться не хочу. Или не могу.

Неожиданно они наткнулись на берегу на тела двух выброшенных морем мертвых дельфинов. Туши разлагались, запах шел ужасный. Нюся сжала ноздри и, согнувшись, вытаращив глаза, убежала в кусты; там ее вырвало. Николя увел девушку от трупов, усадил на камень, долго обмахивал носовым платком. Наконец она успокоилась и сказала:

— Вот какой страх и ужас. И дурной знак для нас.

— Перестань, не думай.

— Нет, не говори, это не случайное совпадение. Говорим о женитьбе — и внезапно такое! Это Провидение. Нам нельзя быть вместе.

Никакие доводы не смогли ее переубедить.

Гумилев, чтобы как-то прийти в себя, заглянул тогда же на дачу к Максимилиану Волошину в Коктебеле. Знали они друг друга лишь заочно, в том числе и по переписке. Первая встреча получилась веселая, у Волошина жила целая орава стихотворцев и живописцев, все дурачились, хохотали и купались в море нагими. Но когда Николя начал волочиться за молоденькой поэтессой Лизой Дмитриевой (Макс помог ей публиковаться под псевдонимом Черубина де Габриак), вдруг возникла распря — то ли сам Волошин претендовал на ее любовь, то ли просто защищал невинную девушку от «сластолюбивого Гумилева», но скандал вышел грандиозный, оба скверно ругались, а потом Николя, по своей привычке, вызвал Макса на дуэль, и хо-

зяин дачи принял вызов. Все старались их помирить, но и тот, и другой продолжали упрямиться по-ослиному. В результате все-таки вышел фарс: Гумилев прождал соперника в назначенном месте полтора часа, не дождался и в бешенстве побежал его разыскивать. Разыскал: тот бродил вместе с секундантами по соседнему топкому лугу и искал потерянную Максом по дороге калошу. Николая рассмеялся, и раздор был исчерпан.

Вскоре Гумилев вернулся в Париж. Вновь нахлынули мысли о Горенко, он ругал себя за свою симпатию к ней, а ее — за любовь к кому-то другому. Может быть, к Кутузову. Или даже... Валька говорила однажды, будто ее подруга влюблена в императора. Якобы они познакомились на прогуле в парке Царского Села. Что за бред? Николая не единожды гулял в этом парке и ни разу не встречал там царственных особ. Ну, допустим, все же познакомились. Разве можно влюбиться в нечто, находящееся в ином измерении? Где монарх, а где мы? Параллельные, которые никогда не пересекутся.

Гумилев тогда написал стихи:

С тобой я буду до зари,
Наутро я уйду
Искать, где спрятались цари,
Лобзавшие звезду.

У тех царей лазурный сон
Заткал лучистый взор;
Они — заснувший небосклон
Над мраморностью гор.

Сверкают в золоте лучей
Их мантий багрецы,
И на седилах их кудрей
Алмазные венцы.

И их мечи вокруг лежат
В камнях дорогих,
Их чутко гномы сторожат
И не уйдут от них.

Но я приду с мечом своим.
Владеет им не гном!
Я буду вихрем грозовым,
И громом, и огнем!

Я тайны выпытаю их,
Все тайны дивных снов,
И заключу в короткий стих,
В оправу звонких слов.

Промчится день, зажжет закат,
Природа будет храм,
И я приду, приду назад
К отворенным дверям.

С тобою встретим мы зарю,
Наутро я уйду
И на прощанье подарю
Добытую звезду.

Детские, наивные строчки. Ничего от прежних чувств не осталось. Гарь, зола, тлеющие угли. Царь в алмазном венце победил. Не отдал звезду. Подарить возлюбленной больше нечего.

Утром 17 августа Гумилев тщательно побрился, надушился и, одевшись в лучшее белье, вышел из дома. Жил он неподалеку от Гар-дю-Нор (Северного вокзала) и поэтому отправился на него. Взял билет в один конец, к морю — в городок Трувилль-сюр-Мэр: именно туда шел ближайший поезд. Оказался в купе с безобразной старухой, от которой несло тленом, и влюбленной парочкой, непрерывно шептавшей друг другу на ушко нежности. В раскаленном вагоне было душно, Никола опустил стекло, но старуха заверещала, что ей дует, и пришлось закрыть. Он подумал: «Да не все ли равно, от чего сдохнуть — от жары или в море?» — и смирился, обливаясь потом нещадно.

Городок был миленький. Крошечные домики, небольшая набережная. Этакая Ницца для бедных. Под навесом торговали

морепродуктами — на лотках шевелилась свежевывловленная рыба, поводил черными глазами лангуст.

Гумилев вспомнил двух дельфинов на берегу в Евпатории, и его сердце сжалось. Анна была права: символический знак. Скоро и его тело выбросит волной, как того дельфина.

Он спустился к морю. Выбрал камень потяжелее, чтоб не дал возможности всплыть. Обвязал его веревкой, взятой с собой в Париже, и другим концом обмотал себе шею. Посмотрел на лазурный горизонт, облачка, на качающиеся вдалеке лодки, глубоко вздохнул и, проговорив: «Прости мя, Господи», твердой походкой направился в воду. Глубина наступала не сразу, но потом дно пошло быстро вниз, Николя скользнул в бездну, и его накрыло с головой.

Разноцветные пузырьки замелькали перед глазами. И дышать стало нечем. Захотелось всплыть, вырваться из плена, но проклятый камень не пускал на поверхность.

Дальше — тишина и провал.

А потом он увидел над собой бородатых мужчин в белом. И подумал, что это ангелы. Или даже архангелы.

Но услышал громкую французскую речь:

— Vif! Vif! (Жив! Жив!)

Кто жив? Николя жив?

Повертел головой. Да, действительно: он лежал на песке, весь мокрый, а кругом стояли мужики в простых робах. Видимо, его выловили в море и потом откачали. Негодяи. Кто их просил? Впрочем, значит, Богу не нужна еще эта жертва. Получается, позже.

Сел, почувствовал головокружение. Начал кашлять, сплевывать какую-то слизь изо рта. Водоросли, что ли? Неожиданно возник полицейский, начал спрашивать, что произошло, кто такой, откуда? Гумилев сказал на французском:

— Ничего, ничего. Всё уже в порядке. Это была ошибка.

Тем не менее его привели в участок, сняли показания. Без конца допытывались, не бродяга ли он. Николя сказал, что студент, учится в Сорбонне, но ему отказала девушка, и в минуту скорби захотел утопиться.

— О, любовь! — улыбнулся полицейский. — Кто из нас не топился от неразделенной любви? Я вас понимаю.

Но назначил штраф. Свой бумажник Гумилев не нашел — то ли выпал в воде, то ли свистнули мужики-спасатели, но в жилетном кармашке оказалась записка — свернутая банкнота в двести франков. Этого хватило — и на штраф, и еще на билет в Париж (правда, третьим классом). Ехал сам не свой, в высохшей на жару, но мятой одежде, непричесанный, бледный. Публика его сторонилась.

Возвратившись на съемную квартиру, молодой человек рухнул на кровать и проспал часов десять. А проснулся от стука в дверь. Отворив, не поверил своим глазам: на пороге стоял Андрей, Нюсин брат. Внял уговорам Гумилева и приехал в Париж учиться.

2.

Мировые события этих лет не коснулись семьи Горенко. Жили они преимущественно собственными заботами, занимались больше здоровьем, нежели следя за политикой. И какая политика в тихом, теплом Крыму, а потом в Киеве? Да, узнали о поражении России на Дальнем Востоке, об ущемленном мирном договоре, по которому часть Сахалина отходила японцам. Ну, обидно, ну, стыдно, но не так, чтобы слишком — где он, Сахалин, и где Крым? Да, наслышаны о событиях 1905 года в Питере на Дворцовой и в Москве на Пресне. Кто-то называл это революцией, кто-то — мятежом. С интересом узнали о царском Манифесте, разрешавшем разные свободы. Хорошо, конечно. Но семейству Горенко-то что? Им в конечном счете ни лучше, ни хуже. И про выборы в Государственную Думу знали понаслышке: дети не участвуют, женщины тоже, а вообще от политики следует держаться подальше. Петр Аркадьевич Столыпин? Симпатичный, умный господин. Обещал процветание. Начал всяческие реформы. Пусть. Если сложится, будем только за.

После разрыва с Николя (тем, когда нашли двух несчастных дельфинов) Нюся, чтобы стало повеселее, предложила Андрею накануне его отъезда в Париж совершить велосипедное путешествие вдоль всего морского побережья — в Феодосию и обратно. Мама возражала — где они станут ночевать, чем

питаться? — но наследники обещали уложиться в три-четыре дня, останавливаться в Ялте и Коктебеле у родичей и знакомых. Матери пришлось покориться.

Было славно: чудная погода, ласковое море, уморительные чайки, важно расхаживающие по берегу. Хлеб и молоко покупали у местных. В Ялте оказались в тот же день к вечеру, отдохнули в доме у приятелей (их глава семейства был морским офицером, капитаном второго ранга), а на следующее утро покатили дальше. В Феодосии жил двоюродный брат отца, и в его доме Нюся и Андрей также заночевали.

На обратном пути сделалось прохладнее, даже иногда капал дождик. У Андрея слегка разболелось горло, и пришлось задержаться в Ялте. Нюся поскучала немного у постели больного, но потом решила прогуляться сама по окрестностям города.

Было раннее утро 5 августа. Солнце еле-еле вылезало из моря, словно бы не выспалось и хотело еще вздремнуть, укрываясь волнами. Гладь воды простиралась до горизонта — ни малейшего всплеска, ни малейшего шевеления. Совершенно пустынный берег. И дыхание вечности.

Девушка бесстыдно (кто увидит?) скинула с себя всю одежду и, повизгивая от утренней свежести, бросилась в воду. Плавала, плескалась, фыркала от счастья. Вот оно, блаженство! Абсолютно иное ощущение, чем в купальном костюме. Первозданность плоти. Будто Ева в райском саду.

Только пожалела потом, что с собой не взяла полотенце и пришлось надевать белье на мокрое тело. Обсыхая, шла вдоль берега, не спеша толкая велосипед. А спустя минут сорок повернула назад.

И внезапно увидела его — Клауса. Он стоял, опершись на руль своего велосипеда, — видимо, только что подъехал, — в легкой шляпе, белых брюках и сорочке апаш. И смотрел в море. Как? Откуда здесь? Ну конечно же: рядом Ливадийский дворец, летняя резиденция его величества...

— Здравствуйте, Клаус.

Удивленный, повернул голову. Был намного бодрее, чем прошлый раз в парке. И глаза излучали не боль, но душевное равновесие.

Улыбнулся ласково:

— Господи, вы? Вот не ожидал.

— Да, я тоже.

— Отдыхаете в Ялте?

— Нет, живем в Евпатории. Здесь в гостях у друзей.

— А, понятно. Разрешите вас немного сопроводить?

— Я была бы счастлива.

Молча шли и катили каждый свой велосипед. Наконец он спросил:

— Учитесь еще?

— Поступаю на Высшие женские курсы.

— И стихи продолжаете писать?

Вспыхнула польщенно:

— Вы и это помните? Да, пишу. Иногда.

— Есть жених?

Чуточку помедлила.

— Есть и нет.

— Как сие понять?

— Юноша один сделал предложение, только я ему отказала.

— Отчего? Вы его не любите?

— Не люблю. Я люблю другого.

— Вот как? Ну, а тот, ваш любимец, сделать предложение не торопится?

— Мы давно расстались. Он живет в Питере, у него другие привязанности.

— Жалко, жалко...

Снова помолчали. Вдалеке замаячили окрестности Ялты. Клаус проговорил:

— Ну, пора прощаться. Опоздаю к завтраку — получу нагоняй от близких.

— Да, и мне пора.

— Рад был вновь увидеться.

— Тоже рада...

Он достал из кармана портсигар и серебряный карандашик. Разломил одну папиросину, вытряхнул табак и расправил патрон из бумаги. Написал на нем несколько цифр. Протянул Нюсе.

— Это мой личный телефон. Без секретаря. Коль возникнет надобность, позвоните — чем смогу, помогу.

— Что вы, что вы, я не посмею... — покраснела она.

— Бросьте, не стесняйтесь. Вы мне симпатичны — этого достаточно. — Клаус взял ее за руку, потянул вниз (девушка была на полголовы выше) и поцеловал в щеку. — Ну, прощайте, сударыня. Бог даст, свидимся еще. — И, не обернувшись, поспешил в обратную сторону.

Проводив царя взглядом, Нюся поцеловала бумажку с номером и запрятала его на груди.

3.

«Дорогой Николая! Получила твое странное послание, непонятное и сумбурное, с обвинениями в мой адрес. Чем я провинилась? Тем, что не люблю? Сердцу не прикажешь, увы. Мы друзья — разве это плохо? По друзьям скучают не меньше, а при встрече тоже целуются, но не по любви, а по дружбе. Разве непонятно? Ты меня упрекаешь в глупых фантазиях, намекая на мою якобы влюбленность в царскую особу. Кто тебе наплел эту чепуху? Валька? Но она сама ничего не знает и знать не может. И не ваше с Валькой это дело, кто мне нравится. А тебе разве кто-то позволял упрекать меня в чем бы то ни было? Вот и успокойся. У тебя своя судьба, у меня своя. И они, судя по всему, не пересекутся матримониально. Умоляю еще раз не думать и не бунтовать, посмотреть на все трезвыми глазами и переключиться на иную какую-нибудь особу, более достойную тебе в жены. Сам подумай: я — и семейная жизнь? Абсурд. Бытовые мелочи вызывают во мне отвращение. Делаться домработницей не желаю, а на горничную денег у нас с тобою не хватит. Так что и не думай. Ты окончишь Сорбонну, я со временем — мои курсы, подрастем, поумнеем и там посмотрим. Не грусти! Помню о тебе. А.»

Гумилев дважды перечел полученное письмо, а потом порвал его в клочья и подбросил их над собой — те посыпались на него белым конфетти. Проворчал: «Дура. Психопатка. Как

я был смешон, ухаживая за ней! Мне никто не нужен вообще. Впрочем, как и я — никому. Если б утопился на самом деле, то никто бы и не вздохнул с сожалением. Бесполезное существо. Хуже муравья. Тот хотя бы знает, что делать: строить муравейник, помогать товарищам, защищать входы-выходы, охранять потомство и так далее. А мое бытие бессмысленно. Цели нет. Оттого и боль».

Появился в Сорбонне, посмотрел расписание экзаменов, покурил на лавочке, заглянул в библиотеку, но, увидев очередь, развернулся и не выбрал ни одной книжки. На обратном пути прихватил у торговки кувшин вина, а затем в аптеке — пачку люминала. Сел на конку и поехал в Булонский лес. Равнодушно смотрел на бегущие мимо улочки: вот не станет его, а Париж не изменится; и ничто не изменится в целом мире; уходили тысячи, миллионы, Чингисхан, Петр Великий, Наполеон, а Земля оставалась прежней, словно ей и дела нет до страстей людских. Даже с каким-то явным сладострастием расправляется она с нами, якобы царями природы, а на самом деле — жалкими муравьями. Хуже муравьев.

Значит, все правильно. И теперь уж он доведет дело до конца.

Было два часа пополудни. После жаркой конки лес его успокоил, даже убаюкал. Вековые деревья. Бесконечные извилистые тропинки. Зеленеющая поверхность прудов. Насекомые, рассекающие воздух с жужжанием. Все идет по своим законам. Только человек, наделенный разумом, чужд системе. Разум есть, а физических сил что-то изменить не хватает. Если изменяет, то к худшему.

Сел под дерево на траву, опершись спиной и затылком о кору ствола. Шляпу положил рядом. Камушком сбил сургуч с горлышка кувшина, перочинным ножиком выковырял пробку. Сделал три-четыре глотка. А вино было неплохое, легкое, в меру сладковатое и тягучее. Он такое любил. Маленький подарок перед смертью.

Вытащил таблетки, начал их глотать одну за другой, смачно запивая вином. Десять штук. Лошадиная доза, чтоб заснуть и уже больше не проснуться.

Маму чуточку жаль. Хоть она и строгая, но по-своему его любит. Сильно огорчится. Даже, вероятно, поплачет. Но, конечно, с неизменным упреком: «Колька, дурень, что же ты наделал, паршивец?» Ничего, утешится. Время лечит.

Нюся, разумеется, плакать не станет. Плечиком пожмет: «Ненормальный». В лучшем случае сочинит стишок. С рифмами «кровь — любовь». Идиотка.

Идиоты все. Нет нормальных людей. Век безумцев.

Значит, хорошо, что такой финал. Если не сам себя, то тебя прикончат идиоты вокруг. Быть иного не может. Жить в эпоху умалишенных и остаться в здравом рассудке нельзя. Таковы правила.

Он допил вино. Начали слипаться глаза. Ах, какое наслаждение в теле! Очищение. Отрешение от всего скверного. Крылья за спиной. Это его душа просится на волю. Скоро, скоро. Полечу в божественные чертоги. Оставайтесь с Богом, земляне. Лихом не поминайте...

Гумилева нашли местные лесничие, совершавшие ежедневный обход своих владений. Поначалу они подумали, что худющий молодой человек просто выпил лишнего, но потом обнаружили у него в руке упаковку от люминала и сообразили, что дело плохо. Подхватили тело под мышки и рысцой потащили в свою конторку, где висел телефон — чтобы вызвать станцию, надо накрутить ручку. «Барышня, барышня, срочно карету скорой помощи к выходу из Булонского леса!..» А пока ждали медиков, сами попытались вызвать у несчастного рвоту. Получилось. Так что, когда прибыли врачи, Николя уже глубоко дышал, кашлял, хрипел и смотрел на мир невидящими глазами. Доктора промыли ему желудок, увезли с собой. Положили на койку в какой-то общедоступной больничке, где в одной палате находилось двадцать кроватей. Наконец он пришел в себя, и ему разрешили выпить чаю. Словом, самоубийство номер два также не увенчалось успехом.

Посетил полицейский, снова составлял протокол. Сообщил, что начальство донесет о случившемся в русскую миссию. А вообще его могут выслать из страны за неблагонадежность. Гумилеву говорить было трудно, рот и язык слушались неважно, он по большей части молчал.

А когда Николая отпустили и, вернувшись к себе на квартиру, он сидел на кушетке и подавленно размышлял, что с собой делать дальше, в дверь его постучали. Думал — Андрей Горенко, но нарисовался плотный господинчик с офицерскими усиками ежиком. Приподнял черный котелок — голова оказалась бритой наголо. Желтые кошачьи глаза. И улыбка довольно липкая.

Поздоровался со студентом по-русски, но с французским прононсом:

— Здравствуйте, мсье Гумилев. Здравствуйте, милейший Николай Степанович!

— С кем имею честь? — хмуро отозвался поэт.

— Разрешите, я сяду? — И, не выслушав разрешения, плюхнулся на единственный стул в комнате. — Я работаю в русской миссии. — Протянул руку. — Юрий Павлович.

Пальцы были толстые и кургузые. Николая их пожал с внутренней брезгливостью.

— Нам сообщили из полиции... — Гость вздохнул печально. — Что же вы, голубчик? Да еще, оказывается, во второй раз? Понимаю: любовь, страдания, юношеские мечты... Но нельзя же замыкаться только на личном. Это мелко, батенька. Вы забыли о Родине, о России. Ей нужны люди вроде вас. Очень, очень нужны.

— Неужели? — пробубнил Николая со скепсисом в голосе.

— Да, представьте себе, — вдохновился пришелец. — Вы, студент-этнограф, специализирующийся на Абиссинии. Удивляться нечему, мы всё знаем, ибо в этом и заключается наша работа... Абиссиния, да! Лакомый кусочек, за который борются Англия, Италия и Франция. У России тоже есть свои интересы... Большинство абиссинцев, то бишь эфиопов — православные. Вера к ним пришла из Константинополя. А Константинополь, ныне турецкий, тоже в зоне нашего внимания... Словом, если вы хотите с нами сотрудничать, мы поможем вам остаться во Франции и закончить образование, а потом снарядим в Абиссинию для разведки...

Гумилев уставился на него с недоверием. Наконец спросил:

— Полагаю, вы шутите, Юрий Павлович?

— Отчего же? Нет. Это более чем серьезно. Я скажу больше: если вы подпишете с нами контракт, мы готовы профинансировать вашу дальнейшую учебу в Сорбонне.

— А какой контракт, простите?

— Договор о взаимодействии. По нему, вы становитесь тайным сотрудником нашей военной разведки.

— Говоря иначе, шпионом?

Гость расхохотался, шлепнув себя по мясистым ляжкам, обтянутым брюками.

— Разве дело в терминах, Николай Степанович? Для кого-то шпион, для кого-то разведчик... Впрочем, не сомневайтесь: на Европу ваша активность не будет распространяться. По Европе у нас немало других людей. Здесь вы только студент, не более. А вот в Абиссинии... Исключительно в Абиссинии... Разве не заманчиво? Разве вы мечтали о чем-то ином? Так давайте же станем друг другу полезными.

Гумилев криво усмехнулся:

— Наш с вами разговор ничего не напоминает?

Юрий Павлович вскинул брови:

— Нет, а что?

— Разговор Мефистофеля с Фаустом. Душу в обмен на прекрасное мгновение...

Визитер расплылся:

— О, поэт есть поэт! Видит во всем аллюзии и реминисценции. — Но потом быстро посерьезнел: — Не волнуйтесь, я не Мефистофель, мне нужна не душа ваша, а отчеты по наблюдениям в Африке. Больше ничего.

Николя спросил:

— Можно я подумаю?

— Разумеется, — покивал искуситель, — разумеется, думайте, Николай Степанович. — Он поднялся. — Но недолго. До завтра. Завтра я приду с текстом договора. Вы его подпишете, коли согласитесь.

— Хорошо, до завтра. — И пожал его руку с большей симпатией, нежели при встрече.

А когда Юрий Павлович откланялся, даже улыбнулся. Черт возьми, жизнь подбрасывала ему удивительный шанс. В третий раз накладывать на себя руки не хотелось.

Нюся, возвратившись осенью в Киев, поступила на Высшие женские курсы при университете. Их основали еще во время царствования Александра II — в краткий период вольности и надежд, в том числе на принятие Конституции, переход России к конституционной монархии, но потом Александр III это все свернул, растоптал, отменил, заодно и почти что все институтские учреждения для женщин. Курсы возобновились после октябрьского Манифеста Николая II...

Нюся выбрала юридическое отделение. Ей, конечно, было ближе по духу историко-филологическое, но последнее не давало надежд на приличные заработки. А зато служба в нотариальной конторе обещала финансовую свободу, а она, в свою очередь, свободу творческую.

Продолжала писать стихи. Брат Андрей переслал ей в Киев из Парижа номер «Сириуса», где она увидела напечатанным свое стихотворение. Вот оно:

На руке его много блестящих колец —
 Покоренных им девичьих нежных сердец.
 Там ликует алмаз, и мечтает опал,
 И красивый рубин так причудливо ал.
 Но на бледной руке нет кольца моего.
 Никому, никогда не отдам я его.
 Мне сковал его месяца луч золотой
 И, во сне надевая, шепнул мне с мольбой:
 «Сохрани этот дар, будь мечтою горда!»
 Я кольца не отдам никому никогда.

Подпись: *Анна Г.*

Это «Анна Г.» ее покорило. Ладно, если просто «Горенко», но возможно, Гумилев имел в виду, что она, выйдя за него, будет Гумилева? Или, негодую, он имел в виду нехорошее слово на букву «г»? Ни один вариант Нюсю не устраивал. Никаких «г», ни Горенко, ни Гумилева. Мамина девичья фамилия — Стогова. Может, «Анна Стогова»? Да, звучит неплохо. Но не царственно. «Стог», «стожок» и «копна» — слишком призем-

лено. Бабушка рассказывала, будто их предок — хан Ахмат из Орды. Может быть, «Ахматова»? Симпатично.

Посещала курсы поначалу с энтузиазмом, с интересом постигая историю права и латынь. Но когда пошли чисто юридические предметы, как-то приуныла. Вероятно, все-таки надо было идти на историко-филологическое, там живее вроде бы, не сплошная схоластика.

Забегала в салон художницы Саша Экстер. У нее в студии собирались живописцы, журналисты, писатели. Пили крымские вина и болтали о разных разностях. Заводили романы. Только Нюсе никто не нравился. Сохраняла верность Голенищеву-Кутузову. Или Клаусу? У нее в воображении оба эти образа как-то объединились в один предмет неразделенной любви. Тосковала по обоим, и ни по одному в частности. Кто поймет направление мыслей юной девы, да еще и поэта?

Заходила в церковь. Чаше — в Софийский собор. Прикасалась кончиками пальцев к ледяному мрамору саркофага Ярослава Мудрого. Устремляла взор на мозаику потолка, купола. На Оранту — Богоматерь с воздетыми дланями. И заглядывала в очи Христу. Шевелила губами, умоляя о милости. Он смотрел вроде бы сочувственно.

Неожиданно получила письмо от Гумилева. Он вернулся в Санкт-Петербург и готовит к печати новый сборник своих стихов — «Романтические цветы», посвященный А.Г. Если А.Г., конечно, не против. Предлагал присылать ее поэтические работы для журнала «Аполлон», где он подвизается вместе с друзьями.

Нюся ответила. Кое-что послала из новенького. Всё за подписью «Анна Ахматова». Приглашала в гости в Киев. Можно организовать творческую встречу, выступление литераторов северной столицы, даже билеты продавать. Киевская публика будет в восторге.

Николя написал, что подумает. Он готовится к путешествию в Африку по своей специальности этнографа (обнаружились заинтересованные спонсоры) и надеется по дороге в Одессу, где он сядет на пароход в Абиссинию, задержаться на несколько дней в Киеве. Снова объяснялся в любви. Нюся улыбалась, но надежд не давала.

Летом отдыхала в Крыму. Снова на велосипеде ездила к Ялте и обратно. И на этот раз ей не встретился никто, кто бы жил в Ливадии. Потому что такие встречи не планируются намеренно. Потому что судьба. Видимо, ей не суждено больше говорить с Клаусом. Позвонить ему она не решалась. Параллельные прямые никогда не пересекаются. Глупо даже мечтать. Голенищев-Кутузов и тот не увлекся ею. Им она не нужна. Только Гумилеву. Бедный Гумилев! Он ведь тоже не нужен ей.

Саша Экстер загорелась идеей провести в Киеве литературный вечер, пригласив гостей из столицы. Обозвали мероприятие «Остров Искусств». На него в конце ноября прикатили из Питера Алексей Толстой, Петр Потемкин, Михаил Кузьмин и, естественно, Николай Гумилев. Все такие молодые, амбициозные, озорные. Сибариты и бонвиваны, гедонисты. Обожающие вкусную еду, крепкое питье и горячих барышень. Только Гумилев проводил время исключительно с Нюсей.

«Остров Искусств» прошел блестяще, Нюся хлопала, сидя в зале и гордилась своим знакомством с этими столичными штучками. Но еще и говорила себе: ничего, ничего, час ее придет, и уже они будут в зале, а она на сцене. Мир запомнит ее, а не их.

После вечера не спеша брели с Николя по Крепцатику. Было зябко, падал мелкий снег. Гумилев, как всегда, щеголял в легкой фетровой шляпе не по сезону. Чтобы уберечь его от простуды (ведь ему задерживаться нельзя, пароход в Африку ждать не станет), Нюся предложила погреться в ресторане гостиницы «Европейская». В зале было жарко и шумно. На рояле бренчала какая-то полупьяная личность в сальном фраке. Подбежал кудрявый гарсон с влажным полотенцем на левой руке: «Господам кушать или выпить?» Гумилев попросил: «Кофе и пирожные». — «Сей момент, мсье».

Обустроились в уголке на диванчике напротив друг друга. Он держал ее ладони в своих. Улыбался:

— Ух, какие ледышки. Я сейчас погрею. — Начал на них дышать, растирать.

— Хватит, Николя. Мне уже не холодно.

Отпуская Нюсину руку, заглянул ей в глаза:

— Может, не увидимся больше. Африка! Может быть, меня пигмеи сожрут?

— Прекрати пугать.

— Или львы. Или крокодилы. А за ними обгложут косточки мерзкие шакалы.

— Перестань, пожалуйста. Что ты, право?

— Заражусь какой-нибудь не известной науке африканской болезнью. И умру в мучениях.

— Ты меня нарочно терзаешь?

— Так скажи: если я вернусь целым-невредимым, выйдешь за меня?

— Ты опять за старое?

— Нет, скажи, скажи. В эту роковую минуту...

Появился гарсон с чашками, кофейником и молочником на подносе, вазочкой с бисквитами. Ловко сервировал столик.

— Ну, скажи, скажи.

— Что сказать?

— Выйдешь за меня?

— Ладно, так и быть, выйду.

— Не обманешь, как в прошлый раз?

— Нет, не обману.

— Поклянись чем-нибудь, пожалуйста.

— Собственным здоровьем клянусь. Ну, теперь доволен?

— Да, теперь поверил.

Удивилась:

— Николя, ты что, плачешь?

Он смутился, вытащил платок и смахнул слезы.

— Да, чуть-чуть, от счастья.

— Ты такой доверчивый.

— Я тебя люблю.

После «Европейской» поспешили на Паньковскую улицу, где жила мама. Радостные, дурашливые, объявили ей о своем решении пожениться.

Мама посмотрела через стекла очков изучающее. Тяжело вздохнула:

— Я всегда знала, что ничем хорошим это у вас не кончится.

Рассмеялись.

— Ты не рада, что ли?

— Буду рада, если вы в итоге станете счастливыми.

5.

«**Д**орогая Аннушка!
Я в Аддис-Абебе, можешь меня поздравить. Здесь не так уж знойно, как мы думали раньше, градусов 25—27 (все-таки зима), и не слишком влажно. Плохо, что вода поступает в мой номер на третьем этаже (лучшей здесь гостинички) только утром и вечером. Да и то какая-то желтая. Пить ее невозможно даже кипяченую. И приходится довольствоваться *Perrier* в бутылках, очень дорогой, ведь ее везут из Франции.

Люди здесь прекрасные, добродушные, говорят по-французски и готовы немедленно услужить. Разумеется, за бакшиши. Если бакшиша нет, моментально теряют к тебе всякий интерес.

Город не слишком старый. То есть был на этом месте город древний, некогда разрушенный, и уже на его руинах в прошлом веке император (негус) Менелик II начал возведение собственной столицы. Бьют здесь минеральные источники *Филуоха*, говорят, целебные. Я уже принял несколько ванн — мне понравилось, но насчет целебности будет видно в дальнейшем.

Город тихий, не такой гомонящий, как Константинополь или Порт-Саид. Даже на базаре зазывалы не надрываются. Понемногу пробую местную кухню, острую, пикантную: блюда подаются на *ынджеру* — круглой лепешке; абиссинцы не пользуются вилками — отрывают куски лепешки и берут ими пищу пальцами; но для нас, европейцев, делают исключение и дают столовые приборы. Основные блюда — *тыбс* (жареное мясо кусочками в остром соусе), *доро уот* (курица с луком) и *китфо* (жареный фарш со специями). Я же больше увлекаюсь овощами и фруктами — и полезнее, и дешевле. Кофе здесь какой-то не такой, как у нас, с разными ароматическими добавками, от которых часто кружится голова.

Наблюдаю местные обычаи, собираю кое-какие предметы национального быта, маски, украшения, статуэтки, вырезанные из черного дерева. Очень увлекательно, я в своей стихии.

А насчет львов и шакалов — это больше сказки. Мы, когда ехали верхом на мулах через пустыню, не заметили ни единого. Только ящерицы и какие-то птицы с красными носами.

Здесь пробуду еще меньше трех недель и надеюсь отправиться восвояси до конца января. А в России, Бог даст, появлюсь к весне. Вот тогда — ладком и за свадьбку!

Очень тебя люблю, постоянно думаю о нас и уже мечтами рядом с тобой под венцом.

Почитаю тебе новые стихи. И надеюсь, ты мне свои тоже, Ахматова-ханум.

До скорой встречи, дорогая.

Твой Н.».

Это письмо, полученное Нюсей в Киеве в первых числах февраля 1910 года, оказалось единственной весточкой от ее жениха, сгинувшего несколько месяцев тому назад. Первое время брошенная невеста волновалась, переживала, после Рождества стала злиться, а в конце концов возненавидела. И решила: если он вернется, замуж не идти. Надоел своими причудами. И такой супруг ей не нужен.

Но потом прикатило это послание, а к концу февраля и другое, из Петербурга: Никола писал, что вернулся благополучно, но узнал печальную весть — умер его отец. И теперь свадьбу надо перенести на два-три месяца. Да к тому же ему, студенту университета, по закону положено попросить разрешение на женитьбу у ректора. Словом, приедет в Киев не раньше апреля.

И еще писал: небольшое, но все-таки наследство им отец оставил. Так что ему хватит и учебу закончить, и на месяц-другой съездить в свадебное путешествие. Есть ли у нее пожелания? Предлагал на выбор: Грузия, Крым, Париж или Ницца.

Нюся отвергла Крым сразу: и места ей давно знакомые (а хотелось бы увидеть что-то новое), и к тому же есть опасение встретиться с Клаусом. Нет, не Крым точно.

Грузия? Любопытно, конечно. Говорят, дивная страна, поэтическая культура. Да, поедут в Грузию обязательно, но потом, потом, не сейчас.

Безусловно, Франция. И хотелось бы посетить и Париж, и Ривьеру. А нельзя ли совместить и то, и другое? Месяц в Париже и месяц на море?

Николя ответил: если денег хватит.

Хорошо бы хватило.

6.

Встреча Гумилева с Юрием Павловичем состоялась в Париже 25 января 1910 года, сразу после приплытия студента Сорбонны из Александрии в Марсель. Говорили на конспиративной квартире русской разведки: Юрий Павлович, сидя за столом, что-то торопливо писал, а когда явился наш африканец, быстро поздоровался и сказал:

— Сядьте, сядьте. Я сейчас закончу. Вы такой загорелый. Чистый эфиоп.

— С кем поведешься... — пошутил поэт.

— Понимаю. Принесли отчет?

Николя достал из кожаного портфеля пухлую тетрадку. Резидент шокированно спросил:

— Это что?

— Собственно, отчет, как вы просили. Всю дорогу на корабле, благо не качало, писал.

Юрий Павлович рассмеялся:

— Да, с поэтами не соскучишься!.. Я просил отчет, а не путевые заметки. Беллетристика ни к чему. Беллетристику станете печатать у себя в журналах. Нам нужны цифры, факты, политические оценки. Три-четыре странички, не более. Сядьте и пишите. Вот перо и бумага.

— Можно снять пиджак?

— Разумеется. Чаю хотите?

— Да, не отказался бы.

Прочитав исписанные листки, он кивнул.

— Хорошо. Ваше мнение совпадает с мнением и другого нашего источника. Вы ведь понимаете: мы же получаем сведения не только от вас...

Вытащил из-за пазухи пухлый конвертик.

— Это гонорар. После второй поездки мы его удвоим.

— После второй поездки? — удивился студент.

— И второй, и третьей, может быть, четвертой... Вы не против?

— Был бы только рад.

— Вот и превосходно.

Встали и пожали друг другу руки.

— А когда вторая? — с нетерпением спросил Гумилев.

— Ближе к осени. Вы, скорее всего, поедете членом этнографической экспедиции Петербургского университета. Для чего туда и переведетесь из Сорбонны. Так подозрений будет меньше.

— Я готов.

Оказавшись на улице, чуть ли не подпрыгивая от счастья, побежал на квартиру к Андрюше Горенко — своего друга и будущего шурина.

7.

Нюся все-таки решилась выйти за него, но сестра и мама неожиданно встали на дыбы. Отговаривали, просили, убеждали, сердились. Говорили: Гумилев — вертопрах, несерьезный человек, без приличного будущего и не выглядит каменной стеной, за которой хочет спрятаться каждая замужняя дама. «Нюся, не повторяй моих ошибок, — причитала родительница. — Твой отец отчасти похож на Николая — не от мира сего, вечно в своих фантазиях. Надо выбирать человека не гения, не питомца муз, а практичного, делового, крепко стоящего на земле. С гениями — швах!» Было больно смотреть, как она доводит себя до слез. Нюся соглашалась: хорошо, я еще подумаю, не волнуйся, мамочка, сделаю, как хочешь.

Но, конечно, из чувства противоречия ей теперь хотелось обязательно выйти за Николая.

Он приехал 20 апреля, в солнечный уже и почти что летний Киев, дворники сметали с брусчатки черные остатки сугробов, в голубом небе плавали пушистые белые облака, словно бы сугробы взмыли вверх, навсегда освободив землю от холода.

Пели птицы. На душе тоже. Гумилев схватил ее за руки и поцеловал. Прямо-таки при всех. Нюся покраснела, но не упрекнула — ей понравилось.

Он как будто бы возмужал. Превратился из хилого дерганого студентика в благообразно-спокойного, сильного джентльмена. В голосе прибавилось ироничности. И курил по-великосветски, чуть прищулив глаз.

Обсуждали венчание. Нюся сказала: мама категорически против; что делать? Он спросил: ты готова выйти за меня без благословения матери, тайно? Это слово «тайно» укололо сердце и заставило его биться чаще. Тайно, тайно! Это романтично, это достойно двух поэтов. Значит, договорились. А его и ее родных поставим перед фактом. Никуда не денутся, примирятся.

Нюся тогда жила с матерью в Дарнице и одеться дома в подвенечное платье не могла. А поэтому вышла в повседневном. Села на извозчика и поехала к Николаевской церкви, что в Никольской Слободке (это было предместье Киева и располагалось на левом берегу Днепра, относясь тогда к Черниговской губернии). От нее до Дарницы — семь минут на пролетке.

Возле храма новобрачную поджидала целая орава: кроме Николя — Саша Экстер с сумкой (в ней — наряд невесты) и поэты из ее студии — Вольдемар Эльснер и Ванюша Аксенов. Обнялись и поцеловались. Дамы побежали в заросли орешника, густо растущего по этому берегу, и, скрываясь от глаз посторонних, Саша помогла Нюсе переодеться. Белоснежное платье и фата очень пошли к ее черным волосам и сегодня особенно лучистым сине-зеленым глазищам.

Батюшка оказался моложавый, розовощекий, борода хоть и густая, но недлинная. Интересовался, попустились ли молодые перед причастием. Те ответили: да, три дня, как положено. Для начала он их исповедовал, а потом причастил. На вопрос: «Грешна ли ты, дочь моя?» — Нюся ответила: «Да, грешна, отче — и гордыни много, и зависти, иногда сквернословлю нехорошо». — «Так борись с этим». — «Я борюсь».

Весь обряд венчания длился минут сорок. Наконец вкусили вина и просвиры и восславили Господа, обменялись кольцами и поцеловались.

Денег священнослужитель не взял, но сказал, что на нужды храма можно пожертвовать. И велел свечнице принять.

Вышли на свежий воздух возбужденные, просветленные и какие-то обновленные. Солнце ударило им в глаза. А в ушах стоял гул мотора.

— Что это? — спросила удивленная Нюся.

— Ой, глядите — аэроплан! — закричала Саша, пальчиком показывая в небо над Киевом.

— Да, — сказал Ваня, — это Уточкин. Сообщали в газетах, что сегодня будет летать над городом.

— Грандиозно!

— Мы венчались в день полета аэроплана! Чем не символ?

— Воспарим, как он!

— Ура!!!

— Господа, так поехали же праздновать. У меня в горле пересохло от ладана. Организм мой требует шампанского!

Мама, узнав о тайном венчании, ничего не произнесла, только, сняв очки, провела пальцами по векам, словно вдавливая слезы в слезные мешочки. И проговорила несколько холодно:

— Жизнь твоя, девочка. Коли знаешь лучше меня, как жить, поступай по-своему... — Тяжело вздохнула. — Ладно, поздравляю. И совет вам да любовь... Что стоите, как памятники? Надо же отметить.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1.

С Клаусом она встретилась восемь месяцев спустя, тоже в Царском Селе. Тоже в парке, но уже зимнем, запорошенном снегом, хоть дорожки и чистились, но огромные комья то и дело свергались с веток, обсыпая гуляющих с головы до ног. Впрочем, гуляющих было мало. Нюся встретила двух-трех, не больше. А потом — Клауса...

Думала ли она о нем? Думала, конечно. Потому и пошла. Неужели встретятся? Встретились.

Почему пошла? Почему думала?

От зеленой, непроглядной тоски. Одиночества. И отчаяния.

Новобрачная — и соломенная вдова. Не абсурд ли?

Нет, вначале все складывалось прекрасно: Киев, май, сумасшедшие ночи молодоженов, море цветов и море шампанского. Вскоре, в первых числах мая, укатили в Париж. Там продолжили разгульную жизнь, промотав за три месяца чуть ли не половину отцова наследства. Брат Андрей пытался привести их в чувство — бесполезно! Пропадали в Латинском квартале, познакомились и сошлись с молодыми поэтами, музыкантами, живописцами. Пили абсент и курили гашиш. Модильяни написал ее портрет. Юный Модильяни. Дедо Модильяни (полное имя Амедео, но друзья звали Дедо). Шумный, бесшабашный, вечно подшофе, с лихорадочным взглядом. Николя и он подружились на основе своей любви к африканской скульптуре. Николя показывал ему фотоснимки статуй, привезенных из Абиссинии. Итальянец приходил в изумление. (Правда, не совсем итальянец — корни имел еврейские.) Говорил, что вот это, именно это — подлинное искусство, без налета Античности, без влияния Ренессанса. Сам пытался лепить такие же головы — удлинённые, странные, загадочные. И Горенко-Гумилева-Ахматова получилась у него непонятной, вещью в себе. Но такой она и была, в сущности, схвачено совершенно верно...

В Петербург вернулись под конец августа. Жили в Царском Селе у матери Гумилева. Вскоре Нюся поехала навестить родственников в Киеве. Не успела как следует отдохнуть с дороги, как пришла телеграмма от Гумилева: «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ МЕНЯ ЗАСТАТЬ ЗПТ ВОЗВРАЩАЙСЯ ЗПТ УЕЗЖАЮ АФРИКУ».

Господи, опять в Африку? Что за наваждение! Снова переживать за него и томиться, не имея месяцами известий... Вот несносный характер! Будто бы в России мало интересного. Есть такие углы медвежьих — никакой Абиссинии и не снилось!

Но поехала, поехала, разумеется. Проводила его на поезд (экспедиция следовала в Москву, а потом в Одессу, минуя Киев). Обещала ждать, сохраняя верность. Но потом вдруг встретила Клауса...

То есть не потом, не сразу, снова гостила у матери в Киеве, к декабрю вернулась в Царское Село. Гумилев не писал, не телеграфировал. Было страшно, неудобно, холодно.

И пошла в парк. По наитию пошла, словно что-то гнало: надо, надо, иди, иди. И пошла. Добрела до замерзшего пруда, села на пенек. Тишина стояла первородная. Заколдованный парк. Берендеева вотчина.

— Здравствуйте, Анна...

Даже вздрогнула. Не поверила, не могла поверить. Вот действительно сказка. Сказочный Берендей собственной персоной.

И усы в инее. Шапка меховая, а на ней шапка снежная. Улыбающиеся глаза. Серые, лучистые. Только у него одного такие.

— Здравствуйте, Клаус. Я не слышала, как вы подошли.

— Я старался не хрустеть сапогами. Двигался за вами от центральной аллеи. Впрочем, конспирация была ни к чему: вы погружены в свои мысли и не реагируете ни на что.

— Да, со мной такое случается иногда. Вроде перехожу в иную реальность. Выпадаю из этой. И особенно в церкви.

— Да, в церквях особая аура... Часто ходите в храм?

— Можно было бы чаще, да недосуг.

— В церковь непременно надо ходить. В ней одной спасение от невзгод. — Сразу посерьезнел. — Только в ней имеем успокоение.

Продолжала сидеть, потому что, встав, оказалась бы выше его на полголовы.

Кожаной перчаткой потрепал ее по воротнику из лисицы, стряхивая снег.

— Вы совсем дама сделались. Повзрослели очень.

— Замуж вышла.

Выгнул левую бровь.

— Правда? За кого?

— Дворянин, студент университета. Учится на этнографа. И теперь в экспедиции в Абиссинии.

— В Абиссинии? — Он задумался. — Да, я слышал. Академик Радлов во главе?

— Верно, верно: Радлов организовал.

— В Абиссинии у нас свои цели. Не должны уступать ее конкурентам.

— Нет, у мужа чисто этнографический интерес.

— Полагаете? Может быть... — Тонко улыбнулся. — Пишете стихи?

— Понемножку. Приготовила первый сборничек. Но пока не могу найти мецената, кто бы оплатил.

— Неужели? — В этот раз улыбнулся широко; зубы были крепкие, ровные, но слегка прокуренные. — Отчего же не позвонили мне? Я ведь оставлял телефон. Или потеряли бумажку?

— Нет, не потеряла. — Опустила глаза. — Просто постеснялась.

— Глупости какие. Приходите завтра сюда же. Приносите рукопись. Помогу, чем смогу. — Наклонился и поцеловал ее в губы.

Нюся услышала запах табака — дорогого, вкусного, не такого, как у Николя, от которого у того бывает кисло во рту.

А когда открыла глаза, Клауса уже след простыл. Появлялся, точно видение, исчезал, как призрак. Может, померещилось? Нет, а поцелуй? Вон еще тепло на губах. И его запах. Только ему присущий.

Стоп: она больше не пойдет на свидание. И тем более с рукописью. Ведь тогда неизвестно, чем дело кончится. Все-таки она замужняя дама. Не пристало ей... Словом, надо остановиться. Никаких Клаусов, сероглазых королей и свиданий с ними в парке. Сероглазый король для нее умер.

Сразу сочинилось стихотворение:

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.

Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:

«Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.

Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала вдовой».

Трубку свою на камине нашел
И на работу ночную ушел.

Дочку мою я сейчас разбужу
В серые глазки ее погляжу.

А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля...»

И заснула с этими мыслями, в полной решимости никуда завтра не идти. Но, как говорится, утро вечера мудренее. Бросить короля? Никогда в жизни. Он ведь жив, жив ее король. И она не может его не увидеть.

Прихватила тетрадочку со стихами, побежала в парк. К берегу пруда и заветному пню; но на этот раз не могла сидеть, а ходила, топталась, чтобы согреться. Вглядывалась в пространство между деревьями: никого. Только воздух морозный, парообразный, весь в каких-то кристалликах.

Не пришел!

Обозлилась на него, на себя, на всех.

Шла, ругаясь. Отвратительно ругаясь.

Неожиданно на аллее вырос офицерик в бушлате, раскрасневшийся от быстрой ходьбы, сапоги в снегу.

— Вы, простите, Анна?

— Да... а что?

— Я по поручению... знаете, кого... Он велел взять у вас стихи — для рекомендации издателю. Приносил извинения, что не смог прийти лично.

— Пустяки, конечно. — Протянула ему тетрадь.

— Написали адрес... телефон?.. Чтоб не потерялись...

— Да, в конце адрес моей свекрови. Я сама не знаю, где буду. Телефона нет.

— Ничего, этого достаточно. — Щелкнул каблуками, взял под козырек. — Честь имею! — И понесся в сторону Александровского дворца.

Сероглазый король не умер. Сероглазый король о ней помнил. А она о нем.

Собралась в одночасье и уехала в Киев. Забрала документы с Высших курсов — захотела продолжить учебу в Петербурге. Тоже на Высших курсах, но историко-литературных. Обещала матери заглянуть весной.

А весной появился Гумилев — черный от загара, новый, незнакомый, абсолютно чужой. И лечил экзему на левой руке — укусила какая-то жужжащая тварь, было воспаление, даже нагноение, делали операцию, стало проходить, а теперь опять рецидив.

Распаковывал чемоданы, ящики, коробки, доставал скульптуры, маски, копья, щиты, кухонную утварь. Щебетал, как птичка. Нюся смотрела отрешенно, даже равнодушно, кутаясь в шаль. Он заметил, спросил:

— Что случилось?

Помотала головой:

— Я не знаю. Я отвыкла от тебя.

— Здрасьте-пожалуйста.

— Не писал, не телеграфировал...

— Не было возможности.

— Восемь месяцев? Ни одной возможности?

Он вспыхнул:

— Ай, не придирайся! Кардинально другие мысли там.

Посмотрела в упор:

— Ночевал с абиссинками?

Стиснул зубы, отвернулся со злостью:

— Господи, о чем ты!

— Признавайся честно. По-мужски.

Вяло просопел:

— Если ночевал, это что меняет?

— Всё.

Стало очень зябко даже в шали.

Он пытался перевести в шутку, тормозил, обнимал, но она была, словно неживая. Встала и произнесла:

— Нам необходимо расстаться.

Николя вскричал как-то жалобно, по-сорочьи:

— Я развода тебе не дам!

— Я не про развод. Ну, по крайней мере, сейчас. Нам необходимо пожить какое-то время врозь. Я поеду к маме.

— Поезжай, только ненадолго.

— Это как получится.

И она уехала. Поначалу действительно в Киев. А потом в Париж. К Модильяни.

2.

Возвратилась в Киев 1 сентября. Ехала с вокзала на извозчике и, минуя Крещатик, пережидала царский кортеж: высший свет Киева и Петербурга двигался на представление в театр. А спустя несколько часов прилетела весть: в театре террорист стрелял в Столыпина и смертельно ранил.

Вроде бы вернулась в новую страну. Разговоры о скорой революции. Недовольство всех и вся — ценами, правительством, сумасшедшей Думой, черной сотней и евреями в оппозиции, сластолюбцем Распутиным, мягкотелым царем и великими князьями — сплошь интриганами... В Киеве так и говорили: «Мир идет к катастрофе, я вас уверяю. Или вырежут всех евреев, или же еврей-марксисты вырежут всех дворян. Вот увидите».

Нюсе было не до того. Все еще тянуло в Париж, снова в мастерскую Дедо, на его одр, расстилаемый прямо на полу, к обжигающим поцелуям, к судорогам страсти, к чаду, бреду любви. С Гумилевым такого не было. Модильяни превратил ее в настоящую женщину.

Но она тогда там, в Париже, вскоре поняла: надо убегать. Потому что еще немного, и конец всему. От абсента, гашиша, галлюцинаций больше не отвыкнет. Упадет на дно.

Безутешный Дедо плакал и кричал. Угрожал и молил. Нет, она была непреклонна.

Расставались в Люксембургском саду. Сели на скамейку, влажную после дождика. (Здесь скамейки бесплатные, а за стулья надо платить.) Мелкие кудряшки падали на его лоб, тоже мокрый — то ли от дождя, то ли от испарины. Губы спекшиеся. Ногти на руках — «рыбий глаз», признак больных легких.

Посмотрел на возлюбленную туманно, вроде различал через пелену. «Может быть, останешься?» — «Нет». — «Обещаю: завяжу с выпивкой и гашишем и пойду лечиться. Вместе съездим на море». — «Нет, Дедо». — «Без тебя я погибну». — «А с тобою погибну я».

Слишком жестко? Да, наверное. Но иначе было нельзя. Пикассо ей сказал однажды: «Модильяни — гений, но за ним стоит смерть. Опасайся, девочка». Смерти не хотелось. Ведь она еще столько может написать!

В Киеве у матери обнаружила письмо Гумилева — провалялось на комодe нераспечатанным целый месяц. Он просил прощения, извинялся за прошлые ошибки, обещал не ездить в Африку целый год, помогать ей в учебе. И еще постскриптум: «В «Цехе поэтов» набирается твоя книжка. Ты не говорила. Якобы какой-то важный меценат. Что за тайна? Напечатают триста экземпляров. Но не раньше зимы — слишком много заказов».

Сразу на душе потеплело. Все связалось: Клаус — Сероглазый Король — книжка. Триединство. Ни одна из частей невозможна без других двух.

Модильяни — романтическое безумие. Смерть стоит за спиной.

Гумилев — проза семейной жизни, счастье и обиды.

Клаус — нечто сакральное, это церковь, рок. Звон колоколов.

Систематизация своих обожателей. Словно «Жизнь животных» Брэма.

Написала Гумилеву ответ. Предлагала вычеркнуть прошлое из памяти и начать с чистого листа. Быть примерной женой — нет, не зарекалась, но сулила маленькие семейные радости.

Он немедленно телеграфировал: «ЖДУ ЦЕЛУЮ ЛЮБЛЮ».

Нюся телеграфировала: «ВЫЕЗЖАЮ ВСТРЕЧАЙ».

Увидала его из вагона: Николя стоял на перроне в долгополом пальто и шляпе; левой рукой опирался на зонтик-трость, правой, в перчатке, подносил к губам папиросу. Как и раньше — смуглый, сухопарый, с плохо видящими астигматическими глазами. Но родной, привычный.

Что-то теплое шевельнулось в ее груди. Сгусток нежности. Поздоровались и расцеловались. Подхватил ее саквояж. И сказал, улыбочивый:

— Мне за экспедицию отвалили кучу денег. Предлагаю отметить «жизнь с чистого листа» новым свадебным путешествием.

Нюся рассмеялась:

— Это замечательно. Только не в Париж.

— Может быть, в Италию? У меня там кое-какие дела, связанные с Абиссинией. Ты не против, киса?

— Как же я могу не хотеть Италию!

3.

Высшие женские историко-литературные курсы Н.П. Раева находились на Гороховой, 20. Заниматься тут было не в пример интереснее, и особенно Нюсе нравились лекции Введенского и Котляревского. С удовольствием делала конспекты, занималась в библиотеке, посещала диспуты. А потом спорила с тем же Гумилевым по вопросам поэтики и эстетики: он с недавнего времени презирал символизм Блока и считал, что поэзия должна быть предметна и конкретна, а Горенко-Ахматова защищала Блока, говоря, что в каждом предмете заключен свой символ. Приобщилась к деятельности «Цеха поэтов», став его секретарем. И ждала выхода своей книжки...

Гумилев докапывался, кто же сей загадочный меценат, давший деньги на издание. Нюся отнекивалась, уходила от прямого ответа, а потом вдруг брякнула:

— Император.

Николя уставился на нее:

— В смысле?

— Николай Александрович Романов, самодержец всея Руси. — И захохотала.

Он обиделся:

— Почему не папа римский? Ну, не хочешь, можешь не говорить.

— Так не домогайся тогда.

— Думал, если мы супруги, то у нас не может быть тайн друг от друга.

— Получается, может.

Шла с Гороховой в сторону Невского и, не доходя до Казанского собора, вдруг увидела того офицера, что почти год назад взял ее тетрадь со стихами. Был на этот раз в статском, меховой шапке и пальто с высоким бобровым воротником. Поздоровался, шаркнул ножкой:

— Добрый вечер, Анна Андреевна. Поздравляю с выходом книги.

— Очень благодарна.

— Мы послали несколько экземпляров для оценки критикам. В том числе и Брюсову. Отклики в прессе обеспечены. Добрые отклики.

— Право, я в смущении...

— Просто вы и ваши произведения очень нравятся той, известной вам, особе.

— Польщена... и не знаю, как благодарить...

— Отчего же? — тонко улыбнулся посланец. — Коли есть на то ваша воля, можете отблагодарить лично.

— Где? Когда?

— Завтра. В половине седьмого пополудни. — Он назвал адрес. — При условии полной конфиденциальности.

— Понимаю.

— Очень редко кого удостаивали подобным вниманием...

— Разумеется.

— Так что будьте благоразумны, помня о возможных последствиях: ни одна живая душа не должна знать об этом визите.

— Поняла.

— А за сим позвольте откланяться.

— Передайте, что я приду.

Вот оно. То, о чем мечтала всю молодость. Сероглазый Король протянул ей руку.

Ну а как случится сероглазая дочка? Или сын?

Пусть, она готова. Гумилев, в отличие от мужа из ее стихотворения, никогда не узнает правды.

А тем более он сейчас у матери в их имении. Возвратится только через два дня. Ведь решили ехать в Италию сразу после сессии на ее курсах.

Дома села, не раздеваясь. И ласкала ладонью обложку только что вышедшей книжки. Новенькая, свеженькая. Прямо из типографии.

АННА АХМАТОВА

«ВЕЧЕРЪ»

Стихи

ЦЕХЪ ПОЭТОВЪ

Мысли ее и чувства, сохраненные на бумаге.

Перестала быть вещью в себе. И о ней теперь все узнают.

Годы пролетят, и ее не будет, никого из живущих ныне не будет, а вот это останется. Памятник ее тревожной душе. Шаг в бессмертие.

Что ж, за это не грех отблагодарить. Не кого-нибудь, а ее Клауса. Будучи Королем, он уже сделался частью истории. И, протягивая ей руку, приглашает в историю и ее. Приобщает к Вечности.

Нет, она пойдет обязательно. Не пойти не может. Потому что это не просто так. За происходящим стоит Некто, распоряджающийся всеми. Мы в Его воле. Нет случайностей в мире. Мир предопределен Им.

Сообщенный адрес не записывала нигде. Побоялась записывать. Ведь, естественно, не могла забыть.

Неожиданно быстро прилегла и уснула. Ночь спала безмятежно.

Но проснулась с тревогой в сердце. Неужели свидание состоится? Это не обман и не розыгрыш? Что, если явится она в указанный дом и на самом деле вместо Короля встретит там того офицера, да еще с оравой пьяных собутыльников? Посмеются над наивной провинциалкой, надругаются, обесчестят... Страшно даже подумать! Лучше не идти вовсе. Если что — скажет, передумала. Или заболела. Поломала ногу.

Ну а если всё по-настоящему? Упустить такой шанс в жизни? Оскорбить Короля, протягивающего руку?

Заварила кофе. Выпила. Побегала на экзамен по русской истории.

Лекции им читал профессор Середонин — стройный высокий 50-летний мужчина, чуть похожий на Чехова, только без пенсне. Очень строгий, и «отлично» у него получить было невозможно. Говорил: «Я историю знаю сам не на “отлично”, а на “хорошо”, а студенты могут знать лишь “удовлетворительно”. Все его боялись.

Вытащила билет. Первый вопрос — о крещении Руси — знала сносно. По второму — о Дмитрие Донском и монгольском иге — так себе. А по третьему — о великом князе Михаиле Николаевиче — вовсе ничего.

Стала отвечать. Неожиданно профессор выудил из портфеля ее книжицу. И спросил:

— Правду говорят, это ваше?

Покраснела, смутилась, пролепетала:

— Да, мое...

— Отчего «Ахматова»?

— Псевдоним. Хан Ахмат был мой предок.

— Удивительно. Я прочел с большим удовольствием.

— Правда?

— Правда. Ну, давайте свою зачетку.

— Я еще не закончила по первому пункту, Сергей Михайлович.

— И не надо. О крещении знаете отменно. Экзаменовывать потомка хана Ахмата по монгольскому игу просто смешно. А по третьему вопросу ничего знать необязательно. Вы поэт — этого достаточно. — Расписался, улыбнулся, кивнул.

Попросил автограф ее на брошюрке. Потрясенная, расписалась тоже.

Поблагодарила, вышла в коридор. Развернула зачетку. Там стояло: «Отлично».

Значит, сегодня ее день.

Дальше — больше: получила письмо от Наночки — киевской кузины. Там она признавалась в любви к ее брату, Андрею Горенко, и его любви к ней, и желании их обоих в скором вре-

мении пожениться; правда, их родители против, да и Церковь не одобряет браки между кузенами; ну да как-нибудь. С ходу написала ответ — любит, рада, хочет быть на свадьбе.

Вдруг почувствовала страшный голод, поняла, что не ела ничего со вчерашнего дня, побежала в Елисеевский магазин и на два последних рубля накупила вкусностей — от тамбовского окорока до бисквитов с кремом. Дома чай заварила и устроила себе пир — ела и урчала, словно кошка на солнышке.

От еды даже опьянела. Потянуло в сон, и свалилась, будто бы убитая. Разомкнула вежды только в пять часов. И, как сумасшедшая, начала прихорашиваться к свиданию.

Вечер был спокоен и тих. Небольшой морозец, ни единого дуновения, ни снежинки с неба. Только наст хрустел под ее ногами.

Шла, укутав подбородок в платок. Петербург представлялся ей фантазмагорическим городом, весь залитый рыжим светом электрических фонарей, фар авто и огнями витрин, а по Невскому летели извозчики в санках. В ресторанах играла музыка. На афишных тумбах улыбалась Анастасия Вяльцева, приглашая к себе на концерт романсов «Не уходи, побудь со мною...»

Нюся подошла к названному дому. Это был частный особняк с колоннами по фасаду и с балконом на втором этаже. Позвонила в парадное. Появился тот самый офицерик, поздоровался, пригласил войти. Принял ее пальто. И, пока она поправляла волосы перед зеркалом, терпеливо ждал. Проводил по центральной лестнице на второй этаж. Запустил в какую-то комнату. Поклонившись, дверь закрыл за ней.

Это была гостиная — милая, уютная, без особой роскоши. Но картины, висевшие на стенах, явно подлинные. Столик, ваза с фруктами. И серебряное ведерко со льдом и бутылкой шампанского. Два бокала. Алые розы в вазе. Розы в январе? Видимо, доставлены прямо из Голландии или Франции.

Села на диванчик. Пальцы сцепила нервно. Слышала, как сердце бьется за ухом.

Только-только успела успокоить дыхание, как вошел Клаус. Был в обычном костюме с галстуком. И платочек виднелся из

кармашка. Никаких украшений, колец, даже обручального нет. Только аромат французских духов. Дорогого табака.

Улыбнулся приветливо, так знакомо.

— Здравствуйте, Анна. — Подошел, поцеловал руку.

Встала, поклонилась.

— Здравствуйте, Клаус. Или как теперь?..

— Клаус, Клаус. Я для вас Клаус.

Ловко разлил шампанское: пена замерла на краю бокала, но сбежать вниз по стеклу не решилась.

— Выпьем за вашу первую книжку. И надеюсь, что не последнюю. За карьеру вашу в поэзии. За любовь читателей.

— Мерси, мсье.

Чокнулись, пригубили.

Поднял крышку патефона, вынул из бумажного конверта пластинку, повертел в руках.

— Про фокстрот слышали?

— Нет, а что это?

— Новый вариант уанстепа. Входит в моду. Только что доставили из Америки. Я сейчас покажу.

Накрутил ручку патефона, положил иглу на бороздку. Полилась веселая музыка.

— Ну, смелее, смелее. Это очень просто.

То, что Нюся выше на полголовы, Клауса не смущало. Взял ее за руку и отвел в сторону на уровне груди, а другой рукой обнял за талию. Нюся положила свободную кисть ему на плечо.

— Я начинаю с левой ноги, а вы с правой.

Сделали четыре шага вперед и четыре назад. Клаус считал:

— Айн-цвай, драй-фир... Так, неплохо... Получается.

На счет «фюнф» сделал шаг влево и повернулся направо, а на «зекс» приставил правую ногу. То же самое повторил и с другой ноги. Станцевали вместе.

— Хорошо, хорошо, надо закрепить.

Кончилась пластинка, и поставили ее вновь. Двигались уже слаженно и достаточно бойко. Оба хохотали, как дети.

— Получается, получается!

— Я же говорил: никаких сложностей.

Отдышавшись, выпили шампанского.

Вроде собираясь еще станцевать, обнял ее за талию, протянул к себе — и поцеловал. Крепко, чувственно.

Нюся ему ответила.

Что-то подкатило к ее горлу, и она расплакалась. Глупо, по-девчоночьи.

— Господи, вам плохо? — испугался Клаус.

— Нет, нет, это ничего... — заглянула в его серые глаза. — Просто я люблю вас. Скоро десять лет как люблю. И всегда любить буду.

Он как будто сконфузился и прижал ее голову к своему плечу.

— Да, да, моя хорошая. Плакать не надо. Всё теперь будет превосходно.

А когда она вернулась домой под утро, то застала в квартире спящего Гумилева. Он проснулся, вскочил, поначалу обрадовался и расцеловал, но потом спросил:

— Где же ты была до утра? Пахнешь табаком и вином.

— Отмечала с сокурсницами сдачу экзамена по истории. Представляешь, мне единственной Середонин поставил «отлично»!

— Поздравляю.

— Отчего ты раньше? Ты же собирался вернуться послезавтра?

Он махнул рукой:

— С матерью повздорил. Запилила меня совсем. Ничего, помиримся.

Вскоре улеглись. И вначале Нюся не хотела никакой близости, но потом, уставшая, уступила его настойчивости.

Всё смешалось в доме Гумилева-Ахматовой...

Сразу после сессии покатили в Италию.

А когда вернулись, выяснилось, что она беременна.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1.

Мальчик родился в положенные ему сроки — 1 октября 1912 года, — и вообще не понятно, на кого был похож: что-то, представлялось, от Нюси, что-то он Николая, но

конкретного ничего в частности. Оказался очень спокойным: не пищал, не плакал, мудро смотрел на мир серо-голубыми глазами и сосал с аппетитом.

Сразу после его появления муж и жена серьезно повздорили. Гумилев на радостях ударился во все тяжкие и гудел неделю, появившись перед Ахматовой с перекошенной физиономией, кисло-тухлой отрыжкой и приличной щетиной. Ну, конечно, выслушал от нее пару ласковых. Началась перепалка, вовремя прерванная его матерью — Анной Ивановной, грузной дамой, на манер Екатерины Великой с памятника в Питере. Бабушка зашла и сказала:

— Цыц. Молчать. Лёвушку разбудите.

Мальчика окрестили Львом — так решила Анна Ивановна, отдавая честь своему покойному брату, Льву Ивановичу Львову, контр-адмиралу, умершему не так давно в возрасте 70 лет. Николя и Нюся с именем смирились: он — из любви к Африке, а она — к царям (лев — царь зверей). И вообще с самого рождения мальчика больше пестовала бабка — в силу своего властного характера и хозяйственной жилки; Нюся, как известно, быт не любила, кашу могла сварить в крайнем неудовольствии, и к тому же молоко у нее пропало на четвертом месяце после родов.

Больше думала о поэзии. О своих стихах. Книжка, несмотря на малый тираж, встречена была с интересом, Брюсов написал восторженный отзыв, и в «Цеху поэтов» приняли решение допечатать до пятисот экземпляров. С новым оформлением. Получилось еще красивее.

Гумилев объявил «Цех поэтов» штабом нового поэтического движения — акмеизма, в пик символизма. Греческое слово «акмэ» значит «острие, максимум». Собственно, это прозвище в шутку прозвучало в речи Вячеслава Иванова, но у Николя получило серьезное осмысление, потому что, тем более, было очень созвучно псевдониму «Ахматова».

Из известных ныне поэтов в группу входил Осип Мандельштам. С Осей познакомились они в «Бродячей собаке» — кабачке в подвальчике, где устраивались литературные вечера — от Ахматовой с Гумилевым до Чуковского с Маяковским. Мандельштам всегда сидел в уголке диванчика, как-то стран-

но переплеть ноги, сам какой-то переплетенный, изломанный, вечно полуголодный. Но когда декламировал стихи, превращался вдруг в римского патриция — с благородным профилем и сияющими глазами. Говорил слегка в нос, а стихи всегда читал монотонно и раскачивался вперед-назад, как молящийся иудей (был хотя и евреем, но крещеным). Иногда заходил на чай к паре Гумилевых. Пил всегда вприкуску, щипчиками откалывая маленькие кусочки от больших кусков пиленого сахара, и смешно сосал их, чем-то напоминая кролика.

Находился в вечном поиске той единственной, что могла бы составить его счастье и пошла бы за ним на край света. Политические взгляды их не совпадали: Гумилевы были за монархию, но конституционную, как в Британии, Ося же решительно ратовал за республику, как в Америке. «Понимаете, — говорил преувеличенно громко, и тревожная жилка пульсировала у него под глазом, — там не надо делать революцию, потому что можно поменять президента путем выборов». — «Нет, в России это невозможно, — отвечал Николя, — оттого что менталитет не тот. Русским нужен царь-батюшка. Царь и Бог. Без царя и Бога все у нас развалится». Каждый оставался при своем мнении.

За Ахматовой Мандельштам никогда не ухаживал. Он ценил их дружбу и считал, что знакомство с ними — светлый лучик в мрачной его жизни.

Но когда Нюся, поругавшись в очередной раз с Анной Ивановной, а потом с Николя, объявила, что поедет к матери в Киев, предоставив сына полностью под водительство бабушки, провожал ее на вокзале именно Ося. Он помог донести нюсин саквояж, усадил в вагон, посидел напротив какое-то время молча, а потом сказал:

— Может, не увидимся больше.

— Почему?

— Я, наверное, уеду в Америку.

— Господи Иисусе, зачем? — изумилась Ахматова.

— Жить. Работать. Чувствовать себя человеком, а не изгоем.

— Кем работать? Вам, без знания английского?

— Я пока не думал над этим.

— А о чем вы думали? Нет, Россия и только Россия, русскому поэту нечего делать за границей.

— А еврейско-русскому? — Ося улыбнулся невесело. — Да и надо ли быть поэтом в нынешних обстоятельствах? Мы ведь пишем в основном для себя, для «Бродячей собаки», для десятка, максимум сотни друзей и критиков. Нас большая Россия не знает, не слышит, не понимает и, наверное, никогда не поймет. Для чего тогда ломать копья зря? Лучше мыть стаканы в пабе Бруклина, чем ходить здесь и пыжиться: «Я поэт!»

Нюся ответила, сдвинув брови сурово:

— Да, не понимают. Да, особенно не нужны. Но в пивной Бруклина не нужны совсем, а в России, по крайней мере, сотни друзей и критиков.

— Это слабое утешение.

— Хоть какое-то.

Обнялись и поцеловались, и она уехала.

А в Америку Мандельштам так и не отправился, неожиданно влюбившись в новую поклонницу своего таланта и решив, что она-то и есть его судьба.

Киев не внес успокоение в сердце Нюси, даже наоборот, Нюся поняла: это бегство окончательно испортит ее семейную жизнь. Ведь она узнала, что супруг изменяет ей с актрисой театра Мейерхольда Ольгой Высотской... То есть сам факт измены ничего не менял: муж простил же ей Модильяни, у поэтов это в порядке вещей, им нужна подпитка свежих мыслей и чувств, вдохновения, а тем более, что супруги исповедовали модную тогда теорию свободной любви. Но она узнала, что Высотская понесла от Николая... и родился мальчик, названный Орестом... Вот что взволновало Ахматову не на шутку!

Тут еще возникла новая тревога — за сестру Ию.

Ия была прелестной девочкой, самой красивой среди детей Горенко, словно балеринка из тонкого фарфора — вся такая воздушная, полупрозрачная, с музыкальными пальчиками и огромными синими глазами. Ей в ту пору шел двадцатый год. Тоже училась на Высших женских курсах в Киеве, на историко-филологическом, и, увы, не избежала общей участи братьев и сестер: заболела туберкулезом. Денег на лечение было мало, еле хватало на еду и съемную квартиру в Дарнице. Ия, ударившись в религию, посещала скит в близлежащем хвойном лесу — там обитал отшельник брат Игнатий, 80-летний по-

лусумасшедший старик, говоривший, что молится за все человечество. Предрекал катастрофы и эпидемии. Ию называл «Христовой невестой».

— Отчего же так? — удивлялась она. — Я же не монахиня.

У анахорета шевелились седые брови, собирался в гармошку лоб.

— Ибо на земле ты не станешь ничьей невестушкой.

— Я умру старой девой?

— Нет, не старой, не старой, но девой, — шамкал тот.

Из чего сестра делала неутешительный вывод, что умрет молодой. И рыдала. Кашляла и рыдала. Атмосфера в доме становилась гнетущей. Рождество было не Рождеством, словно бы не праздники, а поминки.

В феврале 1914 года получила от Гумилева письмо, где он предлагал помириться, уверял, что с Высотской у него окончательный разрыв, и еще ему предстояла новая экспедиция в Абиссинию. Ехал через Киев и хотел увидеться, попрощаться по-человечески. Нюся отвечала, что не держит зла и готова забыть прежние невзгоды.

Повидались в конце апреля. Он привез карточку полугодовалого Левы — с челочкой и бантом на шее. Нюся всматривалась в его черты и не находила сходства с Клаусом; вероятно, все-таки Гумилев; что ж, пускай, так оно даже лучше.

Николя возвратился в июле — как всегда, наполненный африканскими впечатлениями, бодрый, энергичный, — и они поехали вместе в Царское Село. Лева ее не помнил и смотрел на мать как-то недоверчиво. Нюся тормошила его, целовала и таскала с собой, ухватив поперек туловища, говоря: «У, какой тяжелый!»

Посреди этой повседневности появился Гумилев с поезда из Питера: побледневший, взволнованный.

— Что произошло? — посмотрела на него Нюся, продолжая нянькать на коленях Левушку.

Муж ответил быстро:

— Война. Я иду на фронт.

Ахнув, перекрестилась:

— Как — на фронт? Ты, с твоим здоровьем?

— Я уже прошел медкомиссию, и признали годным.

— Ты сошел с ума.

— Мир сошел с ума, и я с ним.

Провожали его в августе — рядовым в конную разведку. А неделю спустя Нюся с Левой переехала к Анне Ивановне в родовое имение Гумилевых в Тверской губернии — Слепнево. Здесь, в деревне, вдалеке от центров цивилизации, было вроде бы поспокойнее.

2.

«А дорогая Аннушка!
Выдалась минутка, и пишу короткую весточку. У меня всё прекрасно, жив-здоров, сыт и весел.

На войне, конечно, стреляют, а недавно пережили налет неприятельской авиации, и, скажу тебе, чувства при этом испытываешь не самые светлые, но Господь милостив, и всё обошлось, а к стрельбе вообще привыкаешь быстро. Конная разведка — совершенно не то, что пехота. Мы, как правило, не на фронте, а в тылу, совершаем только рейды, чаще ночью, чтобы взять “языка” и проверить оперативные данные штаба, а потом снова отдыхаем, составляем отчеты, сибаритствуем, чистим лошадей и оружие. Лишь одна переделка тут случилась труднѐхонька, нас почти окружили, и пришлось прорываться к своим с боями. Удалось! Лишь двоих ранило, я отделался легкой контузией и провел в лазарете четыре дня, а когда вышел, то узнал, что за эту операцию награжден Георгием четвертой степени и повышен в звании до ефрейтора. Так, глядишь, и до унтер-офицера дойду! Поздновато, конечно, начинать военную карьеру в 28 лет, ну да ничего, говорят, мне мундир идет.

Как там Левушка поживает? Разговаривает, поди? Спрашивает, где папка?

Маме от меня низжайший поклон, напишу ей отдельно, чтоб не ревновала.

А за сим остаюсь вам верный муж, отец и сын

Николай».

«Дорогой Николая!

Получила весточку от тебя с опозданием, так как ездила в Киев — очень мне хотелось побывать на венчании Наночки и Андрюши. Слава Богу, он белобилетник по здоровью и служить его не берут. Ну а Наночка подалась в сестры милосердия, служит в госпитале — к ним привозят тяжелораненых с русско-австрийского фронта, и рассказывает страшные ужасы. Так что можешь не втирать мне очки, мол, война твоя — дело плевое; я-то знаю теперь, что георгиевским кавалером просто так не становятся, а дают за смелость и мужество, проявленные в бою. Николая, Николая! Ну, пожалуйста, не геройствуй зря; битва за Отечество — дело, безусловно, святое, но не забывай малое Отечество — Слепнево, и жену, и сына, и родительницу свою. Будь благоразумен. (Впрочем, я кому это говорю? Человеку, прошедшему львов и людоедов Африки? Тем не менее вспоминай о нас чаще и хоть чуточку береги себя.)

Левушка растет быстро. Говорит почти все, но слегка “подфуфыкивает”, как и мой любимый Андрюша. Очень смешное сходство. Анна Ивановна хоть и помыкает нами по-прежнему, но как будто бы не так грозно, как раньше, внук подействовал на нее умиротворяюще, и она вроде сердится поменьше на мое неумение организовать быт.

А стихи я пишу нечасто, настроение кислое, думаю: ну вот, собралось поэзии на второй сборничек, ну издам — и что? Нужно ли это кому-нибудь сегодня? Лирика угасла, правят марши и бравурные гимны. А бравурно сочинять не умею. Даже за деньги. Совестно.

Давеча заходила в гости Марина¹, загорелая после Крыма (там она жила у Волошина), с мужем теперь в разрыве и повсюду ходит с Соней Парнок. Смотрит на нее восторженными глазами — значит, правда, что они ближе, чем подруги... Сумасшедшая! Впрочем, настоящий поэт должен быть слегка не в себе. Например, как мы (ха-ха!).

Николая, приезжай скорее — на побывку хотя бы. Очень мы соскучились по тебе. Это не фигура речи, это правда.

А.»

¹ Цветаева (примеч. автора).

Гумилева наградили отпуском к Рождеству 1915 года за особые заслуги и к тому же дали унтер-офицера и Георгия 3-й степени. О подробностях происшедшего никому никогда не рассказывал, отвечая сухо: «Контрразведка — дело чрезвычайно секретное». Видимо, давнишний его начальник по особой работе — Юрий Павлович — с ним сотрудничал плотно. А военная разведка в годы боевых действий — совершенно не то, что в мирные. Гумилев с его дерзостью и бесстрашием, а порой наивностью и доверчивостью ребенка, очень подходил для оперативной службы: доверять командирам всецело и водить врага за нос — главные качества разведчика.

Сообщил матери и жене заговорщицким тоном:

— После отпуска возвращаюсь не на фронт, а в Париж.

— Как в Париж? Почему в Париж? — спрашивали те удивленно и радостно.

— Перебрасывают в особый экспедиционный корпус нашей армии во Франции. Буду заниматься вербовкой абиссинцев, чтобы те воевали на нашей стороне.

— Снова отправляешься в Африку?

— Да, скорее всего.

Нюсю передернуло:

— Африка, Африка! Ненавижу ее.

Но у Анны Ивановны было другое мнение:

— Пусть уж лучше Африка, чем фронт. Меньше шансов получить пулю в лоб.

Левушка играл папиными медалями, с восхищением смотрел на отца в кителе. Лепетал: «Я, когда вырафту, тофе буду фолдатом!» — «Этого еще не хватало, — комментировала мать. — Два солдата в семье — явный перебор». — «А в семье два поэта?» — усмехался Николя. «Да вообще катастрофа!» — восклицала она.

Обсуждали новость: Николай II сам себя назначил Верховным главнокомандующим. Гумилев утверждал, что теперь в войсках неразберихи будет поменьше. Нюся возражала: «Но теперь вся ответственность ляжет на него. За успехи и неудачи. Раньше так не делали. Александр Первый доверял Барклаю с Кутузовым, Александр Второй в турецкую кампанию — бра-

ту своему, великому князю Николаю Николаевичу. А теперь все невзгоды повалятся прямо на царя». — «Что ж, на то он и царь, — отвечал супруг. — Тут игра пошла по-крупному — пан или пропал». — «Ну а если — пропал?» — «Значит, Михаил Александрович¹ станет править в качестве Михаила II, он по праву престолонаследования следующий, так как цесаревич Алексей еще мал».

После отъезда мужа Нюся дважды бывала в Царском Селе и гуляла с Левушкой в парке, но ни разу с тех пор не виделась с Клаусом. Заглянула к пруду, к пню, где она когда-то сидела, а царь подошел... Неужели больше никогда, никогда?

— Мамофка, ты плафефь?

— Нет, мой золотой, это соринка в глаз попала.

Встретила свою давнюю подругу — Валечку Тюльпанову, а теперь Срезневскую, мать двоих детей. Обнялись и поцеловались, посидели в кондитерской за чашечкой кофе. Разумеется, речь зашла и о Гумилеве, и приятельница спросила:

— Ты простила ему Ларису?

— Почему Ларису, если Ольгу — Ольгу Высотскую?

Валя скривила губки:

— Ничего про Ольгу не слышала. Я имела в виду Ларису Рейснер. Петербург шумел об их бурном романе.

— Неужели? — У Ахматовой побелели щеки. — Я сидела в Слепневе и не знала... Рейснер, Рейснер? Видела ее в «Бродячей собаке». Безусловно, красавица. Но она с Николя? Ничего не путаешь?

— Вот те крест! Хоть у Мандельштама спроси.

— Нет, спасибо. И твоих сведений достаточно.

Поняла, что теперь их разрыв с Гумилевым точно неизбежен.

3.

Лето 1916 года очень обнадежило: знаменитый Брусиловский прорыв вывел из строя чуть ли не целую австро-венгерскую армию. И, казалось, еще немного, наступление развернется по всему фронту. Нет, не получилось.

¹ Брат Николая II (примеч. автора).

Немцы сражались отчаянно, перебрасывая новые силы из Франции и Италии. Ожидания быстрого финала войны, к сожалению, так и остались ожиданиями. Стали обвинять в провале царя...

Нюся позвонила ему единственный раз за все время — перед Рождеством. Телефон она хранила у себя на груди, в ладанке; кто-то держит в ней волосы возлюбленного или чада, кто-то — зернышко ладана, а она — обрывок папиросной бумаги с тем заветным номером. Никогда раньше не решалась, а теперь вдруг почувствовала: можно не успеть — вероятно, это последний шанс.

Почему так считала? По наитию? Бабушка-татарка, знахарка, полуколдунья, в ней заговорила?

Нюся тогда работала в библиотеке Агрономического института, получала копейки, но хоть что-то, не сидеть же вечно на шее у Анны Ивановны; и в библиотеке был телефон — на стене, с ручкой; выбрала момент поздно вечером, накануне ухода, будучи в читальном зале одна; накрутила ручку.

— Станция. Слушаю вас. — Милый женский голос.

— Барышня, пожалуйста... — И произнесла те самые цифры на бумажке.

— Ждите, соединяю.

Долгие гудки. Неужели не слышит? Или телефон за эти годы сменился?

— Абонент не берет трубку.

— Хорошо, я немного позже еще попробую.

Так звонила три раза. Целый час прошел. Надо было собираться домой. Ну, еще напоследок, перед тем, как запереть двери.

— Станция. Слушаю вас.

— Барышня, пожалуйста... — И его номер.

— Ждите, соединяю.

Долгие гудки. Неожиданно в трубке что-то щелкнуло, и она услышала его, Клауса.

— У аппарата.

— Здравствуйте, Клаус.

Удивился:

— Кто это?

— Вы забыли? Анна Ахматова.

Сразу потеплел:

— Ну, конечно, помню. Добрый вечер, Анна. Как вы поживаете?

— Ничего, спасибо, более-менее. Муж на фронте...

— Не совсем на фронте, мы его перевели в экспедиционный корпус в Париже. А теперь он в Лондоне.

— В Лондоне? Я не знала. Он совсем не пишет.

— Контрразведка — дело секретное...

— Я не думала, не надеялась, что о нем позаботитесь именно вы...

— У меня работа такая — печься обо всех россиянах.

— Благодарна вам очень...

— Как сынок? Радует родителей?

— Ох, спасибо большое, с Левой все в порядке. Славный, жизнерадостный мальчуган.

Безразличным тоном спросил:

— На кого похож?

С трепетом ответила:

— Маленький, и трудно пока сказать... Но глаза серо-голубые.

Явно улыбнулся:

— Это хорошо... Может, чем-то надо помочь? Деньги, жилье, работа? Говорите, подсоблю непременно.

— Нет, спасибо. Я звонила не с просьбой, не с жалобой. Просто поздравить хотела вас с наступлением Рождества Христова.

— Мерси бьен. Поздравляю и я вас. Будьте счастливы, Анна. Что бы ни случилось с нами в дальнейшем, помните: я и вас, и вашего сына не забываю. Если Бог поможет, встретимся еще.

— Станем уповать.

— А за сим прощайте.

— До свиданья, Клаус...

Наступал ужасный 1917 год. До момента отречения его величества от престола оставалось два с половиной месяца.

Встреча Гумилева с Юрием Павловичем состоялась на конспиративной квартире в Стратфорде, пригороде Лондона. Это был милый тихий городок, маленькие частные домики, пышные сады. Никола сошел с поезда, долго искал нужный адрес. Припекало: на дворе стоял август, лето подходило к концу, наступала осень — самое нелюбимое его время года. Пушкин воспевал «пышное природы увяданье», а Гумилев ненавидел. Он любое увядание ненавидел. И хотел умереть нестарым. Этой весной ему исполнился 31 год.

Наконец, нашел указанный дом на окраине, выглядевший заброшенным. Позвонил в колокольчик. А потом постучал условным образом: три коротких стука — три долгих — три коротких. Из-за двери спросили:

— Ху из?

Он ответил по-русски, как велено:

— Вам привет из Аддис-Абебы.

Юрий Павлович щелкнул входным запором. Пропуская гостя, оглядел улицу и «хвоста» не заметил.

В комнатке усадил за стол и по рюмкам разлил виски. Извинился:

— Водки не имею, увы.

— Я уже забыл ее вкус.

— Ничего, Бог даст, Рождество встретим в Петербурге.

— Полагаете? — оживился Никола.

— Очень рассчитываю на это. Если план сработает.

— Выпьем, чтоб сработал.

Юрий Павлович изложил детали: подготовлено наступление войск под командованием Лавра Корнилова, цель которого — взятие Северной столицы и установление диктатуры, наведение порядка на фронте и в стране, завершение войны разгромом Германии, а в России — созыв Учредительного собрания.

— Главное теперь — распустить Советы, а из Временного правительства выгнать социалистов всех мастей.

— Возвратить монархию, — вставил Гумилев. — Нам нужна конституционная монархия.

— Это как решит Учредительное собрание. Главное — повесить на фонарях всех немецких агентов во главе с Лениным.

— Думаете, они представляют угрозу? А по-моему, болтуны просто. Ну, какая социалистическая революция в России? Бред сумасшедшего.

— Часто сумасшедшим и болтунам верят больше, чем здравомыслящим людям.

Выпили еще. В соответствии с планом Никола должен был вернуться в Россию сразу после захвата власти Корниловым и начать работу в Министерстве просвещения. О поездках в Африку предстояло пока забыть.

— Хорошо, буду ждать вашего сигнала. Можно написать весточку семье, что в ближайший месяц я приеду из Лондона?

— Нет, повремените. И к тому же... — Юрий Павлович несколько потупился. — Не хотел огорчать вас, но, коль скоро сами заговорили... — Он покашлял смущенно. — По моим сведениям, у жены вашей... знаете Шилейко?

Гумилев напрягся.

— Вольдемара Казимировича? Разумеется, знаю. Он писал славные стихи, в духе акмеизма. Но вообще-то ученый, крупный специалист по шумерской культуре. Почему вы спросили?

— Как бы это сказать помягче?... Он и ваша супруга... словом, теперь одна семья.

Николя помрачнел. А потом проговорил хрипло:

— Что ж, неудивительно... Мы давно отошли друг от друга... да еще — война... Вот вернусь в Россию и подам на развод.

— Стало быть, письма не напишете о своем возвращении?

— Нет. Уже не хочется.

Уезжал из Стратфорда в Лондон с камнем на душе. Психология человека: изменяя сам, совершенно не думаешь, как страдает твоя законная половина, а когда изменяет половина, чувствуешь себя брошенным, оскорбленным в лучших чувствах. Тут не до теорий о свободной любви. Человек по натуре собственник.

Думал помириться с Ольгой Высотской. Все-таки у них тоже сын. Впрочем, видимо, и Ольга несвободна теперь. Он

на фронте, а его женщины в одиночестве. И разлука разводит всех.

В сентябре узнал, что корниловский план провалился, а октябрь принес новое известие: в Петрограде переворот, Временное правительство разогнано, к власти пришли большевики в союзе с эсерами. Вот вам и болтуны.

Если верить Юрию Павловичу, по приказу английского монарха, бывшей царской разведкой России вместе с британской МИ-1 разработана операция по эвакуации в Лондон Николая II с семьей. Не случилось: прежнего русского монарха с детьми и супругой спешно увезли из Царского Села в глубь страны, в Тобольск, а наследника престола — Михаила Александровича — в Пермь.

Приходилось ждать одного — Учредительного собрания: Ленин обещал созвать его в январе 1918 года. Только оно было в состоянии положить конец этому безумию.

5.

Нюся совершенно спокойно пережила развод с Гумилевым. Он приехал в конце зимы, после разгона Учредилки большевиками, исхудавший, полубольной, с красными глазами — то ли от бессонницы, то ли от чрезмерного увлечения алкоголем. При его появлении Вольдемар деликатно вышел в другую комнату. Нюся полулежала на большом кожаном диване, обернувшись в шаль. Да, развод давно назрел. Да, она не претендует на какую-то долю имущества: все, что ей положено, пусть отходит Левушке, на его образование. Да, надеется сохранить нормальные отношения. Пусть не дружеские, но и не враждебные.

Вскоре она узнала: Никола сошелся с Аней Энгельгардт, дочкой известного историка и литературоведа, и как будто бы счастлив. Успокоилась за него. Все-таки отец Левушки, нечужой человек.

Слышала, что большевики собираются устроить публичный суд над царем в Москве. Не исключено, что в Большом театре. Это казалось диким и несообразным ни с чем. Вся интеллигенция Питера шушукалась: подражание якобинцам,

обезглавившим своего короля после показательного суда. Неужели смелости достанет обезглавить Николая II? Нет, публично побоялись. Тараканы боятся света. Застрелили тайно, ночью, в Екатеринбурге, а тела уничтожили и зарыли невесть где.

Нюся поначалу отказывалась поверить. Столько слухов бродило в то время, что сойдешь с ума, если верить каждому. Но потом, 20 июля, появилось официальное сообщение в газетах. Несколько черных строк петитом. Самых черных в ее жизни.

А кругом вроде ничего не переменилось в тот момент. В Питере ходили трамваи и гудели авто, продолжали звонить телефоны и стучать машинистки в учреждениях, собирались барахолки и стояли очереди за хлебом. Жарко, знойно — макушка лета. Многие за городом. И Нева бьется о гранитные берега как-то безучастно.

Мир не рухнул.

Но ее мир осиротел.

А за окном шелестят тополя:

«Нет на земле твоего короля».

Клаус, прощай.

Детство и юность ее, прощайте. Ей уже почти 30.

Надо учиться жить по-взрослому.

6.

С Анной Энгельгардт Гумилев прожил полтора года. Родилась девочка Елена. Но супруги были слишком разными людьми, чтобы долго существовать вместе. Николая переехал на другую квартиру. Анна как могла зарабатывала на жизнь, выступая в дешевых нэповских ресторанчиках. Крупной актрисы из нее, к сожалению, не вышло.

А в канун Кронштадского мятежа, в самом начале 1921 года, в дверь к Гумилеву позвонили. Он открыл и увидел на пороге Юрия Павловича. Тот стоял в каком-то потертом ношеном пальто и бараньей шапке. На щеке синяк.

— Проходите, проходите... Что с вами?

Контрразведчик зашел, постоянно оглядываясь тревожно.

— Вы живете с соседями?

— Все теперь с соседями.

— Я разденусь в вашей комнате.

Выглядел неважно, как-то настороженно.

— Вы откуда в Питере?

Он стрельнул глазами:

— Оттуда. Назревает восстание. Я вхожу в координационный совет. Много наших. Вы с нами?

— Да, само собой. У меня свои счета с этой властью.

— Я всегда знал, что могу на вас положиться. Наши люди с вами войдут в контакт. Нам необходимы ваши способности в написании агитматериалов. Будьте наготове.

Начал одеваться.

— Как, уже уходите? Даже чаю не выпьете? У меня морковный.

— Водка есть?

— Нет, откуда! Сами видите: голодно живем. Если что — только самогон на толкучке.

— Докатилась Россия. Ничего, это мы поправим.

Коротко пожал руку и, как тень, скрылся.

А восстание тоже провалилось, как и наступление генерала Корнилова. Некоторое время спустя к Гумилеву приходили люди от Юрия Павловича, приносили деньги и просили написать прокламации. Николая деньги брал, прокламации не писал и вообще думал эмигрировать. Но внезапно явились чекисты, предъявили ордер на обыск и на арест и с собой увели. Посадили в «Кресты».

На допросах не били. Он спокойно рассказывал все, что знал. Деньги брал? Брал. Собирался примкнуть к врагам Советской России? На словах обещал. Где теперь находится Юрий Павлович? Не имел понятия. Приговор оказался скорым: за контрреволюционную деятельность — к высшей мере наказания.хлопотали за Гумилева друзья, Горький обращался к самому Ленину: Николай Степанович — выдающийся поэт, надо сохранить ему жизнь! Нет, не помогло. Приговор привели в исполнение. Все тела были свалены в братскую могилу... Место ее до сих пор не найдено.

Брат, Андрей Горенко, с сыном и женой Наночкой убежал из Одессы в Константинополь, а потом поселился в Греции, под Афинами. Сын, подхватив простуду, тяжело заболел, и врачи оказались бессильны. Безутешные родители не смогли смириться с этой трагедией и спустя неделю после похорон сделали себе инъекцию морфина, очень большую дозу.

Муж умер через сутки, а жену удалось спасти. Оказалось, что она в положении. И в положенный срок появился мальчик, названный Андреем — младший Андрей Горенко.

Он учился в афинской школе и не знал ни слова по-русски (Наночка сознательно ограждала себя и его от всего, что их связывало с Россией). Возмужав, Андрей окончил летное училище и во время войны сражался с гитлеровцами, отвоевывая греческое небо.

Прочитав в газетах, что его тетушке — поэтессе Анне Андреевне Ахматовой — за ее заслуги в литературе присудили звание Почетного доктора Оксфордского университета, поспешил в Лондон на церемонию награждения. То была первая, и единственная, их встреча. Анна Андреевна при виде племянника ахнула: «Боже мой, вылитый Андрюша!» Разговаривали они по-английски.

Лев Гумилев окончил исторический факультет Ленинградского университета, ездил в археологические экспедиции, делал успехи как востоковед, но Советская власть не могла спокойно смотреть на то, как живет и трудится сын врага народа (и, вполне возможно, сын царя?). Арестовывался он дважды и провел в ГУЛАГе в общей сложности около двенадцати лет. Не погиб, не сломался, а когда вышел на свободу и был полностью реабилитирован, написал выдающиеся труды по этнологии, о взаимоотношениях древней Руси со степью, с Ордой. Кто, как не он, в жилах которого текла кровь хана Ахмата, должен был это сделать?

Только вот детей не оставил.

Анна Энгельгардт и ее дочка от Николая умерли от голода во время блокады Ленинграда.

Род Гумилевых смог продолжить только Орест Высотский, чьи потомки до сих пор здравствуют в Крыму.

Осип Мандельштам сгинул в сталинских лагерях в 1938-м.

А Марина Цветаева наложила на себя руки в ссылке в Елабуге в 1941-м...

9.

О судьбе Ахматовой, ставшей выдающейся русской поэтессой, много книг написано, и не стоит пересказывать все известное. Вспомню лишь финальные строки ее великого «Реквиема», посвященные тому, как она стояла в очереди в «Кресты», дабы сдать передачу своему драгоценному Левушке:

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье на это даю торжество,
Но только с условием — не ставить его

Ни около моря, где я родилась
(Последняя с морем разорвана связь),

Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,

А здесь, где стояла я тридцать часов
И где для меня не открыли засов,

Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громохание черных марусь,

Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.

И пусть с неподвижных и бронзовых век
Как слезы струится подтаявший снег.

И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

10.

И последнее. Летом 1960 года я, тогда семилетний, и мои родители побывали в гостях у Виктора Ардова, видного писателя-юмориста. Он назначил маме с отцом деловую встречу, и они прихватили меня с собой: встреча обещала быть быстрой, и потом мы хотели поехать в Лужники погулять.

Комната на Ордынке оказалась маленькой и не слишком уютной. Я сидел на стуле и болтал ногами, не вникая в разговоры взрослых людей. Было скучновато и жарко — даже мне, в коротких штанишках.

Неожиданно дверь в соседнюю комнату отворилась, и вошла величественная старуха, на плечах — кружевная накидка; проплыла мимо, совершенно не обратив на меня внимания, и ушла в другую дверь — то ли на кухню, то ли к телефону в коридор.

Несколько мгновений, легкое соприкосновение двух миров, двух эпох...

Я и не запомнил бы этот эпизод, если бы отец не сказал мне потом: «Не забудь — ты рассказывать друзьям станешь, когда вырастешь, — как случайно столкнулся с выдающимся человеком, поэтессой Анной Ахматовой».

Да, в Москве она всегда останавливалась на квартире своего друга, Виктора Ардова.

Интересно, как отреагировала бы Анна Андреевна, если бы в тот момент ей сказали, что вот этот мальчик в коротких штанишках сочинит лет через пятьдесят повесть о ее бурной юности? Рассмеялась бы, вероятно.

И надеюсь, что простила бы меня за мои литературные домыслы.

Литературно-художественное издание
Всемирная история в романах

Казовский Михаил Григорьевич

ИСКУССТВО И ЕГО ЖЕРТВЫ

Выпускающий редактор *С.С. Лыжина*

Художник *Н.А. Васильев*

Корректор *Л.В. Суркова*

Верстка *И.В. Резникова*

Художественное оформление и дизайн обложки *Е.А. Забелина*

ООО «Издательство «Вече»

Адрес фактического местонахождения:
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1.
Тел.: (499) 940-48-70 (факс: доп. 2213), (499) 940-48-71.

Почтовый адрес:
129337, г. Москва, а/я 63.

Юридический адрес:
129110, г. Москва, пер. Банный, дом 6,
помещение 3, комната 1/1.

E-mail: veche@veche.ru
<http://www.veche.ru>

Подписано в печать 26.04.2022. Формат 84 × 108 ¹/₃₂.
Гарнитура «Times». Печать офсетная. Бумага типографская.
Печ. л. 14 Тираж 1500 экз. Заказ № 1071.

Отпечатано в Обществе
с ограниченной ответственностью
«Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.
e-mail: printing@r-d-p.ru р-д-п.рф